

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

12



1959

1959

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 12

Декабрь, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
С. ГЕОРГИЕВСКАЯ — Тарасик, повесть. Окончание	3
ПАВЕЛ ХАЛОВ — Мои друзья. Я все никак привыкнуть не могу... Неделю нас держала в цепких лапах... На краю Азии. Вы знаете, как море пахнет... Стихи	68
Т. ЖУРАВЛЕВ — Дед Харитон, рассказ	72
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ — Из новых стихов. Перевели с грузинского Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Б. Ахмадулина	82
ЮЛИЯ ДРУНИНА — Два стихотворения	84
ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ — Первый арест, повесть	85
К. С. ПРИЧАРД — Йоримба, рассказ. Перевели с английского Н. Ветошкина и Э. Питерская	143
ИЗ СТИХОВ СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ. Роберт Фрост. Дрова. Закон. — Карл Сэндберг. Народ, да (Отрывки из книги). — Вэчел Линдзи. Авраам Линкольн бродит в полночь. Орел позабытый. — Лэнгстон Хьюз. Мрак. Там, где прошли армии. Перевели с английского Андрей Сергеев и Иван Кашкин.	148
СТ. РАКША — Турбаевцы. Литературная запись Е. Герасимова. Окончание	157
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
В. НЕКРАСОВ — Три встречи	186
ПУБЛИЦИСТИКА	
БОРИС ЛЕОНТЬЕВ — Незабываемый сентябрь	194
И. БЕЛОВ — На высоких скоростях	209
В МИРЕ НАУКИ	
В. БАЗЫКИН — Первые разведчики	217
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЮРИЙ РЮРИКОВ — Через сто и тысячу лет (Заметки о литературе, посвященной будущему)	228

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Сергей Львов. Новое имя.— В. Шкловский. Верно и неверно угаданные пути.— В. Твардовская. Повесть о первомайцах.— В. Лакшин. Чеховский сборник.— Инна Соловьева. «Это ваша книга»	246
<i>Политика и наука</i>	
Дм. Рудь. Дело в организаторах.— Кандидат философских наук М. Слуцкий. Правда о двоедушии и лжи.— А. Мельников. Живые страницы истории.— Е. Касимовский. «Не веришь? Проверь».— Профессор В. Покшишевский. Путешествия географа.	260
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
С. Масчан. Из архива С. Есенина.— Н. Данилов. Забытое стихотворение С. Есенина	271
КОРОТКО О КНИГАХ	275
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	278
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» за 1959 год	281

С. ГЕОРГИЕВСКАЯ

★

ТАРАСИК

*Повесть**

Глава шестая

Эх, и бывают же работы на свете! Например, для того чтобы поката- ться на бричке, в которую впряжен ослик, за каждого мальчика и за каждую девочку надо платить пятьдесят копеек. А тот мальчик, который сидит на козлах и управляет осликом, только то и делает, что с утра до вечера колбасится по кругу. И это называется работой! Эх, если б Тарасик был папой или дедушкой Искрой, он бы всю жизнь ел мороженое и катался на ослике. Это лучше, чем быть дворником и даже пожарным.

У забора, где ослик, толпятся малыши — целых два детских сада. И, кроме детских садов, отдельные родители со своими мальчиками и девочками. Все ждут очереди, чтобы прокатиться на ослике.

А большой мальчик, тот, что на козлах (он, наверное, из пятого класса), сидит, брови сдвинул да еще в руках держит вожжи, причмо- кивает, говорит: «Пошел!..»

И целый день он катается так. С утра и до той минуты, когда за- кроют зоологический сад. Он орет: «Становись в очередь!» Говорит: «Не лезь!»

А лицо у него серьезное.. Ясное дело! Если б Тарасик был этим мальчиком, он бы еще не так орал.

— Стройся парами! — остановив бричку, сурово говорит большой мальчик.

— Ребята, парами, парами! — повторяет за ним заведующая дет- ским садом.— Тише, ребята, все покатаются. Тарасик, пропусти ма- леньких!

— Папа! — орет Тарасик.— Я тоже хочу кататься!

— Тарас! — отвечает папа.— Следующая очередь будет твоя! Стой спокойно, Тарас.

Так говорит папа и смотрит куда-то вверх, на деревья. Он не глядит на заведующую детским садом.

...Сегодня папа после работы подошел к детскому саду, куда отдал Тарасика, остановился за углом и стал глядеть во двор. Ребята играли в салки. Папа слышал, как звонко смеется Тарасик, и, осторожно вы- глянув из-за угла, увидел, что его сын лупит какого-то мальчика. По- рядок. Тарасику хорошо. И когда успокоенный папа вытянул шею, что- бы в последний раз посмотреть на своего сына, перед тем как пойти

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

домой и сесть заниматься, Тарасик поднял глаза, призадумался и вдруг истошно заорал:

— Папа!

Они бежали навстречу друг другу: папа — снисходительно улыбаясь, стараясь замедлить шаги; Тарасик — закинув голову и широко расставив руки... Всё. Подбежали друг к другу. Папа схватил Тарасика, бодро спросил:

— Ну? Как поживаешь?

И Тарасик ответил:

— Папа!..

Прекрасно. Все в полном порядке. Самое время пойти домой и сесть за учебник по сопромату.

Дети строятся парами. Заведующая детским садом ведет их в зоологический сад. На ней белая шапочка. Она приветливо улыбается, но говорит:

— Папаша, я вынуждена сделать вам замечание. Вы нарушаете наши правила. Тарасик здоров, чувствует себя превосходно, попрошу вас прийти в субботу вечером.

— Благодарю вас за сына, — вдруг сказал папа и пожал руку заведующей. Наклонился к Тарасику и даже поцеловал его.

Бодрой походкой, не оглядываясь, он пересек двор и пошел к воротам.

Вопль огласил улицу. Такого вопля не слышала улица с тех пор, как построили детский сад.

— Домой! — завопил Тарасик.

А папа шел вперед.

— Я маме скажу! — истошно орал Тарасик.

Он сел на снег, запрокинул голову и, глядя на солнце, орал так сладостно. Рот Тарасика был широко раскрыт — ни одна слеза не катилась из его зажмуренных глаз.

Папа замедлил шаг.

— Чтоб такой большой и такого маленького! — причитал Тарасик.

— Папаша! — тихо сказала заведующая (но почему-то папа это услышал). — Собственно говоря, при детском садике есть актив матерей... Приняв во внимание... Вы можете, собственно, быть отцом-активистом. Мы идем в зоосад, побудьте с ребятами.

— Не возражаю! — ответил папа.

...И вот они шли по улице. Впереди заведующая в белой шапочке, посредине ребята, а сзади папа, отец-активист. Он замыкал шествие.

Милиционер взмахнул своей красивой волшебной палочкой, остановились троллейбусы и автобусы. По мостовой шли ребята, шел детский сад.

Сияло солнце. Улыбались прохожие, добро покачивали головами и глядели на маленьких мальчиков и маленьких девочек, которые шли через улицу.

Остановился на мостовой старик с большущей пилой под мышкой. (Неплохая пила. Тарасик хотел бы иметь такую пилу.) Старик вздохнул и сказал:

— Ну что ж... Наша смена.

А в это время Альфред дернул за косу Нелю. Неля, не растерявшись, толкнула Альфреда красивым беленьким ботинком.

— Не смей щипаться! — сказал Тарасик. Подпрыгнул и схватил за волосы Альфреда.

Сияло солнце. Красиво отсвечивал снег. Блестела пила под мышкой у старика. Папа и заведующая детским садом разнимали Тарасика и Альфреда. Они лягались, как кони. Папа сказал:

— Возьми себя в руки, Тарас!

Тарасик выпростал руки из варежек и тянулся к Альфреду, которого держала заведующая. Альфред тянулся к Тарасику, извивался, кричал:

— Он первый меня толкнул!

Молчаливо салютовали автобусы и троллейбусы. Милиционер держал в руке своей волшебный жезл. Заведующая с выбившимися из-под шапочки волосами объясняла прохожим и папе:

— Это чисто нервный рефлекс. Никогда не следует допускать родителей...

От сраму она потеряла шапочку. Папа поднял шапочку.

Дети пересекли улицу. Исчез старик с пилой, покатали вперед троллейбусы и автобусы, улица переполнилась гулом, грохотом, гомоном.

Среди деревьев, покрытых снегом, по дорожкам, расчищенным лопатами и метелками, дошагал детский сад до круга, по которому бежит ослик.

— Тарас,— говорит папа.— Твоя очередь. Действуй, садись! Ты задерживаешь ребят.

Эх, видел бы кто эту бричку! Маленькая, а настоящая. Две скамейки. На козлах большой мальчик — кучер. И вожжи совсем настоящие. И ослик совсем настоящий, живой — как лошадь. Тарасик и Неля крепко держатся за руки.

— Давай поспешай, милок,— говорит большой мальчик таким красивым и грубым голосом, что сердце у Тарасика замирает.

Ослик трогает. У забора стоят откатавшиеся ребята, заведующая и папа. И тут Тарасик смекает: ослик его увозит, увозит от папы... Эка он маху дал! Папа сейчас уйдет. И он будет опять без папы.

— Папа! — кричит Тарасик.

Папа бодро кивает и улыбается.

— Папа! Па-ап!..— задыхаясь от горя, кричит Тарасик. И теперь он плачет по-настоящему. Слезы слепят глаза, заливают щеки. Весь мир — и большой мальчик, и ослик, и Неля, и белые ветки деревьев — кивают в плачущие глаза Тарасика.

— Папа, папа! — зовет Тарасик.

Папа отделяется от барьера и выходит вперед, на площадку, где ослик.

— Садись! — говорит Тарасик.

А ослик катит — бежит вперед. Цокают ноги ослика по гладким дорожкам. Ему нет дела до слез Тарасика.

— Папа, папа, садись! — умоляет Тарасик.

— Тарас, да ты что? Не буду я приходить, вот и все! Позорище!

Тарасик вцепляется в папину руку и крепко держит ее.

— Гражданин! Отойдите! — сурово говорит большой мальчик.

Но Тарасик не отпускает папиной руки. Хорошо, что папа Тарасика занимался легкой атлетикой — бегом. Он бежит рядом с бричкой так же шибко, как ослик. У забора хохочут родители и дошкольники.

А ослик знай себе катит, не останавливается. Тарасик не отпускает папиной руки.

Неле, видно, тоже нравится папа Тарасика, она громко смеется и перехватывает папин шарф.

И вот ослик сжалился над папой и остановился.

— Лично с меня довольно,— говорит папа и ласково вынимает Нелю из брички. На Тарасика он даже и не глядит. Он не глядит на Тарасика, когда они обходят зоосад. Он не глядит на родного сына и когда все подходят к клетке с медведями. Он поднимает Нелю, а за ней всех остальных ребят, а Тарасика на руки не берет.

— Это мой папа, мой папа! — объясняет людям Тарасик.

Но кто же поверит, если папа даже не смотрит в его сторону? Папа переглядывается с заведующей и поддерживает ее под локоть, когда они идут к попугайчикам.

Хорошие попугайчики, ничего себе попугайчики! Красные, синие, зеленые, желтые, большие и маленькие. У попугайчиков тоже есть дети. Но Тарасику не до них. Как же так? Ведь родной сын. Подумать только, не поднять его к клетке, где прыгают попугайчики. Всех поднять, а его нет!

И на обратном пути папа не разговаривает с Тарасиком. Он бы, видно, так и бросил Тарасика, если бы заведующая вдруг не сказала:

— Вот что, товарищ Искра, это непедагогично, но, учитывая душевное потрясение ребенка, возьмите сегодня Тарасика домой. На одну ночь. Считаю, так будет лучше для мальчика. Не всегда же надо держиваться буквы закона.

И вот они идут втроем по улице: Тарасик, папа и заведующая. Оба держат Тарасика за руки. Но никто с ним не говорит. Они говорят друг с другом, смеются. Им весело. А каково Тарасику?!

— Майя Николаевна, — говорит папа, — ну что ж, как двое мужчин, мы вас, пожалуй, проводим до дому.

— Ни к чему! — отвечает заведующая. — Напротив, это я провожу вас, друзья. Мне хотелось бы ознакомиться с бытовыми условиями, в которых живет ребенок. Это моя прямая обязанность.

— Очень рад! — говорит папа.

Но по лицу не видно, что папа рад. Он опускает глаза и внимательно разглядывает носки своих башмаков.

Тарасика держат с обеих сторон за руки, а все-таки он спотыкается. Ему скучно. От скуки он начинает петь:

А вот стоит милиция,
Она меня любит.
А вот идет милиция,
Она меня не любит.

— Замолчи! — говорит папа.

На них начинают оглядываться прохожие.

— А в милиции киселя дают! — голосит Тарасик.

— Здорово, брат! — говорит милиция, и к Тарасику наклоняется белозубое смеющееся лицо постового. — Ну что? Ты, я вижу, больше не пропадаешь? Крепко за руки держат? И мама тут, и папа на месте!

В глаза Тарасика глядят голубые, яркие при свете первых фонарей глаза постового Морозко. Они глядят добро и смеются.

— Мой старый приятель, — обращается милиционер к заведующей. — Я вашего пацана от мороза спас. Было, было такое дело!.. Конечно... Чего не бывает в семье. А вот это я одобряю, — говорит он папе Тарасика. — Красиво, культурно... Что ж, и пацан хорош, и мать, я сказал бы, не подкачала. Одобряю. Здоровая советская семья. Одобряю!

— Она же не мама! Она заведующая! Она чужая тетя! — говорит Тарасик и сердито смотрит на милиционера из-под бортов своей лохматой шапки.

Морозко немеет.

— Папа, вдарь его, — умоляет Тарасик. (Он говорит это шепотом, но папа слышит.)

— Простите, Майя Николаевна, — обращается папа к заведующей. — Я совсем забыл, у нас в доме хоть шаром покати, нам надо сейчас же завернуть в молочную и... и купить сарделек. Сердечно благодарю за вашу заботу о сыне.

Он выпрямляется, словно аршин проглотил, и пожимает руку заведующей.

Не оглядываясь, Тарасик и папа идут вперед. Им вслед глядят растерянный милиционер Морозко (старый друг их семьи) и заведующая детским садом Майя Николаевна.

Глава седьмая

Нет, уж лучше свалиться с горы головой вниз, искупаться в ледяной проруби. Лучше сразу себе башку расшибить или заболеть воспалением легких!..

Но ничего такого с папой не случилось. Нет! То его вели под конвоем в милицию и прохожие указывали на него пальцем, то его ни за что ни про что осыпали бранью соседи. То он повертывался спиной к заведующей детским садом. Человек предложил обследовать бытовые условия. Чуткий человек, хотел поддержать морально. А он? От ворот поворот! А за что?

А про отца хоть и не вспоминай, вторую неделю носа не кажет. Родной отец, мог бы войти в положение — экзамены, работа, Тараса как-никак только недавно сплавил...

Что сказать, даже кошку и ту второй день он пичкает одной ячневой кашей. У нее уж прямо глаза на лоб полезли. Если, допустим, он потерял аппетит, так это еще не значит, что и кошка не должна ни есть, ни пить.

Ночь. Комната переполнена тиканием. До чего звбнок в тишине ночи шаг времени, шаг минут. Светит лампа. Перед папой раскрытый учебник, тетрадь с конспектами...

Нехорошо на душе у папы Тарасика. Нет в душе тишины. Голова неясная, в голове мысли, невысказанные слова. А как известно, невысказанное слово хуже головешки. Оно тлеет, мучит, жжет.

Запустив пальцы в волосы, сжимая лоб, папа глядит в учебник...

А нельзя ли пожечь все учебники на тех головешках, что лучше несказанных слов?

Худо папе. Ему бы хотелось стать пьяницей-кочегаром в их доме. Ему бы хотелось сделаться милиционером — даже чертовым постовым Морозко, — только бы перестать быть собой. Кошкой хотелось стать папе и даже чернильным пятном — только бы не сдавать завтра сопромат.

Ночь. Папа бродит по комнате... Опять-таки есть такая студенческая поговорка: кто сдал сопромат — может жениться. Ну, поскольку он поспешил жениться, надо думать — он сдаст сопромат.

Суббота. Папа приходит в детский сад за Тарасиком.

— Что с вами? — участливо спрашивает, увидев его, Маргарита Ивановна. — Вы нездоровы, товарищ Искра?

— Здоров. А чего мне делается? — с кривой улыбкой говорит папа. — Просто срезался на экзамене.

— Ну, это еще не такое большое горе, — улыбнувшись, отвечает ему Маргарита Ивановна. — Ведь можно, наверное, и пересдать. Ребенок всего неделя как в детском саду. У вас не было времени заниматься — причина уважительная.

— Видите ли, — сказал папа, — у нас в заочном электротехническом не детский сад. И что-то не видно там специалистов по чуткости. А декан просто собака. И я к нему разьясняться-объясняться не пойду. Говорят, конечно, кто сдал сопромат — может жениться. А я, как видите, уже женат. Результаты, как говорится, налицо. Значит, могу сопро-

мать не сдавать. Я решил твердо: институт — побоку. Сыт по горло. Не каждому же иметь высшее образование. Зато у меня жена — творческий работник и крупнейший специалист. Вот таким путем.

Произнеся эту самую длинную в своей жизни речь, папа горько улыбнулся, взял Тарасика за руку и пошел со двора.

Говорят: «Все пути ведут в Рим». Это старая поговорка. Но есть путь, который ведет в заочный электротехнический институт. Адрес этого института указан в толстой голубой книжке. Заведующая детским садом — Майя Николаевна — записала про папу все данные подробно и точно, ведь он отец-активист.

Дорогу, которая вела в Рим (то бишь к институту), пересекала троллейбусная линия. Сойдя с троллейбуса и раздевшись в студенческой раздевалке, Маргарита Ивановна поднялась по широкой лестнице, постучала в двери к декану.

Нет, нельзя сказать, чтобы она была старой... Но она была старой для студентки. Увидев ее, декан медленно поднялся от письменного стола. Он не был молод, но, по ее понятию, слишком молод для декана такого серьезного факультета. В нем были уверенность, изящество. Сверкающий воротничок, тщательно повязанный галстук. Красивые руки, а главное — веселые глаза. Глаза у него были рыжие. Она заметила это, хотя была занята другим. Вежливо и вопрошающе смотрели на Маргариту Ивановну веселые рыжие глаза декана.

«Это счастливый человек, — вдруг подумала Маргарита Ивановна. — И он не собака. Счастливые не бывают собаками». Она делила всех людей на счастливых и несчастных. Как ее ребята в детском саду делили весь мир на фашистов и нефашистов. Эта мысль о счастливом декане так заняла Маргариту Ивановну, что она не сказала «здравствуйте». И когда он произнес: «Садитесь. Я вас слушаю», — она глубоко вздохнула, протянула вперед руку и сказала то, с чем пришла сюда:

— Я педагог, воспитательница детского сада.

Веселые рыжие глаза вспыхнули, загорелись искрами, но запретили себе смеяться.

— Прощайте вас, садитесь, коллега, — сказал декан.

Сегодня папа не отведет Тарасика в детский сад. Он не может остаться один на всем белом свете. Свет белый. Ночью снова выпал снежок. И когда поглядишь в окно, все спутывается, смешивается, дробится, сияет. Снег, солнце... Кажется, что излучает свет сам воздух, пропитанный снежинками, блеском.

А для того сегодня такой сияющий день на дворе, чтобы подробно разъяснить папе Тарасика, какая черная у него жизнь.

— Тарас, действуй! — говорит папа. — Одевайся живей, веселей!

Сегодня папа работает в вечернюю смену. Он отведет Тарасика в детский сад вечером: все ж таки родной сын, поддержка... Опять же занятие. С Тарасиком не соскучишься — то ему одно подай, то другое.

— Пойдем в кино? — предлагает папа.

— Угу! — говорит Тарасик.

Утро. На грязной скатерти пятно от пролитого чая. На полу крошки. Но свет, яркий свет, свет зимнего солнца рвется в окно их дома, наполняет комнату лучами и пылью, той светлой пылью, которая так весело умеет крутиться в солнечном широком прожекторе. Свет отражается в медном нечищеном чайнике, в зеркале старого дедушкиного шкафа. Он всюду. Он бьется о стены комнаты, гладит кошку, упирается в пол. И кажется, звенят стекла от света. Свет рвется в дверь. Потянулся и зазвенел звонком.

— Кто там? — говорит Тарасик.

На пороге женщина-почтальон.

— Вот тебе подарок, — объясняет она Тарасику и подает открытку.

Папа сердито читает открытку.

— Одевайся, Тарас, — говорит папа.

— В кино? — допытывается Тарасик.

— Какое там кино! — отвечает папа. — А впрочем, может и в кино поспеем. Только сначала придется хинину хлебнуть.

Они идут по улице, молчат. «Какого такого хинину? — думает Тарасик. — ...Куда деваются снежинки? Вот те, что падают ночью? — думает он. — Их, наверное, увозят в лес. Здравствуй, снег, говорит лесной снег городскому. И схватятся оба снега радоваться, блеснуть и подмигивать, вот как сейчас подмигивают искры в сугробе. А видят это одни только зайцы. И серые волки».

Широкая улица, залитая светом, бежит вперед, как белый коридор. Солнце отражается в замке портфеля. Оно светит в окошко булочной. За окошком — хлебцы, только не настоящие, а деревянные.

Улица вся в свету. Вместе с воробышком солнце тихо сидит на трамвайном проводе. Солнце на папиных башмаках. И папа внимательно разглядывает их.

Большуший дом, к которому подходят Тарасик и папа, тоже весь залит светом.

«А, здорово! — говорит старый дом. — Гляди, Тарасик, я весь в пятнах. Вот это пятно — человек. Это — облако. А это — старая дедушкина качалка».

Но папа не видит старого дома. Он знай глядит на свои башмаки.

Папа снимает пальто, раздевает Тарасика и, крепко сжав его руку, поднимается вверх по широкой лестнице.

— Стой тут! — сердито говорит папа. — Я сейчас. И чтоб было тихо. Ясно? Будь хоть раз человеком — понял?

— Иди, — говорит Тарасик. — Я человек.

Папа идет к двери, крупно стулая всей подошвой, а шаги у него бесшумные. Как у кошки. Лицо у папы такое, будто он проглотил куриную кость. Дверь за ним захлопывается. Тарасик стоит один в большой новой комнате. Против него какая-то женщина, перед нею пишущая машинка. Машинка в свету. Волосы тетеньки тоже в свету. Она раскрывает сумку, но не такую, как мамина, а большую, и мажет себе рот. Тетенька похожа на клоуна — нос белый, а губы красные.

— Роднуля! — говорит тетенька и выпячивает вперед большие красные губы. — Ла-апушка! — говорит тетя.

Тарасик молчит.

— Как тебя зовут?

Тарасик молчит.

— А ты любишь папу? — говорит тетя.

Молчание.

— А маму? Ты немой? Ты чей?

— Кошкин, — говорит Тарасик.

— Кошкин? Прелестно! Какой остроумный мальчик!.. Николай Степанович, — обращается она к дяденьке, который входит с портфелем, — не правда ли, в этом мальчике что-то есть? Взгляд, улыбка. Бедные девушки! Что будут делать бедные девушки?

— То, что они всегда делают, — влюбляться! — отвечает Николай Степанович.

Тетенька раскрывает сумку и опять мажет себе рот.

— Как тебя зовут? — спрашивает Николай Степанович и присаживается на корточки.

— Папу люблю и маму люблю, — говорит Тарасик, чтобы сразу отделаться.

Нехорошо на душе у Тарасика. Ему даже не очень хочется потрогать тетенькину машинку, побежать в коридор, влезть на подоконник.

Он хочет к папе. Тарасик тихо подходит к двери, рывком открывает ее и слышит:

— ...Согласитесь, что это все-таки недопустимо, товарищ Искра... Отсутствие воли. Собранности. Если хотите — просто разгильдяйство, разболтанность.

Посредине комнаты стоит папа. Против папы — дяденька. Незнакомый, а глаза у него рыжие. Голос у него ледяной, и Тарасик вдруг понимает, что дяденька ругает папу. И подумать только — папу! И папа молчит. Папа, который и сам кого хочешь изругает; папа, который самому милиционеру сказал «проспись, брат»; папа, который даже дедушки не боится. Папу, папу! Папу, который кричит: «Давай действуй, Тарас!»

Тарасик останавливается на пороге, потом тихонько подходит к отцу и твердо берет его за руку. И тут случается чудо — человек, который ругался, вдруг улыбается. Зубы белые, а один — золотой. Вот бы Тарасику такой распрекрасный золотой зуб! Но сейчас ему не до того. Все крепче и крепче сжимает Тарасик папину руку. Ему горько и стыдно, он сам не знает почему.

— Искра? — спрашивает дяденька с золотым зубом. — На подмогу? Искры — они сила. Поди-ка, Искра, ко мне. Поди сюда.

— Вот, — говорит Тарасик и протягивает в ответ два пальца.

— Тарас! — говорит папа не своим голосом.

— Это что, клятва? Поручительство? — задумчиво спрашивает декан.

— Тарас! — свирепо говорит папа. — Я за него больше не отвечаю, он теперь в детском саду. Кто тебя научил?

— Мама! — объясняет Тарасик. — А еще надо говорить: «На, выкуси!»

— Ах, это кукиш! — догадывается декан. — Мне это просто в голову не пришло.

Он садится в свое кресло и громко смеется. Тарасик знает, что дяденька хочет остановиться, но не может. Он смеется до слез, а золотой зуб во рту красиво блестит.

— Я исправлюсь, Искра, — вдруг говорит декан. — Я тебе обещаю — в этом прекрасном мире опять будет полный порядок. Доверяешь?

— Ладно, — вежливо говорит Тарасик.

— Дай руку, — предлагает Тарасику декан. — Ну вот, ты меня простил. Я спокоен. Ну, все? Как будто бы договорились? — Он переводит на папу смеющиеся глаза.

— Договорились, — сухо отвечает папа.

И вот они опять на снежной солнечной улице. Но на этот раз папа несет Тарасика на руках. Так близко Тарасик видит папины глаза, в которые ударяет солнце!

О чем думает папа? Он думает теми словами, которые никогда бы не сумел сказать. «Мой сын», — так думает папа. «Моя опора», — так думает папа. «Моя защита, моя честь», — думает папа.

Он никогда не скажет этих слов. Может, они не его слова? Но это слова его сердца.

И папа клянется себе, что сегодня же ночью после работы непременно навестит дедушку.

Глава восьмая

Спит город. Спят его набережные и тротуары. Тихо на Красной площади. Лунный свет освещает зубчатые стены Кремля. Изредка проезжает по уснувшим улицам легковичка. Не видно автобусов и троллейбусов. И они спать пошли — в свой троллейбусно-автобусный парк.

Автобус закрыл единственный глаз и дремлет. Ему снятся сны. Ему снится, что он дребезжит на улицах города. Он слышит голос кондукторши:

— Переулоч Лозовского, следующая — Аэропорт!

И другое снится ему — то очаровательное, чего не расскажешь, а разве только увидишь во сне. Мелькание жизни за стеклами, вечно куда-то спешащие москвичи. Они сливаются в длинющую вереницу, в толпу, и у каждого в этой толпе своя забота, смекает во сне автобус, своя радость, горе, своя любовь...

А троллейбусу снятся длинные снежные мостовые на окраине города. Ему снятся набережные и реки, скованные льдом. Его погасший глазок мигает во сне от окрика школьника: «Ванятка, Ванятка, догоняй!»

Душно троллейбусу в спальне, переполненной запахами бензина. Ему охота обратно на волю, на Болотную улицу, к Замоскворецкому мосту.

Спит метро, погасла его рубиновая буква — большое «М». Для одних это просто буква. Для других — «мама». А иным кажется, будто это начало любимого имени — к примеру, Митя. Или, скажем, Матвей.

Спят окошки на всех городских улицах. Погасла неровная россыпь их огоньков. Спит булочная, спит зеленная, спит магазин «Детский мир». Спят деревья. В тишине ночи они дышат глубоко и ровно. Дремлет под снегом городская земля. Отдыхает, она устала. Копит силы, чтобы вытолкнуть весной травинку — короткую, приметную только для человека маленького роста.

Спит глубоко, спит сладко и заколдованно та городская даль, где город мягко сольется с пригородом, где, ежели прошагать километра два, завиднеется первый тощий лесок.

Свет редкого фонаря не может здесь заглушить свет луны и не спорит с ней. Волшебно, ярко и ясно сияет тут невытопанный прохожими, невыметенный дворниками снег.

Широки площади, велики улицы, длинны их нескончаемые дороги. Малы переулочки. Город затих. Четко слышится в тишине шум колес одинокой машины и шаг прохожего.

Город проснется рано. Ему некогда спать. В шесть часов зазвенит трамвай, зажгутся в домах окошки — одно за другим, одно за другим.

Но есть на свете такие окна, которые никогда не спят. Это окна наших заводов.

Если бы Тарасик мог прошагать через уснувший город и подойти к проходной будке дедушкиного завода, его не впустили бы туда. Вахтер сказал бы ему:

— Эй, пацан, давай уходи. Мало что дед, у всех деда! На завод без пропуска нельзя!

Но ведь мы-то можем взлететь к карнизу и заглянуть сквозь стекла дедушкиного завода.

...Это очень красивый завод. Он весь белый. Он выложен теми кафельными плитками, которыми выкладывают ваннные комнаты в новых домах.

Еще бы! Ведь он сам изготавливает эти плитки, не только белые — голубые, розовые, оранжевые, сиреневые. Плитки в цветочках, плитки

в клеточку. И такие, на которых нарисованы курица и цыплята. А есть и такие плитки, на которых одни только ноги аиста, на других только аистин хвост, а там — длинный нос и маленькая, будто глухая, головка. Если сложить — получится целый аист. Это плитки для детских садов. Но есть и другие — для новых станций метро. Они выпуклые, как пуговицы, и тоже разных цветов. А есть плитки, в них впаяны мыльницы. Есть другие — в них вделаны патроны для ламп. И чего только не придумают люди!

Так неужто такой завод пожалеет плиты для собственных цехов?

Плиты белые — печи черные на дедушкином заводе. Черные, длинные, похожие на тоннель. Так и называются: тоннельные печи.

Меж тоннельных печей бежит коридор — он бы тоже казался темным, но его освещают огненные глазки. В каждой печи — глазок. Каждая печь сливается со своей соседкой, как вагоны поезда. Да нет же — еще теснее. Глядит из каждой печки красный огненный глаз.

Надо сказать по правде, огонь бывает не только красный — он желтый, оранжевый и соломенный, — так говорят мастера завода. По цвету пламени старый мастер может сказать, какая завтра будет погода. Вот чудеса! Если цвет у глазка бело-желтый — стало быть, будет дождь. Красный — солнце.

Завод стучит и бьется, как все заводы на свете. Из стука, из грохота, из тьмы и света глядят, не мигая, огненные глазки. Они светятся ночью и днем. Утром и вечером. Они затеплились раз навсегда — и не гаснут и не погаснут. К печам ведут рельсы, по рельсам бегут вагонетки. В вагонетках — капсулы: так называются большие огнеупорные ящики. В ящиках — плитки. Их ставят в печь, и они бегут вдоль печи по конвейеру, чтоб закалиться и прокалиться.

Бегут вдоль печей, а печи одна за другой набавляют жар.

И вот уж летят плиты по другому конвейеру. У конвейеров — женщины, они проверяют каждую плитку: хоть белую, хоть голубую, а хоть с цыпленком или там с аистом.

Если плитка крошится, они не жалеют ее и выбрасывают. Значит, не крепкая, значит, не закалилась.

Неутомимо бежит конвейер. Утром, вечером, днем и ночью проверяют работницы прокаленные плитки.

А вот большой барабан. Это он только так называется: барабан — по-заводскому; на пионерский он не похож. Из барабана бежит струя, обливает плитки. Струя не какая-нибудь, а особенная, зовется «эмаль». Бежит густая, чуть желтоватая. Но только огонь нам расскажет, какого цвета была эмаль. Лишь в огне она поведаст о цветах, обо всех цветах радуги. И о тех цветах, что, может, не снились радуге. В первой печи розовеет плитка. Огонь крепчает, она краснеет. Огонь бушует, она становится алой.

Огонь!..

Есть на свете такая наука — химия. Но есть на свете искусство, причуда. И жар огня. Лаборант уверен, что плитка будет коричневой. Ан нет! Огонь обожжет ее, а плитка — хват! — и станет зеленой. Поэтому в лаборатории делают пробы, проверяют, какой же будет эмаль после обжига. Над этим работают лаборанты, инженеры и мастера.

...Бьется дедов завод и стучит, как всякий другой на свете. Только он еще и гудит вдобавок — гудом пламени.

На дедушкином заводе даже пол и тот частенько бывает белым. На полу — песок, каолин. Для дедушкина завода с разных концов Союза привозят глины. Глина ждет, чтобы сказать о себе под действием пламени. Ее проверит ученая лаборантка, но еще лучше ее проверит огонь.

Есть на свете глины красные, белые, огнеустойчивые, морозоустойчивые. А вы думали, так это просто: въехал в дом, а на кухне — на тебе! — красивые белые плитки.

Нет, не просто.

...Глядите, вон огромная печь, похожая на маяк. Она рвется вверх. Крутые ступени ведут к верхушке печи. В этой печке тоже бушует пламя.

Значит, и тут обжигают плитки?

Нет, в этих печах прокаляют жбаны, садовые вазы, куски колонны для сельскохозяйственной выставки.

Дед Тарасика — хозяин над этой печкой. Она большая и высокая, как маяк. И зовется она «горн».

Ты видел когда-нибудь гончарный станок? Ага, не видел! Только самые старые мастера умеют по-настоящему, так, как надобно, работать на этом волшебном станке. В Москве их два — дедушка Искра и мастер Гурилев. Гурилеву восемьдесят два года. Он пенсионер. Стало быть, в Москве на гончарных станках работает только дедушка Искра?

Нет, не только дедушка Искра. Но уж он работает — всем на зависть! Он украинец. Из Опошни. Издавна говорят — лучшие, самые лучшие гончары в Опошне. Когда мастеру Искре было тридцать два года, его пригласили в Москву, на завод.

Иные говорят: кустарщина! Кустарщина! Эх, до чего легко придумать словечко да и приклеить его — к человеку ли, к делу ли. А есть другое слово, хорошее, верное: не кустарь — умелец, мастер. И государство сказало: берегите умельцев, дорожите умельцами. Позовите-ка того, что из Опошни, — Искру! У него умелые руки, золотые руки. Станки, конечно, станками, а мастер — мастером.

...Дедушка работает на гончарном станке. Двери цеха приоткрываются, в щель заглядывают молодые рабочие. Они говорят:

— Это да!

Гончарный станок очень прост. Два разной величины деревянных круга. Один сверху, а другой внизу. Нет у него приводных ремней. Дедушка Искра сам заставляет его вращаться: ногой он нажимает на нижний круг, и верхний круг как завертится!

Эх, если б Тарасик мог подглядеть, как красиво работает его дедушка! Тарасик еще не знает такого слова — «кустарщина». Он знает слова «волшебство!», «здорово!», «ну и ну!». Он знает, что их фамилия — Искра, что его дедушка — мастер Искра. Ведь Тарасику еще и пяти не минуло. Ему не надо рассказывать про потайной фонарь, весь мир для него освещен светом этого фонаря. В его свету он увидел бы, до чего хорошо работает дедушка.

Дед берет кусок глины. Он швыряет его, вот именно что не кладет, а швыряет на верхний круг. Не силой — искусством удерживают руки мастера глину на верхнем круге. Если глина собьется с центра, никакой силой ее не удержать. Руки, ноги, глаза — все тело дедушки Искры прислушивается к станку. Левый глаз прищурен. Подбородок чуть выдается вперед. Бегут круги, руки мнут глину, каждый палец как бы рисует форму. И рождаются под руками дедушки блюда, вазы, причудливые кувшины — одним словом, все, что захочет дедушка. Нажим ноги, едва приметное движение пальцев. Круг бежит, летит, мастер слился с гончарным станком. Вот и дно той будущей вазы. Вот ее стройное узкое тело, вот ее ножка, изящная, легкая. Та, что будет стоять на земле.

В эту короткую, единственную минуту мастер любит себя, он гордится собой.

Бежит станок, в щель двери подглядывают молодые рабочие.

Весь содрогаясь, с перекосившимся, злым лицом мастер Искра хватает модель новой вазы — совсем готовой — с гончарного круга, мнет ее в руках и швыряет прочь. Как сын, он запускает руки в волосы. Только не русые, а седоватые... Опять и опять бежит под руками гончарный круг. Опять и опять прищуривается дедушка Искра, и снова мнет модель своей будущей вазы, и снова кидает ее прочь.

Где та короткая, та счастливая минута, когда он себя уважал?

Мастер взмок от злости и ненависти к себе.

«Вот, говорят, форма, форма...— бормочет про себя дедушка,— а какая такая форма? Свадьба формы и цвета — иначе изделия нет. Скучное дело будет, а вазы нет, не будет».

Поет станок, поет песня в сердце дедушки Искры, разрывая, а не утишая его.

...Художественный совет. На завод приходит приемочная комиссия. Парк имени Горького заказал заводу садовые вазы. Над ними работали три художника. Два молодых и один профессор, старичок. Над ними работал и дедушка Искра. «Допустили! — с горечью думает дедушка.— Конечно, нельзя подавлять инициативу старого мастера. Конкурс — пусть, мол, пробует, старый хрен».

...Те двое, молодых,— ничего не скажешь, ребята с огнем. Особенно один, у него ваза прямо поет, диво-дивное, а не ваза. Художество! Не дотянуться! И поразит же гром талантом такого немудрящего! Собой неказистый, лицо рябоватое, глазки, как щелочки. Нет, не спрашивает талант, на чью голову ему сесть. Этот парнишка себя еще раздокажет.

И сердце дедушки Искры щемило от счастья и зависти.

Что до профессора — тот не конкурент. Ваза как ваза, скучное дело, много таких было и не одна еще будет.

А что получилось у него самого?

Срам и позор, а податься уже некуда.

Он входит на художественный совет и приносит четыре модели садовых ваз. Он раздавлен. Он знает — это не то. Кто бы что ни сказал, все равно дедушка Искра знает: не то! Как побитый, входит мастер на художественный совет. Гордый, он жметя в углу. Упрямый, не поднимает голову.

...Что это там говорят? И один, и другой, и третий. И парнишка тот, рябоватый? Лучшие вазы — вазы мастера Искры.

Он не верит! Неправда! Не может этого быть!

Вазы плохие, ему ли не знать!

И, выйдя с завода, шагая домой, он садится на камень в чьем-то чужом дворе и закрывает руками лицо. Если б мог, он бы сейчас заплакал. И подумать только, подумать только! Справедливость какая!

Справедливость? Или пожалели, поняли, что нельзя ему, мастеру из Опшни, сгореть со сраму. Ведь самая лучшая ваза — зачем врать — была у того, у молоденького, рябого. «Ничего, сынок,— бормочет дедушка,— я тебе раздокажу, я тебе ответ дам. Ты дал мне намек, я отвечаю. Спасибо вам, люди, спасибо за доброе слово. Вы мне его вперед подарили».

Лишь теперь, услышав слово одобрения, дедушка Искра делает настоящую садовую вазу. Он за доверие отблагодарит. Он крылатый.

Она большая, вдвое больше Тарасика. Дедушка сделал ее на гончарном станке. Говорят, что этого не бывает. Но мастер Искра думает иначе.

Можно, конечно, сделать модель на станке — по шаблону. Потом ее увеличат — запросто переведут в настоящий масштаб, перельют в форму, разрежут на куски.

Но для мастера Искры отливка мертва. Он сделает вазу без отливки. Живая, выйдет она из-под его рук.

Дедушка работал не только пальцами. Он запускал в глину руки по локоть. И ваза родилась — живая!.. Обошлось без отливки — хоть верьте, хоть нет.

На работу мастера Искры глядели в щель не только парнишки-рабочие — директор завода, инженер по обжигу, лаборанты... Чудо-чудное! Он сделал ее без отливки — этакая силища!.. Упрямый, бешеный человек!

Она сохнет. Стоит в просторной отдельной комнате. Он ходит вокруг нее, глядит на нее и не дышит. Края у нее широкие, один опущен к земле. Она на широкой ножке, и весело этак она избоченилась. Ручки круглые, тонкие, детские... Ну, может, чуток потолще руки Тарасика. А будет она цвета кобальта. Это значит — синяя. От нежной голубизны — голубой, как небо, — перейдет она в цвет густой. Нет, не сразу, нет. Между ярко-синим и бледно-синим синька будет переливаться, играть. И кто посмотрит на вазу, вспомнит и василек и плюгавую незабудку, а кто бывал на море, море вспомнит, волну морскую. Она будет сохнуть пять дней, пока не поступит в большую печь, для того чтобы ее прокалил огонь.

...Из зелени, из земли глянет в синее небо небесно-голубая, морская ваза мастера Искры!.. В парке вокруг нее станут играть ребята. Будут лепить из желтого песка пирожки... И посмотрят они невзначай на нее разволшебную, расчудесную — синяя, а внутри пион... Вот примерно так... Пионы будут литься из вазы на землю, брызнут через ее края...

Мастер Искра ходит бесшумно вокруг широкой садовой вазы. Главное — впереди. Что скажет обжиг. Что скажет эмаль.

Если хотите знать, он не поставит вазу в капсуль. Живой огонь ее обожжет. Огонь — стихия. Что еще скажет ему огонь? Не придумать того человеку, что пожелает природа. Пламя — оно природа, стихия, причуда. Пусть говорит свое слово огонь.

На пару будут они работать — мастер Искра и горн.

Все, что угодно, может выдумать пламя, но не скажет скучного, тусклого слова. Искра — человек рискованный, он не поставит вазу в капсуль.

Завтра — день обжига. Тридцать шесть часов простоят мастер Искра у своего маяка. Он станет смотреть в окошки горна, гончары зовут те окошки «гляделками». Регулировать силу пламени — дело тайное, колдовское. Это дело старого гончара. Он его никому не поручит, не передоверит. Вазу внесут осторожно в раскрытые двери горна. Потом его замуруют. Вспыхнет пламя, и, все накаляясь, медленно, постепенно забушует оно вокруг парковой вазы, оно будет ее лизать — осторожно. И вот загудит — и обнимет вазу со всех сторон...

Искра не отойдет от печи. Он будет смотреть в окошки-гляделки.

Завтра — обжиг. Завтра ее замуруют в печь. Сегодня, может, последнюю ночь он поспит спокойно.

Но и в эту ночь он не лег. Он шагал и шагал по городу. Не то чтоб он думал о вазе, он не думал о ней. Что-то в нем бродило, пело. Мастер Искра не мог спать, не мог вернуться домой. Мысли, чувства, растроганность, даже какое-то умиление безудержно владели им.

Он устал. Хотелось присесть на скамейку в парке. Он присел на скамью, но что-то снова его подбросило и повело дальше. И вдруг мастеру показалось, будто вокруг него поют улицы. Это был один из прекраснейших часов его жизни, когда все вокруг как будто бы обрело слова. Каждое дерево, каждый дом. И набережные реки Москвы, и старый мост, перекинутый через реку.

Река Москва катила во тьме свои тусклые воды. Шумела чуть слышно. Он оперся о перила моста и внимательно, и вместе с тем не замечая реки, глядел вниз.

Глава девятая

А в этот же вечер папа Тарасика, едва дождавшись конца работы, пошел в свой старый дом. Он быстро шагал через двор, опуская глаза, подняв воротник, чтобы его не видали соседки. Знакомо и тихо запело старенькое крыльцо под ногами папы.

Отцовская дверь была заперта. Он постучал разок, прислушался. Уж который вечер отца нет дома.

— Да чего ж ты рвешься, Богдашка? Напрасно рвешься,— сказал ему сосед-плотник.— Твой старик на заводе. Позавчера, в воскресенье, мы хлебнули по маленькой, так он вроде помешанный — все ваза да ваза какая-то. Толком я не понял — знаешь сам, от него не скоро добьешься. А в понедельник, часа эдак в четыре, опять на завод — еще и светать не светало, а он уже шел через двор... Да что ты такой убитый? Правду говорят, тебя Сонька бросила?

— Верьте больше! — ответил папа.— Они наскажут... Сдал, понимаете, сопромат и решил навестить отца. Да никак не застану. А Соня в командировке.

— Сопромат? — спросил, удивившись, сосед.— Ага! Ну, значит, раз такое дело, надо выпить по маленькой.

— Нет, я, пожалуй, пойду,— сумрачно ответил папа и, не сдержав глубокого вздоха, пошел домой.

«Бросила,— рассуждал он.— Очень приятно. Привет! Уже молва пошла. Эх, жизнь! Не жизнь, а жестянка. Разве и правда, купить четвертинку? Дом пуст, хоть шаром покати. Ни жены, ни отца, ни сына. Одна кошка и та голодная. Куплю печенки, она любительница, пусть жрет, пусть отпразднует сопромат. К Тарасу бы зайти — так не отпустят его, пожалуй. Льгот нет. Потерял льготы, оскорбил, обидел ни за что ни про что хорошего человека, заведующую детским садом».

В руках — чекушка, печенка, консервы, батон за рубль тридцать пять. В коридоре тьма, в комнате отошавшая грустная кошка.

— Жри,— вздыхая, говорит папа и нарезает печенку.— Приступай к действию. Не купил молока? Ничего! Обойдешься без молока. Надо терпеть. Люди терпят, и ты терпи.

Кухня переполнена кошачьим чавканьем. Папе так грустно, что ему неохота нести чекушку в свою одинокую комнату. Он выпивает натошак тут же, на кухне. Кое-как, не садясь, закусывает консервами.

— Сопромат,— объясняет папа чекушке.— По существу теперь самое время праздновать. Подумать только — сопромат! Тебе ясно?

Чекушке ясно. Она сочувствует и молчит.

Стоя, он выпивает еще и еще. Отдает кошке остаток консервов, бредет в комнату, в темноте включает радио... Как-никак, а все человеческий голос. Нет, это голос не человеческий, а волшебный — это рояль!

Комната кружится, чуть качаются стены, словно бы утешая папу. Он зажигает свет, а рояль поет. Да что это, думает папа, что же это на самом деле? Да как же так?

Папа слушает музыку. Оттуда, из этой коробки-приемника (он ее сам собрал, вот этими руками), рвется ликующее, властное, такое большое, что ему не встать в комнате. Взлетает Сонино платье, блещут глаза, он бежит через площадь, бьется сердце, а коробка поет что-то самое важное на земле. О чем? Он не знает.

И все тише музыка, и будто гложет счастливое и победное. «Что это? — думает папа.— Оно ушло? Зачем ушло? Будь тут, не оставь, вернись!»

И вдруг, словно услышав папу, оно возвращается, прорываясь сквозь тихое, приглушенное, и снова звучит во всю силу, ликуя и побеждая. «Милая, услышь меня! — думает папа.— Милая, приручи меня!»

Кто же должен его приручить? Коробка от радио?

Папа думает не мыслями, не словами, а музыкой. У музыки все на свете слова.

«Милая, стань звездой, упави в нашу комнату, я подхватчу тебя. Вот руки, они будут крепко тебя держать. Не отпустят больше. Приручи меня. Услышь меня. Что же это такое, что же это такое?»

«Мы передавали «Порыв» Шумана», — ласково отвечает радио.

Шатаясь, папа идет к столу, хватает ручку и пишет маме письмо. «Не жалея, добивайся», — так думает папа, а пишет: «Милая Соня, у нас все в порядке, Тарасик здоров».

«Умираю, подыхаю», — думает папа.

«В детском саду условия приличные, питание удовлетворительное».

«Приручи меня, посади на цепь», — думает папа. И пишет: «Без тебя скучаем, особенно Тарас. Будь здорова, целуем».

Он хватает конверт, крупно выводит: «Авиа», заклеивает письмо.

Завтра, клянется папа, пусть он подохнет, но перечитывать не станет, опустит в почтовый ящик как есть.

И на следующий день опускает письмо на главном телеграфе: так быстрее дойдет.

Откуда же ему знать, что оно не долетит до мамы Тарасика? Когда письмо долетит, ее уже не будет на Дальнем Востоке...

Глава десятая

«Да нет, да разве я старый? — говорит себе дедушка, шагая вокруг своего маяка и засматривая в гляделки.— Нет такого порядка, чтобы в пятьдесят семь лет объявлять человека старым. Другие в такие-то годы еще женятся, хозяйку в дом приводят, жизнь снова начинают. Что же это — как саван, прежде времени старость на себя надевать?»

Так думал дедушка. Так думал он теми вспархивающими мыслями, которые часто бывают после бессонницы. Так он себе рассказывал, потому что пришел час самого белого света. А ведь бывают и черные часы. И чего только не говорит себе в этакий черный час человек! Да и глуп ты, и туп, и не нужен ты людям, и спасибо тебе никто не скажет, и живешь ты на земле зря, а помрешь — добрым словом никто не поминет. Так говорит себе человек в черный час.

А теперь белый свет — светлый час. Солнце рвется в окна завода. Его отражают белые плиты и белый пол. И что только не приходит в голову мастеру Искре!

«Надо бы справиться хороший костюм... Софье — платье... Тарасу купить двухколесный велосипед. Чего ж, материальное положение позволяет», — думает он, покуривая у своего горящего маяка.

Посмотрит в гляделки — тревогой и счастьем сожмется сердце. В горне бушует пламя. «Эх, друг, что ты еще мне скажешь, что ты мне поднесешь?» — говорит мастер Искра огню. И огонь отвечает ему: «Порядок, не подкачаю. Мы с тобой знакомы не первый день. Забыл ты, что ли, про тот куманэць?.. Ты и тогда был не в себе, друг любезный, однако стоит куманэць в музее и будет стоять, алый, как твои зори в

Опошне. А? Забыл? А помнишь, как бился старик архитектор над тем фонтаном в Брюсселе? А ты взял и подкинул ему мыслишку: мальчик с дудкой и белый лебедь. Может, я тебя подвел тогда? Ты вспомни: лебеди белые, трава зеленая, а мальчишка белесый. И была вода из белой чаши фонтана. Видел ли кто цвет чище и ярче? Я ль на тебя не работал? Эх ты, а еще зовешься Искрой!.. А помнишь, когда родился внучок, я обжег тебе чашечку-невеличку: сама коричневая, а середка желтая, весело небось из нее, из желтой, белое молоко пить?.. Ага, вспомнил! То-то, браток! Ну, а уж синий цвет я тебе устрою синее моря, синее неба — одно слово, ультрамарин,— порадуя, не сомневайся».

Так говорил огонь, мигая в окошках-гляделках.

Горн медленно набирал жар. Мастер Искра обходил печь, следил за режимом обжига. Надо медленно прокалять изделие — не дало бы трещины. И он его прокалял, как надо.

Стал меркнуть свет за окном. Спускался вечер. Зажегся в крошечном домике против завода огонь — бледный, жалкий, электрический. Куда ему до живого огня!

— Ты бы, Тарас Тарасыч, все-таки пообедал,— сказала дедушке Искре уборщица Марфа Андреевна.

Эх, люди, живут, а главного в жизни не понимают. Спать да есть — вот и вся их забота. Однако она ему принесла еду. Он был голоден, а не знал... Ел, вздыхая, посапывая, и все вышагивал вокруг своей печки, как ученый кот на цепи вокруг волшебного дуба.

Жалостливо поглядывала она, как он рассеянно и жадно ест.

— Тарас Тарасыч, ты бы присел, сердешный!

— Отстань! Заладила.

— Молочком запей.

— Не твоя забота.

Пошел десятый час обжига. Вторые сутки, как он не спал. Сейчас подбавит огня, за окном стемнеет, и выступят из синевы нежаркие электрические огни. Хороши они, да куда им до бушующего огня?

Поет печка, тихо мурлычет что-то себе под нос мастер Искра. Через десять минут, не позднее, однако не ранее, еще шибче забушует пламя в печи, а потом, через три часа, еще шибче, а через шесть — еще того шибче, пока медленно, осторожно не станет мастер ласково утишать огонь.

Глава одиннадцатая

«Эх, молодость!» — думает дедушка Искра и, улыбаясь, ощупывает карман пиджака, в котором письмо от мамы Тарасика. Вот уже третий день, как дедушка получил письмо. Он ответит... Как только закончит обжиг. Он не умеет делать два дела сразу. Сначала та, синяя, что в горне, а потом уж София. Утешит ее. Найдет для нее слова. Опять-таки навестит Тарасика. Вот уже четыре дня, как он его не видал. На самом деле, не похудел ли Тарасик?.. Материнскому глазу оно виднее. Взыщет, скажет: недоглядели. Ребенок с лица опал.

Да нет же, нет, главное вот что: он скажет — эдак как-нибудь осторожно — о Богдане, так, мол, и так, вот этот индюк и впрямь с лица опал... С тоски поколел, оттого и собачится. Гордость — это у нас семейное, надо понять.

...Одна. Каково ей там? Слышит ли, как шуршит конверт в кармане отца? Слышит ли его мысли?

Эх, Богдан, дурак-дурак! Обидел бабу. Горько обидел. И правду надо сказать: не раз обижал. Бабы — они как дети. Им подавай слово? Люблю, мол, жить, мол, без тебя не могу. Да не раз в год, а каждый

день. Да не намеком, а так: супу поел — ах ты, душа моя, уж так тебя люблю! Рубашку выгладила — свет ты мой ясный, да как же я без тебя! Мужик думает, оно и так понятно, ан нет! Им всеми словами надо. А Богдан насчет слов плоховат, как все мы, мужики. Опять-таки уважения никакого ей не выказывал, целыми вечерами где-то с товарищами околачивался. А напоследок? Даже на вокзал не пошел проводить! Уехала разобиженная. А обиженная баба — опасное дело: обида, как огонь, что выскочил из печи. И сам не рад, и как удержать не знаешь. Ох, не натворила бы она делов. Девка хорошая, а на корабле моряки, один к одному — красавцы. Плюгавого на флот не возьмут.

«Да нет,— подумал дедушка испуганно,— ничего она не натворит. Мать она. Тарас у нее... Тарасик!.. Понимать надо!»

И с той добротой, с той нежностью, которая приходит к человеку, когда он счастлив, полон веры в себя и надежд, дедушка Искра думает о маме Тарасика.

Так, значит. Десять минут прошло. Так... Подача газа. Он зажигает спичку, подносит ее к кочерге, обмотанной на конце паклей. По-гончарному эдакая кочерга называется факелом. Неприметно дрожит рука: она устала. Мастер медленно открывает газ и подносит к газовому отверстию факел.

Крик, отрывистый, дикий крик заглушает биение машин. Крик дрожит в ушах у дедушки Искры. Мастер Искра не знает, что это кричит он сам. Все вокруг исчезло. Нет печи, нет вазы, нет вечера за окном. Тьма. Боль. Глаза как будто засыпало раскаленным песком. Боль рываает глаза. Тьма, тьма, тьма... И над этой тьмой короткий и страшный крик. Это он кричит. И медленно оседает на ступеньку погасшего для него маяка.

Нет, нет, не может этого быть. Не смерть же это. Когда человек умер, ему не больно. А все то, что осталось от жизни дедушки Искры, превратилось в боль.

Его крик подхватывает десяток других голосов. Его поднимают, ведут. Он идет, спотыкаясь, вниз по ступенькам горна. Кто-то ему говорит: «Тарасыч!» Он слышит плач. Плачут женщины, словно умер он и слышит над собой причитание.

— Взрыв! Глаза! — объясняют люди друг другу.

— Доктора! Скорую помощь!

— Обопрись, Тарасыч,— говорит сменный мастер Антоныч.— Погоди, не бойся... Еще, может, и ничего.

— Да как же ничего, когда глаза! Вот в чем главное дело — глаза! — отвечает кто-то из тьмы. И тьма голосит дурным бабьим голосом: — Тарас Тарасыч, родной ты наш! Сердешный! Нынче даже и супу не похлебал! Которую ночь не спит!

— Да что ты по нему, как по покойнику? Ума решилась? Замолчи давай! — сердито говорит Антоныч.— Не слушай ее, Тарасыч! Баба есть баба.

В руке мастера Искры чья-то рука. Она женская, жестковатая, рука работницы.

«Кто же ты?» — думает он сквозь боль.

«Родной человек,— отвечает рука.— Не бойся. Я с тобой».

Но ее лица он не помнит, не знает. А взглянуть не может. Свет погас.

Разве он знал, что такое свет?.. Не стало света, не стало завода, людей и вот этого человека, что держит его за руку. Стало быть, это и было светом?

Все как будто теперь на той стороне, на том краю жизни. За тем

краем, где был белый свет, лежала любовь, обиды, река, на которую он глядел той ночью. Темная, катилась она...

И всплыли вдруг из черноты ночи и боли продолговатые отсветы тусклой воды. Они-то и объяснили своим простым языком дедушке Искре, мастеру Искре, что он ослеп.

Белый свет лежит на той стороне.

Темно.

Медленно и бесшумно катится слеза по щеке дедушкиного друга, сменного мастера. Но этой слезы мастер Искра не видит и никогда не увидит. А жаль. Потому что такая слеза, слеза товарища,— самое справедливое зеркало. Только ей одной дано отразить человека как гражданина. Мать станет плакать по сыну-убийце. Жена оплачет мужа, каков бы он ни был, хоть пьяницу, хоть какого. Дочь и сын оплачут отца, даже если он их оставил. Истинно справедлива только слеза товарища. По человеку худому товарищ плакать не станет. Все малое исчезнет, если уж брызнет слеза из его глаз: и то, что напарник был неуживчивый человек, сварливый, то и дело собачился. И то, что угрюмый он был. И одержимый, хуже пьяного. Пьяный — тот хоть проспится на другой день, а этот неделями ходит, как заколдованный: то новая ваза не получается, то обидели мастера Искру, опозорили и наплевали ему в глаза. То — не знаете вы Тараса Искру, какой он есть,— первый человек на свете! Что говорить, всяко бывало. Но сейчас сменный мастер об этом не помнит. Медленно катится слеза по щеке дедушкиного друга. А если слезу о тебе твой товарищ прольет — стало быть, ты был человеком. В слезе товарища отразишься ты во всей своей доблести, во всем своем мужестве, во всем хорошем, что в тебе есть. Зазря товарищ плакать не станет.

Антоныч, сменный мастер, плакал. Но дедушка не видел той слезы, и поэтому она его не утешила, не согрела.

Машина скорой помощи доставила деда в больницу. Откинув голову, сидит он в приемном покое, и та же рука, жестковатая, незнакомая, по-прежнему крепко держит его. Это уборщица Марфа Андреевна.

Дедушка слышит, как Антоныч ломится в кабинет врача и кричит доктору не своим голосом:

— Да что вы, ополоумели? Глаза! Лучший мастер! Гордость завода! Ему глаза нужны!

— Глаза всем нужны,— отвечает спокойный голос за дверью.— Сейчас отпущу больного и примем меры. Не могу же я сразу двоим оказывать первую помощь, как вы думаете? Попрошу вас освободить кабинет.

— Болезный ты наш! — причитает Марфа Андреевна.— Голубчик ты наш, и за что страдаешь? Ты ль не старался? Ты ль душу не вкладывал? Ты ль на работе себя не убивал?

— Гражданка, дома будете плакать,— на ходу говорит голос из темноты, и дедушке Искре кажется, что этот голос зевает. Ну что ж!.. На свете много слепых, и глухих, и немых. Этот мир, пожалуй, горем не удивить.

Дверь распахивается. Мастера Искру под руки вводят к врачу.

— Откройте глаза!

Он не может открыть глаза.

— Капли! Дикаин!

Умелые пальцы разлепляют веки дедушки Искры.

— Ты видишь? — кричит ему Антоныч.

Дедушка Искра молчит. От боли он сам не знает, ослеп или не ослеп. В глазах песок. Чтобы не кричать, он мычит.

— Больной, держите себя в руках! — тянет знакомый зевакий голос за дедушкиными плечами.

— Молчите, Зинаида Петровна! — говорит доктор.

— Ну как? — допрашивает врача Антоныч.

— Да пока что трудно сказать, — отвечает доктор. — Картина нам станет ясной только денька через два. Не раньше.

Глава двенадцатая

Есть в больнице столовая, есть гостиная, библиотека. В столовой столы накрыты очень белыми скатертями. На столах цветы — живые, но не душистые. Потому что зима. В гостиной висят на стенах олеографии, на полу потоптанный красный ковер.

Это самая молчаливая на свете больница — больница слепых. За таилась — то ли в страхе, то ли в надежде, то ли ломит душу отчаяние, то ли вслушиваются в темноту всем существом своим, каждой порой. В больнице большие окна. В окна врывается свет, освещает палаты, где лежат люди с перевязанными глазами. У многих больных на ушах наушники. Лица напряжены. Они слышат шепоты, шумы, шорох платья, звон тарелок в столовой, едва приметный для зрячего.

Для зрячего мир велик. По его земле ходят люди, они улыбаются. На столах в столовой цветы, розоватые и сиреневые. А для слепого: у человека — походка, голос, у цветка — только запах, у солнца — тепло. Для слепого мир переполнен звуками, о которых не знают или просто не думают зрячие. Щебетнул за окном воробышек — это утро. Главврач сегодня в туфельках на каблуках. Каблуки стучат острым торопливым стуком... Вчера она была в ботинках — может, нынче у нее свидание, ведь женщина молодая... Голос звонкий, чистый, веселый...

Для слепого мир переполнен запахами, которых не знает зрячий. А может, просто о них не думает.

Для слепого от рождения «Пионерская правда» и «Вечерняя Москва» пахнут по-разному. Мы не чуем, а слепой знает: они набраны в разных зданиях, их развозили разные люди.

Слепой и солнце видит иначе. Он видит его кожей. Даже зимнее, оно согревает его. Он чувствует его теплую рябь на своей руке.

Солнцем, светом, сиянием переполнены палаты глазной больницы. Тьмой, запахом и звуком отзываются они слепому.

Старость и юность — все здесь объединила тьма. Стариков, пораженных старческой болезнью — глаукомой; молодых рабочих, чьи глаза пострадали от травм; подростков, которые родились слепыми; тех, чьи глаза поразила корь во время эвакуации, когда рядом не было ни медикаментов, ни врача-глазника, а часто не было и мамы.

Фронтвики... Да, да, известно: война окончилась. Мы выиграли войну. Полтора десятилетия отделили нас от нее... Но вот на диване сидит человек тридцати шести лет, бывший воин. Лицо у него красивое, улыбка, будто к себе обращенная. Глаза, как у зрячего, голубые и ясные. Но не видят. Нянечки и врачи все знают, что у него жена, что она красавица. И он знает: красавица. Как не знать — они вместе учились в школе. Он помнит ее лицо, он помнит его духовной памятью света и детства. Ее лицо знают руки слепого воина, пальцы помнят каждую морщинку на этом молодом, красивом лице. У слепого двое детей, они его навещают по воскресеньям.

Четвертая операция. Врачи пытаются вернуть ему зрение. На этот раз прижилась роговица. Но видеть слепой не стал. Наука, доведенная до искусства, сочувствие, доведенное до высоких пределов любви, не

сдаются и не сдадутся. Будет пятая операция, шестая, седьмая... Он должен увидеть своих детей. Хоть однажды, хоть ненадолго.

...Марфа Андреевна — ей дали свободный пропуск в больницу — проходит по коридорам и плачет. Она плачет бесшумно, не смеет всхлипывать. Не велено. Удалят. Но вовсе не плакать она не может. Да и куда денешь слезы? Где найдешь на них управу?

— Гражданочка, у всех мужья, у всех дети, а никто не рвется в палаты, распорядков не нарушает.

Марфа Андреевна не отвечает, только машет рукой. Удалят. Объяснишь, что не муж,— удалят. Так уж лучше молчать.

Он тихо лежит на своей кровати. Прикрыт одеялом, а руки выпростаны. Медленно, как будто что-то наигрывая, шевелятся пальцы мастера Искры. И Марфа Андреевна думает:

«Убирается. Значит — конец».

Больно ему, она знает, больно. Шибко болят глаза. Но он не стоит, молчит.

Когда Марфа Андреевна входит в палату, она понимает: Искра прислушивается. Когда она садится рядом, он берет ее руку в свою.

— Спасибо,— так говорит он ей.— И откуда ты такая взялась?

— Уж будто не знаешь?! Из цеха... Или запомитовал? Я — Марфа Андреевна... Уборщица. Велели: дежурь — все ему веселей... Человек одинокий, характерный... А ты, говорят, потакай, потакай. И чтоб ни слова наперекор... Вот я, значит, и потакаю. Съешь-ка, родимый, яблочко...

Он ест покорно, как маленький ребенок. И вдруг начинает бормотать. Он перебирает пальцами, мотает головой, тяжело вздыхает. Плохо ему, видеть, очень плохо.

...Когда человек счастлив — свет бел для него. Всего на свете хочется человеку, обо всем ему помнится, во все верится. Когда человеку горько, даже если он не слепой,— темнота, глубокая темнота, поглощает свет. Кажется темным и прошлое, и будущее, и настоящее. Словно кто покарал тебя темнотой

«Что он там говорит?»

— Затонула София,— бормочет Искра.

— Кто затонул? Опомнись! — увещевает Марфа Андреевна.

— Дочка моя, София,— бормочет Тарас Тарасыч.— Письмо у меня в пиджаке. Не ответил, не успел. А она ждет, мается. Дочь моя дорогая, дочь моя золотая, моя ненаглядная. В дом влетела, как бабочка. Думает, что отец забыл. А она — вот она где у меня, если хочешь знать!

И, сжав кулак, Тарас Тарасыч показывает Марфе Андреевне место, где сердце.

— Расколелась... Ваза расколелась. А такая синяя была. Забыл, забыли...

— Да знает она, что ты болеешь о ней. Какой же отец про дите забудет? — утешает Марфа Андреевна.

— Нет, не знает.

Он усмехается горько и все твердит:

— Затонула моя София. Расколелась в огне.

Он говорит не «Софья», он говорит «София» — длинно, красиво и ласково, как называют лодку моряки.

— Ты бы, Тарас Тарасыч, вздремнул,— отвечает Марфа Андреевна.

И жалость и боль разрывают ей сердце, подступают к горлу.

Про что бормочет, о чем вспоминает? То ли дочку свою, то ли вазу. Не поймешь. Да что понимать — горячка помирает человек.

В палату входит докторша.

— Родимая,— говорит Марфа Андреевна,— взгляни. Боюсь. Отходит. Кончается.

— Да что вы, милая,— отвечает докторша.

— Помирает,— твердит ей Марфа Андреевна.— Я больше тебя прожила, доверься... Мужа, двух сынов схоронила... Гляди — он пальцами шевелит.

— Успокойтесь,— отвечает докторша.— Это бред, это естественно, температура высокая. Успокойтесь.

Марфа Андреевна снова садится около Тараса Тарасовича.

Он дремлет. Ночь. Она входит в окна больницы первой яркой звездой. Но слепому она не видна. «И постигнет же кара такого хорошего человека!»

Марфа Андреевна на цыпочках спускается вниз, в приемный покой. Она просит у кастелянши пиджак больного Искры или хоть письмо. Пусть пошарят. Может, в самом деле в кармане лежит письмо.

— Грех на душу не возьму, все же дочь!

— Да что вы, тетя,— отвечает Марфе Андреевне молоденькая кастелянша.— От таких ожогов не помирают.

Марфа Андреевна не слушает. Ощупывает карманы старого пиджака. Письмо!.. Нет, пустой конверт... Она шарит снова и снова... Нет письма! Да вот он, тут,— на конверте обратный адрес: «Дальний Восток. Пароходство. Черных для передачи Искре».

Перед тем как уйти домой, Марфа Андреевна устало бредет на почтамт и неумело, корявыми буквами, составляет короткую телеграмму дочке Тараса Тарасовича.

Марфа Андреевна ничего не скажет Тарасу Тарасовичу про телеграмму. Лишь бы София поспела приехать. Захоронить отца, закрыть глаза ему — слепые, незрячие...

Она протягивает в окошко кое-как заполненный телеграфный бланк.

— Гражданочка, перепишите,— отвечает девушка за окошком.— Все ж таки телеграмма.

Хорошо. Она отвернет лицо, слеза не капнет, и буквы не растекутся, дочь успеет приехать, она закроет отцу глаза...

Когда с дедушкой на заводе случилось несчастье, Антоныч сразу поехал к папе Тарасика. Дверь была заперта. На следующий день он снова приехал к папе Тарасика. Дверь была заперта. Он постучался к соседям и спросил, не знают ли те, где товарищ Искра.

— Где? — всплеснула руками жена лекальщика.— Ясно где. Не иначе, в милиции. Повалился кувшин по воду ходить...

Такому делу Антоныч, разумеется, не поверил. Он решил, что папа Тарасика в командировке. Однако пришел опять на следующий день. Дверь опять была заперта. И тогда Антоныч опустил в почтовый ящик записку.

Кто бы мог догадаться, что, не снеся одиночества и сдав сопромат, сын мастера Искры взял под мышку кошку, а в руку портфель и ушел на несколько дней к своему товарищу Рахматулину. Все же люди, тепло, семья. Жилой дом. Правда, Рахматулин (и папа Тарасика ему этого не забыл) поглядывал как-то на Соню, но с кем не бывает?.. Главное: раз — не быть одному, и два — не думать и не говорить о Соне.

Антоныч не сдался. Детский сад, в который отдали внучонка мастера Искры, был подшефным садом завода. И Антоныч пошел в этот детский сад.

— Несчастье,— сказал, запинаясь, сменный мастер заведующей.— У вашего пацана Тарасика вроде пропал отец. Ищем, а он как сквозь землю провалился. Если вдруг придет к вам, скажите ему, будьте на-

столько любезны, что на заводе была авария... Эдак как-нибудь поосторожнее скажите, а то до смерти напугается. Тарас Тарасович Искра, папаша его, в первой глазной больнице... Глаза повредил. Так и скажите: чтобы, не мешкая, шел к отцу.

— Передам! — сказала заведующая испуганно. — Непременно передам. Послезавтра суббота, он придет за Тарасиком.

Как только Антоныч ушел, заведующая вызвала Маргариту Ивановну.

— Маргарита Ивановна! — сказала она, задумчиво и как-то страдальчески глядя искоса на аквариум с новыми золотыми рыбками. — Вот вы старше, вы опытнее, скажите, почему это так бывает, что на одного человека валятся все несчастья: у ребенка матери нет... Отец-одиночка. А тут еще эта авария с делом.

— Опамятуйтесь, Майя, — ответила Маргарита Ивановна строго. — Как это у ребенка нет матери? Вы их слушайте больше, они вам наскажут. А деда мы навестим. Я и Тарасик. Сегодня. Сразу после работы возьму Тарасика и пойдем в больницу. Дайте-ка адрес.

...И вот она уже снимает пальто с Тарасика в вестибюле глазной больницы.

— Тарасик, ты, когда увидишь дедушку, шума не поднимай. Подойди тихонечко и скажи: «Дедушка!» Если хочешь, можешь дедушку поцеловать. И подай лимон. Ты не потерял лимон? — шепотом наставляет Маргарита Ивановна Тарасика, пока они поднимаются вверх по лестнице.

Коридор. По коридору ходят больные. Вот дверь палаты. Она закрыта. Маргарита Ивановна крепко держит Тарасика за руку, в другой руке у него лимон. Осторожно, словно двери тоже больные и надо их поберечь, толкает их Маргарита Ивановна.

Вечер. Он тихо льется в палату. Свет в палате еще не зажжен. В окне — нежнейшая первая синева вечера. Издалека виднеются дрожащие дальние огни. Но разве мастер Искра их видит? Он, который и под землей видел, который знал цвет едва пробившейся первой травки; цвет всех океанов, хоть и не плавал по океанам; цвет всех огней — и близких и дальних; цвет лучей — их сияние, голубое и красное.

А теперь он слеп. Свет погас. Есть один только цвет: черный. И сколько ни просит врач: «Больной, откройте глаза. На секунду. Комната затемненная, поглядите только на лампу, проверим зрение», — дедушка не хочет раскрыть обожженных глаз. Зачем? Он знает: слеп. А если слеп — стало быть, мертв мастер Искра. Тарас Тарасович живой, а мастера нет.

Маргарита Ивановна и Тарасик входят в палату. Они ищут дедушку. Стоя на пороге палаты, они оглядывают койки. Вот молодой парнишка в черных очках сидит на кровати и что-то тихо-тихо поет. Вот, отвернувшись к стене, лежит какой-то древний старик с седой бородой...

— Подойди же к дедушке, — говорит Маргарита Ивановна.

— Это не мой, — шепотом отвечает Тарасик.

Внимательно и серьезно, наклонив голову, мальчик глядит вперед, его рука в руке Маргариты Ивановны. Тут нет его дедушки. Вон там, на койке, в углу, какой-то старик с обожженной красной щекой, рядом с ним тетенька. И вдруг старик стонет:

— Пить! Подай водицы!

Это дедушка. Даже голос дедушкин вовсе не тот, что знал когда-то Тарасик. Но он угадывает: старик с обожженной щекой — его дед. Он это слышит не слухом, а страхом, тревогой и горем. Твердо шагнув вперед, оторвавшись от Маргариты Ивановны, он идет к окну, где койка того старика, которым стал его дедушка. И тихо, спокойно говорит не «здравствуй», а «дедушка, вот, я принес тебе лимон».

— Тарасик! — И дедушка открывает глаза. Глаза, которым так больно от света, что до сих пор он ни разу не посмел их открыть, даже в той темной комнате, куда его водили врачи. — Тарасик! — говорит дедушка и закрывает глаза. Но в ту короткую минуту, когда он от неожиданности их раскрыл, он увидел свет за окном и дальние огоньки. Ласковый цвет кобальта, цвет размытый, нежный... И сияние дальней первой звезды. Из этого света, из боли в обожженные глаза дедушки глянул Тарасик.

— Не внук он мне, звездный сын он мне, — непонятно забормотал дедушка.

Стало быть, мастер Искра видит! Он зрячий! Он жив. Не ослеп.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

А где же мама Тарасика? Ничего не знает она о том, что случилось с дедушкой. Не знает, как крепко думает о ней, как зовет ее папа Тарасика... Одно только знает мама, что есть у нее сын. И где бы она ни была, по каким бы ни плавала морям-океанам, он — рядом.

Это было их первой разлукой. Они никогда не расставались прежде — Тарасик и мама.

И уж, кажется, как далеко была она, а с каждой минутой уезжала все дальше и дальше. То она ехала поездом, то на грузовике, то летела самолетом, и вот — мама в море. На танкере.

...Как мелко изодранная белая бумага, взлетели в полутьме чайки. Понеслись вперед частыми клочками. Пролетели наискосок, над судном...

За бортом зашуршала вода, похожая на пемзу.

На маму дхнуло пристанью — тем особенным морским запахом, который бывает только в портах: горьковато — арбузными корками (они гниют в воде); сладковато — от кофе (его привозят сюда из стран Африки); терпко — от апельсинов (они лежат в больших деревянных ящиках на портовых складах).

Загремело цепями — это загрохотала тяжелая якорь-цепь. Она поднялась со дна, вся облепленная тиной и ракушками. Большущий якорь поволок за собой серо-зеленую бороду из ила и травы. С его бороды закапала в море вода.

Танкер отходил от берега, а берег как будто бы наступал на него и не хотел расстаться с ним. Владивосток стоит на крутом берегу, и все его огни хорошо видать с отходящего судна.

Огни говорили танкеру о земле. Они словно протягивали к нему свои руки, чтобы его удержать, рассказывали моряку о доме, который он оставил во Владивостоке.

Все меньше делались огни, все ярче звезды. И вот зажглась и выплыла в небо луна.

Не стало видно морякам берега. Не стало видно с берегов танкера.

Теперь уж судно отбрасывало в воду отблеск своего собственного огня. На его высокой мачте был белый огонь, на правом борту — зеленый, на левом — красный.

«Встречное судно, гляди не столкнись со мной», — говорили, светясь, ходовые огни танкера.

Для моряков этот танкер был сушей, островом посредине большого моря.

Для земли он был государством. Он нес на своей фок-мачте советский ходовой флаг.

Он нес красный флаг, а на борту — советских людей, граждан Советского государства.

Танкер шел. Он рассекал воду. За ним волочились большие, длинные, светящиеся водяные усы.

Глава первая

Расставив руки, как будто прокладывая себе в темноте дорогу, мама Тарасика зашагала к металлической крутой лесенке, которая по-морскому называется трапом. (Если человек, чего доброго, оговорится и назовет трап лестницей, а иллюминатор — окошком, матросы будут над ним смеяться.)

Мама была на палубе одна. Как только танкер отчалил, палуба сразу опустела.

Каждый был занят своим делом: кто в машинном отделении, кто на камбузе (так по-морскому называется кухня); кто нес вахту в ходовой рубке и направлял движение судна, а кто стоял на баке и следил, не плавают ли где мина, оставшаяся в море со времени войны.

Танкер глубоко оседал в воду. (Такая уж у него «посадка», как говорят моряки.) И маме казалось, что море совсем близко от ее ног. Она шла, а оно обдавало ее с обеих сторон своим ночным, прохладным дыханием.

Она стала подниматься в темноте к ходовой рубке, ветер приподнял полы ее пальтишка и начал их трепать изо всех сил. Мама шла вверх, а еще выше — высоко над ее головой — бился, летал и вспархивал на мачте темный в темноте флаг.

И вот она открыла дверь в ходовую рубку. У штурвала стоял матрос, а у стола, над картой, — молодой штурман. Глядя на них исподлобья, мама остановилась в уголке.

Ярко горела во тьме картушка компаса. Настольная лампа освещала карту на столе молодого штурмана — третьего помощника капитана. Через стекла окон — справа и слева — виднелась темная вода. Дорога луны, длинная и как будто рябая, раскалывала море надвое. Темнота за стеклами была разной: тускло блестящей, как лезвие перочинного ножика, и полной — черной и глубокой. Там билась жизнь, ночная жизнь моря. Оно дышало, двигалось и несло вперед обитаемый островок, который назывался танкером.

Когда за мамой с шумом захлопнулась дверь, штурман незаметно скосил в ее сторону глаз из-под козырька своей морской фуражки. Глаза глядели вниз, а улыбка как будто приклеилась к его губам. Матрос у штурвала, оглянувшись на стук дверей, широко, добро и открыто улыбнулся маме Тарасика.

Теплая рубка была похожа на дом. Она сияла чистотой. Блестела медью широкая единственная ножища компаса, и слышалось тихое пиликание, похожее на стрекотание сверчка: это дышали электроприборы.

Если бы отлететь далеко в море и взглянуть оттуда на ходовую рубку танкера, стало бы видно, что она светится в темноте, как лесная избушка, своими маленькими оконцами. Сосредоточенно и молча люди делали свое дело: вели вперед танкер.

Было скучновато, но уютно.

Мама постояла-постояла тихонько в уголке и неслышно, чтобы не мешать людям работать, пошла на верхнюю палубу.

Под звездами, задумчиво заложив ногу за ногу, стоял парнишка — сменный матрос. Ему было семнадцать лет, он был стажером — учеником морского училища и проходил свою первую морскую практику. Подперев рукой щеку со зверским выражением, как будто у него до не-

возможности сильно болят зубы, мальчик глядел вверх, на светлые звезды.

И вдруг одна звезда — ярко-желтая — сорвалась с неба и очертя голову кинулась вниз.

Море зажглось. Оно вспыхнуло белым огнем.

Стажер сказал: «Уф ты!» — и, удивившись, поднял остроносое лицо к звездам.

В воде как будто загорелся маленький островок. Было похоже, что воду в этом месте облили керосином и поднесли к ней спичку. Не было видно языков пламени — огонь расплзался вширь. Мгновенно вспыхнув, островок растекся и погас. А рядом вспыхнул другой островок.

Их стало несколько. Они растекались, сливались, и все море вокруг стало бело-зеленое: будто подводный фотограф осветил его изнутри могучей и короткой вспышкой магния. «Ах, если бы это увидел Тарасик, — подумала мама. — Надо запомнить получше. Приеду — все ему расскажу!» Так она думала и не знала, где возник этот белый пожар. Не там ли, где живут прозрачные и страшные осьминоги или сплюснутые одноглазые камбалы?.. Вода сияла так сильно, что сделалось видно: флаг, который полощется на высокой мачте, ярко-красного цвета.

Высыпали на борт матросы, свободные от вахт. Прибежали буфетчица и кухарка. Вышел из ходовой рубки штурман — третий помощник капитана. Люди охали и увещевали маму Тарасика:

— Вот вам, пожалуйста! Отразите. Отразите в газете! А то говорят, нет, говорят, романтики.

— Я этого не говорила. Море очень красивое, — вежливо отвечала мама.

— Это оно от звезды, от звезды зажглось! — размахивая руками, объяснял стажер. — Вот я тут, ребята, стоял, а гражданочка — тут. А она, звезда-то, ка-ак с неба сорвется и полетит, полетит! Оно и зажглось.

— Глуп ты, вот ты кто после этого, — сдвинув брови, оборвал мальчика боцман. — Это ж планктон! Слыхал? Планктон, одним словом. Он от трения загорается. То ли косяк рыб под водой проходил, то ли этот самый планктон о борта танкера ударился...

Все шумели и перекрикивали друг друга:

— Горит! Море горит!

А матрос-рулевой, который стоял у баранки, не сошел со своего поста. Он не мог оставить штурвал даже ради светящегося планктона. Но и ему было видно сквозь стекла ходовой рубки, что море горит. Медленно, осторожно стало оно погасать.

И погасло.

По-прежнему светились фосфорическим ярким светом только гребешки волн.

Глава вторая

«В случае гибели судна капитан должен принять все меры к сохранению судового журнала...

Записываются: часы, направление и сила ветра в румбах и баллах; курс по главному магнитному компасу... величина дрейфа... путь следования, название моря или океана... число членов экипажа, рождение, смерть, бракосочетания...» — наклонившись над штурманским столом, читала мама Тарасика и думала: «Эх, вот она, самая интересная на свете книжка. Все здесь про море сказано».

И вдруг к ней подошел штурман — третий помощник капитана, — вытянулся, словно по стойке «смирно», и выбросил вперед руку так сердито

и неожиданно, как будто был деревянным Петрушкой и его дернули за веревочку.

— Жора! — басом сказал молодой штурман. — Третий помощник капитана. Разрешите представиться.

— Соня! — вздрогнув и чуть не выронив судовой журнал, но все же серьезно и солидно ответила мама Тарасика и пожала протянутую смуглую руку штурмана. — София Искра. Студентка.

— Искра... Искорка... Ничего не скажешь, красивое имя... А я... Минутка. (И он просиял.) Фамилия такая: Минутка. Жорж Минутка. А Жора — имя мое самое что ни на есть морское. В Одессе — слышали, конечно? — если плюнете в моряка, так можете быть уверены, что его зовут Жора.

— Я не плюю и не собираюсь плевать на моряков, — строго ответила мама. — Я вообще ни в кого не плюю, потому что мне уже не четыре года. (Она подумала про Тарасика.)

— И правильно делаете, — усмехнувшись, ответил штурман. — Моряки — ребята хорошие. Душа веселая... Верно я говорю, Королев?

— А как же! — широко улыбнувшись и подмигнув штурману (у которого было самое морское имя на свете), подхватил матрос у баранки.

И они рассмеялись. За ними, не выдержав, улыбнулась наконец и мама Тарасика.

— Прямо руль, — серьезно и быстро сказал штурман.

— Есть, прямо руль! — как эхо, подхватил рулевой.

И стало тихо. Так тихо, что сделалось слышно дыхание людей, которые стояли в ходовой рубке.

— А вахта у нас с Королевым самая что ни на есть паршивая, — сказал штурман, поглядев исподлобья на маму Тарасика. — От восьми до двенадцати. Люди в кино, а мы — в рубку. По-морскому такая вахта называется «Прощай, молодость!» Можете занести в свою записную книжку. Не слышали про такую вахту?

— Нет, не слышала, — ответила мама Тарасика. — В Москве «Прощай, молодость» называются калоши для стариков. А блокнотов я с собой не ношу.

— Ай-яй-яй, как нехорошо! — покачав головой и закуривая, сказал штурман. — Слышал, Королев? Товарищ, может, в будущем — аж Татьяна Тэсс, понимаешь, а не носит с собой блокнотов.

Он прищурился и выпустил три дымовых колечка. Мама Тарасика, чуть приоткрыв рот, стала разглядывать эти колечки. Она вспомнила про одного человека, который точно так же пускал дымовые колечки.

— А что слышно в Москве? Какие там новости? — вздохнув, спросил у мамы штурман.

— В Москве?!

Мама тряхнула головой и перевела глаза на карту.

На карте не было видно Москвы. Там было море и след от красного штурманского карандаша, засекшего прямыми, кривыми и точками курс судна, на котором так далеко от Тарасика плавала его мама.

Газеты читают и рулевые и штурманы. Поэтому, когда штурман спросил у мамы Тарасика, что слышно в Москве и какие там новости, она поняла его слова так: «Что слышно дома, товарищ Искра?»

...В Москве зима, потому что туда она приходит раньше, чем на Восток.

В Москве вечер, потому что там время другое, чем у нас.

И в Москве живет один человек, которого зовут Тарасиком. Он раз-

гребают снег совочком или лопатой и лепит из снега котлеты и пирожки. Тарасик сидит на корточках и поет:

Труба-а ля-дная,
Песня-я-я складная-я...

Признаться, это было первое, что вспомнила мама Тарасика. Но сказала она вот что:

— Я задумалась. Простите, пожалуйста. У меня привычка такая, некстати задумываться.

И мама принялась рассказывать. Она даже не знала, с чего начать. Однако люди в море, они ждут новостей. Новость вот:

— Теперь Анну Каренину в Художественном театре играет совсем молодая артистка. Приехала из провинции. Ну, совсем-совсем молодая, представьте себе, как, наверно, она волновалась! Решительно никому не известная — и вдруг Каренину! Ну, это, как, например, вас взяли бы и сейчас выдвинули в адмиралы!

— От, поди ты, чего не бывает на свете, — сказал Королев.

— Молодая, говорите? — задумчиво спросил штурман Жора. — За-мужем?

— Какое это имеет значение? — рассердилась мама Тарасика. — Главное, что у человека талант, что его поддержали. А старые люди так прямо и говорят: Ермолова. Ну, а потом, конечно, спутник. Ну, это всем известно. Одно скажу: в планетарий не попасть. Вечером люди стоят на улице и смотрят на небо, сторожат, хотят увидеть. И еще кибернетика. Вы видели машины, которые играют в шахматы? Или переводят с иностранных языков? Кое-кто говорит, что кибернетика опрокидывает теорию Павлова, но я с этим согласиться никак не могу. Давно вы были в Москве?.. Ну, вы ее не узнаете!

И она стала рассказывать, какие и где понасажали новые деревья, как вздымались краны, неся по воздуху их тонкие стволы (деревья были почти что все молодые). И вдруг мама умолкла.

Ну как расскажешь о новых домах?

...Новый дом покрыт новой крышей. На крыше — новые антенны. Большая новая лампа под потолком. На ней новый розовый абажур. Он в шелковых кисточках.

И только одно окно светится зеленым светом обыкновенной настольной лампы.

У письменного стола сидит человек. Он запустил пальцы в прямые русые волосы. Лицо у него сердитое, а волосы стоят во все стороны торчком.

...Хорошо бы влететь сквозь стекло в окошко, прыгнуть осторожно с подоконника и сказать: «Это я!»

Он вздрогнет.

Ах, бывают же, бывают на земле простые, добрые чудеса!

Чудеса — повсюду... В тени на стенке, похожей на длинного человека, в спящих башмаках Тарасика и даже в этом шнурке... Притомился шнурок и лег на паркетину, рядом с кошkinsким блюдечком.

Чудо — в чернильнице, в светлом глазке чернил; в домашнем сонном тепле этой единственной на свете комнаты...

И вот мама видит (бывают же на свете чудеса!), как, глубоко вздохнув, будто к чему-то прислушиваясь, человек отрывает глаза от книги. Он говорит: «Соня!»

Соня?.. Да нет... Он сказал, должно быть, не «Соня», а «Синус». Ведь перед ним раскрытый учебник.

— Ну, товарищ Искра! — услышала она голос Королева.

— Я задумалась,— тряхнув головой, сказала штурману и рулевому мама Тарасика.— Простите, пожалуйста. У меня привычка такая, нехотать задумываться... И до того, понимаете, стало сразу много новых квартир, что даже трудно тому, у кого не особенно много денег, достать хорошую дешевую мебель.

Штурман молчал. Он искоса смотрел на маму Тарасика, следил за ее вздрагивающим тонким носом и левой бровью, которая все поднималась вверх и будто хотела обогнать правую.

— Товарищ третий,— вздохнув, сказал Королев,— включите-ка радио.

...О чем он думал, что увидел за стеклами ходовой рубки?

Может, тоже свой будущий дом? Свое светящееся раскрытое окно, на котором взлетела от ветра еще никем не сорванная занавеска?

Взлетела от ветра занавеска на окне Королева, и поплыл его дом по волнам житейским.

Мама тихонько вышла из ходовой рубки.

— Помалу вправо! — сердито и быстро сказал штурман.

— Помалу вправо! — как эхо подхватил рулевой.

И вдруг очень нежно и очень красиво запело радио. Его звук задрожал над ночными пустыми палубами и поволокся за танкером.

Музыка почему-то казалась торжественной и странной в большом, одиноком и черном царстве — неба и моря; напоминала о земле, о тех желаниях, которые щемят иногда до боли сердце человека. Она порхала над судном, сливалась с темнотой и светом звезд.

«Так вот оно что. Так вот оно что!» — словно бы удивляясь чему-то, думала мама Тарасика. И, наклонив набок голову, прижимала крепко сжатые кулаки к воротнику развевающегося от ветра пальто.

Из лунной металлической дороги вынырнула черная плоская голова нерпы... Другая... Третья... Может, им тоже понравилась музыка?

В темной воде, проснувшись, нехотя закувыркались дельфины.

С прибором в руках (такой прибор называется «пеленгатором» — с его помощью определяет в море по звездам свой путь корабль) деловой короткой походкой, будто забыв про маму Тарасика, вышел из рубки штурман, а за ним — матрос, которого подменил другой рулевой.

Они остановились на мостике, рядом с мамой Тарасика. Стояли все трое в темноте, между морем и небом. Если глянуть на них со стороны, пожалуй, могло померещиться, будто они летят. Летели их волосы, полы мамино старенького пальтишка...

— Идем в высокие широты! — протянув вперед руку, глубоко вздохнув и поглядев на маму Тарасика, задумчиво и очень красиво сказал штурман.

— А дельфины, дельфины-то! — прыснув, подхватил Королев.— Глядите!.. Ишь ты, любители! Уважают пение, стало быть. А если б, к примеру, вальс, так они сейчас же в волне заиграли бы, заиграли...

— Не может этого быть. Вы надо мной смеетесь,— сказала мама.

— Нет, не смеется,— с тихой, счастливой улыбкой ответил штурман. И опять протянул вперед руку, в которой держал пеленгатор.— Вы у нас, пожалуй, еще не такое увидите, Искорка... Море — стихия!.. Море...

— Ва-аляй, артист! — раздался за плечами штурмана голос, который сразу перекрыл собой музыку радио.— Механики там меняют хода!.. А вы... А вы!..

И человек захлебнулся собственным дыханием.

Это был капитан. С его плеч слетала наспех накинута куртка. Развевались от ветра ее рукава. В глазах капитана стояли слезы. То ли их высекла из глаз боль, то ли тот самый ветерок «бриз», который так весело трепал вихры его третьего помощника.

Капитан задыхался. Громада его тяжелого квадратного тела дрожала от ярости.

Танкеру не грозила авария. Но шестое чувство старого моряка уловило легчайшее, едва приметное изменение в ходе танкера. И все, что привык уважать старик, все, чему служил и отдал жизнь,— порты, которые перевидал, семью, с которой столько раз расставался,— все это он пожелал поставить на счет своему третьему помощнику.

— За такое дело в старое время пороли... Поро-оли! — сказал капитан. Покосился в сторону мамы Тарасика, махнул рукой и пошел прочь.

Его дрожащая от злости рука нащупала поручень трапа. Над палубой в последний раз грозно взмахнули рукава его наспех накинутаго черного во тьме кителя.

— То... товарищ капитан,— заикаясь, сказал ему вслед штурман. Прозвонил телефон.

— Да, да,— взяв трубку, осекшимся голосом ответил третий помощник.— Упустили масло?.. Ага...

Его рот по-детски жалко кривился. Из-под морской фуражки беспомощно свисал хохолок.

«Одиннадцать часов тридцать минут. Слушайте последние известия»,— сказала радио.

И голос диктора понесся над морем в торжественную и величавую тишину ночи.

Глава третья

Мама ушла, не оглядываясь, с капитанского мостика. Она долго стояла одна на корме. Луна освещала море, но мама не видела луны. В море зажегся маяк. Но она даже не заметила его красного огня.

Ей было так жалко штурмана, как будто капитан не только сказал ему: «За это в старое время пороли»,—а взял да и на самом деле выдрал беднягу при ней и при рулем.

На лице у штурмана было то затаенное, застенчивое, скрытное и вместе глубокое чувство обиды, которое так хорошо знала мама Тарасика. Взгляд исподлобья. Чуть-чуть дрожат губы... Значит, люди не вырастают? И в двадцать остаются четырехлетними? Нет, пусть бы мне все обиды, пусть! Но только бы никто никогда не унижил Тарасика!

Однако время было позднее, надо было ложиться спать. И мама спустилась к себе в каюту.

Это была каюта дневальной и уборщицы (маму Тарасика пристроили к ним).

Когда она открыла маленькую белую дверь, обе женщины, полураздетые, уже сидели на своих разобранных койках и готовились ко сну.

Перекинув через плечо короткую косу, дневальная ее расчесывала и что-то сердито и быстро рассказывала уборщице.

— Добрый вечер! — входя, сказала мама.

— Вечер добрый! — носовым страшным голосом ответила уборщица. И стала, позевывая, разуваться: сняла башмаки с ушками (точь-в-точь такие же, как у дедушки Искры); задумчиво и осуждающе пошевелила пальцами ног и начала медленно стягивать чулки. Чулки были шерстяные, полосатые.

Нэ-э пускала

Мэни маты

Гуля-ять по ночам! —

запела дневальная.

— Извините,— сказала мама дневальной, встала бочком и потихоньку, чтоб не толкнуть ее, стянула с гвоздя полотенце.

— Да, да, вот они какие дела, Петровна...— посмотрев на уборщицу поверх маминой головы и притворившись, что мамы в каюте нет, сказала дневальная.— Он ему, значит: «На берег спишу!» А тот как воды в рот набрал. А чего ж ответишь?.. Капитан на судне хозяин!

— Ну и ну! — покачав головой и причмокивая, вздохнула уборщица.

— Кому планктоны, улыбки,— со скрытой силой сказала дневальная,— а человека — на берег!

Ноги у мамы стали будто тряпичные. Она села на койку.

— Да вы что? — спросила она.— Какие еще такие улыбки?!

— А такие,— ответила ей дневальная,— что до Жоры ты, детка, еще не достигла. И нечего, понимаешь, зря голову ему дурить.

— Да я ж не дурила! Честное слово, что не дурила!..

— Ладно, девки,— вмешалась уборщица.— Может, еще подеретесь, а?.. Ложитесь-ка спать, и чтобы больше не было этого глупого разговору.

Чуть дыша, мама принялась раздеваться.

Чтобы ей неудобнее было, дневальная сейчас же повернула выключатель, и мама продолжала раздеваться в темноте.

Разделась, прижалась щекой к подушке.

И вдруг из угла между подушкой и стеной тихонько вышел Тарасик.

Не вышел он... А легла на подушку его головенка рядом с горячей щекой мамы. Теплое сонное дыхание Тарасика защекотало ее щеку. Мама прижалась головой к его плечу.

— Тарасик!

И так она сказала это, как будто искала у него поддержки и помощи.

— Мамочка! — ответил Тарасик.

Его короткие пальцы легли на ее горячую щеку. В ее глаза заглянули лукаво и влажно его глаза с косинкой. В них был смех. И любовь.

Они прижались друг к другу.

— Мамочка, а зачем ты плакала?

— А так просто,— ответила она.

Но его вишневый, смеющийся, чуть косоватый взгляд пристально глядел в глаза мамы, в самое сердце ее.

— У тебя ноги сильно холодные,— вздохнув, сказала она.— Он тебе не надел шерстяных чулочек.

— А вот и надел! — ответил Тарасик.

— Он тебя обижает? — спросила мама.

— Не обижает. Он мне сушек купил.

— Ты сыт? — щекочась ресницами, спросила мама.

— Ага! — ответил Тарасик.

— Ты его, кажется, здорово любишь? — ревниво спросила мама.

— Мы в баню ходили,— подумав, ответил Тарасик.— Он мне мыл галаву! Только ты лучше моешь галаву!

Мама вздохнула, раскрыла глаза. «Ну и ну, такие неприятности по работе, а тут еще известий из дому нет!..»

И, приподнявшись на койке, она долго смотрела в круглый, большущий глаз морского окошка-иллюминатора. Вдыхая, мама подсчитывала все те обиды, которые нанес ей папа Тарасика.

Обид было очень много. Поэтому иллюминатор начал светлеть, когда мама добралась в памяти до города Владивостока.

Глава четвертая

Вот он — Владивосток.

Его мостовые и тротуары такие крутые и неровные, как будто земля захотела передразнить море: доказать ему, что суша тоже бывает покрыта волнами.

Дома во Владивостоке большие. А на окраинах — заржавевшие, круглые, с маленькими окошками — до сих пор стоят китайские фанзы. Рядом со зданием универмага — центральная почта.

Каждый день — это было еще до отхода танкера — мама бегала на владивостокскую почту.

Вот оно, знакомое маленькое окошко с надписью: «До востребования».

Кто бы знал, как крепко билось ее сердце, когда женщина за окном говорила: «Гражданочка, попрошу паспортк!..»

Письмо!

Мама распечатывала конверт и, сдерживая дыхание, вынимала оттуда листок бумаги.

Жирно красным карандашом была обведена на белом гладком листке ручонка Тарасика.

В первый раз получив такое подробное известие из дому, мама сжала кулак и сказала: «Припомнится!»

Во второй — она чуть не заплакала.

В третий — запричитала в голос. Она стояла на почте, в уголке, громко всхлипывая. А люди, которые проходили мимо, говорили: «Девочка, что случилось, а? Ну?! Чего ж ты молчишь? Беда, что ли, дома стряслась? Отвечай!»

Мама молча махала руками. Наплакавшись вволю, она кое-как потерла лицо рукавом и тут же, на почте, принялась строчить ябеду дедушке Искре.

«Дорогой Тарас Тарасович!

Я пишу Вам это письмо и плачу. Как плакала много раз. Вы-то помните! Когда Вам становилось больно оттого, что я плачу, мне делалось легче. Я знаю: это эгоизм, это черствость с моей стороны. Но, признаюсь, иногда я хочу быть черствой, хочу быть плохой. Черствым людям легче живется на свете. У меня есть на этот счет кое-какие примеры. А свою доброту, любовь и нежность человек несет, как тяжелую ношу, я вижу это по Вас. И Вы мне очень дороги, Тарас Тарасович.

Вы говорили: «Женщина должна гордиться». Но я так сильно любила одного человека, что не всегда могла быть гордой. Но теперь я знаю, я сумею быть гордой. И больше никому не позволю топтать себя ногами. Вы меня никогда не судили. Что бы я стала делать, если бы Ваши старые руки не отвели от меня беду. Если б не Вы... Но лучше не будем об этом вспоминать.

Я знаю, Вы человек занятый. И человек, страстно преданный своему делу. А «страсть владеет миром», как сказал один великий писатель.

Но ведь Тарасик — Ваш внук, и Вы его так любите. Поэтому очень прошу Вас меня пожалеть и сообщить мне безотлагательно, как онживает. Сыт ли? Здоров ли? Прижился ли в детском садике?

У него, бесспорно, тяжелый характер. Я мать, но не закрываю на это глаза. Вполне допускаю, что он кого-нибудь там избил.

Но войдите в его положение как человек пожилой и чуткий. Сказал ли ему хоть кто-нибудь хорошее слово с тех пор, как я уехала из дому? Быть может, он оскорблен и он озлобился.

Вы очень хороший человек. Редкий. Но ведь Вы все же не мама и матью не были никогда. Как же мне объяснить Вам, что значит для меня Тарасик? С кем бы я ни была, с кем бы ни говорила, Тарасик рядом. Ну, прямо неотступно. Ну, в общем, ладно, Вы все сами понимаете.

Поэтому очень прошу Вас, если Вам это не очень трудно, намекните кое-кому, что чулки и зимние шерстяные штанишки лежат в нижнем ящике письменного стола. И что, между прочим, Тарасик может в одну

минуту остаться без матери, потому что в море нередко бывают штормы...»

Вот так примерно писала мама. А когда ее слезы хотели капнуть на листок, она отстраняла голову, для того чтобы дедушка Искра не мог доставить кое-кому удовольствия и показать ее заплаканное письмо.

Глава пятая

Идет танкер. В круглое окошко, которое по-морскому называется иллюминатором, глядится луна. И не только она одна глядится в окошко. В него глядят волны.

Они заглядывают в окно танкера и светлой рябью ложатся на потолок каюты, в которой спят три женщины, три матери: спит мама Тарасика, спит дневальная (вдова матроса); в одесской школе, в пятом классе, учится ее девочка. Посапывает во сне уборщица. В Ленинграде, в мореходном училище, живет ее внук. (За бабушку, за ее заслуги приняли внука в «мореходку». Она заслужила это тридцатью годами беспорочной службы на судах.)

Волны плетут на потолке неутомимый узор, похожий на кружево занавесок, и когда женщины открывают спросонок глаза, к их мыслям о детях, как к длинной косе, приплетается спокойное, неутомимое движение волны.

На столике, привинченном к стене каюты, чтобы не опрокидывался во время качки, тихонько потренькивает алюминиевая кружка. В кружке — чайная ложечка. Это она звенит: динь-динь-динь! Иду. Иду. Вы спите, а танкер работает. Неутомимо глядят вперед его глаза — два больших судовых компаса.

Но вот померкла за окошком луна. И стал наплывать на небо рассвет.

Рассвет. Он медленно наплывал на небо. Море чуть-чуть посветлело, но солнышка было еще не видать.

Густо, как жирное тяжелое месиво, прошел под водой косяк рыб. Вода над ним мертво блеснула рыбьей чешуей.

Забияли крыльями поналетавшие невесть откуда глупыши. (Это птицы такие — глупыши.) Они задевали воду раскоряченными лапами, сталкивались маленькими головками и на ходу клевали рыб.

Судно шло вперед, все вперед, рассекая поверхность из живых копошащихся тварей.

Но мама Тарасика этого не видела, она спала.

Ее разбудил стук. Накинув халат, босая, она спрыгнула с койки. Каюта была пуста. Ни уборщицы, ни дневальной. Проспала!

— Кто там? — спросила мама Тарасика.

Ей ответил новый стук. Дверь скрипнула, и в широкую щель протянулась чья-то рука. В руке была раковина: большая, розовая.

— От Минутки! — услышала мама голос Королева. — Переживает... Сильно переживает. Просил передать, что убит, но держится. Помнит, мол, мгновение.

Все это Королев пробормотал одним духом и сразу исчез. В руках у мамы осталась розовая раковина. Ей очень хотелось кинуть ее в раскрытый иллюминатор или прямо в голову этому Жоржу. Пускай едет в свою Одессу и там преподносит девушкам раковины... А у нее сын. Ага, вот кому она отдаст эту раковину — Тарасику!

Когда мама вышла на палубу, продолговатое темно-красное солнце, похожее на сливу в киселе, медленно выкатывалось с той стороны моря.

«Смотри, Тарасик,— думала мама,— смотри, как крутятся в воде медузы и водоросли. Гляди, гляди, они большие и маленькие, они похожи на ромашки. Дышат! Глодают и выплевывают воду».

И вдруг мама опомнилась. «Работать надо! А то все забудется-перебудется»,— подумала она и вынула из-за пазухи свою записную книжку.

«2 ноября. Следуем в Магадан,— было написано на первой странице.— Локатор — это прибор, который заменяет капитану и штурманам маяк во время туманов».

Потом шли чертежи, рисунки и вдруг — подпись: Тарасик (с росчерком).

И опять:

«6 ноября.

Тарасик.

7 ноября.

Как потом вспомнить мелькание вот этих гор, на которые ты вроде бы и не глядишь вовсе, а они все же плывут и плывут за тобой по левому борту танкера?

9 ноября.

Хорошо бы накоротко (не навсегда, ненадолго) стать моряком. Настоящим. Например, боцманом.

Влезть в душу и сердце человека. Перестать замечать, что море красивое, и научиться видеть его деловито, как видишь свою ладонь или старое платье, которое носишь каждый день.

Моряки говорят: «романтика, романтика». Это они говорят со злостью и сильно презирая береговых. Они уверены, что никакой романтики и в помине нет.

10 ноября.

Увидеть бы шторм — по-моряцки, по-деловому, без страха, без паники и без восторгов.

12 ноября.

Что такое порт? Что такое тоска по берегу?

14 ноября.

Мне трудно. Укачиваюсь. Моряки не стыдятся и говорят открыто: укачивается каждый, только всякий по-своему. А я храбрюсь. А от-качки тоска.

Что там с Тарасиком? Жизнь ты моя! Черешенка ты моя!

15 ноября.

Памятка.

Не «изучать». Не нахватываться.

Узнавать. Видеть. Слышать.

(Одолжить бы знания — бытовые и простые — у моряка. Хотя на то время, пока я сделаю курсовую.)

Научиться расспрашивать. Ничего о себе не рассказывать. Слушать. Уважать, доверять. Нельзя ничего записывать за человеком. Внимание не должно быть корыстно. Научиться: вниманию, серьезности, сосредоточенности. Никогда ни при ком не задумываться. Полная сосредоточенность на других.

18 ноября.

Вот как я хорошо придумала: моя память — это бутылка, в которую я запечатаю все, что увидела и услышала здесь, на корабле. Все, что я услышала и увидела тут, станет плавать в запечатанной бутылке по волнам, как джин в сказке. Но когда-нибудь джин выскочит из бутылки, и тогда я напяшу что-нибудь очень-очень замечательное.

19 н о я б р я.

Следуем в Петропавловск.

«Кто он такой? Как его зовут?» (о судне) — так вчера сказал наш капитан. Как о живом человеке. Не «какое судно», а «кто он», «как его зовут».

А вот какие радиограммы он посылает:

«Находка. Начальнику порта.

Пропадать мне пропадом что ли за то что я осмелился прийти в воскресенье вопросительный знак все же прошу соблагovolить ответить за кем моя очередь когда прикажете начинать выгрузку.

Боголюбов».

20 н о я б р я.

А все-таки мне здесь иногда до того трудно бывает! Вот садимся за стол в кают-компании. И капитан заводит такую игру, чтобы меня дразнить:

«Плаваеете? Ага. Ну что ж. Терпеть обязан. Не выбирал. Приказ пароходства. Я человек маленький: всего лишь капитан! Чуть журналист, или писатель (извиняюсь, конечно), или писака — давай к Боголюбову. Стерпит!.. Пере-е-евидали мы вашего брата! А может, они у капитана вот где сидят? (Хлопает себя по затылку.) Журналисты! Газетчики! А между прочим, все врут. А? Не так? Нет на сегодняшний день у нас Горького!»

Сперва я старалась возражать, сердилась и кипятилась. А потом бросила. Но нельзя сказать, что это меня ободряло. Врать не буду, не ободряет».

— Ага! Записываете? Отражаете? — окликнул маму боцман и подмигнул ей своим единственным глазом.— В час добрый, как говорится. А если ребята смеются, так это ж по несознательности. Молодость. Пустота в голове!

— Да что вы?! Это же курсовая работа. И потом я письма домой пишу. Скучаю сильно,— нисколько не потерявшись, ответила мама.

— Ага... Ну что ж... Опять в час добрый, как говорится... Ну, а насчет тоски, так это, значит, такая у вас планета, чтобы скучать. Море. Ясно, не берег. Не какой-нибудь там фешенебальный, при папочке с мамочкой, ресторан. Привыкнете... А все ж таки вы должны сознаться, Соня, что у нас красота!

— Сознаюсь,— с готовностью ответила мама.

— Так вот... Того... Вы просили, когда ребята пойдут драить танки, чтоб я намекнул...

— Спасибо, товарищ боцман! — сказала мама. Быстро сунула тетрадку за пазуху и крепко, растроганно, изо всей силы пожала боцману руку.

Глава шестая

Как же так?! Ведь это они, они вчера после ужина играли на балалайках? От горячего душа у них блестели носы, как чисто вымытые кастрюли. Перед их лицами, насвистывая и раскачиваясь, размахивал руками старший механик — руководитель балалаечного оркестра.

...Светит ме-сяц,
Све-тит ясный! —

пели матросы.

— Сначала! — вздыхая, говорил стармех.— Петро, ты чего?.. Это ж месяц — не лапоть! Погляди-ка на месяц!.. Нежней давай... Поняли, матросы? Внимание! Начали.

На них были апашки всех цветов. (Они повезли их из Сингапура.) Из-под ворота выглядывали майки в продолговатых дырочках. Ноги были обуты в голубые, оранжевые и зеленые тапки.

Мама сказала:

— Ох, и до чего же вы все разоделись, ребята!

Электрик, человек малюсенького росточка, снисходительно ответил ей:

— Моряки, Соня, всегда любили культурненько одеваться. На гражданке мы тоже культурненько одевались. Как сегодня помню: иду я, бывало, вечером в сад. На мне брюки шелк-полотно, соломенная шляпа, а в руках — тросточка... В таком виде, ясное дело, иду на танцы. Все ждут: «Идет Артур!» На гражданке, Соня, меня звали исключительно Артуром.

— Это по какому такому случаю? — удивилась мама.

— Да вы его больше слушайте, ангел, — потеряв терпение, вмешался двадцатилетний рыжий радист. — И никогда его Артуром не называли. Его Пашей зовут... Силен заливать! Думает, если человек с берега, так уши развесит!..

Но это было вчера.

А сегодня мама Тарасика тихонько стояла поодаль на палубе танкера и глядела на них блестящими внимательными глазами.

Они работали. Не замечали ее и не хвастались.

Боцман стоял над открытой цистерной танкера и крепко держал обеими руками пеньковую веревку. Другим своим концом эта длинная и толстая веревка обхватывала юношу матроса. Рябой одноглазый боцман, широко расставив ноги, поддерживал матроса почти на весу.

А рядом с боцманом стоял другой матрос. Он окатывал цистерну из шланга струей холодной воды.

— Давай еще! — глухо и тихо говорил боцман матросу, державшему шланг. — Вправо, вправо, давай!.. Осторо-о-о-жней! — кричал он протяжно в переполненный паром металлический колодец и наклонял над ним побагровевшее лицо. — Слышишь? Ты слышишь меня?.. Давай-ка дерни веревку!

Матроса, которого он поддерживал на весу, не было видно с палубы. Матрос был под палубой. Он драил танк.

Танки — это и есть большие, глубокие, как колодец, цистерны танкера. В них перевозят жидкий груз.

Когда мама Тарасика в первый раз услышала слово «танк», ей представился танк военный. Он шел вперед и взрывал землю среди огня и дыма. И вдруг оказалось, что «танк» на танкере — это цистерна.

На этот раз палубная команда должна была особенно тщательно вымыть одну из этих четырех цистерн, чтобы подготовить ее к приему подсолнечного масла в порту Петропавловске.

Облачко желтого дыма над металлической цистерной, которая называлась танком, становилось все гуще, гуще... Из бледно-желтого оно сделалось темно-желтым, почти оранжевым.

В не видной с палубы и жаркой глубине, переполненной прогорклым дымом, делал свое дело матрос. Это его окатывали сверху из шланга струей холодной воды. Это ему говорил боцман: «Слышишь?! Ты слышишь?! Давай-ка дерни веревку!»

Мама не могла увидеть матроса, который был в танке. Но она видела лицо боцмана.

Рябое и багровое, оно казалось таким сосредоточенным, как будто боцман сделался туговат на ухо. По его лицу можно было легко догадаться, как трудно держать на весу тяжесть, как тяжело дышать матросу в танке, какая опасная у него работа и как жарко ему.

Страстно-сосредоточенное, суровое лицо боцмана, его прочно расставленные, вросшие в палубу ноги, широкое тело, грузные плечи, сдвинутая назад клеенчатая шапка и даже его руки, темные, с закатанными до локтей рукавами, со вздутыми жилами, жесткие и сильные,— все в нем, казалось, понимало, что держит человека.

Он стоял «на канате», как говорят моряки. А это значило, что не веревку он держал в своих руках,— здоровье и даже, может быть, жизнь другого человека.

— Довольно, дьявол!.. Лезай назад! — глухо и страшно кричал боцман в пустой колодець танка.

А мама Тарасика стояла поодаль на палубе и, засунув в карманы крепко сжатые кулаки, смотрела на боцмана блестящими, восторженными глазами... О чем она вспоминает? Она вспоминает историю, которую так любил слушать ее Тарасик.

Это было очень давно. Маме Тарасика было тогда четыре года с половиной. (Ровно столько, сколько теперь ее сыну Тарасику.)

Она жила в детском доме. Как-то вечером ей сделалось скучно. Она обошла все комнаты, пробралась на кухню детского дома.

Плита уже не топилась. Мама потрогала холодную плиту, потом открыла тихонько двери черного хода и выбежала на улицу.

Она шла по улице и оглядывалась. Хорошо знакомые ей окна детского дома ярко светились в темноте.

Она свернула за угол — и не стало видно окон.

— Окошки! — сказала мама. И еще разок повернула за угол. Но окошки пропали! Их было уже не видать.

Она стояла совсем одна, без пальто и без шапки, а вокруг нее собрались люди.

— Девочка, ты заблудилась?.. А где твоя мама?

— Не знаю,— отвечала мама.

— А кто твой папа?

— Не знаю,— отвечала мама.

— Как же так?.. Такая большая девочка, а не знает, где ее мама и кто ее папа... А как тебя звать, девочка?

— Семечкой.

— Да что ты плетешь, какая такая Семечка? А скажи-ка лучше, дурочка, на какой ты улице живешь?

— Сама дура! — сказала мама.— На-ко, выкуси! — и протянула тетенке два крохотных замерзших пальца. (Она думала, что показывает ей кукиш.)

И вдруг кто-то закашлял за ее плечами и осторожно взял ее на руки.

Это был толстый сердитый дядя.

Как только он взял ее к себе, мама Тарасика отчаянно и сладко заплакала.

Ей было четыре года шесть месяцев. Она лепилась щекой к шербатой дядиной щеке и чувствовала сама, как жарко дышит исплаканным раскрытым ртом в его небритую щеку.

Он ни о чем ее не расспрашивал. Лицо у него было сосредоточенное, как будто глухое... Мама сразу смекнула, что он на свете «самый главный». Ему было не все равно, что она ревет, все в нем переворачивалось от жалости к ней.

И вот шербатый дядя надел на нее свою теплую куртку и понес домой.

— Гляжу: ребенок плачет,— рассказывал он директору детского дома и разводил для ясности большими толстыми руками.— Ребенок! Нацменка, видно. Семечкой звать.

— Помахай, Сонюшка, дяденьке ручкой,— вмешалась няня.

Но мама уже бежала по коридору, громко хлопала сапожками и даже не обернулась в его сторону.

Прошло много лет. Но знакомое, пронзительное чувство чужого доброго могущества приходило к ней всякий раз, когда она вспоминала об этом.

Вот и теперь оно пришло, когда она смотрела на одноглазого рябого боцмана.

Матрос вышел из танка, поднялся вверх по крутой отвесной лестнице, нетвердо вступил на палубу и обтер ладонью со лба пот.

— На-ка,— деловито сказал боцман. И накинуд на него стеганку.— Тикай! Зазябнешь.

И посмотрел в танк.

Матрос подхватил стеганку и, едва приметно пошатываясь, зашагал к кубрику.

На палубе танкера курить воспрещено. Поэтому боцман и не стал устраивать перекур. Сутулый и серый, он присел на корабельный «кнехт», сдвинул на лоб зюйдвестку, вздохнул и задумался.

Он вздыхал и посапывал. И мама Тарасика понимала, что боцман — усталый, сильно усталый, пожилой и ворчливый человек.

— Товарищ боцман!

— Мое почтеньице,— вздрогнув от неожиданности, сказал боцман. (Можно было подумать, что она невесть откуда взялась, что он увидел ее в первый раз в этот день, а не сам привел на палубу, чтобы показать, как дряят танки.)

Мама молча и робко потопталась за его спиной. Но разговаривать боцману, видно, совсем не хотелось. Сложив большой и указательный пальцы кольцом, он пропускал сквозь это кольцо пеньковый канат.

Пальцы у него были дубоватые, темные, с расплюсченными ногтями. Если поглядеть на них вот так, со стороны, трудно было бы догадаться, как ловко и быстро они умеют работать всякую работу.

Мама вздохнула, точь-в-точь как боцман, подошла к открытому танку и наклонилась над его жаркой чернотой.

Танк опять показался ей похожим на колодец.

Дневной свет выхватывал из его густой тьмы только четыре ступеньки и кусок металлической обшивки. А дно танка застилал пар.

— Я ничего не вижу...— сказала мама.— По севести, мне бы тоже надо было спуститься в танк («анк!» — подхватил танк).

— А чего ж особенного? — усмехнувшись, ответил боцман и высоко поднял лохматые брови.— Раз нужно, так, значит, лезайте...

— А вы мне выдадите спецовку? («овку-у!» — перекаатилось в темноте).

— Чего ж не выдать...— Брови боцмана дрогнули.— Идите в подшкиперскую, обувайтесь и одевайтесь...

— Хорошо! — И мама сама удивилась звуку своего охрипшего голоса.— Сидите, сидите, товарищ боцман. Не беспокойтесь, пожалуйста. Мне покажут ребята.— И она, не оглядываясь, зашагала к подшкиперской.

— Да вы это что?! Взбесились?! — неожиданным, как будто разбуженным и сорвавшимся с цепи голосом заорал ей вслед боцман.— Да вы как это об себе понимаете?! Видать, в горелки играть охота? Это же танк. Там газы! Его недавно паром обваривали.

— Зачем?

— Опять двадцать пять!.. А для того, чтобы легче его отмыть...

— Но ведь матросы спускались, товарищ боцман!

— Спускались... Скажете тоже! На то они и матросы, чтобы спускаться. Может, и в жизнь бы не полезли, да дело требует. Если потребуётся, так они за борт покидаются. Ну? И что ж из этого вытекает?! Что пассажиры тоже должны кидаться за борт?..

— Я, по-моему, не посторонняя пассажирка на танкере!.. Я практикантка... стажерка... И... и... я вам не девчонка! Я ваша гостья на корабле.

— Загну-у-ули!.. — изумился боцман. — «Не девчонка!..» А кто ж вы такая есть? Мальчик, чи как?.. Оно и видно! Нашим ребятам за вас раздрайки от капитана! Нет такого закона, чтоб всюду суваться. И опять-таки, если вы наша гостья, так это еще не значит, что мы ваш след обязаны целовать.

— След?! — вне себя от обиды спросила мама. — След?.. Хорошо! Посмотрим, раз так.

— Чего? — весь побагровев, заорал боцман. — По-о-осмотрим?! Ты слышал, Саша? — обернулся он к матросу со шлангом. — Она сказала: «Посмотрим». Будешь свидетелем. Всё. Попрошу, гражданочка, очистить палубу от посторонних. Сейчас же очистить палубу!

И, раздув ноздри, боцман сорвал с головы зюйдвестку и с размаху кинул ее о ту самую палубу, которую срочно надо было очистить от «посторонней» мамы Тарасика.

Несмотря на позднюю дальневосточную осень, выходя из машинного отделения на палубу, стармех ни за что (а может, назло?) не надевал стеганки.

На нем был ладный, отделанный коричневыми ремнями комбинезон, под комбинезоном — крахмальная рубашка с короткими рукавами. Сильные и жилистые, как у большинства моряков, руки стармеха обросли обезьяньей шерсткой — жестковатым пушком. И тем более заметно это бывало, что дни стояли зимние, ясные и палуба вся была облита солнцем.

Высокого роста, грузный, он, раскачиваясь, шагал по палубам и прятал в карманы спецовки короткопалые руки со вздутыми суставами. (Не иначе как руки бывшего борца. Такие, пожалуй, что и теперь могли бы свалить теленка.)

Волосы у стармеха подстрижены ежом, как у детей, рыже-седые, навывалившие от возраста редеть. Нос утиный, угрюмый, большой, с подвижными ноздрями. А глаза желтые, ласковые, с пристальными зрачками.

Матросы много чего про него рассказывали. Врали, будто на дальнем таинственном острове он спас когда-то самого главного негритянского вождя и получил за это орден Звезды и Льва.

Рассказывали, будто он жил один-одинешенек на птичьих островах после кораблекрушения.

Говорили (радист говорил), что в шторм переломилось пополам судно типа «Либерти» и стармех застрял на корме в комбинезоне и безрукавке. Пришлось его оттуда стаскивать багром, поскольку он весь от холода окоченел.

Ребята-стажеры смотрели на стармеха такими глазами, как будто их укачало или они наяву увидели сладкий сон.

Они ходили по палубам точь-в-точь как стармех — глубоко засунув руки в карманы.

Иногда они просили его свистящим, отчаянным шепотом:

— Товарищ стармех, а товарищ стармех!.. Вы расскажете?

— Чего?

— А как вы терпели бедствия?

— Детишки, да кто же это напоминает человеку о худом? Серость! Неделikatность! Попросите-ка лучше нашего капитана... Он на клотике кофе пьет. Вот он вам все и расскажет, до тонкостей. Наш капитан — капитан памятливыи!

Одним словом, стармех был человек до того тертый, что лучше к нему и не подступаться. А то живо пошлет к капитану, на клотик. Кофеек распивать.

Четыре раза он был в кругосветных плаваниях. Пел песни на французском и английском языках, играл на мандолине, балалайке, аккордеоне; не пил, не курил, уважал ананасы, как объяснял ребятам в курилке боцман. И еще была у него присказка: «О-хо-хонюшки, как говорят в Норвегии». И ребята свято верили, что в далекой стране Норвегии только так и говорят.

И, между прочим, он же был председателем судового комитета и специалистом-практиком первостатейным. В войну стармех ходил в Америку с капитаном Ольгой Малининой (на весь мир знаменитой Оленькой) и, как рассказывали, часто ее выручал. (На ходу подменил однажды мотор во время аварии.)

Но если его расспрашивали о капитане Малининой, он говорил:

— И кто же это, ребята, напоминает человеку о бедствиях? Серость! Неделikatность!.. Ольга, Оленька... Да, да... Хороший был капитан.

И ребята не понимали, смеется он или нет. Лицо у него становилось задумчивым. А глаза, как всегда, смеялись.

Таким уж, видно, он родился на свет — насмешником. Высокий, в комбинезоне... Одно слово — моряк!

Они шагали по палубе гуськом. Впереди — стармех, председатель судового комитета, а сзади — мама Тарасика.

Маме трудно было за ним угнаться. А обернулся он на нее всего один разок, когда мама с разбегу зашибла руку о натянутый конец.

Стармех сказал, усмехнувшись:

— Осторожней, Соня. Куда это вы торопитесь?

Мама ответила:

— И не думала! Я вовсе не тороплюсь.

У открытого танка по-прежнему стоял боцман. У его ног по-прежнему лежала сброшенная зюйдвестка.

— Распогодилось,— подходя к боцману, задумчиво сказал стармех.

— Вы мне тут театр не устраивайте. Не маленький! — раздувая ноздри, ответил боцман.— Ну? Чего надо?! Выкладывайте.

И, наклонившись, он отвернулся от мамы Тарасика. Посапывая, боцман поднял с палубы сброшенную зюйдвестку.

— Придется все же, голуба моя, оказать товарищу стажерке содействию.

— Чего? — сказал боцман.

— Друг,— ответил стармех,— если ты забыл, что такое «содействие», так я, пожалуй что, намекну тебе! Товарищ за делом сюда приехала, а не для того, чтобы с вами ляды точить. Она хочет писать в газеты о трудностях, о героике и все прочее. Мечтает тебя, дурака, поднять в глазах населения, овеять тебя, понимаешь, романтикой. И был нам, кстати, приказ от Камушкина из пароходства — помогать молодежи и всячески молодежь поддерживать. И надо, орел, опустить товарища в танк, раз так уж настаивает человек. И ты — того... Минут на пяточек. Ясно?

— Почему ж не ясно? Яснее ясного,— усмехнувшись, ответил боцман.— Только кому за нее отвечать?.. Ага!.. Пароходству?! А я так подумал, что боцману,— туда его в хвост и в гриву!.. Ну?.. Чего ж вы

стоите? Лезайте. Сделайте уважение. Или, может, вы трусили? Вот вам спецовочка! Нет, зачем? Я свою, я свою отдам. Боцман — сознательный. Он окажет содействие. Раз такой приказ пароходства — лезайте в танк!

Мама видела напряженное и, как ей казалось, взбешенное лицо боцмана, наклонившегося над танком. Мелькнул край неба — узкий и длинный. Его заслоняли поля зюйдвестки. И вдруг будто захлопнулась над мамой дверь: стало не видно света, неба и сердитого боцмана.

Со всех сторон ее обступали мертвые металлические стены, чуть поблескивавшие во тьме. Они были влажные, их недавно окатывал водой, тер шваброй и щелоком матрос.

Танк делился на несколько отсеков — этажей. Каждый этаж отрубался от следующего металлическими креплениями. Справа и слева — куда ни глянешь — летали клубы желто-белого пара. Казалось, что стены танка выдыхают этот белесый пар, что это у него дыхание такое — горячее, душное и клубящееся.

— Э-эй! — послышался над маминой головой голос боцмана. И ей померещилось, будто голос его долетает с другой стороны водосточной трубы — таким далеким, протяжным и глухим был его звук. — Лезай назад! — сказал боцман.

«Как бы не так!» — подумала она. И стала, вытащив из-за пазухи записную книжку, быстро обходить танк.

Но ее лютый враг — боцман — крепко держал привязанную к маминному поясу веревку, а палуба танка была скользкой от масла и воды.

Мама падала и вставала, вставала и падала опять.

— Э-эй!.. Жива-а?

Она не ответила.

И вдруг веревка дернулась и поволокла ее к выходу. Мама упиралась изо всех сил ногами в скользкое дно цистерны, цеплялась пальцами за ее горячие стены.

— Померла ты, что ли? — надрывался, наклоняясь над танком, боцман.

Она уже было и хотела ответить, что жива, но от злости у нее не стало голоса. Мама летела вверх, как во сне, когда была маленькой.

Ее рука ударилась о поручень трапа, нога оперлась о ступеньку, и мама стала нехотя помогать боцману.

Мелькнул над ее головой край неба, узкий и длинный, как лучик в плохо захлопнутой двери, завиднелись черные поля зюйдвестки.

— Стыдно вам! — захлебнувшись, сказала мама, выглядывая из танка. — Вы... вы... Как можно так бюрократически подходить?! Ведь вы не дали мне оглядеться!

— Извиняюсь, — ответил боцман. И обтер рукавом со лба пот. — Тикай... Зазябнешь.

И он накинул на мамины плечи свою теплую стеганку.

«...Танк, — вздыхая, записывала мама в свою записную книжку. — Отсеки. Пар. (Желтоватый. Похож на дым)».

Но вместо танка, его отсеков и металлических креплений ей виделось почему-то рябое растерянное лицо боцмана. «Извиняюсь», — слышался ей его хриловатый голос.

Неужто это и было единственное, что врезалось в ее сердце, когда она вспоминала, как дряют цистерны на танкерах? Неужто за этим она спускалась в танк?.. Ей было трудно ответить себе. Долго сидела она над раскрытой записной книжкой.

«...Танк. Отсеки. Пар. (Желтоватый. Похож на дым)».

И это было все, что смогла на этот раз записать мама.

Глава седьмая

Допустил! В подшкиперскую!

Стоя рядом с ребятами-стажерами, мама Тарасика плетет кранцы. Все молчат, все заняты. Тут она ровня. Ученица, как все.

Плечи сталкиваются. Касаются друг друга лбы. Мамины руки, которые умели так хорошо штопать, стирать, готовить, тут — на судне — оказались неловкими. Мама в тревоге.

— Да ты ничего, не дрейфь! — говорит ей стажер Саша. — У тебя получится, я зря говорить не стану, получится.

— Почему? — не веря, спрашивает она.

— А потому, что душу кладешь, — отвечает он, усмехнувшись. Так обычно говорят младшим старшие. А ему, между прочим, всего-навсего семнадцать, и он самый молодой на танкере.

«Ты» — прекрасное «ты»!

«Ты», которое она слышала в общежитии, в детском доме, на заводе и в институте. «Ты» — значит, здесь она свой человек, здесь ее приняли как свою.

Как тут пахнет сладко! Смолой, кожей, клеем, лаком. Подшкиперская — морская кладовка.

— Здрóрово! — говорит Саша. — Я же сказал, что все у тебя получится. Гляди: нормальненько. Кранц как кранц. Одолела. А ты говоришь!

«Откуда он знает, что мне надо именно это услышать? — думает мама Тарасика. — Такой молодой, а все понимает».

Распахивается дверь подшкиперской. Чуть раскачиваясь, по-моряцки, к маме подходит матрос Королев.

— Извиняюсь, Соня, можно вас на минутку?

— Да, — отвечает она.

— Если вы не вмешаетесь, он запьет, — говорит Королев шепотом. — Вы одна власть имеете... Убедительно просим — вмешайтесь.

Не ответив ни слова, мама отворачивается и подходит к стажеру Саше. Солнце, видно, зашло за облака. Больше оно не играет на маминых пальцах. Что-то сдавливает ей горло — не слезы, не огорчение, а злость.

Так начался этот день. А ночью...

Глава восьмая

Мамина голова со всего размаха ударилась о стенку койки. Ее подбросило. Она перекатилась на другую сторону койки и открыла глаза.

Вздыхнув, она протянула вперед руки и попробовала подпереть стенку ладонями. Но стена, как будто бы это было во сне, а не на самом деле, мигнула ей из темноты светлым отражением морской рыбы и закачалась из стороны в сторону.

«Что случилось? — подумала мама. — Отчего я лежу вот на этой койке? Где я?»

На полу валялась записка, после ужина ее потихоньку сунул маме радист.

«Мы считаем, Соня, что Вы могли бы овеять нашего товарища большей чуткостью. Сами знаете, о ком идет речь».

«Хватит. Довольно! — раздеваясь, чтобы лечь спать, решила мама. — Я им в стенгазету вклею эту записку. Пойду к стармеху... Оденусь и ночью, сейчас, пойду... Я их так «овею», что они со стыда сгорят!..»

И вот записка валялась на полу у маминой койки. Мама и думать о ней забыла. Ей было не до радистов. Не до записок.

Вокруг было пусто. Ушли куда-то дневальная и уборщица. Каюта была похожа на закрытую, раскачивающуюся коробку, в которой сидел жук. (Жуком была мама.)

«Зажмуриться, уснуть — и пройдет!» — подумала она.

И крепко-крепко зажмурилась. Но койку качало, и не уходила тоска. Она была такая большая, как будто бы мама осталась одна-одинешенька на всем свете. Эта тоска называлась качкой.

«Что со мной?» — думала мама, хотя хорошо понимала, что она в море, на танкере, что на дворе ночь и танкер качает.

«...Что случилось?! Где я?»

Но вместо ответа из ее крепко зажмуренных век от тоски и от качки медленно выплыла старенькая дорожка. (Ее подарил им дедушка Искра.) На этой дорожке сидел Тарасик. Ему было два года. Он смеялся и говорил: «Мама!»

Маму опять качнуло, и дорожка исчезла. О крепко задраенный иллюминатор бились изо всех сил волны. Звенело в ушах. Маме казалось, что она куда-то летит... А над ее головой — звезды: кастрюля Большой Медведицы.

«Это я!» — приподнявшись на койке, сказала мама Большой Медведице.

Но знакомая с детства точечная кастрюля продолжала спокойно и молча светиться всеми своими звездами.

«Не могу я так! — сказала мама Медведице. — Почему ты молчишь?»

«Ничего не поделаешь, — печально ответила ей кастрюля. — Мы далекие, молчаливые. Ведь мы — планеты. Мы — мироздание!»

С откидного столика медленно, цепляясь дном о скатерку, сползала кружка. От страха и удивления кружка раззявила свой круглый, большой алюминиевый рот.

Мама встала.

Коридор, примыкавший к каюте, раскачивался.

«...Где я? Кто я? А может, я попросту отравилась в танке?» — подумала она.

Крепко, изо всей силы стискивая щеки ладонями, она ударялась плечами то об одну, то о другую раскачивающуюся стену...

И вдруг сквозь сильную тоску качки она услышала, будто спросонок, едва различимые, далекие, бегущие шаги.

«Наверное, что-то случилось с танкером!.. Шторм!.. Но ведь я же хотела, чтобы был шторм! Я даже дразнила нашего боцмана: «Скажите-ка, боцман, а я дождусь наконец штормяги?»

А почему я тут, как в закрытой коробке?.. Куда подевались люди? Где боцман?!

— Боцма-а-ан!..

«А почему я осталась на танкере совсем одна?.. Идем ко дну!» — догадалась мама.

И коротко, ярко, как молния, сверкнул перед ней один час в ее жизни. Один-единственный. Почему именно он? Кто знает?..

Она ждала своего Богдана под большими часами на площади. Так долго ждала, что закоченели ноги. На улице продавали первые букетики фиалок. Поискав у себя в кармане, она нашарила рубль пятьдесят копеек, подумала и, вздохнув, купила букетик. Долго держала она букетик в руке. Пристально вглядывалась в лица людей, которые выходили из метро. Измялись стебли в ее горячей ладони. От них побежал сок и запахло травой... А мама все стояла, переступая с ноги на ногу, и уже забыла, чего она ждет, и уже совсем перестала надеяться.

Ничего! Сейчас она вернется к себе в общежитие, напьется чаю и ляжет спать.

И она поехала домой: вошла в метро, и механическая лестница понесла ее вниз, к поездам.

И вдруг среди людского потока, который катил ей навстречу, она увидела его. Он был в меховой шапке.

Она сказала: «Богдан!» — и заметалась на ступеньке (как будто можно было перелететь через перила).

— С ума сошла! — закричали на нее люди. — Ты что, с цепи сорвалась?! Зачем толкаешься?!

— Соня!..

— Богдан!

И лестница понесла их в разные стороны.

Спустившись вниз, мама кинулась к той лестнице, которая ехала наверх.

— Богдан!

— Соня!..

И опять их развели механические лестницы. Приехав наверх, мама принялась ждать. Она ждала долго. Но, должно быть, он ждал ее внизу.

И снова во время полета лестниц их глаза встретились.

— Жди! — закричал он очень сердито (как будто она была виновата в том, что лестницы разъезжались в разные стороны).

— Жду!

И она ждала. Вертелась в водовороте людей, которые спешили к поездам и толкали ее до тех пор, пока ее не выдернула из этого потока сердитая и сильная рука.

— Черт знает что! — сказал он ей.

И, крепко держась друг за дружку, они покатали вверх на общей лестнице. Он целовал ее глаза, щеки, гладил плечи, как будто навечно ее потерял и снова нашел. Встречная лестница улюлюкала. Пусть! Соня и Богдан крепко держались за руки.

Он был на всем свете самым главным для нее человеком. Ее семьей, ее братом и сыном, потому что тогда еще не родился на свет Тарасик.

— Богдан, отчего ты в меховой шапке? — спросила она. — На улице жарко... Отчего ты в меховой шапке? — И протянула вперед руку. От ее руки еще пахло раздавленными травинками.

— Авра-а-ал! — закричал он в ответ чужим и острым голосом.

Мама опомнилась. Она твердо зашагала по трапу на звук далекого голоса, который крикнул: «Авра-а-ал!»

Глава девятая

Рванулась в темноту вместе с распахнувшейся дверью. Ветер, видно, ждал ее. Он обрадовался, дунул ей в рот и стал отдиравать ее руки от поручня двери.

Ветер! Он бывал осенним, летним и зимним. Звался ветром и ветерком. Тарасик его называл «ветрякой». Моряки прозвали его «ветроганом».

А жил он за стенами домов, за горами, долами, в лесу и в поле. Жил тихо. Был смирным и добрым. Но вот сорвалась с цепи его ветряная душа.

И он сделался штормовым.

Дверь захлопнулась. Будто привязанная к ней веревкой, мама шмякнулась с размаху о поручни затылком.

...Танкер трещит. Между морем и небом — вода... Подхваченная ветром, она сечет ванты и мачты.

Устойчивый, как поплавок, танкер выплывает опять, кряхтя и подрагивая.

Ветер как будто бы выдувает воду с самого дна моря. Она нависает над судном. И рушится. Опрокидывается. Ударяется. Бьется.

Мокрая тяжелая горсть отдирает маму Тарасика от ручки двери.

Сейчас ее слизнет море.

— Тарасик! — плача, говорит мама.

А море ей отвечает: «Но ведь ты же хотела увидеть шторм? Хотела стоять одна в темноте, хотела захлебываться водой, хотела, чтобы она заливала твои глаза, волосы, платье».

Так вот он — шторм!

В последний раз ты увидишь сейчас над палубой светлую желтую точку и пойдешь на дно моря со своей любовью, желаниями, доверием, обидами. Станешь медленно вертеть в ледяной воде руками и скажешь воде: «Тарасик!»

Сколько же времени прошло с тех пор, как, проснувшись от качки, мама заметила, что со стола соскальзывает алюминиевая кружка?.. Сколько времени прошло с тех пор, как, натянув на себя куртку, она пошла шататься по коридору и ушибать о стенки голову?

Должно быть, не десять минут и не двадцать, а целая большая жизнь, потому что она успела припомнить Богдана и Тарасика, успела догадаться, как сильно любила и любит своего сына и его папу, успела восхититься тем, как пахнут фиалки, и увидеть себя под большими часами на площади.

Она вспомнила все, что так сильно любила. И успела горько оплакать себя.

Она плакала над каждой дождинкой, искоркой, которую ей довелось хоть раз увидеть.

В голове у нее что-то билось тяжелыми ударами, похожими на тиканье маятника.

Она уже не вставала больше, а только чуть-чуть поднимала голову, когда волна отступала от палубы. Но все же крепко держалась за скобу дверей...

Сейчас разомкнутся ее пальцы, и вода поволочет ее за собой.

Ни о чем не думая, не дошагав своей земной дороги, кружась и булькая, пойдет она на дно моря, туда, где живут осьминоги, глубоководные водоросли и желтые ракушки.

— Багро-о-ом! — услышала мама голос человека на левом краю палубы.

Все вокруг стонало, шумело и охало. У борта танкера начал опять копиться вал, как копится у человека вдох после выдоха.

Танкер накренился.

Казалось, что волне не удержаться так высоко, что так на самом деле не бывает и быть не может, чтобы вода стояла дыбом. Не камень же, не дерево она!..

И вдруг мама видит: поперек палубы волочится какой-то человек. Он обвязан веревкой. Его неподвижные, как будто мертвые руки в темных рукавах кителя обхватили другого человека — поменьше.

Кто это? Что это?

В тусклом свете палубного огня мама Тарасика признала Минутку. Он тащил куда-то впередсмотрящего — стажера Сашу.

Рухнул вал.

Когда вода опять откатила назад, мама увидела перед собой чьи-то ноги... Они шли, покачиваясь и подгибаясь. «Человек тонет»,— будто в бреду, решила она. И, забыв о себе, оторвалась от дверного поручня и крепко обняла эти чужие, залитые водой сапоги.

Она обняла их со всей силой любви, которая еще оставалась в ней. Так спасает танкист танкиста, которого ранили. Так ползет санитарка, волоча на своем плече умирающего человека. Так спасает птица выпавшего из гнезда птенца. Из последних силенок.

Не рассуждая, забыв о себе, она бормотала:

— Не бойся! Не бойся!

— Ах, чтоб ты пропала! — заорал человек и наклонился к ней.— Это ж надо додуматься!

Чья-то рука поддержала маму.

— И откуда только силенки берутся? И как только жива осталась? Видать, от вредности!..

Голос был знакомый и хриплый. Наклонившись над мамой Тарасика, ее ругал боцман.

Глава десятая

«П р и к а з

Начальника Дальневосточного объединенного пароходства.

26 ноября 1958 г.

№ 381

г. Владивосток.

Содержание: О поощрении членов экипажа танкера «Леонид Савельев».

Танкер «Леонид Савельев» под командованием капитана тов. Боголюбова А. М. совершал переход из порта Магадан в порт Петропавловск с неполным грузом горючего.

В ночь с 23 на 24 ноября, следуя в океане против Четвертого Курильского пролива, судно встретило жестокий шторм от остовых румбов 11—12 баллов, при сильном волнении моря.

24 ноября в 2 часа 50 минут корму накрыло валом и заклинило между швартовой вьюшкой и релингами впередсмотрящего, ученика морского училища Астахова А. В.

По авралу была поднята спасательная команда во главе со стармехом Гречаниновым Н. И. и его заместителем, третьим помощником капитана Минуткой Г. А.

Рискуя быть смытым за борт, третий помощник капитана товарищ Минутка подполз к швартовой вьюшке и освободил Астахова, потерявшего к тому времени сознание.

Штурман Минутка уже дополз до середины палубы, волоча на себе Астахова, когда судно опять накрыло большой волной. Минутка ударился затылком о релинги и тоже потерял сознание.

Минутка Г. А. и Астахов А. В. были доставлены в медпункт.

Когда спасательная операция была закончена, боцман Урсуляк И. Ф. обнаружил у левого борта танкера тов. Искру С. И.— студентку, проходившую стажировку в Дальневосточном объединенном пароходстве. Товарищ Искра самовольно вышла на палубу во время аврала.

Боцман Урсуляк И. Ф. тотчас же доставил ее в медчасть. Принятые немедленно меры вернули Минутке Г. и Астахову А. сознание.

В настоящее время они продолжают находиться на борту судна.

Приказываю:

За опытность и мужество объявить благодарность:

1. Третьему помощнику капитана тов. Минутке Г. А.
2. Старшему механику тов. Гречанинову Н. И.
3. Боцману тов. Урсуляку И. Ф.

За самовольный выход на палубу во время аврала объявить выговор студентке-практикантке тов. Искре С. И. Сообщить о приказе Дальневосточного объединенного пароходства в Москву, по месту учебы тов. Искры.

Радиограмму проработать с личным составом всех судов.

Начальник Дальневосточного объединенного пароходства
Черных».

Около стенда, на котором вывешиваются приказы, радиограммы и газеты, — этот стенд у самой курилки — толпятся матросы из палубной команды и машинного отделения, помощник капитана, кухарка, дневальная и мама Тарасика. Все читают приказ. Мама Тарасика улыбается, ей остается только одно: быть гордой, как не раз велел ей Тарас Тарасович.

Кто бы знал, как хочется заплакать от срама. Но разве ее тут кто-нибудь поймет?

Когда с человеком беда, его лечат сочувствием. А тут, как будто ей мало было приказа, вслед только одно и говорят: «Спасительница! Нет, подумай: боцмана хотела спасти! За ногу, понимаешь, схватила! Умора!»

Никто не поймет и не посочувствует.

— Ну что ж, — говорит она, улыбаясь и перечитывая приказ, — я практикантка, человек случайный, сегодня — тут, завтра — там. Ну выговор, ну ладно. Главное то, что Минутка восстановлен в глазах капитана... Что его оценили... Что он герой!

И опять за мамиными плечами слышится тихий смех.

— Восстановлен? От скажет тоже! Не знает нашего капитана, так уж лучше б молчала... Одной рукой гладит, а другой рукой бьет. Хоть ты герой, хоть разгерой, а если взъесться на человека, не будет ему дороги на судне... Пожалуй, что самому впору списаться на берег...

Мама оглядывается. Это сказала дневальная.

— Неправда! — шепотом отвечает она. — Не может этого быть.

Но дневальная не отводит глаз, зло и твердо глядит она в смятенные глаза мамы.

— А тебе-то, Соня, какая печаль? Ты же тут человек случайный, сама только что сказала?!

Матросы, почесывая затылки и усмехаясь, медленно отходят от стенда. Им нет дела до бабьих ссор, споров, дрызг...

Сора?

А так ли?.. Ведь она и вправду ничего до сих пор не знает не только о судебных законах, но и о больших и малых приметах — азбуке для любого матроса на корабле. Может, дневальная — тот единственный человек, который сказал ей правду?

Тревога, которая своей болью сродни угрызениям совести, захлестывает маму Тарасика.

Не позволяя себе задуматься, она бежит в каюту, выдергивает из тетради листки. Она пишет письмо капитану, пишет его безоглядно, взахлеб.

«...Разумеется, я пока ничего не знаю на танкере... а хотела знать... Первая практика... курсовая...

Обиды?! Какая малость!.. Вы, должно быть, ни разу не испытали чувства своей, пусть хоть и невольной, вины перед человеком!

Прошу Вас, очень прошу, снимите это с меня! Я не могу, чтоб из-за меня пострадал человек. Если он и совершил тогда оплошность, так только по моей вине. А потом он рисковал собой... Спас человека... В каждом из нас со школы воспитано чувство уважения к доблести, мужеству, подвигу...

...И если Вы не сочтете возможным ответить мне на письмо, так прошу Вас, хоть слово скажите: «Нет». Это будет означать, что я введена в заблуждение и что моя тревога глупа и нелепа... Я успокоюсь. Я пойму... Но должна я услышать это только от Вас...»

Вот так примерно писала мама.

Кому доверить письмо? Она доверит его матросу Королеву.

— Ну?! — спросила мама, когда Королев вернулся от капитана.

— Ответа не будет.

— Врешь?!

— Не вру. Он, ну, ясное дело, того... прочел... А сказать велел: «Намекни своей Искре, что у капитана тоже есть нервы».

«Нервы! — думает мама и бродит по судну. — У всех всю жизнь нервы: у Богдана, Тарасика и Тараса Тарасовича. Единственный человек без нервов — я. Я не имею права даже на огорчение».

Так думает мама, мимоходом заглядывая в курилку, но вовремя вспоминает, что и там над ней будут смеяться.

Нервы... Нервы... И она идет дальше, заходит на кухню.

У плиты, в которую повараха подкладывает дрова, сидит корабельный котенок Кузьма Кузьмич. Свет от плиты ложится на белые усики Кузьмича. Он поет. Да что это такое поет?!

«Не-еррррррррррвы! Не-ерррррррвы!»

Ах, вот оно что! На судне хозяин — капитан. А всякий хороший кот обязан все повторять за своим хозяином.

«Нер-р-р-рвы! Не-р-р-р-рвы!»

Старая песня.

И вот уже мама в коридоре, там, где каюты штурманов. Ей грустно. Что-то более серьезное, чем обида, ведет ее к этим дверям, заставляя забыть о себе. В коридоре полутемно. Светится под потолком тускловатая лампа. И вдруг в ярком, ярчайшем свете вспыхивает дверная табличка: «Третий помощник капитана».

Что осветило эту табличку?

Мама стоит и жмется к стене коридора. Подняла, опустила руку. Опять подняла и опять опустила.

И вот, постучав и не дождавись ответа, разом, как бросаются в воду, она переступает порог каюты.

Он лежит на койке и, томный, держит в руках гитару, перевязанную розовым бантом. Рядом с ним, у койки, хрустальная ваза, в ней апельсины. Не иначе как нанесли товарищи!

Когда она входит, глаза его расширяются, в них вспыхивает насмешливый и счастливый огонь. Ага, пришла! Не мытьем, так катаньем!

Он протягивает ей навстречу томную, усталую руку, рука повисает над гитарой, над ее розовым бантом.

«Нет, ну как мне все это вынести?» — думает мама Тарасика.

Надо вынести.

Она поднимает глаза и прямо, твердо встречает взгляд молодого штурмана.

Глаза у нее полны слез, губы дрожат.

— Вот что, Георгий, будем друзьями. Хочешь?

— Чего? — говорит Минутка, и что-то тихо клокочет в горле героя. Не выдержав, он принимается хохотать, глядя в ее лицо, в ее растерянные, широко открытые глаза.

— Ты чудесный человек, Георгий, — говорит мама. — Я знаю. И если тебя спишут на берег... Я тебя... Не жалею, а уважаю, очень уважаю. Я... Я...

Жора опять говорит: «Чего?» И вдруг понимает. Глаза его становятся серьезными, рука опускается, руке вторит густое рокотание гитары.

— Родная моя, милая ты моя, да откуда ты такая взялась? Да откуда ты прилетела? Разве такое есть на свете?

И лицо его, забывшее о себе, выражает удивление и нежность.

Она садится рядом и смело, ласково берет его руку в свою.

— Ладно. Добивай, режь! С чем пришла! К кому! Ладно, ладно, давай дружить, а там поглядим, ангел мой.

— Нет, — говорит мама, — чего ж тут глядеть. Уж если мы друзья, я тебе все доверю, и то, чего здесь никто не знает... Потому что кому ж это интересно, а?

...Ласково, вишнево глядят на нее от угла между стеной и подушкой расширенные, блестящие, чуть влажные глаза штурмана. Нет, нет!.. Чуть косые глаза Тарасика...

Тарасик всюду.

Как многому ее научил Тарасик...

Вечер. Двери радиорубки открыты настезь.

У стола сидят матрос Королев и радист.

— Ну? — допрашивает радист.

— Видел, видел собственными глазами! — захлебываясь, рассказывает Королев. — Она ка-ак крикнет: «Несправедливо!» — и ну бежать. И прямо к Жоркиной двери.

— Создадим обстановочку? — предлагает радист.

— Действуй давай! — соглашается Королев.

И радиорепродукторы танкера начинают петь:

Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны...

Запущенная на звук наибольшей громкости ария Гремина оглушает четвертого помощника капитана, который вышел сегодня на вахту вместо больного Минутки.

Благотво-о-орны...

И музыка будит уснувших нерп.

А танкер идет вперед. Все вперед. Он не дает себя убаюкать, ему не до музыки.

В каюте, у раскрытых дверей, сидит, приподняв тяжелую голову, капитан Боголюбов и прислушивается к равномерному биению сердца своего судна. Он слышит биение этого сердца сквозь любые гулы и грохоты.

Оглянулся. Встал. Подошел, раскачиваясь, к иллюминатору. На дворе ясно. И звездно. Но что-то говорит его старым глазам, что на море скоро лягут туманы.

Их недолго ждать. Нынче ночью они обхватят кольцом танкер. Танкер пойдет вперед, давая гудки об опасности.

«Осторожне-е-е! Это я. Я в море. Встречное судно, гляди, не столкнись со мной!»

Глава одиннадцатая

Танкер все шел и шел сквозь белую темноту. Время (ночь) отбивалось глухо и страшно его протяжными гудками. Они были похожи на свистящее дыхание человека, которому трудно шагать.

«Иду! — как будто говорил танкер своим захлебывающимся дыханием. — Иду. Иду...» В кают-компани крутит картину киномеханик.

Моей на кухне посуду дневальная, стирает в прачечной белье прачка. Ребята читают книжки в красном уголке. А кто-то, может, пишет домой письмо своей мамаше или невесте. Сидит в каюте, подперев рукой щеку, вздыхает и покусывает карандаш.

«...Тут, понимаешь, Надежда, пацанка одна на танкере появилась. Ничего себе, симпатичная. Молодая. Ходит по палубам и каблучками стучит.

И будто бы ты, Надежда, встаешь передо мной, и меня досада берет.

И глаза ее удивительные, так прямо в душу мне и глядят. И жаль мне ее сердечно, сама понимаешь, не знаю почему: какой еще человек на дороге ей попадется — бабка надвое сказала. А может, она еще и заплачет от него, вроде как было с моей мамашей.

А девушка скромная. И, между прочим, культурная. Заочница. Из Москвы.

Для моряка, Надежда, первое дело в девушке — это самостоятельность. Чтобы плавал моряк, а знал: не подведет и не осрамит — будет ждать.

Не подумай только чего худого, потому что ее уже полюбил один морячок. А у нас на флоте такой привычки не водится, чтоб человеку дорогу перебежать...»

Это ли пишет матрос, другое ли пишет он, не находя слов, томясь и тоскуя...

Эх! И давал же он жизни на танцплощадке в городе Севастополе!

Взвивалось Надино белое платье, и он не терялся, отбивал каблучками дробь и зачесывал пятерней под матросскую бескозырку взмокший, спускавшийся на глаза зуб.

«...Надежда, первое дело в девушке — это скромность!»

И платье скромной и молодой Надежды летит в глаза морячку через моря-океаны... На юг! На юг бы!..

Но какое дело до этого танкеру?

Танкер идет к Петропавловску-на-Камчатке. Сквозь тьму и туман. Сквозь большие и малые волны. Сквозь зыби и валы.

Грохот. Звон. Перезвон. Лязганье. Это разворачивается огромная якорь-цепь. Медленно, будто нехотя, ползет за нею якорь. Вверх!.. Всё вверх!.. И вот уже они — якорь-цепь и якорь — над головою мамы Тарасика, которая стоит у канатного ящика.

Через иллюминатор подшкиперской ей слышатся удары в рынду и хриплый голос капитана:

— Сколько смычек? Ага. Три выскочило? Боцман, давай пять в воду! ...Что ей делать?

Надо подняться и выйти на палубу. Но ведь там капитан?

Ничего не поделаешь, надо выйти на палубу. Если завтра ее спишут на берег, ей больше уже не увидеть швартовки. Не видеть ей швартовок как собственных ушей!

Можно, конечно, встать спиной к капитану. Облокотиться вот эдак о релинги. Ты, мол, сам по себе, а я сама по себе. И знать она не знает никаких капитанов! Разве нельзя поглядеть на пристань?.. А куда ж ей тогда глядеть? Не в воду же кинуться и не в небо взлететь! Пассажиры всегда выходят на палубы и любят пристанями. Она встанет рядом с боцманом и не будет глядеть на ходовой мостик. Да, кстати, ведь у нее в кармане яблочко завалилось — повариха дала. Она будет его жевать. Стоит себе рядом с боцманом на баке пассажир и от нечего делать грызет потихоньку кислое яблоко: человек любит яблоки!.. Капитан — он сам по себе, а она сама по себе.

Не глядеть! Не видеть! Не слышать голоса капитана.

Как бы не так!

Не успела мама Тарасика выйти на палубу, как над нею снова загрохотало:

— Стоп — тянуться. Так. Хватит. Стоять у левого якоря...

Скоро схватится льдом море. Но пока что здесь еще плавают хлебные корки, апельсиновая кожура, огрызок яблока... И птицы просверливают поверхность воды лапами (наподобие штопоров). Головки у них малюсенькие, ярко-красные, будто они нахлобучили на уши красные шапочки, чтобы не продуло ветром. Птицы взлетают над пристанями.

Но вот взметнулся над пирсом огромный рояль, холодильник, грузовичок...

Какими тонкими кажутся издалека стальные тросы подъемных кранов и какими толстыми канаты на танкере — у ног боцмана. Манильские и кокосовые, пеньковые и сизальские, они свернуты, перевиты, уложены друг на дружку.

А у пирса, среди других судов, тихонько раскачивается небольшое суденышко, плещется по ветру его флаг — красный с синим крестом и белой кромкой. Это страна Норвегия. Из кубрика лениво выходит негр. Оглянувшись, зевнул, помахал рукой прибывшему танкеру и, заслонив глаза, поглядел от нечего делать на дальнюю сопку.

Запомнить!.. Может, больше она не увидит дальневосточных пирсов. Не видать ей этих причалов. Не видать ей дальневосточного моря. Они еще не оторвались от ее души, ее слуха, ее рук, ее сердца. Но почему-то она знает — это в последний раз.

Мир — большой. На земле есть другие порты, другие причалы: Одесса, Архангельск, Астрахань, Сингапур... В Сингапуре прямо на пристани продают бананы (ей рассказывали ребята).

Но моря дальневосточного ей уж никогда не видать.

С моряками она терпела бедствие: шторм. А над ней трунили. Ее обзывали фешенебальной.

И все-таки это было счастьем... Почему?.. Оттого, должно быть, что это прошло...

— Товарищ Искра! — подбегая к маме Тарасика, крикнул запыхавшийся матрос. — Вас требует капитан.

— На клотик? — прищурившись, спросила мама Тарасика.

— Какой там клотик! На мостик!.. Он сердится... Давайте, давайте быстрее, товарищ Искра.

— Да!.. То есть нет, нет!.. Закрутила меня совсем, — сказал капитан Боголюбов маме Тарасика, махнул рукой, оглянувшись, приоткрыл рот... и захохотал.

Капитан задышался, захлебывался, кашлял, изнемогал. Он хотел не глядеть на маму Тарасика, не видеть ее растерянного лица, не замечать улыбки «тертого человека» — стармеха, которого трудно было чем-нибудь удивить.

— Объелся смехунчиком, — сказал стармех.

— Ха-ха-ха-ха!..

— Серость наша! — сказал стармех.

И можно было подумать, что словом «серость» он добил хохочущего капитана.

Глаза капитана вдруг как будто бы потолстели, их заслонили трясущиеся от смеха мешочки-подглазники. Бархатный, рокошущий смех, похожий на сок переспелой сливы, на которую нечаянно надавили пальцем, брызнул из капитанского горла. Смех, смех, смех — выпрыгивал, выкатывался из узких щелочек его залитых слезами глаз.

— Да ну вас совсем!.. Да ну вас совсем!.. Уморили!.. Ох! Ха-ха-ха-ха!..

— Хорошо, хорош!.. И мы же с вами во всем еще оказываемся виноватыми: это мы его уморили! — Стармех пожимал плечами, как бы призывая в свидетели рулевого, маму Тарасика и штурмана Игорька.

Капитан зашелся от хохота, как грудной ребенок от плача.

В смехе его было что-то сорвавшееся с цепи, безудержное.

Лицо у мамы Тарасика дрогнуло. Стармех решил, что она собирается зареветь.

— Хорошо, нечутко,— сказал он, строго глянув на капитана.

Приподнятое лицо мамы Тарасика отражало хохочущее, дрожащее лицо Боголюбова.

Ее глаза медленно налились слезами. И вдруг она тоже принялась хохотать. За ней — стармех, за ним — рулевой, и последним по-детски тоненько вплел в общий хохот свой завивающийся хохоток молодой штурман Игорь.

— Да разве... Разве... Ха-ха-ха-ха... — захлебывался капитан. — Да ничего вы, ей-богу, не знаете... Герой, говорит...

— Нехорошо, Боголюбов! — вздохнул стармех. — Некрасиво... Тебе же как человеку, как моряку...

— Ха-ха-ха-ха!.. Почет и слава твоему штурману. Остается, остается на танкере. Успокойся, не обижу его! Извиняюсь, что я вас на ты назвал... А вы извините великодушно. Потому что больно уж хороша!.. За моряка заступилась! Хвалю. Молодец. Можешь спать спокойно... А ведь она человек опасный, стармех! Чуть что — и хватя на заметку. Возьмет и опишет, как хохотал Боголюбов. Раз! — и втиснет в какую-нибудь там брошюрку. С виду и воды не замутит. Тихоня... А спустится потихоньку вниз! И небось хватя тетрадочку и — раз! — на заметку...

— Товарищ капитан! — взмолилась мама Тарасика.

— А что?.. Извиняюсь... Я же сказал: хвалю! Жарь давай. Гни давай свою линию... А если что — так пожалуйста: отражайте. В «Правду», понимаешь, а то в «Комсомольскую» или «Пионерскую». Вот я тут. Весь как есть. Душа нараспашку. Ха-ха-ха-ха! И вот что, стармех, ты, значит, давай того... Выручай Боголюбова. Ты у нас деликатный. Шестью языками обладаешь... Одним словом, как представитель торгфлота ознакомь товарища с Петропавловском. А то еще нажалуеться, чего доброго, в парходство, «затравили ее на танкере»! Это я затравил, Боголюбов.

— Как вы можете!.. Я никогда никому не жалуясь! — быстро сказала мама Тарасика.

— Разве?! А я так подумал... Ладно. Стармех, надевай кителек, чтобы все по форме, и действуй давай... Прихвати-ка «ФЭД» и снимешь у сопочки или там на фоне природки. Действуй. Потому что больно уж хороша... Обозвала Боголюбова самодуром.

— Я вас самодуром не обзывала!

— Нет? А я так подумал, что обозвала. Между строк, понимаете, прочел. Давай, стармех, давай!..

— Нет, ну за что он так со мной разговаривает, товарищ стармех?.. Со всеми я всегда ладила. Честное слово. На заводе меня уважали... А он... осрамил... ославил... Он...

— Стыд, товарищ Искра, не дым и глаза не ест. Не обращайтесь внимания, вот что я вам посоветую. Надоест и бросят... Скучновато в море, надо же понимать. А вообще-то он мужик ничего. И капитан опытный. И человек подходящий. Поверьте! Ближе узнаете — сами поймете.

— Откуда же я узнаю, если у меня выговор за нарушение дисциплины и меня, того и гляди, спишут на берег до окончания практики?

— Эх, сразу видно, что вы ребенок. За что ж вас списывать? Посудите сами! Ведете вы себя довольно-таки культурно, стараетесь.

— Я душу ему открыла! — как будто оглохнув, продолжала жаловаться мама Тарасика.

— Душу? И что?

— Да вы ж ничего не знаете! Я ему письмо написала.

— Положим, знаю, товарищ Искра... Письмо я читал.

— Что?!

— Очень просто. Взял да и показал Боголюбов. Мне показал, показал боцману... Он секрета держать не может — ни своего, ни чужого... Но я и боцман все же люди солидные... А боцман, если хотите знать, так чуть что не плакал... Особенно, знаете, в этом местечке... Ну, помните, где про Жоркино геройство... И доблесть и все такое... Права, говорит!.. Нечуткость, неделикатность... Ну? Вы, Соня, опять за свое?.. (И стармех, вздыхая, вытащил носовой платок.) Возьмите давайте!

— Отстаньте... Я вам не девчонка!.. Я... Я... Шторм. Я переживала... И теперь я плачу, только если что-нибудь очень хорошее... За... за... замечательный человек боцман.

— А то как же?.. Очень даже прекрасный боцман. Платочек чистый. Берите, Соня.

— Красивый.

— Из Сингапура.

— Плевать я хотела на ваш Сингапур! Мне справедливость нужна, а все смеются, — плакала мама.

— А я же вам сразу сказал: плюньте на все и берегите свое здоровье... К женщине, Соня, нужен подход. А у ребят, посудите сами... Откуда им взять подход? Все море да море. Всегда в отрыве от берега. Разве они имеют понятие о деликатности?.. И вы еще на них обижаетесь!.. Одевайтесь-ка, и пошли...

— Не хочу.

— Глупости. Вы хотите. А если не вы, я хочу. Жажду на берег! И не один, а с дамой.

— Я вам не дама!

— Хорошо. Пусть так. Пусть товарищ... Молоденькая, — мечтательно и лукаво сказал стармех, — изящная... Увидят и спросят: «Ага!.. Да никак стармех?.. С «Савельева»?.. И откуда только отхватывает таких!.. Он рвет на ходу подметки».

— Значит, вы не в первый раз гуляете в Петропавловске с девушками? (Мама перестала плакать.)

— С девушками и с дамочками я, не скрою, гулял. Но с таким симпатичным товарищем — в первый раз. «Стажерка!.. Общественное поручение, — скажу. — Друг просил. Боголюбов. Разве откажешь другу?..» Вот как надо действовать, Соня. И овцы целы — и волки сыты. (И стармех улыбнулся, глядя на посветлевшее лицо мамы. Мягко и задушевно пополз кверху его утиный нос.)

— Эх вы, волк! — засмеявшись, сказала мама Тарасика.

— Я волк!.. Но об этом история умолчит. (И стармех рассеянно отвел взгляд от мамы Тарасика.) Молоденькая... Студентка!.. Писательница!..

— Какая я вам писательница?!

— Хорошо. Пусть так... Не писательница, так поэтесса... А мне, старому черту, конечно, лестно... Чего скрывать?! Одевайтесь, Соня!.. Искорка!.. Огонек!.. Эх вы! Не Соня, а горе-горе. Не искорка, а пожар. Катастрофа Ивановна!.. Одевайтесь. Не забудьте: пальтишко надо бы потеплей. И шарфик на шейку... И, если есть, прихватите варевки.

— Тра-ап!.. Вываливай тра-ап!

Трап слегка раскачивается под ногами мамы Тарасика. Внизу шумит море и обдувает ее начищенные новые полуботинки.

— Осторожней, Искорка.

Стармех, улыбаясь, крепко и бережно поддерживает ее под локоть.

Впереди земля... Она не будет качаться. Она твердая. И дуть она не будет. Земля не умеет дуть.

Вот берег, а на берегу дерево.

— Дерево! — говорит, удивившись, мама Тарасика.

— А как же! — весело отвечает стармех. — Ясное дело, что это — дерево.

Дерево голое. Зимнее. Но ведь на морях не растут деревья. Совсем никакие — ни цветущие, ни с опавшими или пожухлыми листьями.

— Осторожней, Искорка. Упадете в воду, а мне потом за вас отвечать перед Боголюбковым.

— До свидания, мальчики!

— Привет! — отвечают матросы с танкера.

Она все смотрит и смотрит назад.

Стажеры внимательно и сурово разглядывают, как стармех с несколько старомодным изяществом подхватывает ее под локоть.

— Не обращайтесь внимания, Соня, — оправдывается стармех. — Они думают, я вас веду в ресторан.

— Ну так что ж?

— Ничего, конечно... Они ребята. Им интересно.

— Счастливо-о-о, мальчики!

И опять она оглядывается назад.

На борт норвежского судна, улыбаясь, выходит негр. Видит, что мама Тарасика машет морю руками. Он счастлив и сейчас же принимается ей махать салфеткой в ответ.

Из каюты в первый раз после тяжелой болезни развалистой, залихватской морской походочкой выходит штурман Минутка. Расступившись, матросы дают ему место у борта.

Минутка глядит на сопку и щурится. И вдруг он переводит глаза на маму Тарасика.

— Соня-а-а... Ты вот чего-о-о!.. Чеши-ка на почту. Купи открыток. Ясно?

— Не обращайтесь внимания!.. Серость, неделикатность! — ужасаясь, оправдывается стармех.

— При чем тут неделикатность? — спрашивает мама Тарасика. — А может, ему на самом деле очень нужны открытки?.. Он... он человек замечательный! И мы с ним товарищи.

— Ах так?! — говорит стармех. — Тогда, извиняюсь, конечно... «Красной армии сыны, все-е-е прекрасны, все-е-е знатны!..» Осторожней, Искорка, не оглядывайтесь, упадете в воду.

Глава двенадцатая

— Отойди, огорчу! — так сказал грузчик маме Тарасика и побежал дальше, придерживая на плече измазанный мукой куль.

Со звоном и длинным-длинным каким-то клекотом прокатила мимо нее по рельсам вагонетка...

Нет, это место не для прохожих. Хозяева тут вагоны, тюки, вагонетки, рельсы...

Они справа и слева. Они сходятся, скрещиваются.

Вспорхнула стальная рука подъемного крана. Сверху, с неба (вон отсюда — из дальнего маленького окошечка), выглянул крановщик. На нем меховая шапка. Он орет — надрывается. А слов почему-то не разобрать.

Чуть слышен далекий, запертый шум моря. Море охвачено с трех сторон сопками. Ему спокойно в этом разорванном пристанью кольце. Тихо ему, а все же так бьется и плещется оно. На дальнем берегу лежит старая-старая баржа, перевернутая вверх днищем... Ее поржавевший бок пригревает солнышко.

Нет на свете кладбища для старых и умерших кораблей. Придет время, их переплавят в больших плавильных печах. Сжигая, печи продлят их жизнь (только уже не морских судов, а железа и стали).

Вся земля в порту как будто бы ошетибилась «топиками» (так по-морскому зовутся старые суда). Издали они похожи на хатки, построенные ребятами... Светятся окна хаток: дыры, в которые глядит небо. Мхом и ракушками обросли их бока.

...Медленно причаливает к пристани пароход и вываливает на берег трап. Большой пароход. Пассажирский. Если б солнце тут было поярче, пожалуй могло бы кому-нибудь померещиться, что сейчас распахнутся каюты и на палубы выйдут люди, одетые в светлое, как на черноморских судах.

Но здесь не юг. Здесь Дальний Восток. Пассажиры этого транспорта — люди с тех берегов, где нет железной дороги и посадочных площадок для самолетов.

Долгонько, должно быть, поджидали они «оказии» (последней перед закрытием навигации). Глядели в море, а не схватится ли оно льдом, не придется ли им дожидаться транспорта до наступления весны.

Для пассажиров с дальних Курил Петропавловск—Большая земля. Отсюда они доберутся до Кисловодска и на Украину, где родина вон того усатого рыбака.

Суровые, грузные и почему-то все, как один, высокого роста, выходят они на петропавловский берег. Идут и швякают большими резиновыми сапогами.

А по правую сторону от парохода стоят другие суда. Полощутся по ветру флаги — советский, английский, норвежский, американский...

...Дорога к городу крутая и грязная. Ее разбили колеса грузовиков.

А нервные все-таки люди шоферы! Дают гудки, орут и окатывают без нужды пешехода грязью буксующих колес.

Из легковички выходит начальник порта. Поднял руку и помахал кому-то перчаткой: «Привет!..»

Он начальник над этими вот тюками, грузовиками, над этим забортным трапом и пароходом, который только что пришвартовался к берегу Петропавловска-на-Камчатке...

Захочет — и может велеть пароходу остановиться на рейде (даже если его проклянет за это капитан).

...Нет места. Все... Ничего не поделаешь, ничего не попишешь... С начальником порта шутки короткие. Захочет — и остановит кран с орущим крановщиком. Он хозяин этого ляганья, крика и грохота.

И только над морем он не хозяин, хоть и похож на морского бога Нептуна (не какого-нибудь нептунишку, а Нептуна с большущего пригородного фонтана).

И все же он не хозяин над океаном. Штормы не спрашивают у начальников, быть им или не быть. Они разбивают графики.

Никогда начальник порта не даст «добро» и не примет транспорта, если барометр намекнет ему на морскую бурю. Даже он склонит голову перед штормующим океаном.

...А вот и город.

Выскакивает из лужи гусь. Он осторожно вытягивает длинную шею; приоткрыв клюв, глядит на маму Тарасика. «Молоденькая! — так,

наверно, думает гусь.— Поэтесса! Ай да стармех, он рвет на ходу подметки!»

Гусь восхищен. Он бросается к луже. Как нефть из нефтяной скважины, взлетают кверху острым плотным фонтанчиком черные брызги слежавшейся придорожной грязи и окатывают (еще почти совершенно новые) мамины полуботинки.

— Идите, Соня, по тротуару. Я с краю,— предлагает стармех.— Дама по правую, по правую сторону тротуара.

— Здесь нет тротуара!

— Кавалер с краю. Потому что, сами должны понимать... Грязь — это первое. А второе то, что вдруг легковичка не так развернется.

— Здесь нет легковичек.

— Сострили. С меня двадцать копеек. В Петропавловске легковичка есть!.. И тут неплохо, надо сказать, прирабатывает шофер, особенно если моряк из дальнего плавания. Между прочим, Малинина Ольга (слыхали, конечно?) — она у меня всегда ходила по эту сторону тротуара.

— В Петропавловске?

— Нет. Допустим, в Америке... А случилось, в Швеции. В Дании. И на Филиппинах.

— Чего?

— На Филиппинах,— пожимает плечами стармех.

— Я уж давно замечаю: вам всегда хочется хоть имя ее назвать.

— Память, Соня,— это вторая душа человека. А?.. Как вы думаете?

— Думаю то же самое, что и вы: «Разлука гасит страсти посредственные и превращает в пожары страсти большие».

— Страсти? Ух ты! Оторвали! (Стармех смеется.) Шарфик давайте, Соня, затянем потуже, ветрено... Эх, молодежь, молодежь! Что вы смыслите в этом деле? Мы с капитаном Ольгой, может быть, щи хлебали из одного котла.

— И она их всегда хлебала по правую сторону тротуара!

— А уж это простая вежливость. Нет, серьезно... Закончите образование, Соня, выучитесь на журналиста и беритесь сразу за дело: создайте книжонку о капитане Малининой Ольге. Первое то, что она достойна. Второе то, что теперь уже больше не будет на флоте женщины-капитана. И правильно... Слишком тяжелое это для женщины ремесло.

— А у нее были дети? — задумавшись, спросила мама Тарасика.

— То-то и есть, что какое там дети, Соня. Не до детей. Не разведешь, согласитесь сами, на судне детский сад. Но была у нее собака. Рыженькая такая. Коротконогая. Ее смыло за борт в Ла-Манше.

— И Малинина... Расскажите, как она спасала собаку.

— Какое спасала! Не за борт же кинуться капитану? Вот то-то и дело, Соня... Может, она бы и кинулась, но неудобно. Все ж таки капитан. Капитан в ответе за экипаж — это первое. За свой транспорт — это второе... Заперлась в каюте — вот только и всего. Походила там, походила...

— Она плакала?

— Плакала? (Он удивился.) Нет, детка, она не плакала.

— Вы ее сильно уважали, должно быть. И любили! — ни с того ни с сего сказала мама Тарасика.

— А как же! — бодро ответил стармех.— Право, не знаю, конечно. Из чего вы это выводите... Но кто не любит женщин, так тот дурак.

...Моросил дождь. А уж давно бы пора выпасть первому снегу. Дождь хлещет и размывает землю — холодный, тяжелый. С обеих сторон дощатого тротуара тянутся лужи — большие, как озера.

Дорога от пристани к городу похожа на размытую глинистую винтовую лестницу. Но если все-таки как следует постараться и вспомнить, что Петропавловск — порт, что ты видишь его в первый раз (и, может, уж никогда не увидишь больше); если подумать, что это историческая реликвия (Петропавловск!); город больших открывателей Севера, город морских баталий; если задрать кверху голову и думать об этом (только об этом), и не дразнить стармеха, и не тратить времени попусту, — тогда и отсюда можно все-таки разглядеть, что такое порт Петропавловск.

Он древний, старинный. По обеим сторонам его узких улочек — деревянные домики и домишки. Но тут и там меж ветхих строений вырастают новые, большие каменные здания. Город лежит, как во вматине, среди высоких сопок. Они его опоясывают с трех сторон, а море — с четвертой.

И с четвертой стороны, оттуда, где море, все время дует ветер. Он треплет шарф на шее мамы Тарасика, хлещет ее по ногам и свистит ей в уши.

...Неужели же это автобусы? Ай да петропавловские автобусы!

Подпрыгивают, вьются и скачут маленькие издали машины по древним улицам Петропавловска-на-Камчатке. По его булыжникам, по его дощатым мостовым...

Ай да лихие и удалые петропавловские автобусы!

— Да-а-авай прокачу, начальник! — восклицает кто-то сочным и грубым голосом над самым ухом мамы Тарасика.

— Ага, — говорит стармех, — а вы мне не верили, Соня. Вот налицо «Москвич».

— Мне вовсе не хочется, — бормочет мама Тарасика.

— Вам хочется, Соня, — уверяет ее стармех. — И согласитесь, как же не прокатить?! Разве после этого я смогу глядеть в глаза Боголюбову?

Шофер и стармех подхватывают ее под локти. Ее впихивают в машину.

— Я ничего не увижу! Тут маленькие окошки! — говорит она.

— Пошел! — приказывает шофер своей машине так грозно и коротко, как будто бы она конь.

Стармех и мама Тарасика ударяются головами о вздрагивающую покрывку ветхого, разбитого на петропавловских трассах многоградального «Москвича».

— Э-эй! — говорит шофер. И «Москвич», не теряя времени и не давая маме Тарасика открыть дверцу и выскочить на дощатую мостовую, рвется вперед: набирает скорость.

Памятник и еще один. Памятник и еще один... Тяжело, должно быть, досталась людям эта земля, отвоеванная у моря и ветров.

Исхлестанные дождями, стоят вокруг памятников скамейки.

Колючий ветер рвется в открытые окошки мчащегося «Москвича». Он свистит и поет. Удивительно хорошо поет петропавловский ветер: десятком слаженных тоненьких голосов.

— Школа? — подпрыгивая на сиденье, спрашивает мама Тарасика.

— Ага! — подпрыгивая на сиденье, отвечает стармех. — Музыкальная! Образцовая! А вот памятник Берингу!.. Шофер, будь ласков, осаживай! Товарищу журналисту необходимо ознакомиться с достопримечательностью города.

...Протянув вперед руку в кожаной перчатке, подбитой верблюжьей шерстью, оставив ногу в забрызганном грязью английском башмаке, стармех набирает побольше воздуха в легкие.

— ...Итак, памятник Берингу... Экспедиция обнаружила... в вечных мерзлотах...

Он говорит интересно, умно и долго, обнаруживая широкие знания и точную память.

Но мама его не слушает. Ей почему-то так весело, так легко...

— ...в те времена, я должен отметить, Соня, моряки ходили только под парусами...

Увлечшись и несколько стыдясь самого себя, он горячо и влюбленно рассказывает о Беринге.

Стармех блестящ и, как всегда, прост. Каждое его слово стало бы для нее находкой, если бы ею не завладел непонятный бес... Она была в море так долго! И теперь ей хочется двигаться, хохотать, радоваться...

— ...первоклассные моряки...— думая только о знаменитом Беринге, продолжает стармех,— а ведь надо и то принять во внимание, что в те времена никто и не слыхивал о моторах.

— Какая серость с их стороны! — перебивает стармеха мама Тарасика.— А можно мне покататься немножко на этой цепочке, товарищ стармех?

— Бросьте дурачиться. Вы не маленькая. Вот музей. Справа, справа — около тира, Соня... пушное богатство Камчатки...

Но мама Тарасика вдруг замирает с широко раскрытым ртом.

У автобуса, на другой стороне улицы, стоит чукча, одетый в меховые узкие брюки, расшитые красным бисером. На голове у него остроконечная шапка.

Он стоит задумчивый под тонким косым дождем. Студент, в руке портфель.

— Чукча?

— Да, да,— обрадовавшись, отвечает стармех.

И нос его, утиный, широкий нос, так счастливо ползет вверх, придавая лицу, тяжелому и усталому, детское летящее выражение... Он ей дарит этого чукчу! Он дарит ей Петропавловск. Автобус и горы... Заклинанием (чтобы доставить ей удовольствие) он вызвал чукчу на улицу. Принял в вуз. Одел в меховые брюки. Поставил у автобусной остановки.

И все это он дарит ей: дожди и лужи, памятник и цепочки около памятника.

Чукча небрежно вскакивает на подножку автобуса.

Автобус трогается: едет вверх, как фуникулер, в чуть колеблющуюся от дождя пустоту узких переулков и улочек.

— Становитесь, Соня, вот тут... Да нет же! У памятника. Наденьте мою фуражку. Я шелкну. Вернетесь домой и расскажете: «Было-было, мамаша, такое дело. Гуляла я как-то раз с морячком в порту, и вот тебе фотография — доказательство...» А может, поднимемся, Соня, на сопку? На Сопку любви? Оттуда как на ладони виден весь Петропавловск.

— Чего?— строго говорит мама.— Какую сопку?

— Очень просто. Название такое — Сопка любви,— оправдывается стармех.— И вот аккурат дорожка.

Под ногами хрустывает гравий. С обеих сторон крутой и узкой дороги стоят кусты и деревья. Печально высвистывает ветер на их ветках ветряную длинную песенку. Влажные, жалкие, тонкие ветки просвечивают морем.

Чем выше поднимаются стармех и мама Тарасика, тем больше моря. Тем жесточе орет и свистит ветер им в уши разные песенки.

— Быстрой,— говорит она.

Стармех поспешает за нею, запыхавшись в броне своего узковатого кителя.

Пять лет прошло со дня выдачи морского обмундирования. С тех пор стармех успел чуток постареть, потолстеть. На его бедре аккуратно подпрыгивает аппарат «ФЭД».

Земля бежит им навстречу, она пахнет тонко и горько — землей. Пусть грязная, пусть залитая дождями, пусть голая и холодная, пусть ветреная, а все же земля, земля. Она пахнет листьями, свернувшимися от холода. Их пришибли к дорожкам дожди. Они не взлетают и не шевелятся. Они будут гнить и удобрять землю.

Земля!

Мама не знает, что такое же точно чувство испытывает каждый моряк, вступая на берег. Он видит землю не мыслями, не глазами, а подметками, которые топчут ее, ноздрями, которые вбирают в себя ее запахи — терпкий, горький, осенний, летний...

Добежав до вершины сопки, мама оглядывается. Перед ней изыбшая танцплощадка; перевернутые зачем-то ножками вверх столы и скамейки — ресторан. Окошки заколочены.

Шепчутся между собой деревья. Им удивительно, что кто-то на них глядит, что так высоко забрались люди — забрели в покинутый до весны парк.

Может, ей никогда уже не увидеть Петропавловска-на-Камчатке?..

И Петропавловск, который лежит под горой, рвется ей в сердце со всею свежестью того, что нам открывается в первый раз.

А он, обрадованный ее детской радостью, окрыленный, помолодевший, рассказывает о других морях и странах — их много на свете! Он снисходителен, шутив и щедр.

— Что это там?.. Вон, около той скамейки... Да нет же, на сопке, товарищ стармех?

— Качели, Соня. А зовут меня Николай Иванович.

Да, да. Качели! Большущие. Настоящие. Измокшие от дождя!

Мама садится на них, зажмурившись, и ждет.

— Ну?

— Ребенок, суший ребенок, — вздыхает стармех, тихонько толкнув качели.

— Выше! Смелее! — кричит она.

Качели взлетают вверх.

Они (качели) на самом краю обрыва (для того, должно быть, чтоб было еще страшней). Сейчас она сорвется и полетит вниз.

— Не так шибко, товарищ стармех!.. Ой-ой, не так шибко! — кричит она.

Море внизу, под обрывом, ходит вверх и вниз ходуном в ее сощурившихся глазах. Справа чуть-чуть раскачивается фуражка стармеха с сияющим золотом околышком.

Здрав голову, он глядит на ее летящие ноги, на вспархивающие полы ее пальто, на ее размотавшийся шарф, на ее растрепанные от ветра волосы.

— Я тут. Не надо бояться, Соня!

— Боюсь!.. Ой, боюсь! Дово-ольно...

— Соня, я тут! Я ту-у-ут! — кричит он снизу.

И в его глазах, глядящих на нее из-под золотого околышка, ликующее выражение молодости и озорства.

— Остановитесь! Хватит! — молит мама Тарасика.

— Нет, нет, не останавлиюсь. Вы у меня наплачетесь и напрыгаетесь, — отвечает снизу стармех. — А как меня зовут, Соня?

— Никола-ай Иванович!..

— Порядочек. Я вас вышколю.

«...Неправда. Это я тебя вышколю! — ужасаясь легкости своих мыслей, как будто вспархивающих вместе с нею над пропастью, смекает мама Тарасика. — Если я захочу, ты побежишь вокруг сопки, если захочу — купишь конфет и мороженого!»

— Стоп! — приказывает она. (И качели замедляют бег.)
 — Спойте-ка что-нибудь, Николай Иванович.
 — Полноте, Соня! — отвечает он.
 — Говорю — пойте!
 — Соня, помилосердствуйте. Да какой я, к черту, певец.
 — Если вы сейчас же мне не споете, я убегу. Мы поссоримся.
 Он принимается кашлять, потом вздыхает: «О-хо-хонюшки, как говорят в Норвегии». И вдруг поет (весь багровый, не поднимая глаз):

...и мо-оре ласково журчалю!
 У на-аших ног!
 У наших ног!

— Довольно! — сжалившись, говорит она. — А теперь наденьте-ка мой берет. Я вас шелкну. Вот тут, у качелей. Приедете домой, расскажете жене и детишкам: «Гулял я как-то в порту. Качал ее на качелях. На этих самых качелях. И вот фотография — доказательство...» Улыбайтесь. Так. Веселей! Счастливей!.. Готово.

— Но я же не говорил вам, Соня, что я женат.
 — А разве я вам говорила, что у меня есть мама?
 — Чудачка! — смеется стармех. — Так что же, вы произошли, выходит, не от женщины, а от чайки?.. То-то я вас сразу признал.
 — Николай Иванович, Николай Иванович!.. Ой-ой!.. Мне страшно! Вон там шевелится куст.
 — Полно. Где?

Из щепня, из пожелтевших, пожухлых трав выглядывает маленькая фигурка: согбенный коричневый человечек, похожий на корень женьшень. Фигурка движется, протягивает вперед короткие руки.

— Так это ж садовник, Соня. Старик. Его Петей звать... Петром Петровичем... У него две дочки, — спускаясь с сопки, рассказывает стармех. — Одна уже двадцать лет как замужем за моряком.

— Почему вы знаете? — спрашивает мама Тарасика.

— Как не знать? Я все знаю. Ведь я на Дальнем Востоке, Соня, свой человек.

Темнеет. Внизу, под сопкой, загораются первые огни.

...Еще день на дворе. Но все — и воздух, и мостовые, и дощатые тротуары города, — все как будто окружено чем-то дальним, синим.

Вечер шагнул издалека, с другой стороны моря. Ступил на улицы Петропавловска, и все кругом стало очень большим, засияло, затеплилось.

Вечер жмет к каждому дереву; стоит, притаившись за каждой скамейкой. Последние прозрачные тени ложатся на камни и камешки: это гравий. Им усыпаны парковые дорожки.

В догорающем свете дня от теней и первого света дальнего электричества становится видно, что у каждого камня свое какое-то выражение шербоного каменного личика... Серые, розовые, толстые и худые, круглые и кривоватые, с одной раздувшейся щекой (как будто бы у них флюс), они поблескивают от недавнего дождя, деловито и влажно цвивиркают под ногами стармеха и мамы.

Поздний вечер. А так ли?

Синева, огромная и дрожащая, за каждым домом, у подножия каждой — ближней и дальней — сопки.

Для того чтобы сделать ее еще синей и длинней (для этого, только для этого!), загораются окна и окошки в домах. Они прорезывают, пронизывают синеву, горят и сияют. Блещет огнями и огоньками каждый городской дом в этот вечерний час, словно зажглись его глаза-окошки, как глаза совы в тайге.

Откуда-то с другой стороны моря медленно выкатывается серое небо. Темнеет. И вот оно сделалось черным. Глядят решетчато сверху колючие злые зрачки дальних северных звезд.

Склоны сопок усеяла россыпь огней. Чем дальше они, тем мельче и мельче. Не сберегли себя. Не удержали, разбрызгали свет на крутых поворотах. Там, где днем были видны коричневые распаханые поля, огни дрожат и колеблются. Но ведь они электрические, и ветру их не задуть.

Мимо стармеха и мамы Тарасика проезжает знакомая машина «Москвич». Ее окошки распахнуты. Из окошек вьются ленточки бескозырок.

— При-вет! — орут матросы, оживляя скучную тишину ночи и взбадривая крепко уснувших жителей города Петропавловска.

На перекрестке улиц стоит, согнув дугой свою тонкую алюминиевую шею, уличный фонарь и отбрасывает на влажную мостовую свет, похожий на конус.

— Холодно... Может, выпьем хоть по стакану кофею? — застенчиво предлагает маме стармех.

— В ресторан? Нет. Ни за что. Я сыта.

— Тогда подождите, Соня. Я хоть куплю для вас кое-что в палатке. Запахните пальтишко. Вот так. Я мигом.

Мама смотрит на свет фонаря. Глазам становится томно. Она зажмуривается. Этот свет, похожий на конус, что-то напоминает ей... Ах да, — окошко в комнате дедушки Искры.

— Озябли, Соня? — спрашивает стармех.

— Да, да... Озябла. Сильно озябла.

— А я вам крабов купил. Ага. Шоколаду и крабов. Я знаю, вы любите крабов. Мне сказала дневальная. Идем скорее. Вы устали, бедняжка, проголодались.

— Куда? — говорит она.

— На сегодняшний день ваш дом — наш танкер, — отвечает он грустно и ласково. — Нас ждут. Нам оставили ужин, Соня.

— Нет, нет, Николай Иванович... Мне еще нужно на почту. Купить открыток. Ведь я обещала Минутке.

Молча шагают к почте стармех и мама Тарасика.

— Николай Иванович!..

Молчание.

— Мне холодно.

Молчание.

Молчит... Рассердился, как жалко! До чего это хорошо, когда тебе радуются! Ни за что. Просто так.

Хорошо, когда чьи-то глаза тебя отражают, сияя.

...Дедушка Искра... Да, да, конечно! Он сказал ей: «Полно тебе реветь, казанская сирота».

Он ей позволил растить Тарасика и любить Богдана.

И она была благодарна.

За все всегда бывала она благодарна. Богдану! Дедушке! Хлебу! Валенкам! Даже окну — за то, что светится в темноте.

А кто бывал благодарен ей?

Чья улыбка покорно вспархивала от ее взгляда? Кто хоть однажды дал ей волшебное право на дерзость, причуду, шутку?

Ага! Вот то-то оно и есть.

«Спасибо!»

Нет, нет. Она не хочет быть благодарной. Пусть все теперь будут благодарны ей. И он, Николай Иванович.

За что же?

А так. Просто так.

За то, что целый день ничего не ел. За то, что измок. За то, что надел узкий китель.

За то, что она позволила ему качать себя на качелях!

А может, скажете, этого мало?.. Да?

Глава тринадцатая

— Открыток!— не поднимая глаз, сказала мама Тарасика.— С цветком или, если можно, с каким-нибудь видом... С кораблем или пристанью.

— Сколько?

— Десять.

Окошко мгновенно выбросило десять открыток с видами Петропавловска.

Мама Тарасика взяла их и быстро сунула открытки в карман. Вот эту, с самым красивым видом, она повезет Тарасику. Как ей хочется есть, обогреться... «На сегодняшний день ваш дом — наш танкер»,— сказал он еще так недавно.

Домой!.. Она устала. Ей хочется лечь. Услышать радио. Увидеть уютные, застланные дорожками коридоры танкера...

Домой!.. Дом покрыт новой крышей. На крыше — новые антенны. Вечер. Ярко отсвечивает в темноте снег. За окнами — большими и малыми — тоже загораются огни. Свет от зеленой лампы ложится кругом на письменный стол. У стола сидит человек. Он запустил пальцы в густые русые волосы.

Я люблю тебя, человек!.. Люблю твои волосы (которые встали дыбом, как колючки ежа); люблю твою щеку, которую вижу через окошко; помню вот эту косоворотку, которую столько раз стирала и штопала.

Твое лицо отразилось в лице моего Тарасика... Родинка с твоего плеча — на его пухлой и теплой шейке, твои ногти — в ногтях его коротких и толстых пальчиков. Окно!.. Ты всегда мне светишься из темноты... Почему же я ничего о тебе не знаю?!

— Товарищ стармех, извините, одну минутку,— сказала мама.

— Ох уж мне эти «Минутки»,— улыбнувшись, ответил стармех.

Окно почтамта — оно ведь тоже окошко... Может быть, поэтому мама Тарасика возвратилась к нему.

— Нет ли у вас для меня письма?..

— Корреспонденцию до востребования выдаем до шести часов.

— Дорогая!.. Я приезжаю. С танкера. Я проездом... Вот хоть его спросите!.. У меня... сынок...

— Тарас?— сказала старая женщина так уверенно, как будто прочла его имя в маминых расширившихся от удивления глазах.

— Тарасик. Точно. Откуда вы знаете?

— Вы Софья?.. Вам телеграмма.

— Мне? Нет, нет... Вы ошиблись. Я не давала этого адреса. Товарищ стармех, скажите ей, что она ошиблась!..

— Соня, бросьте. Не будьте ребенком. Давайте телеграмму сюда,— говорит стармех.— Вот так. Сейчас распечатаем... Успокойтесь, Соня!..

— Читайте!

— «Выезжай София Тарас помирает»,— прочел стармех.

Не выпала из рук телеграмма. Не упала на пол мама Тарасика. Она молчала, и на почте сделалось до того тихо, что стало отчетливо слышно в большой тишине тонкое и дальнее треньканье, похожее на перезвон трамвая.

Потом звон трамвая заглушил отчаянный крик.

Задребезжали стены, выбежала из-за окошка телеграфистка.

Мама Тарасика стояла посреди почты на несгибающихся ногах. Ей мешал крик. Он заглушал звон.

— Тара-а-асик!

Она позвала Тарасика. И он встал перед ней, пробежав девять суток пути, которые разделяли их.

Тарасик говорил: «Мама!»

И она сказала: «Тарасик!»

Он не знал, что она кричит. Не знал, где она. Он был мал.

Мертвый, стучался он в двери и спрашивал: «Мамочка, а зачем здесь садик, а ничего не растет?» (про окошко подвала, окруженное жердочками). «Мамочка, а зачем лилипунтики?» (про человека в цирке). «Мамочка, а что за такое фамилие — Фортунатов?»

Мертвый, стучался он в двери! Глаза его мертвые, косоватые. Мертвый, бежал он среди живых. Мертвый. Для мертвых нет расстояний.

«Мамочка, что это?»

«Это смерть», — объясняла она, как объясняла когда-то, что значит собака, травинка, ягода...

Он не хотел умирать. Он ей жаловался, он спрашивал:

«Мамочка, смерть — это значит нету меня?»

«Да, да, — разъясняла мама, покачивая головой. — Тебя нет».

«Я есть. Мама-а!.. Мамочка!..»

Он бежал к ней сквозь океаны, вечный и маленький, в коротком желтом пальтишке. Он плакал. Он не хотел, чтобы «смерть». Он хотел чернильницу, кошку, качалку, кремушки...

— Тара-а-асик!

Голова мамы, опрокинувшись, скользнула по чужому темному рукаву. Ее щека оцарапалась о золотые нашивки.

Чужое лицо, содрогнувшись от жалости, разъяснило ей, что значило слово «смерть».

Из страдания, как в окне, озарившемся неожиданным светом, вдруг показался Тарасик.

Положив толстую ножку на толстую ножку, он сидел на ступеньках дедушкиного крыльца и глядел вперед глазами, полными любопытства. Он глядел на протянутую ручонку, в которой держал хорошенькие дальневосточные кремушки. Камушки-кремушки. Дальневосточные, настоящие.

И опрокинулись мама Тарасика, и живой Тарасик, и мертвый Тарасик на руки чужого человека. Его руки их подхватили и, не уклонившись, не дрогнув, добро и твердо понесли навстречу страшному слову «смерть».

«Танкер Леонид Савельев капитану Боголюбову

Владивосток пароходство морфлота сегодня шестнадцать ноль-ноль поступила телеграмма имя практикантки Искры Софии тчк радируем содержание телеграммы двоеточие София выезжай Тарас помирает тчк случае товарищ Искра не находится более борту вашего танкера прошу разыскать ее Петропавловске тчк телеграмма разослана пароходством Петропавловск Главпочтамт востребования зпт Петропавловск гостиница Интурист зпт Петропавловск отделение газеты Комсомольская правда тчк прошу рапортовать пароходство мне принятых вами мерах отправки товарища Искры Москву самолетом

Черных».

— ...Пацан!.. Мировой... Вот этакий — толстощекекенький... Сидит на плечах у батьки. Она мне карточку показывает и говорит: «Ты на меня, пожалуйста, не сердись, у меня семья. Я его люблю. Понимаешь?» А я:

«Да как не понять!.. Вопрос, по-моему, очень ясный». «Нет,— говорит,— ты еще не дорос, чтобы понимать любовь... Его Богданом зовут. Он электрик». Вот какая история, ребята... А сын у меня, рассказывает, до того культурный! И есть, конечно, в нашей семье свои огорчения: отец над ним не работает. Не дорос... И пацан действительно мировецкий, ребята. Тарасик... В большущей меховой шапке...

Так говорил Минутка и бегал по танкеру. Он заглядывал людям в глаза, будто хотел в них вычитать — нет ли какой вины его, Георгия Минутки, в том горе, которое свалилось вдруг на маму Тарасика.

Так и не вычитал. Ушел в каюту, вынул из шкафа большую бутылку с белым лекарством, выпил стакан лекарства.

Упал на койку.

И вдруг ни с того ни с сего разодрал на себе рубашку.

Глава четырнадцатая

Все, кто был в этот вечер свободен от вахт, поднялись на палубу, для того чтобы проводить маму.

Она шла по узкому коридору расступавшихся перед ней людей.

Шла, по-птичьи наклонив голову, странная и прямая на своих несгибающихся ногах.

Выбежала вперед дневальная и загородила маме дорогу.

— Шарф,— сказала она.— Соня, а Соня, слышишь? Давай завяжу получше, а то потеряешь.

— Тише!— ответил вместо мамы стармех (он нес за ней чемодан, плащ и ботики, которые почему-то забыли упаковать).

Сделалось тихо. В шуршащей тишине моря стало еще отчетливей слышно, как хлопают о доски палубы тяжелые ноги мамы.

Капитан закашлял. Потом, как будто что-то надумав, медленно снял фуражку.

В желтом свете палубного огня тускло блеснул золотой околышек. Ветер начал перебирать седоватые волосы капитана.

И сейчас же вслед за своим капитаном сняли фуражки и бескозырки все моряки.

Мама Тарасика была мамой. А они — ученик морского училища, старый боцман и седой капитан — чьими-нибудь сыновьями.

ЭПИЛОГ

Вечер. Снова вечер. В городе он не такой, как в поле или в лесу. В лесу и в поле темно, тихо. А в городе светло. Здесь всегда светло, даже ночью. По мостовым проезжают машины. Свет их круглых выпуклых глаз освещает путь впереди. На перекрестках горят светофоры. А на тротуаре зажигаются фонари. И светится каждый городской дом в этот вечерний час — зажглись не только его окошки, зажглись парадные в старых и новых домах.

На всех этажах красивого нового дома горят еще не разбитые и не вывинченные мальчишками лампы.

...Мама Тарасика толкает парадную дверь, останавливается на пороге. Потом бросает чемодан и бежит вверх.

Ее ноги не гнутся, не слушаются ее. Она падает. Встает и опять бежит. Если бы открылись двери на какой-нибудь из лестничных площадок, люди, пожалуй, не признали бы мамы Тарасика. Она растрепана. На левой щеке кровоподтек. Мама не помнит, где и когда зашиблась.

она не знает, что у нее кровоподтек на щеке. Рот мамы искривился, и кажется, будто она улыбается. Улыбаясь странной и страшной улыбкой, она протягивает руку к звонку.

Звонок. В коридоре слышится чей-то шаг... Шаг коротких ножек. Человек за дверью торопится. Шажки замирают. Они у дверей.

— Скорее!— говорит мама.— Скорее!— кричит она.

За дверью говорят:

— Ма-ама!..

Они по обе стороны этой двери. Он тянется к замку. Она слышит его дыхание.

Дверь распахивается. Не мигая, молча, глядят они друг другу в глаза.

— Тара-асик!

— Мамочка-а!

Она падает, бьется на лестничной площадке. Она плачет, ощупывает Тарасика, глядит на него, прижимает его к себе.

— Мальчик мой! Жизнь моя! Моя ласточка!

— Мама, больно!

На мамин крик выбегает папа Тарасика.

— Со-оня!— говорит папа.— Когда ты приехала? Что с тобой? Ты здорова?

Мама медленно отрывает заплаканные глаза от Тарасика и, все еще сидя на корточках, смотрит снизу вверх на папину растерянное, удивленное и обрадованное лицо. И папа вдруг отступает. Он не знал, что у его жены, его Сони, могут быть такие глаза. В них ненависть, ярость.

— Со-ня!— тихо говорит папа.

Она встает, подходит к нему и ударяет его по лицу. Он перехватывает ее руку, но маму не удержать. Она плачет и дерется.

Куда девалась папина кроткая Соня? Да это тигрица из зоосада.

Мамины вопли подхватывает Тарасик.

— Соня!.. Опомнись, Соня! — говорит папа.

А мама знай свое:

— Ни разу не написать! Так издеваться! А потом трахнуть эту страшную телеграмму...

...Да как она жива-то осталась?.. Как он мог?.. Как он смел?! Нет... он просто не человек.

— Не давал я тебе никакой телеграммы... я... я только письмо. Успокойся, Соня. Опомнись, Соня.

Нежно скрипнув, распахиваются двери на верхнем этаже. В двери мелькает усатое заспанное лицо пожилого соседа лекальщика.

Он смотрит, как мама Тарасика бьет ошалевшего папу, как папа обнимает ее за плечи и гладит ее лицо.

— Товарищ Искра!— говорит лекальщик застенчиво.— Ясное дело... Чего не бывает в семье. Но нельзя ли как-то потише? Людям в шесть утра на работу, а вы того!..

— А что с него взять, Ванятка?— бодро подхватывает ликующий голос. Это жена лекальщика.— Хорошего человека не станут зазря лупить... Я с тобой двадцать лет как зарегистрирована, а ни разу и дураком-то не обозвала... Горемычная... Не успела уехать, а его, голубчика, хватать в милицию. А по ночам и домой-то не приходил. Мы ль не видали, мы ли не знаем?!

— Что случилось?

— Искры скандалят,— отвечают друг другу лестничные площадки.

Шум крепчает. Голоса подхватывает эхо. «Искры! Скандалы! Ха-ха-ха-ха!..»

Опомнившись, папа вталкивает маму в раскрытую дверь. За ними, икая и всхлипывая, семенит Тарасик.

Дверь захлопывается. Тишина. Эхо жмется щекой к холодной шершавой стенке.

Вот башмачки Тарасика. Они стоят под кроватью и дремлют. Притаился шнурок рядом с кошkinsким блюдцем. Долго и сладко будут спать сапожки Тарасика: сегодня суббота. А завтра воскресный день. Целый завтрашний день Тарасик будет только Тарасиком, маминым и папиным сыном и дедушкиным внуком. А послезавтра опять переколдуется в Тарасика Искру и станет мальчиком из детского сада. Ему хорошо! Рядом мама! Почему же так глубоко вздыхает сквозь сон Тарасик?

...Пиликают батареи, тонко, чуть уловимо поют свою песенку, поющую на песню сверчка.

Темно. Мама погасила верхнюю лампу, чтоб она не мешала Тарасику. Но отсвет снега входит в комнату и будто подмигивает... Снег под окнами светится спокойным, широким голубым сиянием, прыскает блестками, горит, как от холодного пожара. Каждая брызжащая светом снежинка могла бы, верно, рассказать какую-нибудь историю, только не хочет говорить. У нее свой язык. Она блещет. На стене две тени. (Ведь о третьей — об угловом человеке — знает только спящий Тарасик.) Тени на стенке, видно, ссорятся. Одна из них взмахивает волосами, у другой станвится дыбом хохол. Потом медленно приближаются тени друг к другу, и вот они слились в одну большую, чуть колеблющуюся тень.

Тарасик перестает вздыхать и ворочаться. Она тут! Он слышит это ухом, щекой, ресницами... Мама приехала!.. Мама приехала!.. Тарасик копит силенки. Завтра с утра он даст знать о себе!..

Большая тень на стенке затихла...

Отойдем от окошка. Нехорошо подглядывать и подслушивать.

Осторожней! Покрепче держитесь за выступы стены. Давайте пойдем дальше. Дальше?! Но что же дальше? А дальше — весна. После зимы всегда бывает весна. Вы разве забыли?

Папа Тарасика, хорошо освоив сопромат и электротехнику, сдаст экзамены, прекратит разгильдяйство и перейдет на следующий курс. Он станет очень хорошим электротехником. Он зажжет в своем доме фонарь, который будет светить, не угасая. Ведь он может так много, он может — свет.

Дедушка поправится и обожжет в своей печи много ваз — синих, как море, желтых, как подсолнухи, красных, как закаты в Опошне. Обнаглеют птицы, скажут «весна» и зачирикают на подоконнике. Из старых веток выклюнутся новые почки. Снег растает и побежит с крыш. Но сколько бы ни растаяло снега, капли будут всегда сочиться на землю — одна за другой, одна за другой. Не сливаясь. (Иначе они перестанут быть каплями.)

Если кто-нибудь окликнет милиционера Морозко, он обернется, и вы увидите его молодое лицо.

— Извиняюсь, товарищ, обознались, товарищ. Моё фамилие не Морозко, а Синеоков.

А ты говоришь, что чудес не бывает! Они повсюду. Даже в светлом глазке чернил. В луже. В тени на стенке. В каждой ветке — хоть зеленой, хоть желтой, хоть покрытой инеем. Не видишь? А ты не ленись, зажги свой потайной фонарик — ага, вот то-то!

Я вам не солгала ни разу. А если бы и придумала что-нибудь, так что ж такого? Книжка — ваша, а грех — пополам.



ПАВЕЛ ХАЛОВ

★

МОИ ДРУЗЬЯ

Э моей отчизне в городах портовых —
Пусть дождик льет,
 пусть ветер ходит крут —
С утра до ночи, путаясь в швартовах,
Мои друзья веселые снуют.
Им в бухтах дно видать, как в чайном блюде.
И волны им соленые сладки.
Их матери домой не дозовутся
И обегают папины сынки.

И боцманы волнуются угрюмо,
И капитанам мнится день-деньской,
Что спит в канатном ящике иль в трюме
Непризнанный пока что Невельской.

Всех знатоков, выдавших виды,
 лучше
За несколько немислимых минут
Они вас очень правильно научат —
И плату только дружбою возьмут, —
Как с парусом ходить на встречный ветер,
Кальмаров печь,
 чилимчиков варить
И верить в то, что есть земля на свете,
Которую
 лишь вы
 должны открыть!

..*

Я все никак привыкнуть не могу,
Что за окошком грохот моря слышен,
Что брызги разлетаются над крышей
И умирают волны на бегу.

Я все никак привыкнуть не могу,
Что можно так вот запросто подняться —
И в ночь пойти, и с морем побрататься.
И до утра стоять на берегу;
Что рыбаки, не спящие давно,
Огромными скрежещут сапогами

И женщины тревожными глазами
Незряче смотрят в черное окно...

Я все никак привыкнуть не могу,
Что парни со степенною походкой
Зовут «горняк» хорошею погодкой —
А мне не продохнуть на берегу...

Здесь надо жить столетья, а не дни,
А может быть, и больше — я не спору,—
Чтоб стать хозяином простуженного моря,
Чтоб так же улыбаться, как они.

* * *

Неделю нас держала в цепких лапах
Взбешенная охотская вода.
Разбиты в щепки палубные трапы,
Оставлены в глубинах невода.

Неделю к нам стучалось из эфира
Чуть слышное, похожее на стон:
«Внимание, РТ пятьсот четыре!
Идет циклон!

Внимание — циклон!»

А после семидневного скитанья,
С истрепанного морем корабля
Разглядывая пятнышко в тумане,
Шептали мы беспамятно:
— Земля...

Как много дней потом — и зной, и стужа,
И ни одной дороги столбовой...
Нетвердая, загадочная суша,
Как палуба, вздымалась подо мной.
Набив на маршах новые мозоли,
Полтыщи верст в походах пропыля,
На маленьком привале как-то в поле
Я ласково почувствовал: «Земля!»

Но все чего-то ждалось и хотелось,
Не так цвели, не так росли цветы,
Пока в пути девчонкой загорелой,
Любимая, не встретилась мне ты.

Родился сын.

Что мы с трудом открыли —
Он открывает походя, шая...
Легли в стихи и небыли и были,
И я подумал:

«Вот она, Земля!»

Но что-то снова душу мне тревожит.
И по ночам, за письменным столом,
Что прожито, стараюсь подытожить,
Припоминая каждый шрам и шторм.

Еще так много ждет меня.
 Так много,
 Зовет вперед, тоскуя и маня.

В каких краях и на каких дорогах
 Я отыщу тебя,
 Земля моя?

НА КРАЮ АЗИИ

Моему другу эвену Якову Громову

Еще в пути вожак почуял море...
 Он волновался, убыстряя бег.
 Горячей пастью всей на косогоре
 Нетающий хватал железный снег.
 Летели нарты, прах взметая дымом.
 Ты к встрече с морем был готов давно,
 Но все ж неожиданно и неповторимо
 Тебе в глаза ударило оно.

Рыбачий стан...
 Кунгасы. Бочки. Баки...
 И грустно и счастливо понимать,
 Что и твоим проверенным собакам
 Его и в сорок солнц не обежать.

И ты и я — мы не могли иначе:
 Нам родиною Азия дана.
 Меня с тобой свела одна удача.
 Мечта одна и боль свела одна.

Мы выйдем, притворив неслышно двери,
 И помолчим — оно, и я, и ты...
 Как пахнут тундрой — ягелем и зверем —
 Твои олени бурые унты!

Здесь Азия кончается.
 И глухо
 Грозит удачей море и белой.
 И добрая бригадная стряпуха
 Картошку моет темною водой.

Пройдет путина. Ты уйдешь к оленям..
 Но лишь апрель дохнет издалека —
 Мы сядем здесь же, подогнув колени,
 От одного прикурим уголька...

* * *

Вы знаете, как море пахнет,
 Когда рассвет над ним распахнут?

Таким настойчиво-тревожным
 Смолистым запахом снастей,

Последней льдиной осторожной,
Теплом уверенным людей.

Влечет к себе неудержимо
Зазывным духом дальних стран,
Как ночью манит запах дыма
От придорожного костра...

И вы молчите без причины
И словно ширитесь в плечах.
И все,
 что в жизни не случилось,
Случится, кажется,
 сейчас.

г. Хабаровск.



Т. ЖУРАВЛЕВ

★

ДЕД ХАРИТОН

Рассказ

Зашла к нам тетка Ганна из Криницы, подруга моей матери, и в разговоре между прочими новостями, как-то мимоходом, сказала, что дед Харитон, ее дальний родственник, умирает.

И, главное, сказала об этом спокойно.

Я удивился.

— Не верю. Позавчера только ходили с ним в дубки.

Да, да, ответила тетка Ганна, позавчера еще никто не верил, а вот вчера случилось. Вторую ночь до утра ни за что не дотянет, сегодня уже со всеми соседями простился.

Мне стало не по себе. Как же так? Был такой веселый, жизнерадостный: шутил, смеялся, и вдруг — «не дотянет». Позавчера мы ходили с ним в дубки за озером, перед началом осенней охоты, и он всю дорогу, как никогда, забавлял меня рассказами о разных «привидениях» на этом озере. Нет, он умереть не может!

— А что с ним? — спросил я тетку Ганну.

— Задышка, — сказала она с глубоким вздохом. — Ночью, говорит, у него от кашля сердце оборвалось, где-то уже стучит внизу.

Я забеспокоился: это было похоже на правду. По вечерам он действительно кашлял и порой даже задышался от кашля, но не так уж часто и не до такой уж степени. А вчера вот, перед самым открытием охотничьего сезона, совсем не пришел в дубки. Значит, не зря — должно быть, и в самом деле беда случилась...

Опасаясь, как бы не остаться перед ним в долгу, да еще и непрощенным, я колебался: пойти ли к нему сейчас или отложить на завтра. Сегодня же первый день охоты! На утренней зорьке мы для пробы только лишь распугали уток, а настоящая стрельба начнется вечером. Пока удалось мне сбить одного чирка и подстрелить в камышах пару курочек — мать их уже зажарила, но вечером я принесу домой десятка два, не меньше. Нет, потерять этот единственный вечер в году невозможно! Дед Харитон это знает: он и сам к нему готовился чуть ли не все лето, и с таким оживлением, с каким, пожалуй, не готовятся к большому празднику. Сколько раз обошел он охотников — поговорить с ними, а главное, удостовериться, все ли у них в порядке. Если кому не хватило дрови, давал займы, если кому не досталось пороха, делился и порохом. Какая же ему охота без компании? Помню, пришел ко мне в то воскресенье и, узнав, что несколько патронов у меня раздулось, в тот же вечер передал с почтальоном обжимное кольцо. Да, кстаги! Надо же вернуть ему этот обжим.

Я заторопился. На улице вечерело — пора бы уже и в дубки собираться, но что поделаешь: надо сперва забежать в Криницу. Крюк

туда порядочный — четыре километра, и пройти бы их нетрудно, да вот гора мешает. Дорога в Криницу легла через гору, пока взойдешь на нее — устанешь. Ах, если бы не этот перевал!

Однако раздумывать некогда: солнце уже за крышей соседнего дома. Пусть опоздаю немного к вечернему лёту и настреляю не двадцать, а полтора десятка. Хватит! И мне и деду Харитону. Нельзя же теперь оставить его, в такую трудную пору.

Вышел я из дому с ружьем за спиной, с патронташем на поясе и с обжимным кольцом в кармане. А на выгоне вдруг вспомнил, что осталась у меня еще большая сковорода деда Харитона. Он принес ее в прошлом году раскатывать дробь на дубовой доске. У меня тогда перед охотой оказалась только мелкая, бекасиная дробь, а мне бы надо покрупнее — на уток. Дед Харитон сходил на гору, в старые окопы, и собрал там в полузасыпанных песком и заросших бурьяном блиндажах полный котелок нерасстрелянных, позеленевших от времени патронов. Когда он шел с горы ко мне с котелком в руке и с большой сковородой под мышкой, я подумал: старик, не иначе, в поход собрался, на рыбалку, чтобы там же, на месте, варить уху и жарить рыбу. Но пришлось нам зажаривать пули. Мы вытаскивали их из патронов, подогревали на сковородке, так чтобы свинец расплавился, потом выливали его в тонкие трубочки из тростника — черетинки. Старик рубил эту остывшую свинцовую лапшу топором на мелкие кусочки, а я раскатывал их сковородкой в шарики. Утиной дроби нам хватило зарядов на двадцать. Мы поделили ее поровну — дед свою долю унес в котелке домой, а сковородку оставил: я тоже собирался на досуге сходить в окопы за патронами. Сковородка эта была особая: глубокая, с двумя ручками. Правда, ее края уже отбиты, а все-таки вещь для охотника.

Пришлось вернуться домой и взять ее под мышку.

Мать пошутила вдогонку:

— Ты еще и тетку Ганну забыл. Ей тоже в Криницу. Одна дорога.

Но я будто и не расслышал — заторопился к выгону. С теткой Ганной мне сейчас не по пути. Она меня свяжет в дороге, потому что ходит медленно. Да и забавлять ее разговорами не с руки. Пусть не обижается, потом из дубков и ей занесу пару уток. А сейчас мне хочется побыть одному, подумать о старом друге, будто поговорить с ним наедине, потому что говорить и думать о чем-нибудь другом я уже не смогу...

Мы с ним познакомились давно, когда мне было тринадцать лет. Весной, в половодье, вышел я однажды под гору, на берег затопленного луга, полюбоваться вечерним закатом и послушать уток. Лугом у нас называют низину под горой, заросшую высокими ольхами, густыми вербами и непролазным лозняком. С востока на запад луг рассекает широкая просека; летом по ней ходят за хворостом и собирают смородину, зимой пролегает санный путь из Криницы в нашу деревню, а весной, в разлив, просека превращается в канаву, на которой ползутся большие стаи перелетной дичи. Тут бывают и гуси, и даже лебеди, а уток столько, что от крика их звон стоит в лугу от зари до зари. Все охотники мечтали об этой канаве как о месте обетованном, но проехать туда на лодке никому не удавалось — от реки далеко, да и в зарослях пробиться трудно. А с берега не достанешь: птица не подплывала на выстрел. Было бы у меня ружье, я, конечно, достал бы, потому что к этому времени уже научился искусно кричать по-утиному: складывал пальцы трубочкой, приставлял один кулак под углом к другому и, как в изогнутый охотничий рог, кричал с таким усердием, что селезни даже удивлялись. Тревожно откликаясь на мой зов, они под-

плывали со всех сторон так близко, что прямо хоть рукой хватай. Надо признаться, что после, когда я попрос и голос мой огрубел, селезней уже обманывать не удавалось. Всему свое время. И вот, значит, когда был голос, а ружья, к сожалению, не было, сидел я на берегу канавы и долго дразнил одного любопытного селезня. Он плавал где-то рядом, но в зарослях и на чистую воду не показывался. Яркое солнце уже садилось в ольшаник на том краю луга, оно освещало теперь всю просеку насквозь, и в закатных лучах его канава сверкала золотисто-огненной дорогой до самой Криницы. Вдалеке от берега мерцали на воде серебристые черточки — видны были даже черные точки, бороздившие канаву поперек. Я залюбовался тогда этой далекой стаей, совсем позабыв о близком селезне. Вот уже солнце и скрылось, оно погасло, и канава от заката стала кроваво-красной, а черточки на воде — золотистыми. Но скоро сменилась и эта окраска. По мере того как потухал закат, вода в канаве постепенно из розовой переходила в голубую, и в этот миг была особенно красивой. На всем протяжении в ее сверкающей голубизне, как в зеркале, отражались темные ольхи с кудрявыми копнами голых ветвей и седые вербы, уже опущенные легким зеленоватым налетом — верба у нас раньше всех выпускает листья. В эту минуту канава казалась какой-то волшебной дорогой в мое будущее, и, пожалуй, только ради этой минуты я терпеливо просиживал на берегу целыми часами. Потом наступали сумерки, вода синела, и тени от потемневших деревьев становились черными. Я глядел в эту черноту под ольхами, и хотя уже не верил в русалок, все же казалось — а черт его знает, вот забурлит сейчас вода, и, разгребая голыми руками протлюгоднюю траву, похожую на волосы, возьмет и выйдет на берег мокрая девушка. Ну что с ней будешь делать?..

Пора домой! А то, чего доброго, еще дождешься! Вон и канава потемнела и стала грустной — это была уже дорога, которая вела куда-то в далекое прошлое. И черточки на ней совсем исчезли. А селезень? Я вспомнил о нем в последнюю минуту и, сложив ладони трубочкой, на всякий случай крикнул. Прощай, мол, до завтра. Но селезень вдруг отозвался так близко, что я даже вздрогнул. Потом в десяти шагах от берега на чистую прогалину выплыл его четкий силуэт, будто вырезанный из черного картона, и следом за ним, как видение, бесшумно высунулся острый нос охотничьей лодки. Я не дышал. И даже не мог подняться, чтобы убежать отсюда. Лодка вышла на всю длину, перегородив канаву, и теперь я увидел в ней охотника с шестом в руках. Но это был не шест, а длинное ружье, и как бы оно еще не стрельнуло в мою сторону.

— Это я,— говорю охотнику.

— Тьфу ты, дьявол! — отвечает он.

Потом, немного спустя, въедливо спрашивает:

— Упражняешься?

Я промолчал. Охотник, подтянув за шнур своего селезня, усадил его в лодку.

— Этак мог бы и в мою крикуху выстрелить.

— Из чего?

Он удивился.

— Как это из чего? Зачем же тогда крикаешь?

Ну, думаю, пора отчаливать: надо подняться и бежать отсюда. Но охотник опередил меня — подогнав лодку, он выскочил на берег.

Только бы веслом не замахнулся! Нет, он воткнул его в землю и полез в карман — должно быть, за кисетом.

— А я считал вашу крикуху селезнем,— говорю ему как можно спокойнее.

— Считал... считал... — упрекнул охотник. — Одурачил старого, — усмехнулся он, присаживаясь на пенек.

Ну, думаю, пронесло.

— В прошлую осень, — продолжал охотник, — такой же вот болван отшиб моей новой утке голову. Только что купил ее в магазине, деревянную, и в первый раз на воду выставил. А он, сукин сын, подкрался. Выследил! Эх, как выпрыгну из лозы да безголовой уткой его по загровку — аж пятки засверкали!.. Охотнички!.. Ты куришь?

— Нет, пока не пробовал.

Он посмотрел на меня подозрительно и, убедившись, что я был действительно безоружным, сбавил голос:

— Пацан... Ружья нет, а кричит. Интересно... А что же, — спросил он, — и часто сюда ходишь — уток смущаешь?

— Каждый вечер.

— А лодка есть?

— И лодки нет.

Он задумался.

— Интересно... А править умеешь?

— Могу.

Чиркнувшая спичка осветила его морщинистое лицо и седую бородку. Он закурил и воткнул спичку в землю.

— Тогда вот что, пацан, — предложил решительно, — приходи-ка сюда рано утром...

Я пришел. Старик усадил меня с веслом на корму, потому что ему одному без рулевого за утками не угнаться, и мы проехали с ним по затопленному лугу весь день. Это был самый памятный день в моей жизни, потому что ярко светило солнце, вода сверкала среди деревьев и кричали утки, охотно откликаясь на мой призывный голос.

— Только ты не горячись, — охладил меня дед Харитон. — Зря не надрывайся. Крякнешь, когда я рукой махну.

Коренастый, невысокого роста, он сидел на передней скамейке сгорбившись и держал на коленях длинное ружье. Таких ружей ни до, ни после этого я не видел — с длинным шомполом, с большим курком, стоявшим на попа, как знак вопроса, и с расколотым деревянным ложем, в двух местах перевязанным веревочками.

Лодка шла у нас легко. Приходилось налегать на весло — выворачивать воду из-под кормы и загребать ее под корму, лавируя между затопленными стволами. Над головой у нас проплывали густые ветви, а там, где молодые ольхи и вербы торчали в воде по шею, даже с ветвями, я объезжал их, чтобы не тревожить уток шорохом. Дед ликовал.

— Где же ты, сукин сын, учился? И правишь и крякаешь. Молодец! — Он кивал головой и поминутно то правым, то левым локтем показывал: туда, сюда, и как только оглядывался на меня, светлые глаза его сияли от восторга. Я понимал этот взгляд по-своему: теперь, дескать, все утки наши.

Но уток мы видели только издали, они уплывали от выстрела...

Я вспомнил об этой охоте, подымаясь в гору, и дорога мне казалась нетрудной. Правда, сумерки надвигались быстро, а до вершины еще порядочно — я прибавил шагу, досадуя, что зря погорячился и так легко поверил тетке Ганне. Ну, приболел старик — со всяким случается, да еще в его возрасте, но умереть он, разумеется, не умрет, об этом и думать нечего, а вот охоту я наверняка прозеваю.

Прошлой зимой в сорокаградусный мороз дед Харитон поймал в лесу такой залихватистый кашель, что молодому бы впору ноги вытянуть, и то не поддался... Кстати, случилось это вот когда — на волчьей обла-

ве. Охотники съехались в дубки со всего района — из города на машинах, из деревень и сел на санях. А дед Харитон из Криницы пришел пешком. Не потому, что в колхозе не было саней, нет, сани были, но ему в потрепанном полушубке, чтобы не замерзнуть, лучше уж ходить, чем ездить. Его появление на опушке было встречено шутками. Но шутили только молодые, из города, они еще не знали деда Харитона.

— И батя сюда приперся. И ему нет покоя,— сокрушался один.— Сидел бы себе на печке.

— Откуда у тебя, отец, такая оглобля? — допытывался другой. — Кремневое? От Суворова?

Длинное ружье старика особенно забавляло молодых. Как только они его не называли — и мушкетюгой, и пищалью, один даже неизвестно за что окрестил его дирижаблем.

Дед не обижался. Выдержав насмешки, он присел поодаль на пенек и терпеливо ждал, когда закончится наше бурное совещание. А совещались мы долго, потому что охотников собралось много, и все опасались, как бы не перестрелять друг друга. Дед простыл. Сгорбившись от озноба, он прятал бороду в потертый воротник и поэтому казался крошечным и ненужным на этой с широким размахом задуманной облаве. К счастью, затянувшееся и надоевшее деду совещание, о котором он говорил после, что оно-то его и угробило, было прервано в самом разгаре неожиданным появлением зайца на опушке. Тот выскочил из леса, должно быть перепуганный нашими голосами, и стал петлять в низине между редкими кустиками полыни. Все, как по команде, врассыпную кинулись ему наперерез. До зайца было порядочное расстояние — охотники, согнувшись, перебегая от сугроба к сугробу, шли на сближение. Но в это время позади них через головы грянул с опушки оглушительный выстрел, и заяц перевернулся в воздухе. Все оглянулись: дед Харитон сидел на своем пеньке и продувал ружье...

Ага, вот он и перевал! Я даже удивился, что так незаметно и быстро взшел на вершину. Трудная дорога позади. Осталось только спуститься вниз — вон уже и Криница под горой белеет своими хатами. И кто-то из криничан подымается в гору. Дай-ка я подожду его, он точно скажет, надо ли мне идти сейчас к деду Харитону. А вон и дедова хата, четвертая с краю, стоит она все на том же пригорке, с тем же высоким тополем, и нет, не может быть, чтобы в ней сейчас умирал ее хозяин.

Широкая дорога на вершине разделяется на две узкие: одна, по которой идет сюда пешеход, спускается в Криницу, другая поворачивает влево — к дубкам за озером. Там уже сгустились молочные синеватые сумерки, и в этой синеве мигают выстрелы. Охота началась! Нет, я подожду пешехода, потом положу сковороду в полынь и — бегом в дубки. Дед Харитон потерпит, ему не к спеху.

А еще левее раскинулся под горой широкий луг; зеленые волны его деревьев уходят на юг до самого Дона. Просеки отсюда не видно. Зато видна посредине луга овальная впадина, заросшая светло-зелеными лозами. Там когда-то давно бушевал пожар; в сильную грозу будто бы молния ударила в сухое дерево, и ольшаник за неделю выгорел до корней. Черная от пожарища поляна много лет щетинилась обгоревшими пеньками и прутьями. Потом постепенно заросла такой густой лозой, что пробраться туда уже нельзя было ни зимой, ни летом. И только весной, когда полая вода затопливала заросли, эта впадина превращалась в просторное чистое озеро. Помню, мы в ту первую охоту пересекали его на лодке дважды и каждый раз проплывали молча, потому что, окруженное со всех сторон затопленными вербами, озеро казалось нам каким-то неправдоподобным, сказочным; дед Хари-

тон разговаривал со мной только глазами — он шурился от света и, вздыхая, посматривал то на меня, то за борт, на отраженные в глубине облака; лодка будто не по воде плыла, а летела по небу...

И вот я опять вспоминаю об этой охоте. Мы тогда за день убили только одного чирка и, поскольку делить его было неудобно, зажарили на костре с потрохами и с перьями. Но охотой остались довольны, потому что радость ее была не в чирке.

Пешеход уже приблизился настолько, что я узнал его сразу — по синим штанам и хромовым сапожкам. Это Каменюка, бывший парторг Криниченского колхоза, до объединения с нашим. Длинный, с голенастыми ногами, с широкими карманами галифе, похожими на синие паруса, был он удивительно дубоватым, неповоротливым человеком. Особенно в разговоре. Слова Каменюка выдавливал с трудом, будто языком во рту ворочал камни. Помню, однажды на митинге после войны решил он выкрикнуть здравицу в честь Генералиссимуса. Однако это тяжеловесное слово оказалось ему не по плечу. «Геленара... Герелана...» — жевал он долго, переворачивая на все лады, пока наконец не отважился, махнув рукой, сказать по-русски: «товарищ».

Было у него свое имя-отчество: Спиридон Афанасьевич, и даже фамилия: Куменко, но все его звали Каменюкой, за то что он так называл в беседах каждое объявленное по радио «коммунике».

Не любил я этого человека и в другое время сошел бы с дороги в сторону, чтобы не встречаться с ним, но теперь вот вынужден ждать его с таким нетерпением.

— Во всеоружии? — Он подошел, ухмыляясь одними глазами.— Утку, значит, сшиб и тут же, значит, шлеп на сковородку!

Я ответил, что несу ее деду Харитону.

Он засмеялся. А смеялся он всегда по-чудному: согнет голенастые ноги, откинет голову и откуда-то с заоблачных высот оглушает нутряным, холодным хохотом.

— А теперь-то,— сказал он, когда успокоился,— на кой она ему?

Я опешил от неожиданности.

— Плохо? — спросил его шепотом, словно боялся, чтобы нас не подслушали.

Он утвердительно кивнул головой.

— Доходяга.

С минуту мы постояли молча, пока закуривали. Потом он спросил меня:

— С чего так растрогался? Будто и не с чего... Пора ему — старик.— И, чтобы окончательно добить меня, добавил: — Все одно бесполезный.

Мне стало жарко. И я сгоряча возразил ему:

— А все-таки человек!

Мы расстались.

До перевала, пока всходил на вершину, я еще не верил тетке Ганне. Женщина могла преувеличить. Но тут, на самой вершине, убитый этим Каменюкой, вдруг почувствовал, что дед Харитон и впрямь уже собрался помирать.

Вдали, за Криницей, чернеет лес, такой задумчивый и строгий, что плакать хочется. Влево от него мерцают озера, а вправо, где-то в синеве между землей и небом, играют рассыпанные в тонкую линию, пока еще не яркие огни рабочего поселка. И тихо кругом, если не считать участвовавших выстрелов за лугом и грустных, как стон, гудков не видимых отсюда паровозов. Но в этой глубокой тишине была сейчас какая-то кричащая тоска, и мне казалось, я слышу ее и даже вижу вдали — и в этом черном лесе, и в тех мерцающих озерах, и там, на краю

земли, где переливается огнями далекий поселок. Наверно, не только потому, что мне жаль деда Харитона. Смерти мы вроде и не боимся, но, как только встретим ее, пусть пока и не свою собственную, все равно становится грустно. Глаза вдруг раскрываются шире, и мы за далью видим уже такое, чего и словами не выразишь. Я, например, увидел, что и сам, пожалуй, добрался до своего перевала.

Взбирался на гору я незаметно, с легкой душой, потому что не думал о смерти и шел будто не один, а с дедом Харитоном. Теперь же, спускаясь с горы, я нес в груди непосильный груз и шел уже не с дедом, а с Каменюкой.

В свое время он считался нужным человеком. В гражданскую войну закончил курсы красных командиров и командовал пулеметной ротой. Затем был председателем комитета бедноты в деревне и первым председателем колхоза, и, надо сказать, неплохим председателем. А в последнюю войну — парторгом, уже неважным, правда, но все-таки парторгом. Зато после войны Спиридон Афанасьевич безнадежно отстал от жизни — застрял на каком-то параграфе, как уверяют колхозники, и застрял так прочно, что во время последних выборов его фамилия ссталась не зачеркнутой карандашом только в одном списке. Нам было ясно, что этот единственный голос принадлежал самому Куменко — у него рука не поднялась перечеркнуть свою фамилию. Теперь же он, после того падения, стал у нас неплохим ездовым и был бы еще лучше, если бы не его нудные, поучительные рассуждения по всякому поводу с каких-то, как называл новый председатель, непробиваемых позиций, откуда живого человека совсем не видно.

— Ты, старик, уже того, — упрекнул он однажды весной деда Харитона. — В политике ни бе, ни ме.

— Куда мне! — согласился дед. — Семилетку я не кончал.

— А мы ее только начали, — похвалился Каменюка.

— Давно пора, — ответил дед.

И, поняв наконец, что говорили они о разных семилетках, Каменюка, обращаясь уже к нам, вынес ему суровый приговор:

— Аполитичный дед.

Это у него значило: совсем никудышный.

Зачем же он его так обидел? У деда, правда, не такая звонкая биография, как у этого Куменко. В гражданскую войну он был всего лишь рядовым солдатом. Но не каждому же командовать ротой! Не было у деда и рваной раны под ребрами, которую Куменко часто, задрав рубаху, показывал, как орден. Зато дед Харитон во время переправы через лиманы у Перекопа на всю жизнь заработал эмфизему легких, которой ни перед кем не хвастался. И если он до сих пор еще не вытянул ноги, то благодаря только свежему воздуху в дубках и на озере.

В нашем колхозе дед оставался тем же рядовым, и в свою пору они с первым председателем вполне были довольны друг другом. Пока старик не собрался на пенсию. Казалось бы, отработал свое — отдыхай. Но Куменко так уже заверчен, что всякий отдых считает преступлением. Без отдыха, разубеждали его, как без подмазки, далеко не уедешь. Куда там! Пока не построим и не выполним — отдыха не существует, доказывал он каждому. Поэтому всякие охотники и рыболовы были для него чуть ли не классовыми врагами. «Вот и зря, — упрекнул его однажды новый председатель, к счастью, тоже страстный рыболов, — отдохнул бы на свежем воздухе — глядишь, и в голове прояснится. Охота, — шепнул он ему на ухо, будто по секрету, — всякую глупость амортизирует». Напуганный этим внушительным словом, Куменко притих. Председатель знал, чем убить его.

«А ну его к черту! — подумал я.— Откуда он взялся? Испортил мне всю дорогу».

И я вернулся в своих воспоминаниях к деду. Неужели он умирает? Совсем неожиданно. Хотя на той неделе так же умерла в деревне старая Прокопша. Ночью слезала с печки и в темноте, не нащупав ногой прилавок, ахнула вниз и тут же, прислонившись к стене, скончалась. Говорят врачи, от разрыва сердца. Или тетка Горпина той осенью. Проснулась ночью от шума — оконная притвора на ветру стучала — и просит мужа: «Пойди закрой, а то будто по сердцу хлопает». Закрывл он, а когда вернулся и толкнул жену: «Подвинься», она уже не двигалась. Удивительно умирают русские женщины!

Внизу, под горой, где по ровной дороге до Криницы рукой подать, над моей головой внезапно засвиристели утки. Я посмотрел им вслед с каким-то сожалением. Без деда Харитона они, осиротевшие, казалось уже потеряли свое значение. Какие там утки сейчас, когда дед умирает! Большая стая, видимо, выскочила из-за луга и полетела в чистое поле, на место высохшего озера. Это озеро когда-то славилось на всю Россию красной рыбой. Сюда съезжались купцы издалека, потому что рыбы такой больше не было ни в одном озере. Даже поэт Рылеев, бывший тут на постое в соседней деревне, писал отсюда Пушкину: привезу тебе красной рыбы. Но в начале этого века глубокое озеро почему-то захирело, будто ушло под землю, и рыба вымерла. Деду Харитону в молодости удалось еще отведать этой рыбы, а мне уже не досталось. Я захватил только маленькое болото с карасями, заросшее камышом и затянутое ряской. Потом и болото высохло. Почти вся просторная впадина, оставшаяся от озера, постепенно была распахана, и теперь там желтеет пшеницей колхозная нива. Только в самой середине, на дне, осталось небольшое зеленое пятнышко — там высокие, до пояса, кочки, заросшие султанами густой осоки, будто казачьими чубами. Однажды мы с дедом шли тут между кочек, похожих на толстые пни, под зарослями осоки над головой, как в тропическом лесу. Но воды уже нигде не было. А утки большими стаями продолжали прилетать сюда каждый год. Что они делают здесь, на кочках,— и дед не знает. Наверно, по врожденному веками чувству просто навещают родное место, как люди навещают старое пепелище.

— Зачем же вам лазить по грязи? — удивлялся Куменко.— Стой на дороге и бей сколько влезет.

На самом деле, почему бы, казалось, не выйти с ружьем в чистое поле, под гору, и ждать в сумерках вечернего перелета? Но нет же, никто из охотников не шел на это. А дед Харитон даже обиделся:

— Это уже не охота, Спиря. Убийство!

Я понимал его. Убить утку без труда, в чистом поле, — значит не быть охотником. Но этого не понять Каменюке...

Опять я сбился в дороге на Куменко. Мне теперь, вижу, не расстаться с ним до самой Криницы. Привязался, как репей. Наверно, оттого, что мы с ним не dospорили на том собрании, где назначали пенсии. То, что мы уже получили такую возможность, было для нас праздником. Но Куменко и тут ухитрился нам его испортить. Пенсии пока небольшие: два-три мешка пшеницы да несколько сотен рублей. Стали распределять их по трудодням, кто сколько заработал за все эти годы. А Куменко потребовал: только по заслугам! Такому-то за то, что раскулачивал, хотя потом и не работал в колхозе. Такой-то за орден, который она получила в молодости, хотя после этой награды ушла из деревни, вышла в городе замуж за какого-то инспектора и только недавно вернулась домой одиночкой. Так что заслуги нашлись у каждого. Не

было их только у деда Харитона. Потому что он всю жизнь работал незаметно, без ордена. Трудодни же его, выходит, ничего не стоили.

— А капуста? — напомнил я тогда Куменко.

Он засмеялся.

— Эка невидаль!

Спасибо, тут на него накиннулись другие. За прошлое. И за капусту. Гуртом отстояли деда, признав его подвиг с капустой — незаметный, правда, но все-таки подвиг.

А было так. Однажды тетка Ганна, руководившая тогда бригадой огородников, пожаловалась на собрании:

— Ну что это за капуста? Левада у нас жирная, рассаду сажаем не густо, а кочны подымаются в кулачок, не больше. Вот раньше была капуста! Руками не обнимешь.

— Почему же только раньше? — удивился председатель.

Он был у нас новым человеком и не знал еще наших порядков на той леведе.

— Потому что у каждого была своя деляночка, — ответила тетка Ганна. — И каждый огораживал ее канавой. А в конце выкапывал свою криничку. Без воды капуста не разбухнет, она в кулачок сжимается.

— Нет, сваха, — вмешался дед Харитон, — сама ты сжимаешься. Вижу, на какую деляночку тянешь. Дело тут не в криничках.

— А в чем же? — спросил председатель.

Дед Харитон погорячился:

— Дайте я сам подыму капусту! Без делянок!

Разговор этот закончился тем, что собрание доверило-таки деду Харитону огородную, бабью бригаду — посмотреть, что из этого получится. Не ради смеха — для дела. И дед не подвел. Почти все лето суетился он с бабами на леведе, обливал рассаду из шланга, обсыпал ее какой-то зеленью и вырастил капусту, кочны которой можно было обнимать руками.

В том же году мы собрали богатый урожай пшеницы. Настолько богатый, что нам захотелось даже похвалиться в каком-нибудь рапорте. А куда послать его? Куменко предложил: Ворошилову. Потому что наш колхоз — имени Ворошилова. «А что? — сказал он колхозникам. — Поздравим с днем рождения. Как-никак, ему скоро семьдесят восемь стукнет».

— Семьдесят шесть, — поправил дед Харитон. — Мы с ним одногодки, — похвалился он.

Но Куменко и тут уколол его:

— Зато он уже председатель президиума.

— Не каждому быть председателем, — отмахнулся дед. — Я тоже на свои годы не жалею — прожил их не даром...

Стали мы прикидывать на бумаге, чем бы могли похвалиться, и когда вписали все наши достижения, дед Харитон спросил:

— А капусту?

Куменко согнул ноги и запрокинул голову от хохота.

— Убил! — сказал он деду. — А ну тебя!.. Нашел чем удивить! Суешь свою капусту в серьезное дело...

И снова чуть не упал от смеха. Но мы его не поддержали. Деда не дали в обиду ни тогда, ни теперь, на последнем собрании, — отстояли его пенсию.

Ну вот уже и Харитонова хата. Никогда еще с таким трудом не подымаюсь я по ступеням на его крыльцо! И дверь какая-то тяжелая. Хорошо хоть она закрыта — дед, значит, еще не умер. Я вошел в кухню и снял фуражку. Надо бы еще перекреститься, для старушки, но рука не

подымалась. Бабушка Ульяна, полная, добродушная хозяйка, процеживала молоко на прилавке. Завидев меня у порога, она вдруг сморщилась, и ведро в ее руках задрожало.

— Плохо? — шепнул я от порога.

Она поставила ведро и вытерла мокрые глаза фартуком.

— Никудышный.

Я разговаривал с ней шепотом, чтобы не потревожить больного. Потом, положив на прилавок сковороду и скинув ружье, осторожно шагнул к горнице.

— Можно?

Бабушка не поняла.

— К нему, — кивнул я на дверь.

— А его нет дома.

— Где же он? В больнице?

— Нет, пошел проветриться.

Я растерялся.

— Ничего не понимаю!

Она показала цедильником в окно. Дед Харитон в полушубке медленно шел по дороге из Криницы на взгорье, к недалекой, но уже плохо видной в сумерках лесной опушке.

— С лесом пошел проститься.

— Один? — Я надел шапку, чтобы идти к больному. — Зачем же вы его пустили?

— А я слежу за ним, — сказала бабушка. — Он сам просил не мешать ему.

— Ну если пошел, то выживет!

— Вряд ли, сынок...

Я подосадовал и на нее и на деда, словно он подвел меня. Зря только людей всполошили. Вон из-за него в какую даль приперся! Да еще через такую гору.

— Тогда скажите ему, забегу рано утром. — Я простился с хозяйкой и вышел со двора в другую сторону — к дубкам, где трещали выстрелы.

Это было моей непростительной ошибкой. Утром, когда я с убитыми утками вернулся в Криницу, ворота перед Харитоновой хатой и дверь на крыльце уже были открыты. Во дворе стоял народ.

— Как же так? — Я подошел к заплаканной бабушке.

— Незаметно, — ответила она, всхлипывая. — Поднесла ему тепло-го молочка, а он уже холодный.

Куменко, стоявший тут же, поддакнул:

— Как жил, так и умер.

Но спорить с ним уже не стоило. До чего упорный: не жалел даже мертвых.

с. Лушниковка, 1959 г.



МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

★

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

Благословенны дни, когда из дому
Ты можешь выскочить в любое время,
Лицо подставить солнцу молодому,
Когда уже отменены границы
Меж улицей и комнатой поэта,
Когда готов бежать по зову птицы
Куда угодно, хоть до края света.

Благословенны дни, когда раскрыты
Любые окна и любые двери,
Дни толчей и уличного быта,
Дни щебета и ветра озорного,
Что рукописи разбросал бесчинно.
(«Ну что за ветер! Что за чертовщина!
Едва за хвост поймал живое слово —
Пропало все из-за него, шального!»)

Но не сержусь я! Будь благословенна
Пора, когда тебя к стихам не тянет,
Когда тебя одна природа манит
И ты опять счастлив самозабвенно.

Перевел с грузинского Д. Самойлов.

* * *

В палате было двое. Мать и сын.
И мать была в агонии. Семь суток.
Все было сказано. В последние минуты
Мы оба только плакали беззвучно,
Скрывая друг от друга наши слезы...
Седьмая ночь кончалась, и внезапно
Мать знаком позвала меня к себе.
Я подошел и посмотрел в глаза —
Они были раскрыты настежь...
Я догадался: мама скажет
Свои последние слова...
Вдруг двери распахнулись,
И к нам вошел седоволосый врач.
Мать видела его,
А я не видел:

Ведь я сидел спиной к дверям.
И мама, мамочка моя, забыла
Все, что хотела высказать. Она
Заволновалась: «Встань скорей, сынок!
Дай место пожилому человеку...
Встань... Неудобно...»
Это были
Ее последние слова.

Перевел с грузинского Б. Слуцкий.

* * *

О, уезжай! Играй, играй
В отъезд! Он нас не различает.
Ты — это я. И где же грань,
Что нас с тобою различает?

Я сам разлуку затевал,
Но в ней я ничего не понял.
Я никогда не забывал
Тебя. И о тебе не помнил.

Мне кажется игрой смешной
Мое с тобою расставанье.
Ты — это я. Меж мной и мной
Не существует расстоянье.

О глупенькая! Рви цветы,
Спи сладко и вставай с постели.
Ты думаешь, что это ты
Идешь проспектом Руставели?

А это я. Мои глаза
Ты открываешь, поднимаешь.
Моих знакомых голоса
Ты слушаешь и понимаешь.

«Эй, Миша!» — за твоей спиной
Вдруг раздается. Как улика
Смешения тебя со мной —
Моя появится улыбка...

И лишь одно страшит меня
И угрожает непрестанно:
Ты — это я! Ты — это я!
А если бы меня не стало?

Перевела с грузинского Б. Ахмадулина.



ЮЛИЯ ДРУНИНА

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Ах, дорога, дорога — вот она
Развернулась во всей красе.
На колеса опять намотана
Шелестящая лента шоссе.

Ах, дорога!.. Шуршат колеса.
Воздух плотен, прохладен, чист.
Взглянет встречный водитель косо,
И опять — только ветра свист.

И опять... Будто нет на свете
Ни забот, ни тревог, ни страстей,
Только гулкий упругий ветер —
Вечный спутник больших скоростей.

* * *

Я раздвинула шторы.
Ночь закончилась, как оказалось.
До чего ж ты легка,
От бессонной работы усталость!
Как сегодня светло
На душе и в квартире!
Не беда, что в итоге
Останется строчки четыре...

Может, нет ничего
Бескорыстней, чем это, —
Над бумагой всю ночь
Просидеть до рассвета,
Хоть никто не неволит
Работать ночами,
Хоть никто не стоит,
Торопя, за плечами,
Хоть в итоге останется
Строчки четыре...

До чего же светло
На душе и в квартире!



ИЛЬЯ КОНСТАНТИНОВСКИЙ

★

ПЕРВЫЙ АРЕСТ

Повесть

Те весенние горькие дни моих первых испытаний были последними днями выбора моего жизненного пути.

Было это на берегу Дуная, медленно ползущего среди зеленых островов и заросших вербами и акацией берегов, в маленьком уездном городе, тоже заросшем белой цветущей акацией, в городе с «длинным» и «круглым» бульварами, «центральным парком» и каменными зданиями собора, казино и гимназии, где я тогда учился — веснушчатый подросток в помятой, обносившейся форме из зеленого солдатского сукна, в голубой фуражке с золотым кантом и поломанным козырьком, обыкновенный гимназист шестого класса. Нет, чем-то и особенный: под форменной ту-журкой я демонстративно носил косоворотку, а в часы, когда мои сверстники разгуливали по аллеям парка, я сидел в читальне городской библиотеки и, не слушая веселых криков и музыки, упорно перелистывал толстые книги с таинственными названиями «Мир, как воля и представление», «О четвертом корне достаточного основания».

Случилось это в начале лета, в последние школьные дни, яркие, веселые, с грозами, ливнями и свежим благоуханием тополей и акаций. В ту весну я решил, что самый краткий и разумный путь «узнать все» — это читать Большую энциклопедию. И вот именно тогда, в одно утро, за несколько тревожных тяжелых часов, я узнал о жизни, людях и о самом себе гораздо больше, чем за все свое долгое единоборство с энциклопедией и увесистыми томами в толстых переплетах, сладко пахнувшими книжной пылью, плесенью и неразгаданной мудростью.

Татович

Это произошло на уроке румынского языка и литературы. Преподавал их в старших классах Татович — худощавый, бледнолицый, с большим выпуклым лбом и маленькими пронизательными глазками, человек умный и беспокойный, много знающий и странный. Каждый его урок сулил ученикам неожиданные развлечения и столь же неожиданные неприятности. Ему ничего не стоило поставить вдруг всему классу по единице или же, наоборот, наградить всех, даже признанных лентяев, отличнейшими баллами. Когда Татович, всегда небритый, всегда изможденный, как будто невыспавшийся, раскрывал классный журнал и, зажмурив глаза, погружался в длительное раздумье, ни один человек на свете — и, вероятно, меньше всего он сам — не мог предсказать, что сейчас произойдет. Класс замирал; даже второгодники Гарин и Дебеняк, сидевшие на последней парте, оба рослые и тупые, наглые и прыщавые, которым было все нипочем, боязливо втягивали головы в плечи.

— Озун Василе,— медленно и нараспев произносил Татович первую попавшуюся ему на глаза фамилию и, снова зажмурившись, вдруг спрашивал:— Какую тебе поставить отметку в этом семестре, Озун Василе?

Маленький, нежно круглоликий и упитанный, как младенец, Озун медленно вставал, громко глотал слюну, беспомощно глядел на товарищей, потом в окно, не зная, как отнестись к столь неожиданному вопросу, таившему в себе явный подвох.

— Какую же ты хочешь отметку, Озун? — повторял тем временем Татович своим хорошо поставленным голосом на самых ласковых модуляциях.

— Э-э... пя...— начинал было мямлить Озун.

— ...Восемь!.. Десять!.. Десятку! Проси, дурак, десятку! — гудели кругом.

— Э-э... шесть... шестерку...— решался наконец трусливый и осторожный Озун.

— Ладно, ставлю тебе шестерку! — И все видели, как Татович рисовал в журнале цифру шесть.

— Следующий. Оника Анатолий, а тебе какую хочется отметку?

Оника Анатолий — полная противоположность Озуну: высокий, худой, неуклюжий, с загорелым лицом и давно не стриженными лохмами — вставал и без тени смущения твердо заявлял:

— Десять, господин Татович!..

И, к изумлению всего класса, получал высший балл.

Но иногда эта игра принимала совсем другой оборот.

Татович врвался в класс за пять минут до окончания урока, в пальто и огромной барашковой шапке, и, не снимая ни того, ни другого, даже не садясь за кафедру, раскрывал журнал и начинал вызывать всех по алфавиту, задавая всем один и тот же малопонятный вопрос, не имеющий никакого отношения ни к заданному уроку, ни к предмету, который он преподавал, ни к гимназическим наукам вообще, и требуя от всех уверенного ответа, главное достоинство которого должно было состоять в четком произношении, без запинок.

— Аронов Борис! — гремел Татович, нахлобучив свою тяжелую шапку на глаза. — Что такое метемпсихоз?

Не успевал Аронов раскрыть рта: «Э-э... мете...», — как его уже обрывали:

— Садись! Кол!.. Амза Никулае...

— Метемпсихоз — это... э-э...

— Кол! Садись! Следующий. Богдану Петре!

В классе воцарялась гнетущая тишина. Только те, кто был в конце алфавита, тихонько радовались, зная, что до них он не успеет добраться. Но первые страницы журнала за пять минут покрывались колами и двойками, в то время как стены сотрясались от едких обличительных речей Татовича:

— Думаете, что если вы гимназисты, носите голубые фуражки и дурацкий номер на рукаве,— значит, вы уже важные особы? Кто твой отец, Амза? Субпрефект? Значит, тебе все позволено? Ни одной фразы не умеете произнести по-человечески! А чем занимается твой отец, Коган? Торгует мылом? Керосином? Прошлогодним снегом? Кол! Садись! Кол! Можете жаловаться! Директору, субдиректору! Никого я не боюсь: ни господина директора, ни господина инспектора, ни господина субпрефекта, ни префекта, ни господина министра, ни господина премьер-министра. Городового я тоже не боюсь. Можете жаловаться на меня городовому!

Таков был Татович, преподаватель языка и литературы, а если нужно было, и философии, и латыни, и греческого; единственный учитель нашей

гимназии, имевший ученую степень и все требуемые аттестации, к тому же еще и известный в уезде адвокат и не менее известный картежник, проигрывавший в одну ночь полугодовой заработок, но соглашавшийся на другой же день вести бесплатные процессы разорившихся крестьян или обиженных бедняков; неистовый, беспокойный и неудобный для многих Татович, которого недолюбливали учителя, но уважали и любили ученики, любили, несмотря на его странные капризы; любили именно за них, за необычные уроки, походившие на цирковые представления, за ум и бесшабашность, за честность, за доброе сердце человека, желавшего во что бы то ни стало прослыть самодуром и чудаком...

И вот однажды на его уроке, когда Татович, как всегда, опоздал, но явился в класс в хорошем настроении и без журнала, так что все двадцать мальчиков в зеленых тужурках мгновенно почувствовали себя ужасно храбрыми и, громко переговариваясь, ждали начала какой-нибудь необычной, но вполне безопасной проповеди, вдруг тихонько открылась дверь и в ней показалась голова директора гимназии. В классе немедленно воцарилась елейная тишина. Все повернулись к двери, собираясь встать, но директор не вошел в класс. Он только просунул в дверь свою черноволосую воронью голову с длинными усами и, покрутив ею во все стороны, уставился своими блестящими глазами на меня, сидевшего справа на третьей парте, и поманил пальцем. Я не шевельнулся, думая, что это мне только показалось. Но директор повторил свой жест, глядя мне прямо в глаза. Не было никакого сомнения: он звал именно меня. Я встал и вышел из-за парты, но ворон в дверях снова начал делать какие-то знаки. Я понял: взять с собой книги. Я их собрал и пошел к двери. Сорок мальчишеских глаз провожали меня такими испуганными и недоумевающими взглядами, точно они видели не меня, хорошо им знакомого ученика шестого класса, а какое-то необыкновенное чудовище.

Я вышел в коридор и остановился, не зная, что же делать дальше. Директор по-прежнему молча указал мне на вешалку, и я понял, что нужно взять фуражку и идти за ним.

В коридоре было тихо и пусто; пройдя его до конца, мы стали спускаться на первый этаж по лестнице, ведущей в учительскую.

Шел он все время молча, слегка раскачиваясь на своих длинных искривленных ногах. Я шагал рядом, удивленный всем происходящим, но спокойный. Я недолюбливал этого холодно молчаливого, никогда не улыбающегося человека, но не боялся его. Он преподавал математику, и я был одним из лучших его учеников.

Все еще гадая, что все это может означать, я вошел вслед за директором в учительскую. Сначала мне показалось, что она тоже пуста. Но я ошибся: около больших настенных часов стоял незнакомый человек, пожилой, тщедушный, в потрепанном коричневом костюме. Как только я его увидел, я почувствовал странную слабость в коленях. Я уже знал, в чем дело: этот человек был из полиции. До сих пор не могу понять, как я об этом догадался, — у меня ведь еще не было тогда никакого опыта. Но всем своим существом я почувствовал, что это так, и не ошибся.

Дальше все произошло, как в иллюзии, но вместо меланхолических аккордов тапера в открытое окно доносилось простодушно-беззаботное чириканье воробьев. Черный угрюмый ворон молча передал меня облезлому человеку, тот взял меня за руку и повел к выходу. Все молчали. Молчал директор с застывшим темным лицом — он даже не повернул головы, когда меня выводили из учительской, — молчал и я. Я, конечно, понимал, в чем дело, но все еще был спокоен. Я как-то не мог себе представить, что меня ждет.

Очутившись на улице, я сделал попытку заговорить со своим провожатым.

— Куда мы идем?

— В полицию.

— Зачем?

— Там узнаешь...

— Не понимаю, почему это вы вдруг ведете меня в полицию?

— Там узнаешь.

— А почему вы пришли в гимназию? Вы не знаете, где я живу?

— Мы все знаем.

— Так почему же вы пришли в гимназию?

— Я тебя еще вчера искал.

— В гимназии?

— Нет. В библиотеке.

— Когда?

— В пять часов.

— В пять часов меня уже не было.

— Знаю. Мы все знаем.

Вряд ли... Он знал, что я бываю в библиотеке с пяти, но вчера был четверг, а по четвергам я как раз бываю до пяти. Этого он не знал.

— Но почему вы не зашли ко мне домой? Вы не знаете адреса?

— Мы все знаем.

— Да?

— Абсолютно все. Мы знаем даже, что ты видишь во сне.

— Интересно... Что же я видел сегодня во сне?

— Заткнись!

— Напрасно вы пришли в гимназию. Значит, вы все-таки не знаете, где я живу?

— Мы все знаем...

Черта с два! Кто-то им сказал, когда я бываю в библиотеке, да и то не совсем точно, но не сказал, где я живу. Этого никто и не знал: два дня тому назад я переехал на новую квартиру. Ясно: они знают то, что им говорят! Мне понравилась такая мысль: «Они знают то, что им говорят». Это было мое первое открытие, сделанное при первом общении с полицией. В дальнейшем у меня было немало случаев проверить его, и каждый раз выяснялось, что оно абсолютно верно. Чванное всезнайство полиции — всегда блеф: они знают то, что им говорят. То, чего им не говорят, они не знают.

Итак, мы шли молча. Миновали парк, где было пустынно и прохладно, и вступили на освещенную солнцем соборную площадь. Я лихорадочно перебирал в уме всевозможные варианты: о чем меня будут спрашивать в полиции? Я все еще не чувствовал страха. Но росло возбуждение, и, самое главное, росло тяжелое, щемящее, непонятное чувство скованности, словно у меня перевязаны суставы. Торопливо идущий навстречу нам старичок бросил на меня быстрый подозрительный взгляд, и я вдруг понял, в чем дело: меня ведут! В этом все. Я не могу свернуть ни влево, ни вправо, не могу остановиться, не могу сесть вот на эту старую, потемневшую, всю изрезанную ножом скамейку: меня ведут! Это новое, никогда прежде не испытанное чувство было нестерпимо. Весь мир мгновенно изменился: и серые камни мостовой, и белые стены собора, и его блестящие купола, заслоняющие полнеба, и синяя дымка там, над спуском главной улицы, где начинаются не видимые отсюда просторы реки с ее зелеными островами и блестящей паутиной каналов; все это, столь знакомое и будничное, уже было для меня бесконечно далеким и недостижимым; и все встречные были счастливцами. Все, все — даже вон та жалкая лохматая фигура на углу, около извозчичьей стоянки, городской сумасшедший Димка. Он стоял посреди мостовой, сосредоточенно смотрел на свои грязные босые ноги и громко вопрошал:

— Где бог? Почему он ботинки не дает?

Извозчики хохотали и что-то кричали ему, но Димка их не слушал. Всецело поглощенный своей мыслью, он продолжал сосредоточенно рассматривать свои израненные, натруженные ноги, столь явно нуждающиеся в ботинках, потом поднял голову к высокому куполу собора и, вопросительно глядя на сияющие позолотой кресты, снова задал свой вопрос:

— Где бог? Разве это бог? Почему он ботинки не дает?

Ответа сверху не последовало. Зато внизу, на земле, раздался новый взрыв смеха, сопровождаемый смачной руганью. В последний раз взглянув на собор и увидав, что на самый высокий крест уселась ворона, Димка разочарованно сплюнул и поплелся прочь, опустив свои грустные глаза, так много уже видевшие в жизни, но не понимавшие ее печальной загадочности: «Где бог? Почему он ботинки не дает?»

Я посмотрел ему вслед: он шел куда хотел, он был свободен. Свободными были и извозчики, переминавшиеся с ноги на ногу и терпеливо дожидавшиеся двенадцати часов, когда они помчатся на пристань встречать пароход из Галаца; и парень с красным лицом, который шел вразвалку по тротуару, — видимо, уже успел выпить на скорую руку; и дама в теплом пальто, прогуливающая свою собачку, — издали все выглядело наоборот: шустрая, веселая, еще не раскормленная собачонка тащила за собой на поводу отяжелевшую, серьезную даму. Я все видел, все слышал, но для меня вся эта будничная, знакомая жизнь уже не существовала. Меня ведут... И это было самое страшное, самое дикое, самое нестерпимое чувство, которое я испытал в тот весенний день моего первого ареста, последний день моего отрочества. И оно заслонило все остальное, спутало все мои мысли так, что я и не заметил, как очутился в полиции, длинном кирпичном здании с фальшивыми колоннами и зарешеченными окнами, пропахшем внутри тем особенным острым казенным запахом — смесь карболки, мышинового помета и плесени, — от которого першит в горле и тоскливо сжимается сердце. Не помнил я, и как очутился в большой, свежепобеленной комнате, где стоял только один канцелярский стол, а на стенах висело с десяток портретов: тут были и король Михай, и его дед Фердинанд, и Карл I, и Михай Витязь, и многие другие. За столом сидел молодой человек в штатском, элегантный, красивый, с матовым смуглым лицом и неподвижными черными глазами, ничего не выражающими, кроме внимательной наглости. Рядом в почтительной позе стоял полицейский.

— Посмотри-ка на него, Лунжеску. Смотри и учись... — сказал штатский. И тот, кого звали Лунжеску, подобострастно вытянулся, всем своим видом показывая, что он готов смотреть и учиться. — Видишь? У него еще молоко на губах не обсохло, а уже коммунист. Когда ты стал коммунистом?

Это адресовалось ко мне, но я сделал вид, что не понял, и смолчал.

— Слышал, Лунжеску?

— Так точно, господин шеф, слышал! Прикажите...

— Не торопись. Сколько раз я тебе говорил, что на работе нельзя торопиться. Ну-ка, подойди поближе, малыш. Ты разве не понял? Это с тобой разговаривают. Чему вас там учат в гимназии, если даже не научили отвечать как следует старшим? Фамилия?

— Вилковский Александр.

— Так. Это ты снимал комнату у Макса?

— Я снимал комнату у родителей Макса.

— А где ты теперь живешь?

Все-таки они не знают, где я живу! Они знают то, что им говорят.

— На улице Штефана чел Маре, 26.

— А до этого ты жил у Макса?

— Я снимал комнату у родителей Макса.

— И он тебя агитировал?

— Он меня не агитировал.

— Нет? Вот это новость! Слышал, Лунжеску? Он его не агитировал. Он занимался агитацией среди рыбаков в плавнях, шлялся по всем окраинам, а ты жил с ним в одной квартире, и он тебя не агитировал!

— Он меня не агитировал.

— Слышал, Лунжеску?

— Так точно, господин шеф. Прикажете?

— погоди! Я же тебе сказал, что нельзя торопиться. Ну-ка, подойди поближе, молокосос, покажи зубы...

— Зачем вам мои зубы?

— Чтобы посмотреть на них, пересчитать в последний раз — через пять минут у тебя их не будет. Понял? Теперь будешь отвечать? Быстро, как на уроке. Какие задания давал тебе Макс? Выкладывай! Смотри, ничего не забудь. Макс все рассказал.

Макс им ничего не сказал. Они арестовали Макса три недели назад, он давно в тюрьме, значит следствие у них закончено, а про меня они вспомнили только вчера. Ничего им Макс не сказал.

— Макс меня не агитировал...

— Так...

Он спокойно встал, потер ладони одну о другую, как будто хотел их согреть, и молниеносно, не сгибаясь, закатил мне две звонкие пощечины. Я покачнулся, уронил свои учебники и в ту же секунду, ни о чем не думая, с помутившимися глазами и пылающими щеками, ринулся вперед, ухватился обеими руками за стол и опрокинул его. Все произошло так быстро и неожиданно, что оба полицейских растерялись. Воцарилась гнетущая тишина.

— Видал, Лунжеску? — почти спокойно сказал штатский.— Видал? Понял? Кто говорил, что это дети, невинные школьники, с которыми не стоит связываться? Видал, Лунжеску, какие это дети?

Я смутно помню, что было дальше. Запомнилась только соленая горечь во рту, тупая боль в затылке, какие-то странные, путанные картины и отдельные слова: «Выбей ему зубы — тогда он заговорит. Я бы ему руки выкрутил для примера. Ты идиот! Выбей ему зубы — пусть собирает их на полу. Так. Кто идет в крепость, пусть захватит с собой удочки. Держи его за шиворот! Озуна не возьмем — еще утонет, придется за него отвечать. Слышал, дурак? Еще придется за него отвечать. Не оставляй следов. Сколько раз я тебя учил! Пароход придет в пять часов: можете еще погулять — идите на дамбу, там есть лодка, можно переехать на остров. Выбей у него зубы. Хватит. Теперь он будет шелковый. Дай ему стул. Так. Принеси стакан воды. Надеюсь, мы его вразумили. Больше он не будет брыкаться. Теперь можно возобновить беседу. Хочешь закурить? Не бойся: у нас можно — здесь не гимназия. Еще не куришь? Ладно. Теперь соберись с мыслями и отвечай. Кому ты передавал «Красный юг»?

Все та же пустая белая комната, все то же матовое смуглое лицо и внимательно-наглые глаза, только все это теперь не стоит на месте, а слегка кружится. И я уже другой. Пылает лицо, в голове звон, и слегка тошнит, но я другой. Слезятся глаза, я вытираю их ладонью: нет, это не слезы — это острое, жгучее чувство злости, ненависти, протеста, упрямства и снова ненависти, густой, затвердевшей, свинцово-тяжелой, с ней им уже не справиться; нет, от меня им уже не добиться ни слова, ни звука; ничего, ничего, они ведь ничего и не знают, только догадываются и хотят меня запугать, но я уже другой; мне не больно, уже не больно,

вот я даже подставляю лицо, чтобы им не пришлось нагибаться: можете бить, ругаться, бесноваться — нет, нет...

— Кому ты передавал подпольную литературу?

— Нет, не передавал...

— Кому ты давал «Красный юг»?

— Нет, не давал...

— Кто приходил за ним в библиотеку?

— Нет, не приходил...

И вдруг новый удар, неожиданный, ошеломляющий, нет, не по голове и не в лицо, а в сердце, в самое сердце. Открывается дверь, и я вижу «рыбака». Да, это он, высокий парень в ситцевой косоворотке и мешковатых штанах, парень, которому я передавал пачки подпольной газеты. Макс называл его «рыбак». Что? И здесь его так называют? Они знают! Откуда они знают его партийную кличку?

— Подойди поближе, «рыбак». А ты подожди за дверью.

Это было сказано стражнику — худому, похожему на мертвеца. «Рыбак» тоже похож на мертвеца: глаза у него мутно-зеленые, щеки с прозеленью, губы потрескались, волосы посерели, и весь он какой-то оцепеневший, одеревенелый. Что с ним? Боже, что с ним случилось? Что они с ним сделали?

— Посмотри-ка на этого гимназистика, «рыбак». Ты его знаешь?

— Да.

— Откуда ты его знаешь?

— Он передавал мне «Красный юг».

— Где?

— В библиотеке.

— Нет. Неправда! Нет! Нет!

— Неправда, «рыбак»?

Пауза. Длинная, как последний урок в школе, потом тихий, еле слышимый ответ:

— Правда...

— Уведите его!

Снова появляется мертвец в черной униформе, и они уходят оба. «Рыбак» идет к двери, не оглядываясь, медленно, мелкими шагами.

Что теперь делать? Нет, еще не все пропало. Надо отрицать. Я ничего не знал. Это было в библиотеке общества «Свет», где я работал зимой три раза в неделю, по вечерам: отпускал книги, получал деньги за абонемент, следил за подшивками. Я ничего не знал. Макс оставил какой-то пакет для приятеля, пришел этот, а может быть, и другой—я уже не помню, это было давно — и забрал пакет. Я ничего не знал. Откуда я мог знать, что в пакете? Я не знал. Я не знаю, что такое «Красный юг». Газета? Я никогда ее не видел. Нет. Нет.

Я продолжаю отрицать, а внутри слабость и пустота. Значит, «рыбак» сказал, все-таки сказал, сказал даже то, что вполне можно было не говорить: он видел меня всего лишь два-три раза, и мы почти не разговаривали. Зачем же он сказал? Его били? Но он такой здоровый, сильный. Его били. Наверное, страшно били. Как Чернова. Но Чернов ничего не сказал — он даже не сказал своей фамилии. А «рыбак» сказал. Значит, ему нельзя было верить? Макс ему верил. Почему? А Цуркану можно верить? Если его приведут сюда, он тоже все скажет? А если меня будут бить, как Чернова, я выдержу? Кому же можно верить? Как узнать, кому можно и кому нельзя верить?

Слабость, тошнота и какое-то новое, странное ощущение пустоты. Тогда я еще не понимал, что это, но я это ощутил, это уже было во мне. Кому можно и кому нельзя верить? Как узнать, что это за человек, каким он будет здесь? Это не зависит от внешности, возраста, здоровья,

ума, умения держать себя, производить хорошее впечатление. От чего же это зависит? «Рыбак» — молодой и сильный, и он сказал. Каменщика Чернова я тоже видел однажды: худой, с серым лицом — явно больной, но он молчал. От чего же это зависит? Пройдут годы, и я пойму. И это можно понять. Но тогда я еще не понимал. Я только почувствовал пустоту. И мне стало нестерпимо грустно.

Допрос продолжался. Теперь он велся спокойно, медленно, даже вяло. Они выпили по большой чашке черного кофе. Они устали, и я им уже надоел.

— Так. Значит, ты не коммунист. И Макс тебя не агитировал. Хорошо. Верю. Никто тебе не поверит, но предположим, что я поверил. Ну, а что ты делал каждый день в читальне?

— Читал...

— Что?

— Книги...

— Какие?

— Разные. Уже не помню.

— Не помнишь? Слышал, Лунжеску? Он читал книги, и он не помнит какие. Ну что ж, придется напомнить.

И он показывает мне лист бумаги — белый, разграфленный линейками и исписанный аккуратным мелким почерком.

— Ты не помнишь, а мы помним. Вот что ты читал: Большая энциклопедия... Джованни Папини — «Конченный человек». Все вы конченные... Нордау — «Конвенциональная ложь нашей цивилизации». Гм! Чепуха какая... Еще раз энциклопедия — Малая. Так. И вот то самое: «Лярусс». Ага! Что ты теперь скажешь?

— «Лярусс» тоже энциклопедия.

— Что? «Лярусс» тоже энциклопедия? Но какая? «Лярусс» — с русскими. На что тебе понадобились русские, если ты не большевик?

— Это не русские. «Лярусс» — французская энциклопедия. Так она называется.

Полицейский, кажется, смущен и впервые опускает свои внимательно-наглые глаза. Он попал в смешное положение: принял всемирно известный словарь за некое «русское» крамольное чтение. Но мне не смешно. Я всецело поглощен списком, который он держит в руках. Кто? Кто мог дать им этот список? В читальне городской библиотеки не велось регистрации выдаваемых книг.

Теософ

Сейчас я видел перед собой читальный зал городской библиотеки. Я сижу за длинным столом перед раскрытым томом энциклопедии, рядом тощий юноша в изношенном пиджаке перелистывает страницы все одной и той же затрепанной книжки, а сзади, там, где конторка и деревянная перегородка, все время журчит тихий, ласковый голос библиотекаря Штирбу; лицо у него тоже ласковое, холеное, молочное... Я вспоминал о том, что Штирбу, выдавая книги на дом, имел обыкновение подолгу обсуждать их с абонентами, облокотившись на барьер и лаская собеседника (чаще всего это была собеседница) масляным взглядом своих серых глаз; о том, как я оборачивался иногда, бросая рассеянный взгляд на стоящую у перегородки даму с большими ногами, большими бедрами и большим карминовым ртом; мне казалось, что это одна и та же дама, но вскоре я с удивлением заметил, что они разные, но чем-то одинаковые, как и нежный шепот библиотекаря, как и стихи, которые он им читал: «...о, горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет... где нет любви томлений

и грез о счастье нет...» Какая любовь? Та, о которой толковали семи-классники, хваставшие, что они бывают у «тети Дуни» (за базаром последний переулок налево, рядом с лабазом Рахмута, домик с камышовой крышей, вход со двора, собак нет, такса сорок лей)? Это меня не интересовало, и я никогда не выслушивал до конца то, что говорил библиотекарь своим дамам. Не заинтересовал меня ласковый шепот Штирбу и тогда, когда я услышал его однажды поздним вечером в темной аллее парка и по огромному белому пятну определил, что он привел сюда читательницу с самыми большими ногами и самыми крупными бедрами. «Не станет нас, а миру хоть бы что...» — грустно шептал Штирбу, и я чуть было не расхохотался, настолько смешными и нелепыми показались мне эти причитания. Мне даже стало жаль благообразного библиотекаря, чем-то томящегося в такую волшебную ночь. Позднее, когда я с ним познакомился ближе, он показался мне странным, но все же любопытным человеком.

Началось наше знакомство с того, что он заговорил со мной, когда я сдавал книгу его помощнице — бессловесному существу в застиранном ситцевом платице, с чернильными пятнами на рукавах, воротничке и даже на тоненькой восковой шее. Штирбу стоял неподалеку от конторки и, как обычно, шептался с читательницей. Увидев меня, он вдруг повысил голос и, словно продолжая старый спор, сказал:

— А вот господин Вилковский считает, что бога нет!

Я сконфузился и удивился: откуда он знает?

На другой день, когда я подошел к перегородке брать книги, он снова со мной заговорил.

— Вы читали Кришнамурти?

— Не читал.

— А последнюю книгу Анни Безант?

Я и этой книжки не знал. Не будь Штирбу, мне не так скоро пришлось бы узнать о теософии и откровениях Елены Блаватской.

Как сделаться красивым и счастливым, как побороть боль, старость, болезни, что такое личный магнетизм, почему индусский йог может три месяца не есть, не пить и спать на гвоздях — все это было мне не известно.

— И вы хотите стать философом? — воскликнул Штирбу, хотя, собственно, я никогда не высказывал ему подобного желания. — Человек, который не умеет пользоваться законами личного магнетизма, не сможет стать мыслителем. О чем вы думали до сих пор? Что вы знаете?

Что я знаю? Как бороться со старостью, я не знал, но мне казалось, что я знаю, как переделать мир, чтобы не было в нем бедности, несправедливости, войны. Я ничего не слышал об индусских йогах, но хорошо знал, что Индию угнетает английский империализм. И поспешил рассказать об этом Штирбу.

Выслушав меня, он перегнулся через барьер, отделявший стеллажи с книгами от библиотечного зала, и, понизив голос до таинственного шепота, произнес вразяжку:

— Я вас понял... мы еще поговорим...

Так начались наши прекраснородушные споры, которым я был очень рад. Мне казалось, что таким путем я смогу внести порядок в путаницу моих мыслей. Спорили мы со Штирбу в библиотеке, иногда и за обедом в чайной Общества трезвости — библиотекарь занимался самоусовершенствованием, был трезвенником и вегетарианцем. Прихлебывая постные щи, он толковал о тайнах мистического откровения; когда подавали второе — рагу из овощей или рисовые котлеты, завернутые в виноградные листья, он разъяснял мне законы тауматургии — науки свершения чудес; а за десертом, разрезая на тонкие ломтики кусок арбуза или

дыни, рассказывал о деятельности Кришнамурти, приступившего к усовершенствованию человеческого рода путем организации колоний, где собиравались вместе красивые, умные, лишенные предрассудков юноши и девушки, убежденные сторонники теософии и ньюдизма.

И вот неожиданный результат этих философских бесед: аккуратный список книг, прочитанных мною в городской читальне, явно составленный самим библиотекарем, вегетарианцем и сторонником усовершенствования человеческого рода путем поклонения красоте. Почему? Почему оказался шпиком этот благообразный, просвещенный человек, знавший наизусть стихи Бодлера, сентенции Будды и Кришнамурти? Разве Будда призывал обслуживать сигуранцу?

— Будешь ты наконец отвечать? — спросил полицейский комиссар. Он успел выпить еще одну чашку кофе, а его помощник куда-то вышел из комнаты.

— Я отвечаю.

— Признаешь, что ты читал коммунистическую литературу?

— Нет. Не читал.

— Хочешь опять в зубы? — спросил полицейский.

Я молчал. Я чувствовал ноющую боль в руках и в ногах, чувствовал, как болит голова и больно горят уши. Как побеждают йоги физическую боль? Кажется, нужно сосредоточиться на какой-нибудь отвлеченной мысли. Вот выберусь отсюда, пойду в читальню и ударю Штирбу изо всех сил по коленому, молочному лицу — посмотрим, поможет ли ему техника йогов...

Мысли о «рыбаке» и Штирбу, физическая боль, ненависть, отчаяние — все это привело меня в такое подавленное состояние, что я уже не понимал вопросов, которые все еще продолжал задавать комиссар; потеряв ощущение реальности, почти не помнил, как очутился взаперти, в темной клетушке с земляным полом и крохотным оконцем, покрытым железной решеткой. Сначала вокруг меня было темно и тихо — очевидно, я находился в таком состоянии, что ничего не видел и не слышал, потом мало-помалу я стал различать окружающие меня предметы и услышал доносящиеся извне звуки. В коридоре все время топали тяжелыми ботсами, а со двора кто-то громко кричал: «Мэй! Где Роберт? Роберта срочно к господину шефу!» Потом в коридоре началась возня, и пьяный испуганный голос жалостно канючил: «Ой, за что? Меня господин Урсу знает!»

В моей клетушке вскоре стало совсем темно, но я знал, что вечер только начинается, потому что в парке заиграла музыка: до меня доходили то нарастающие, то замирающие переливы вальса «Голубой Дунай». Я живо представил себе деревянную, увитую плющом беседку, где играл оркестр, и гуляющую в парке публику, и моих товарищей, веселящихся теперь на запущенном длинном бульваре. Представил я себе и голубой Дунай, всегда мутный от ила, свинцово-грязный и величественный, и мне стало еще грустнее и захотелось плакать.

...Я лежал с закрытыми глазами на холодном полу камеры и видел воду: стальной простор Дуная—реки моего детства—и зеленые ерики—улицы-каналы родного села, где плавали рыбы, лодки, облака; я снова вдыхал запахи смолы, тины, айвы и слышал тихий всплеск за бортом рыбацкой лодки, в которой сидишь, как в люльке, убаюкиваемый теплом, покоем, солнцем. Там был сумрачный, затянутый ряской и кувшинками ерик, омывающий наш двор. Была и улица, на которую выходил фасад нашего дома,— вся песчаная, без намека на тротуар или мостовую, но все же настоящая улица с белыми и красными стенами домов, с заборами и висящими на оторванных петлях воротами, с деревьями и высоким

гладко обтесанным столбом, на котором шипел по вечерам, разбрасывая длинные желтые тени, керосиновый фонарь «Петромакс». Таких улиц было не много — ериков гораздо больше. Весь поселок был изрыт паутиной каналов, иногда таких узких, что две лодки с трудом могли в них разъехаться, иногда пошире, с быстрым течением и водоворотами, бурлившими совсем как в настоящей реке, с извилистыми, сплошь заросшими вербами, айвой и акацией берегами, с горбатыми домишками, крохотными двориками и совсем уж крохотными палисадниками, где стояли рядом, покачиваясь на ветру, высокие золотистые подсолнухи и огненно-красные георгины.

На каждом ерике были мостики для пешеходов — узенькие, кое-как сбитые, во многих местах прогнившие или провалившиеся «кладки»; ходить по ним было трудно и небезопасно. На лодке проще всего было проехать весь поселок от края до края. С каждого двора можно было прыгнуть в лодку и, осторожно лавируя между заросшими берегами, сворачивая из канала в канал, выехать на вольный простор Дуная, а оттуда на море, в океан, хоть на край света.

Был в поселке и главный канал, прямой, широкий, гладкий, а на нем дощатые лабазы, в которых засаливали рыбу, и крытый темными, похилившимися от времени досками «причал». Сюда подъезжали лодки, прибывшие с уловом; здесь на мокрых досках лежали распластанные серебристые осетры с распоротыми животами и бледно-сиреневые белуги с фиолетовыми полосами на спинах и острыми, отливающими сталью плавниками. Если среди них попадалась «икряная», ее обступала толпа перекупщиков, маклеров, агентов, и все молча и благоговейно следили за тем, как темные, просоленные и прорезанные глубокими шрамами руки торжественно выгребали прямо на мокрые доски причала черную зернистую икру, от которой шел легкий пар, как от переливающейся на солнце кипящей смолы. Здесь же, неподалеку, сидели монахи ближайшего монастыря. Сидели молча, неподвижно, как наседки, прикрывая своими темно-лиловыми рясами плетеные корзинки для рыбы, терпеливо дожидаясь, пока хозяин лодки, собравшись домой, кинет им пару жирных селедков, пятнистую камбалу или рыжего, еще трепещущего карпа. Монахи и сами когда-то рыбачили, теперь же это были древние старики с высохшими деревянными лицами, на которых живыми остались только глаза, внимательные, зоркие глаза.

Там, в рыбацьем селе, все дни проходили на воде. Когда я еще не знал, что делается на улице дальше угла, где стоял фонарь «Петромакс», я уже извездил на лодке свой и соседские ерики, отлично знал, что такое Дунай, снасти, «икряная». Когда пришла пора ходить в школу, я тоже не расставался с водой. В школу следовало ходить улицей, но все мальчики предпочитали идти там, где можно было в жаркий день искупаться по пути, прыгнуть с высокого мостика «свечкой», столкнуть с «кладки» какого-нибудь мальчика с «не нашего ерика». А зимой было еще интереснее: все ерики превращались в один сплошной каток, поблескивавший на солнце стальными, синими, оранжевыми искрами, и можно было со своего двора пуститься в путь на коньках с гиканьем, свистом, обгоняя снег, ветер, собак... Это ничего, что коньки самодельные, деревянные, укрепленные веревками вместо стальных винтиков, — на них можно кататься зигзагами и ехать задом, можно выписывать вензеля, петли, восьмерки не хуже, чем на стальных, настоящих; даже на одном коньке можно долететь до ворот школы быстрее ветра, а после уроков пуститься по ерикам куда глаза глядят, все дальше и дальше, пока они сами не вынесут тебя на слепящую тысячами игл, огромную, заваленную сугробами и вставшими на дыбы льдинами равнину замерзшего Дуная.

В детстве все было хорошо, ясно и просто. Нет, не все. Я вдруг вспом-

нил старый, покрытый лишайником сарай, в котором я прятался, когда убежал из дому. Пугающий сумрак, сухой колючий камыш, наваленный связками в углу сарая. Я лежу в камыше, боясь пошевелиться. Меня ищут, меня хотят наказать, я даже не понимаю, за какую провинность: меня ищут по двору с плеткой из прутьев, и мне дурно от одной этой мысли. Я не боюсь боли и могу драться с мальчишками мокрыми веревками подсыхающих снастей, черпаками, даже бабайками, но невыносимо сознание беспомощности перед взрослыми и чувство унижения, — а я не предполагал у них другой цели наказания, кроме желания меня унижить. Нет, я не позволю, не дамся, я слаб, а они сильны, но я не покорюсь, лучше убегу в кучегуры, спрячусь в какую, отправляющемся на море... А может быть, я все-таки виноват, я плохой, гадкий, непослушный и меня нужно наказать? Но только не бить, все, что угодно, только не это; буду сидеть здесь день, ночь, месяц... И я действительно просидел сутки в сарае и очнулся в постели, завернутый в теплое одеяло, почувствовав ласковое прикосновение материнской руки к горячему лбу.

Но я все-таки не миновал розог из гибкой вербовой лозы: они обрушились на меня тогда, когда я совсем этого не ожидал — в первый торжественно-веселый день моей школьной жизни, когда учитель-великан, с круглой седой бородкой, казавшийся таким красивым, таким величественным и добрым, вдруг после первой же перемены собрал прутья, сорванные мальчишками, весело гонявшимися друг за другом по двору, сделал из них два пучка и, вызвав наугад десять учеников — среди них оказался и я, — выстроил у стены и приказал вытянуть руки. Я стал дрожать мелкой ледяной дрожью, хотя еще не совсем ясно представлял себе, что он собирается сделать. Нет, я не протяну руки! Но старик был такой высокий, такой величественный и грозный, что нельзя было его ослушаться. Я вытянул руки вместе со всеми, и он начал больно хлестать по ним пучками тонкой, гибкой лозы.

— Вот вам! Вот вам! Будете ломать кусты? Будете? Не прячь руки! Вот тебе! Еще будешь? Будешь?

Я задыхался от слез, обиды, возмущения: я ведь не ломал кусты, а всю перемену мастерил дудку из камыша. Почему же он бьет меня? Почему? В классе стоял крик, плач: плакали и те, кого били, и те, которые сидели на своих местах, ошеломленные, испуганные, ничего не понимающие. Я уже не чувствовал боли, а только странный звонкий гул в сердце, и мне казалось, что я умру сейчас же, на месте, и тогда исчезнет навсегда этот ужасный бородач со своими страшными трясущимися руками и ненавистным хриплым голосом: «Еще будете? Будете?»

«Еще будете? Еще будете? Не прячь руки! Вот вам! Выбей у него зубы — тогда он заговорит! Не оставляй следов! Вот вам! Вот вам! Еще будете? Выбей ему зубы — пусть собирает их на полу. Будешь? Будешь? Выбей у него зубы!»

Страшным усилием стряхиваю с себя что-то бесформенное, тяжелое, вскакиваю и, не раздумывая, бросаюсь к дверям, страстно желая только одного — выйти отсюда! Закричать на весь дом, на всю улицу: «Откройте! Выпустите меня! Откройте!» И бить по двери кулаками, ногами, головой, пока она не подается, не откроется... Вдруг я останавливаюсь, пораженный новой мыслью: это уже было, я уже колотил однажды по стене и кричал: «Откройте! Выпустите меня! Откройте!»

...Теперь я стоял весь в поту, прижавшись к шершавой холодной двери камеры, и видел небольшую свежевыбеленную комнату с тремя кроватями; две аккуратно накрыты белыми простынями, а на третьей мальчик, босой, в одной ночной рубашонке, стоит и колотит по стенке маленькими, уже побелевшими от извести кулачками и, захлебываясь от слез, кричит: «Откройте! Выпустите меня! Откройте!» С потрясающей ясностью

я видел и чувствовал все то, что видел и чувствовал в десятилетнем возрасте, когда заболел скарлатиной и попал в больницу. Я был единственным больным, и, кроме докторши, полной дамы в пенсне, в большой шляпе с пером и высоких зашнурованных ботинках, которая приходила сюда по утрам, весь персонал состоял из одной сиделки — маленькой, тщедушной, с красными, пахнущими скипидаром руками, всегда чем-то озабоченной и рассеянной. После визита докторши она немедленно давала волю своему беспокойству и убегала на рыбацью пристань высматривать, не привез ли ее муж «икряную»: «Не дай господь, привезет и слустит за грош, за водочку, за трубочку, за косынку той подлюге, кошке драной, мокрехвостке, хоть бы она в ерик провалилась, рыбьей костью подавилась». Она убегала «на одну минуточку» и оставляла меня почти на весь день наедине с двумя пустующими кроватями, маленьким шкафчиком, полочкой с пузырьками, образком с потушенной лампадкой в углу и пятном, большим, странным и страшным пятном на крашеном полу, около самой постели. Уже в первый день пребывания в больнице мне почему-то пришла мысль, что пятно — след мертвого тела: кто-то умер здесь, может быть на той же кровати, где лежу я, и тогда его, мертвого, положили на пол для обмывания, и от этого остался след — пятно. Если я умру, я тоже буду лежать вот здесь на полу. И это была такая ужасная мысль, что хотелось немедленно вскочить с постели и бежать. Но я ведь не умру, докторша сказала, что болезнь «развивается нормально», я скоро буду здоров. Почему же меня все еще держат здесь взаперти, в одиночестве, даже маму сюда не пускают — она должна стоять на улице, под окном, смотреть на меня сквозь мутное стекло; если прищурить глаза, лицо ее раздваивается, и я вижу два лица, обе мамы смотрят на меня одинаково ласково и одинаково грустно... Я решительно вскакиваю с постели, иду босиком в другую комнату; там стоят три кровати, все три аккуратно прибранные, белые, холодные, и большой шкаф, в котором спрятана, наверно, моя одежда — только бы ее разыскать и можно будет уйти отсюда. Я обыскиваю шкаф, но ничего не нахожу. Заглядываю под кровати — одежды нет. В рубашке отсюда не убежишь, на дворе холодно, идет дождь, тоскливо журчит и плещет под окном вода, стекающая в бочку, подставленную под желоб; быстро темнеет, образок в углу уже не виден, но пятно все еще ясно видно, оно даже растет, растет вместе с ужасом и страхом перед надвигающейся ночью, вместе с мучительно-сладким предствлением о том, как хорошо и уютно теперь дома: мама уже истопила печь, но оставила открытой дверцу, «чтобы не было чада», и там, в черной круглой дыре, тлеет огненно-красный, пышущий жаром шар из догорающего камыша, а на столе уже горит керосиновая лампа с зеленым абажуром, и от нее по всей комнате темнеют длинные таинственные тени... Я снова вскакиваю с постели и, не помня себя, начинаю в отчаянии колотить в стенку: «Откройте! Выпустите меня отсюда! Откройте!» Там, за стеной, кто-то живет — кажется, там бакалейная лавочка, и они могут услышать. Но они не слышат: стена толстая, глухая, слабые детские кулаки не производят никакого звука, только немеют от боли. «Выпустите меня! Откройте!»

Я открыл глаза и увидел черные полоски оконной решетки. Который теперь час? Кажется, пробило два на соборных часах. До рассвета еще далеко. Холодно. Все уже спят. Даже здесь, в полиции, тоже все спят. Теперь я думал о том, что тогда, в больнице, конечно, можно было стучать и кричать: уже на другое утро пришла мама, долго стояла под окном — черноволосая, добрая, нежная — и, выслушав мои жалобы, в тот же день принесла мне книжку, первую русскую книжку, которую я помню до сих пор...

Открытие родины

Я понимал и говорил по-русски—вернее, на том смешанном косолапом говоре, на котором изъяснялись в нашем поселке «липоване», украинцы, молдаване. Но в школе меня учили только румынской азбуке. И я долго не мог прочесть ни одного слова по-русски, пока не научился этому сам в скучные зимние вечера, когда за окном, на замерзшем ерике, посвистывал и завывал ветер, а над столом уютно горела лампа под зеленым абажуром и я сидел с «Нивой» в руках, подолгу разглядывая картинки и раскрашивая их цветными карандашами. Но в больницу мама принесла не «Ниву», а старую, изорванную «Хрестоматию русской литературы». Я раскрыл ее и, перелистав несколько страниц, прочел громко:

Погода пуше свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало; все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы...

Я остановился изумленный: в первый раз я слышал ритм русской поэзии, впервые открывал магическую силу русской речи. И самое удивительное было то, что под музыку слов выступали знакомые картины. Ведь все это я видел совсем недавно, весной, когда Дунай вышел из берегов, когда бурлили ерики, трещали и ломались «кладки», когда вода подмывала и рушила дома. Но теперь я видел это вновь, с новой, удивительной ясностью.

Чем дальше я читал «Медного всадника», тем больше я волновался. Меня точно осенило. Так вот как могут слагаться простые, хорошо мне известные слова! Вот как могут они волновать! Я не все понимал: я не знал, кто это «уздой железной Россию поднял на дыбы», но вот я дошел до сцены погони за бедным Евгением:

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...

Эти слова тоже воскресили в моей памяти картину того, что было: и за мной кто-то гнался по темным лабиринтам бреда в первые дни моей болезни. Я читал дальше и видел Невскую пристань и плещущийся «мрачный вал», и «пустынный остров», куда иногда причалит с неводом «рыбак, на ловле запоздалый...»

Мне виделись знакомые картины, пейзажи, люди.

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют...

И это я видел много раз за селом, в кучегурах, где мы часто играли после уроков.

Вслед за Пушкиным я читал Некрасова, Лермонтова. Потом я перевернул страницу, прочел: «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать...»

Ваньку Жукова я тоже знал. Его звали не Ванька, а Петря, и работал он подмастерьем не у сапожника, а у столяра. Я чувствовал, что это написано про него. Он ведь получал «выволочки» не менее грубые и обидные, чем мальчик из чеховского рассказа.

Не только знакомое и печальное открыл я на страницах хрестоматии. Там были и сказки, и былины, и комедии. Особенно насмешили меня недоросль Митрофанушка и его матушка госпожа Простакова, выговаривающая Тришке за неудачно сшитый кафтан: «Разве необходимо надобно быть портным, чтобы уметь сшить кафтан хорошенько. Экое скотское рассуждение!»

Я читал и перечитывал страницы хрестоматии, а по утрам, когда приходила мама, принимался читать ей вслух или на память то, что взволновало меня накануне.

Мама стояла за окном, в палисаднике, — ей не разрешалось входить, — и я должен был повышать голос до крика, для того чтобы мои слова слышны были сквозь оконное стекло. Мама стояла по ту сторону окна покорно, молча, в глазах ее светилась добрая, чуть грустная улыбка; мимо головы, повязанной темной косынкой, пролетали желтые окостеневшие листья, а я стоял на кровати, придвинутой к окну, и, держа в руках толстую книгу, читал громко, с пафосом стихи Пушкина, медленно, запинаясь — прозу Чехова, путаясь и смеясь — сцены из комедии Фонвизина. Я долго не отпускал маму от окна — мне необходимо было с кем-нибудь поделиться тем ощущением радости, которое я испытывал при чтении хрестоматии. Когда мама вырывалась наконец из моего плена, я брал с нее слово, что она придет завтра пораньше, чтобы я успел прочесть ей «Полтаву» или «Недоросля» до конца. И она приходила пораньше, и я читал ей, но все же оставался недовольным. Мне казалось, что она равнодушна к моим открытиям. Следя за ее лицом, я недоумевал: как можно слушать это спокойно, не смеяться, не волноваться до слез, как смеялся и волновался я сам?

Так я впервые открыл свою подлинную родину еще задолго до того, как понял смысл слова Россия. Так, вопреки школе и воспитанию, моей родиной стала прежде всего русская литература.

Город

Родной дом, в котором я жил всегда, старая, одинокая айва под окнами, ерики, лодки, вербы и весь незыблемый мир на воде, окружавший меня с тех пор, как я себя помнил, все это исчезло однажды навсегда: мы переехали в город.

Помню, как я шел в последний раз по улицам родного села в необычный час — в середине ночи; пароход, на котором мы уезжали, уходил на рассвете. Я шел вялый и недовольный — страшно хотелось спать. Я шел и думал, что все кругом спит: и деревья, и дома с потушенными окнами, и черные ерики, как будто укрытые одеялами; спят люди, собаки, даже комары — не слышно их обычного тревожного нытья; не спят только лягушки, они кричат, охают и заливаются с таким отчаянием, как будто на спящем ерике случилась беда.

Беда случилась со мной, но я этого еще не понимал.

Я шел, засыпая на ходу, и мама тянула меня за руку. Ее теплая рука и крик лягушек не дали мне заснуть. Я начал всматриваться в темноту: вот мостик, с которого я прыгал совсем недавно, кажется позавчера; вон за тем поворотом растет огромная, чуть ли не до неба, верба. Однажды, удрав из школы на ерик, мы налетели на нее шестом, торчавшим из лодки, пробили дно, и лодка начала тонуть. Мы бросились в ерик и вдруг увидели на мостике нового учителя, того самого, с урока которого мы сбежали. Хитрый он был человек: все пронюхал и нарочно пришел именно на то место, где мы потопили лодку. Я вспомнил, как мы барахтались в воде, а он стоял на мостике и что-то кричал страшным голосом. Что было дальше, мне не хотелось вспоминать...

Я посмотрел на небо — тусклый свет звезд тоже нагонял сон. Куда мы идем? На пристань — мы переезжаем в город. Значит, я вижу все это в последний раз? Я почувствовал тревогу, но ненадолго. Я не подумал, что в городе не будет этого милого, радостного раздолья, в котором я жил всегда. Я думал только о том, что моей правой руке, которую держит мама, хорошо, а левой холодно — ее некуда деть. Скоро ли мы дойдем?

На пароходе, по обеим сторонам палубы, была цепь. Она все время двигалась взад и вперед — может быть, она-то и поворачивает руль? Я подумал, что надо будет проследить за руками рулевого и цепью: совпадают ли их движения? Больше я ни о чем не думал в ту ночь, когда так круто менялась моя жизнь и счастливое детство уходило от меня навсегда.

...В первый день в новом городе я проснулся еще таким, каким был раньше, — веселым и свободным. Я вспомнил сонный ночной переезд на пароходе, потом на извозчике, быстро оделся, выскочил из дому и увидел непривычную, унылую картину: скучную, длинную улицу с разбитым тротуаром и развороченной булыжной мостовой; только у одного забора росли какие-то чахлые кусты и стояла маленькая желтая акация. По мостовой громыхали телеги, по тротуарам спешили люди; сухой, неприятный ветер гнал им в лицо пыль, обрывки бумаг и солому.

Я дошел до перекрестка, посмотрел вправо и влево — всюду была та же картина: серый булыжник, пыль, клочки сена; ни одной вербы, ни намека на песок или воду. Но я знал, что город стоит на Дунае, как и наше село, — мы приехали сюда пароходом. Где же Дунай? Где его каналы? Где вода?

Я снова дошел до перекрестка и увидел странную телегу на двух колесах. Она не имела кузова, вместо него на колеса была посажена бочка, а на ней, как на козлах, примостился дед, заросший от самых глаз грязно-серой бородой, с еле заметной сизой шишкой носа и тусклыми мутно-зелеными глазками. Дед был весь мокрый, словно его нарочно облили, борода, похожая на мокрую мочалку, слиплась. Кляча с линявшей шерстью и раздутым животом тоже была мокрой; мокрой была и бочка с ржавыми обручами — она оставляла после себя на булыжнике след в виде тонкого ручейка.

— Мэй, водовоз! — крикнула женщина в черной косынке, высываясь из открытого окна.

Дед услышал крик и остановился. Я подошел поближе. Дед не спеша достал два цинковых ведра, потом так же не спеша вытащил длинную затычку, обернутую в тряпку, — из бочки ударила струя, она чуть не задела бороду деда, но он успел отвернуться и подставить ведро. Когда они наполнились, он снова заткнул бочку и, тяжело ступая мокрыми рваными сапогами, понес ведра с водой в дом.

Я стоял у забора и молча смотрел на эту сцену. Я стоял долго и не ушел, пока дед не выцедил всю бочку. Мне было ужасно тоскливо: вместо радостного водного раздолья, вместо ериков и Дуная — бочка с ржавыми обручами и мутной водой; вместо веселых, сильных рыбаков, пропахших морем, — лохматый дед с грязно-серой мокрой бородой.

Так начался первый день новой жизни в городе. Закончился он еще хуже. К вечеру я разбил голову конопатому мальчику, надоевшему мне своими криками, чтобы я убирался «с нашей улицы». Когда я пригрозил ему камнем, он нахально рассмеялся:

— Сейчас испугаюсь! Да ты в жисть не попадешь — уже темно!

Но я попал в него с первого раза. Сказалась сноровка, жизнь на ерике, где камни были редкостью, зато мы и научились пользоваться ими без промаха. Удар оказался даже чересчур метким; мальчик заревел, а я спокойно пошел домой — я еще не знал городских нравов. Через десять минут он ввалился к нам в дом вместе с отцом и матерью — оба такие же конопатые и худые, как и сам пострадавший. Начался крик, плач, угрозы.

Я смотрел на мальчика с забинтованной головой с чувством неловкости. Только теперь я его разглядел хорошенько. Он совсем не был похож на моих товарищей с ерика: худенький, остроносый, с длинной тоненькой шеей и испуганными заплаканными глазками, он напоминал общипанного цыпленка. Мне стало обидно и стыдно: зачем я с ним связался? Неужели все городские мальчики такие? У нас никто и не подумал бы жаловаться. Неужели в городе даже не с кем подраться?

В тот вечер я услышал о себе много нового. Я, оказывается, дикарь и деревенский разбойник. Таким, как я, в порядочном городе нет места. Вскоре я убедился, что это действительно так.

На этот раз я ни с кем не подрался и не совершил никакого проступка. Произошло нечто похуже. Мне дали деньги на кино, и я с радостью помчался на другой конец города, где был летний сад-иллюзион. Такой роскоши я еще никогда не видел: сидишь себе на скамейке на свежем воздухе, а перед тобой на огромном белом полотне скачут индейцы, убранные перьями, прыгают через водопады горячие мустанги, и храбрый, весь обвешанный оружием охотник спасает красивую девушку, похищенную разбойниками. Я всей душой желал ему удачи, и когда он попал в лес с гигантскими деревьями и начал высматривать следы в невиданно высокой траве, я громко объяснил окружающим:

— Он ее ищет!

Раздался смех. Какой-то мальчик с бантом на груди, как у девчонки, обернулся и переспросил нарочно громко:

— Он ее ищет?

— Ищет, ищет!.. — насмешливо сказала девица, сидевшая рядом со мной, и приснула в кулак. Все снова загоготали.

Мне сразу стало жарко от стыда. В первое мгновение я почувствовал отражение к самому себе, но потом меня начала разбирать злость. Почему они смеются? Допустим, я плохо говорю по-русски — у нас на ерике они бы еще не такое услышали, — но разве это дает им право надо мной смеяться? Волшебные тени на экране сразу потускнели, уже неинтересно было следить, удастся ли храброму охотнику спасти девушку. Я понимал, что выгляжу смешным среди городских мальчиков. У них есть банты и гимназические фуражки с лакированными козырьками; они все знают и умеют правильно выговаривать все слова. Я понимал также, что я уже не маленький, мне исполнилось десять лет и нельзя думать только о лодках и удочках — осенью я и сам поступлю

в гимназию. Но все же было грустно и больно при воспоминании о том спокойном, чудесном мире, который я покинул навсегда.

В городе все было иначе — размеренно и заранее известно: торговые сделки, свадьбы, ссоры, количество засоленных огурцов и даже намерения. Самое удивительное для меня было то, что город стоял на Дунае и река казалась такой же, как у нас в деревне. Но к ней добраться было нелегко: надо было долго шагать по мощеным, окутанным пылью улицам, по которым с утра до вечера громыхали телеги, свозившие в порт ячмень, овес, кукурузу. Над рекой, в порту, тоже висело густое пыльное облако; в нем, как в тумане, двигалась нескончаемая вереница грузчиков с мешками на плечах; они снимали их с непрерывно подъезжающих подвод, взваливали на плечи и, тяжело ступая босыми ногами по скрипящим и гнущимся мосткам, поднимались на палубы пароходов, подтянутых вплотную к берегу, и здесь высыпали зерно в зияющие корабельные трюмы, на дне которых ползали «лопатары» — люди, разгребающие зерно, — с мокрыми повязками, закрывающими рот, нос, уши, люди с вечно слезящимися глазами и черной зловонной мокротой, выплевывающие вместе с пылью почерневшие куски легких.

Эти пыльные тучи над рекой, грохот подвод по разбитой мостовой, тяжелый топот босых ног по сгибающимся деревянным мосткам и выплунутые куски легких были главным источником городских доходов. На этой основе существовали в городе конторы, парикмахерские, кабаки, отделение банка, иллюзион, две кофейни, три профессиональные проститутки, полиция, погребальное братство с собственным духовым оркестром и лавки — бакалейные, мануфактурные, писчебумажные, скобяные, табачные... Каждая дверь на Большой Дунайской улице была лавкой, и на каждом пороге стоял хозяин, расчесывая себе грудь и беспокойно следя за тем, что выносят из лавки соседа-конкурента. На пороге шапочной мастерской стоял уже не только хозяин с подогнанной под свое дело фамилией — Шапкар, но и все его сыновья — рослые, горластые, с рыжими вихрами и огненной россыпью веснушек на широких, скаластых лицах. Завидя издали, на другом конце улицы, какого-нибудь приезжего мужика, осторожно шагающего по тротуару с торбой, перекинутой через плечо, семейство шапкарей поднимало такой крик, что разбежались куры, мирно клевавшие зерно на мостовой, начинали лаять собаки, а из окон ближайших домов выглядывали недоумевающие сонные лица обывателей: «Где горит?»

— Эй, человек! — кричали шапкари, отчаянно размахивая руками и потрясая рыжими лохмами. — Мэй, диду!.. Иди-ка сюда! На твой интерес!..

Если заинтригованный мужик имел неосторожность откликнуться на зов и подойти поближе, его хватили за руки, втаскивали в лавку, откуда он уже не выходил без совершенно не нужной ему шапки, качулы или парусниного картуза, отданного ему «задаром», «на его интерес», ибо новая шапка — верная примета, что у него будет «веселый год» — ядреный год и сто тысяч на мелкие расходы!..

Я приглядывался к этим сценам, привыкал к базарной суете и глотанию уличной пыли, но к одному я привыкнуть не мог: не видеть реки. Мне было запрещено ходить босиком, бросать камни любым способом — рукой, рогаткой или пращой, запрещено было ловить и приносить домой голубей и многое другое. Но самый нестерпимый запрет был не ходить на Дунай. Я томился тоской по реке, танцевал под каждым дождем, измерял все лужи, появлявшиеся на нашей улице, но это не приносило облегчения. Только по ночам было хорошо — мне снились ерики, рыбы, Дунай. Во сне я снова вдыхал запах смолы, снова сжимал в руках тяже-

лые бабайки и видел, как лодка оставляет за собой светлый пенящийся след. Просыпаясь по утрам, я даже осматривал руки — не появились ли на них мозоли после гребли во сне. Руки были такими, какими они стали в городе — противно белыми, без мозолей и без царапин.

Возвращение на Дунай

Снова настало лето, сухое, знойное, с выцветшим небом и потускневшими, свернутыми от жары листьями. Я не выдержал и нарушил запрет. Мое возвращение на Дунай было кратковременным и горьким. Я заплатил за него дорогой ценой.

Узнав, что я собираюсь идти купаться, за мной увязался мой двоюродный брат и ровесник — серьезный мальчик с веснушчатым лицом и большими внимательными глазами. Мы жили в одном доме, даже имена у нас были одинаковые. И хотя наши родители ссорились и не разговаривали друг с другом, мы не обращали на это внимания — учились вместе, готовили вместе уроки и тайком от взрослых вместе отправились на Дунай.

День был жаркий, воздух знойный, неподвижный. На Большой Дунайской царила сонная тишина. За прилавками пустых магазинов дремали разморенные жарой хозяева и, не просыпаясь, давили мух на носу. На маленьком базарчике вокруг церкви стояло несколько возов с поднятыми оглоблями, и здесь же, неподалеку, за трактирными столиками, вынесенными на улицу, сидели возчики с лоснящимися от пота лицами и, прихлебывая горячий чай из блюдец, приговаривали: «Прохладно, харашо...»

Дунай встретил нас каким-то особенным, ослепительным блеском, отражающим белый свет солнца. Найдя подходящее место, мы быстро разделись и побежали к воде. Я сразу же стал нырять и кувыркаться. Поплескавшись и наглотавшись мутной воды, я поискал глазами брата: мы договорились, что он не будет отходить далеко от берега и подождет, пока я начну учить его плавать. Я посмотрел на берег, но его там не оказалось. Над водой появилась пчела — глядя ей вслед, я увидел Сашу. Но не там, где ожидал, а значительно дальше от берега, чем я сам, почти по горло в воде. Я увидел его перекошенное гримасой лицо, мокрые вихры, закрытые глаза и услышал совсем рядом громкий, испуганный крик: — Саша!

Впоследствии я понял, что это крикнул я сам, устремляясь всем телом вперед, туда, где над водой дергалось красное, искаженное страхом лицо. Я почти задел его рукой, но он, очевидно, совершенно растерялся или потерял сознание и не видел меня.

— Руку... дай руку!.. — крикнул я ему и вдруг почувствовал, что и со мной происходит что-то неладное, как будто меня кто-то тянет за ноги под пузырящуюся, кипящую воду. «Водоворот!» — мелькнула в голове страшная догадка, и я сразу отяжелел. Не знаю, испугался ли я от мысли, что и меня засасывает, помню только, что в то решающее мгновение я снова ощутил знакомое чувство, уже несколько раз испытанное, когда я тонул, — чувство, инстинктивно подсказывающее, как действовать: я нырнул и, став значительно легче, несколькими сильными движениями, «колесом», под водой выбрался из омута, выскочил на берег и начал звать на помощь.

Место было пустынное. Только справа, над рыжим обрывом, виднелись серо-грязные стены городской бойни. Мои крики туда не доходили. Скорее около меня все же собралась небольшая толпа: какой-то старик, обутый, несмотря на жару, в валенки, круглая и толстая, как бочка, жен-

щина, несколько мальчишек моего возраста и оборванный, измазанный глиной парень с тусклыми испуганными глазами. Все они бесцельно толкались на берегу.

— Тут глыбка, отсюда и лошадь не выберется,— говорил измазанный глиной парень.

А старик в валенках говорил другое:

— Тут веревка нужна... Кабы веревка была — зараз бы и вытащили!

Тем временем голова Саши удалялась от берега. Он так и не раскрыл глаз и ни разу не закричал. Течение уносило его все дальше и дальше, и он медленно погружался в воду все глубже и глубже. Вот уже не видно рта, вот исчезли глаза, и вода, играючи, переплеснулась через голову. Вот он скрылся совсем под белой, слегка пенящейся речной гладью.

Я стоял на берегу под жаркими лучами полуденного солнца и дрожал от холода, бессилия, отчаяния. Я понимал, что случилось нечто страшное, бессмысленное, непоправимое. А радостное солнце продолжало лить ослепительные потоки света и тепла. Дунай продолжал течь плавно, неудержимо, и небо продолжало синеть, как всегда, красивой и бездонной лазурью.

Кое-как одевшись, я бросился бежать в город и сразу же за бойней встретил знакомого мальчика, приехавшего сюда покататься на велосипеде.

— Саша утонул!— крикнул я ему на ходу.

Он повернул велосипед и, ни о чем не расспрашивая, посадил меня на раму и повез в город.

У раскрытой двери нашего дома сидел отец и читал газету. Увидев, как я соскакиваю с велосипеда, он добродушно замахнулся на меня палкой:

— Где ты пропадал?

Я ничего не ответил, вбежал в дом, ткнулся головой в колени матери и зарыдал.

— Саша утонул!

Что было дальше, я помню смутно. Окна нашей спальни выходили в коридор Сашиной квартиры. Я увидел в окно грузную фигуру его матери — полной женщины с нездоровым цветом лица и большими водянистыми глазами. Отец Саши умчался на Дунай, ничего ей не объяснив, но она, очевидно, догадывалась о том, что случилось. Она шла по коридору, переваливаясь (одна нога у нее была короче другой), шла медленно, протягивая вперед руки, как слепая. Зацепившись за стол, она вдруг упала на пол и поползла по коридору со страшным, леденящим криком. Мне показалось, что она меня ищет, и я забился под кровать. Сквозь тяжелый испуг я долго еще слышал ее крики и, боясь шевельнуться, все время видел перед собой искаженное лицо тонущего Саши.

...Три дня его не могли найти. Все это время я прожил в маленьком домике с садом, на окраине городка, в квартире другого дяди, у которого были четыре дочери, две из них мои ровесницы: одна — высокая, угловатая, с длинными руками и ногами, другая — полная, румяная, черноглазая. Они пытались меня успокоить, увлечь какой-нибудь игрой, вывести из молчаливого оцепенения. Я сидел на кушетке, смотрел на своих двоюродных сестер, на их одинаковые клетчатые платяица, на белые банты в их волосах, но видел перед собой перекошенное, несчастное лицо Саши. Я знал, что его ищут и, вероятно, найдут, но его все-таки нет, и он уже никогда не придет и не будет сидеть здесь вместе с нами на мягкой кушетке. Это было страшно и непостижимо. За раскрытым окном шумели деревья, заливались разными голосами птицы, а я слышал назойливый голос старика: «Кабы веревка была—зараз бы и вытащили...» Я подумал о том, что, если бы мы пришли купаться на полчаса раньше

или позже, вполне могло бы случиться, что у кого-нибудь на берегу оказалась бы веревка, мимо проезжала бы лодка или проходил бы человек, умеющий хорошо плавать, и тогда все закончилось бы иначе; по дороге на Дунай мы зашли к одному товарищу и не застали его дома — если бы мы его застали и задержались там на полчаса, Саша не утонул бы. Это было непостижимо.

Ночью, когда все в доме спали, я стоял у раскрытого в сад окна и слушал, как поет в кустах соловей. Весь сад слушал молча песню о том, что в мире все идет, как всегда, ночь такая же прекрасная, как была вчера, она пройдет, и снова будет день. Но я знал, что для Саши уже ничего не будет, а я сам хоть и остался таким, как прежде, и завтрашний день будет для меня такой же, как вчера, но я буду видеть перед собой искаженное, страшное лицо тонущего брата и завтра, и послезавтра, всегда.

Как это началось

Утро все еще не наступило, и казалось, уже не наступит никогда. Я лежал на холодной рогоже и думал теперь о том, как все началось... Что привело меня в эту темную душную камеру с железной решеткой на окне и наглухо запертой снаружи дверью? Почему из двадцати учеников шестого класса, из доброй сотни гимназистов старших классов очутился здесь только я?

Я вспомнил: давным-давно, еще во втором классе гимназии, у нас появился однажды новый учитель — Фриц.

Никто не знал, откуда он к нам свалился: одни утверждали, что из Германии; другие, ссылаясь на его фамилию — Везецкий, — уверяли, что он из Чехии и уже не первый год скитается по захолустным городам Бессарабии, преподавая латынь, французский и немецкий. Если понадобилось бы, он мог бы преподавать и древнегреческий. И даже санскритский. Только с румынским языком, на котором велось преподавание, он никак не мог справиться: он говорил по-румынски, путая местоимения и окончания, как последний из учеников.

Когда Фриц впервые вошел в класс, мы даже растерялись — такого мы еще никогда не видели. Он был низенький, круглый, с лысой головой и толстым сизым носом, на котором прыгало золотое пенсне. Какие-то бесцветные стоптанные башмаки, помятая рубашка, мешковатый пиджак и широкие штаны — все старое, потертое, кое-как застегнутое булавками. Войдя в класс, он промчался вперед, не заметив кафедры, и, только когда перед ним выросла стена, озадаченно остансвился, бормоча себе под нос аккуратные немецкие ругательства: «Доннер-веттер-парраплю!» Взгромоздившись наконец на кафедру, он снял пенсне и задумался. Класс притих, не зная, как отнестись к столь странной личности. Вопрос разрешил длинноногий, вечно перемазанный чернилами второкурсник Цуркан: он выстрелил под партой из хлопушки. Фриц страшно перепугался, сорвался с кафедры и забегал по классу, отчаянно вопя:

— И что вы делаете? Я приехала учить немецки, латински грамматика, а вы стреляйте! Доннер-веттер-нохейнмаль! Черт побери эта дикая страна. Зулуси! Патагонци! Питекантропи! Я старая человека! Пожалейт бедная старика!

Но класс его не пожалел. Все поняли, что это прыгающее, взвизгивающее и жестикулирующее существо опасности не представляет. На следующем уроке первый выстрел раздался, как только Фриц вошел в класс. Он поблелел и заткнул уши. «Бац!» — раздался новый выстрел, и Фриц метнулся за доску. «Тррах!» — выстрелило в печке. Фриц заме-

тался по классу, как муха, попавшая в мухоловку,— от испуга он не мог найти дверь. А в это время класс взвизгивал, сползал со скамеек под парты от хохота. Мы настолько увлеклись, что не заметили, как неожиданно растворилась дверь и на пороге показался директор, привлеченный пальбой и хохотом.

— Что здесь происходит?

Мы опомнились, но было уже поздно: директор отлично видел, что происходит, и весь класс был оставлен без обеда. На следующем уроке стрельба уже не возобновлялась. Но ученики нашли другие способы потешаться над новым учителем.

Фриц преподавал нам языки по тяжелой схеме. Только мертвая латынь приводила его в живое, бодрое состояние, а на уроках французского и немецкого он вел себя, как автомат. Все сводилось к неправильным глаголам и спряжениям. Никто из учеников так и не постиг всяческих «аксант эгю», «аксан граф» и «аксан сирконфлекс». Зато почти все быстро научились передразнивать Фрица, кривляться, гримасничать и разговаривать на том же немислимом наречии, на котором изъяснялся он сам.

Когда обе стороны привыкли друг к другу, сквозь оболочку смешного чудачка начало прорываться что-то другое. Старик любил пофилософствовать. Стоило задать ему наводящий вопрос, как он откидывал журнал, щелчки глаз загорались, и он начинал рассуждать вслух. Его не очень-то интересовали слушатели; ученики могли заниматься чем угодно: кто зубрил следующий урок, кто играл в перья, кто разговаривал. А в это время Фриц шагал по классу и говорил о том, что цивилизация усложняет и губит жизнь, в древней Элладе и древнем Риме люди были намного умнее нас, древние создали поэзию, философию, латынь...

— А теперь создан аэроплан,— подал я однажды реплику.

— Кто сказал «аэроплан»?— спросил Фриц.— Вилковский сказал «аэроплан»? Доннер-веттер-нохейнмаль! Аэроплан бросает бомба. Когда будет война, аэроплан будет убивает людей, много людей...

— А если войны не будет?— спросил я.

— Не будет? Кто сказал «не будет»? Опять Вилковский? Глупая детка. Всегда есть армия, генерал, золдат...

— А надо, чтобы не было,— сказал я.

— Хе-хе!— рассмеялся Фриц.— Надо, чтобы не было! Надо, чтобы японца пил чай с китайца. А они стреляйт.

— Они не понимают,— сказал я,— когда все поймут...

Фриц снова расхохотался и даже схватился за живот, делая вид, что он помирает со смеху.

— «Они не понимают!» Вы слышали, детка, что сказал Вилковский? «Они не понимают!»

Я смотрел на Фрица и недоумевал: что он тут находит смешного? А он продолжал бегать по классу, кривляться и делать вид, что ему очень смешно. Потом он останавливался, вытирал пенсне и начинал яростно доказывать, что от человеческого понимания ничего не зависит. Человек, собственно, ничего не понимает. Человек ничего не знает. Наука есть история человеческих заблуждений. Эти рассуждения всегда заканчивались одинаково: восхвалением латыни. На свете существует только одна наука: латынь. Только правила латинской грамматики остались незабываемыми в веках. Человек ничего не может. Но каждый может изучать латынь.

Фриц носился по классу. Пенсне сверкало. Плохо прикрепленные булавками брюки начинали тихонько сползать с живота. Но он ничего не замечал. Зажмурив глаза, Фриц рассказывал, как он сам специально встает ночью, чтобы изучать латынь:

— Да, да, детка, я встают ночью, в два часа, в три часа... встают, зажигайт лампа и учу латынь... А ви что делаете? Вилковский, ты вставайт ночью и учит латынь?

Нет, я не вставал по ночам, чтобы учить латынь. И Фриц начинал надо мной подтрунивать:

— Наука!.. Вилковский думайт, что он все знайт, все понимайт. А он не знайт латынь...

Эти выпады повторялись все чаще. Фриц меня недолюбливал, но я все еще не мог понять почему. Потом я попросил у него книжку о теории относительности — в качестве классного наставника он выдавал нам книги на дом по субботам. После этого случая Фриц принялся высмывать меня чуть ли не на каждом уроке.

— Вилковский читает Эйнштейн! Я не понимаю Эйнштейн. Я старый и не понимаю. Эйнштейн говорит — пространство кривое. Как так кривое? Как может пространство быть кривое? Я этого не понимаю, а Вилковский понимайт.

Для того чтобы окончательно разоблачить меня, Фриц тревожил не только Эйнштейна, но и тени Сократа, Платона, Цицерона и многих других. Длинные латинские изречения вместе со слюной летели с кафедры в учеников, сидевших на первых партах. «Я знаю, что я ничего не знаю», — говорил Сократ. «Мы знаем вещи в сновидении, в действительности мы ничего не знаем», — говорил Платон. «Колебаться, ни в чем не быть уверенным и во всем сомневаться», — говорил Пиррон.

Я внимательно слушал эти речи и очень плохо понимал, в чем дело. И совсем не понимал, какое отношение имеет ко мне Пиррон и почему Фриц меня не любит. От чего это он предостерегает моих товарищей:

— Детка, остерегайся Вилковский! Не слушайте его. Я старый человек — ничего не знайт, а он все знайт, все понимайт. Не надо его слушать!

Философская борьба, которую вел Фриц против тринадцатилетнего мальчика, не очень-то разбиравшегося в ее смысле, имела и практические последствия — на этот раз вполне понятные и ощутимые. Как-то на уроке французского языка я попросил разрешения выйти на минуту из класса. Фриц обрадовался.

— Пожалуйста, детка! И можешь совсем не возвращайся. Можешь не писать диктант. Я дам тебе хорошую отметку — перейдешь поскорей в четвертый класс, скорей избавлюсь от тебя!

И я не вернулся на урок, а отправился на задний двор гимназии играть в футбол. Я не писал диктанта по французскому, но получил хорошую отметку в семестре. Так впервые был нарушен стройный гимназический порядок. Фриц разрушил мою веру в справедливость школьного журнала, и я стал прохладно относиться к своим обязанностям. За этим неизбежно последовало и другое открытие: если получить вместо высшего балла скромную шестерку — мир от этого не рушится.

Вскоре я перестал даже заглядывать в учебники французского и немецкого. И совсем не учил латыни. Но мне очень хотелось посмотреть, как это делает сам Фриц. В нашем классе нашлось еще несколько любопытных, один из них узнал его домашний адрес, и вот однажды, поздним вечером, мы отправились посмотреть, как наш старик встает по ночам и зубрит латынь.

Мы шли довольно долго по темным, уже спящим улочкам. Дул сырой мартовский ветер. На крышах еще поблескивали остатки снега, но внизу, на тротуарах, были разлиты огромные лужи. За темными заборами шумели мокрые деревья. В желобах шумела и журчала вода, лившаяся с крыш в лужи.

Домик, в котором жил Фриц, оказался бревенчатым, с низкой, еще засыпанной крупчатым снегом кровлей. Мы подкралась к окну, осторожно прильнули лбами к мокрому стеклу и увидели такую картину.

Под потолком висела керосиновая лампа с подвешенным фитилем, слабо освещающая убогую комнату, заставленную сундуками и разделенную на две части веревкой с бельем. В сумрачном полусвете белели распятые рубашки, до самого пола свисали кальсоны, простыни, пеленки. Еще никого не видя, мы услышали детский плач. Мы знали, что Фриц совершенно одинок и снимает комнату «на всем готовом» у какой-то женщины, — очевидно, это плакал ее ребенок. А как же Фриц? Неужели он может терпеть это нытье? Не успели мы об этом подумать, как из-за веревки с бельем вынырнул он сам, без пиджака, в белом колпаке, похожем на вязаный чулок, в расстегнутых и, как всегда, спадающих брюках. Когда он подошел поближе, мы увидели, что он держит в руках странный предмет, завернутый в одеяло. Предмет этот вдруг зашевелился, издавая хриплый и нудный писк. Фриц зашагал быстрее, что-то бормоча себе под нос. Сначала мы услышали характерное «доннер-веттер-параплю!», но ребенок не унимался, и тогда Фриц начал декламировать свои любимые, хорошо знакомые нам латинские стихи:

Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna serius ocius...¹

Мы раскрыли рты и даже позабыли спрятаться, когда он подошел вплотную к окну. Но он нас не заметил. Он шагал вдоль веревки с бельем нервной, торопливой походкой и тщетно пытался убаюкать плачущего ребенка одами Горация.

В жалком облике нашего латиниста, в вязаном колпаке и грязном одеяле с плачущим младенцем, как и в оде Горация и во всей обстановке этой захлавленной, завешанной бельем комнаты, слабо освещенной вонючим огоньком лампы, было столько грусти, безысходности, что нам всем стало не по себе. Мы отпрянули от окна, молча переглянулись и отправились домой.

Кто был этот одинокий, несчастный старик? Почему покинул он свою родину? Какие несчастья сломили его и превратили в чудака, посмешище для своих учеников? Не знаю. Что случилось с ним в дальнейшем — я тоже не знаю. Но чем больше отдалялась от меня во времени эта странная фигура, тем яснее я понимал, что, собственно, произошло и почему так невзлюбил меня этот поклонник и раб латинского языка. Сломленный жизнью и тяжелыми, неизвестными мне бедами, он покорился судьбе и возвел покорность в идеал. Вот почему он раздражался каждый раз, когда встречал среди своих учеников характер и склад ума, противоположные его собственному. Повышенная любознательность, страсть к новизне, дух протеста — все, чего Фриц не любил, все это, казалось ему, наверно, он увидел во мне. Я этого не знал и даже не подозревал, несмотря на то, что уже немало прочитал книг. В четвертом классе я начал искать книги вне гимназии и получил однажды за две пачки папирос доступ к библиотеке бывшего нотариуса Снитовского, отца одного из моих соучеников — Витольда, длинноногого подростка с птичьим лицом, которого интересовали в жизни только две вещи: папиросы и игра в шахматы. Домик, куда привел меня Витольд, был

¹ Все мы влекомы туда же (в могилу).

Вращается урна, и рано или поздно выпадет и наш жребий... (Гораций. «Оды». II).

запущен и обшарпан не меньше, чем его обитатели: старик Снитовский, его журавлинообразный сын и какая-то еще не старая женщина в чем-то облинявшем, застиранном, с худыми бледными руками и испуганным лицом — не то жена, не то прислуга бывшего нотариуса. Комната, где хранились книги, была самой унылой в доме: голые стены с рваными обоями, невымытые окна, грязный земляной пол; книжные шкафы, запыленные, с разбитыми стеклами, стояли раскрытые, опутанные паутиной, от них пахло сыростью, куриным пометом, мышами. Но когда я увидел длинные ряды книг с потемневшими надписями на желтых, серых и черных корешках, когда раскрыл наугад первые тома суворинских и марковских изданий, когда прочел первые заголовки, — это запущенное, уже много лет сохнувшее и желтевшее в шкафах, редкое, никогда прежде не виданное мною книжное богатство привело меня в такое волнение, что я тут же обещал Витольду еще две пачки папирос и десяток шоколадных конфет в придачу, если он позволит мне забрать с собой столько книг, сколько влезет в мой потрепанный школьный ранец. Когда я уходил в первый раз, крепко зажав в руках ранец, набитый книгами, я столкнулся с отцом Витольда. Я замер от страха и неожиданности — вот он сейчас заметит мой разбухший ранец, остановит и все заберет. Но, встретив пустой, равнодушный взгляд жидких темно-зеленых глаз застарелого пьяницы, я понял, что мне нечего опасаться.

Чего только не было в этой странной энциклопедической библиотеке спившегося нотариуса: сочинения Шопенгауэра и «История цивилизации в Англии», Герберт Спенсер и Макс Нордау, Монтескьё и Шахразада, Вольтер и «Путешествия» Ливингстона...

И какое это было волнующее и сулящее счастье занятие!

Я никогда не забуду чувства, охватывавшего меня каждый раз, когда я смотрел, как ветер тихо шевелит и перелистывает пожелтевшие страницы только что полученных томов. Чем учнее и непонятнее для меня был предмет, о котором они трактовали, чем загадочнее заголовки и наспех просмотренное оглавление, тем быстрее росла надежда узнать то, чего я еще не знал, понять то, чего не понимал, найти наконец ответ на мучительно беспорядочные вопросы, шевелившиеся во мне. Каждый раз меня охватывало нетерпение, хотелось как можно скорей, уже сегодня, сейчас, еще до обеда, который давно стыл на столе, — пусть их там сердятся и бранятся! — засесть за чтение и разобраться в новых словах, понятиях, мыслях.

Одна из взятых мною у Снитовского книг называлась «Проблемы социализма и задачи социал-демократии». Она была объемистая, тяжелая, в черном блестящем переплете, и я положил ее в ранец именно потому, что меня поразили непонятные слова «социализм», «марксизм», «социал-демократия» и странные названия глав: «Гегелианский диалектический метод», «Движение доходности», «Марксизм и теория кризисов».

Что такое «марксизм» и «диалектика»? Что означает «первоначальное накопление» и «кризис перепроизводства»? Кто был Маркс и почему «не каждая эпоха рождает Марксов»?

Немедленное прочтение сборника статей немецких профессоров политэкономии не принесло ответа на эти вопросы, а только увеличило путаницу в моей голове. Но таинственные и почему-то волнующие слова «марксизм», «диалектика», «социалистическая революция» запали мне в душу, и я начал искать в пыльных шкафах Снитовского литературу, в которой упоминались бы эти новые, пока еще туманные для меня понятия. Вскоре я нашел книгу статей Жореса и брошюру с речами, произнесенными на 5-м конгрессе I Интернационала в 1872 году в Гааге.

Я сидел при свете лампы за некрашенным столиком, вынесенным из

коридора в наш маленький немощный дворик. Была теплая, тихая летняя ночь. Надо мной был Млечный Путь с его широкими рукавами, заполненными звездной пылью, с бесконечно загадочными крупными звездами, известными мне по имени, но в то лето мое первое увлечение астрономией уже шло к концу, и я все реже смотрел на звезды. Вокруг меня был дворик с деревянным сараем, колодцем, двумя акациями и дощатым забором; а за ним еще не спавший, возбужденный парной теплотой июльской ночи городок с гуляющими, смеющимися и лужгающими семечки прохожими,— я слышал их голоса и смех. А за городом, в самом конце длинной улицы, на которой стоял наш дом, был Дунай. А там, за Дунаем, на юг, запад и север — мир, который я не знал. Я еще не читал газет и не ведал не только о том, что творилось в далеких просторах мира, но даже о том, что происходило совсем близко, в каких-нибудь тридцати километрах от нашего городка, в пыльном, известковом местечке Татар-Бунар, где в то лето еще только зарастала клевером и ромашкой аккуратнo срытая и сравненная с окружающей степью братская могила ста двадцати повстанцев, убитых здесь всего лишь четыре года тому назад. Подлинная история, смысл и значение этого восстания тоже были мне не известны.

Так, почти ничего не ведая о том, что творилось в реальном мире, и ничего не видя вокруг, кроме будничной, еще не совсем понятной жизни, я начал читать речи, произнесенные полвека тому назад на конгрессе I Интернационала и четверть века назад на заседаниях французской палаты депутатов.

Не в лад заигравшая гармонь и смех за забором отвлекли меня на несколько секунд от чтения. Я поднял голову и увидел яркий, огнистый след падающей звезды. Там, в темно-синих глубинах неба, по-прежнему белел Млечный Путь, но я был всецело поглощен другой тайной. «Но что бы стал делать бедный человек — рудокоп, если бы в глубокой, темной шахте ему не светил свет его лампы? Свет социализма не блещет, как мистическое солнце, но без него был бы сплошной мрак на земле». Я снова перечел эти слова Жореса и подумал, что, может быть, все окружающие меня люди да и я сам похожи на этого бедного рудокопа.

Как хотелось мне на другой день поделиться с кем-нибудь новыми взволновавшими меня вопросами! Как хотелось рассказать о Великой французской революции и стойкости парижских коммунаров, о смелости Робеспьера, о не совсем еще ясных, но неотвратимых законах первоначального накопления и перепроизводства, о лозунге экспроприации экспроприаторов, о великом братстве пролетариев всех стран, которым нечего терять, кроме цепей, а обретут они целый мир!

С кем говорить об этом? С больным, прикованным к дому отцом, вечно занятым подсчетом заработков, которым никогда не суждено было осуществиться, или долгими молитвами и беседами с богом о смерти, загробной жизни и опротестованных векселях? С соседом портным, бессловесным существом, отмеченным чахоточным крестом на щеках? С соседом богачом, приходившим потолковать с отцом о боге, о том, что бог награждает всех по справедливости? С местным интеллигентом, сутулым, в очках, всегда в руках, который служил бухгалтером у того же богача, служил верой и правдой, выколачивая лишние леи, а иногда и сотни и тысячи из всех, кто только имел дело с его хозяином — экспортером зерна и барышником-домовладельцем и ростовщиком? Или с моими сверстниками, интересовавшимися игрой в крокет, футболом и ботинками «со скрипом»? Или с отчаянным сынишкой портного, совсем не имевшим ботинок и гонявшим тряпичный мяч босиком, но зато умевшим нырять под плоты, ходить на руках и скручивать цигарки из школьных тетрадей?

Нет. Никому из них нельзя было рассказывать о моем открытии, и я продолжал читать социалистические брошюры, изданные в конце века, никак не связывая их с окружающей меня будничной жизнью, и так продолжалось до того дня, когда мне самому пришлось начать зарабатывать на жизнь.

«Черная банда»

Свой первый заработок я получил в отделении фирмы, наблюдавшей за погрузкой зерна. Помещалось оно там же, где и все остальные частные конторы и отделения крупных торговых домов, занимавшихся экспортом хлеба,— на центральной улице, недалеко от порта. Внешний вид контора имела такой же, как и они все; была и дощечка на дверях с обозначением полного наименования фирмы, но никто его не знал, потому что известно было другое, неофициальное, по всеми признанное название этой организации: «Банда нягра» — «Черная банда». Известно оно было и мне, но подлинный его смысл и неожиданная связь между «Черной бандой» и открытием, сделанным мною после чтения старых книг Снитовского, обнаружилось гораздо позднее, когда я сам переступил порог этого учреждения. Впрочем, на самом деле никто не переступал порога конторы «Черной банды»: все операции по найму и расчету, все взаимоотношения фирмы с ее работниками, которых брали здесь на работу каждый день, только на один день, а то и на полдня, осуществлялись на улице, перед открытым окном конторы.

Помню день, когда я вскопчил чуть свет, готовый к немедленным трудовым подвигам, и, наспех проглотив завтрак, ринулся по Большой Дунайской улице туда, где стояли у причала белые пароходы с черными трубами, и черные пароходы с белыми трубами, и рыжие шлепы, и зеленые танкеры, прибывшие из отдаленных неведомых стран; туда, где сильные загорелые грузчики, возчики и весовщики уже собирались у своих контор, где приказчики уже открывали каменные амбары, бухгалтера выписывали наряды, хозяева уже подсчитывали барыши; туда, где гудели лесопилки и начинался длинный, потный, но веселый трудовой день, в котором я тоже должен был принять участие на равных правах со взрослыми, а вечером прийти домой, съесть подряд две тарелки супа и две порции сладкого — он голодный, он работал,— потом выйти на улицу и на вопрос товарищей, где я пропал целый день, небрежно ответить «работал!» и посмотреть на их удивленные, почтительные лица.

С такими, а может быть, и не совсем такими мыслями мчался я галопом по Большой Дунайской, потом перешел на рысь, потом снова на галоп, уверенный, что буду на месте первым, но оказалось, что у дома, где размещалась контора «Черной банды», уже собралось человек пятнадцать, а то и больше, а каждую минуту подходили все новые и новые претенденты на предназначенную для меня работу.

Все выше и выше поднималось еще не жаркое солнце, на улице пахло утренней свежестью, как-то особенно нежно ворковали голуби и с какой-то особенной бойкостью прыгали по тротуару воробьи, но люди, собравшиеся перед закрытой дверью конторы, стояли почему-то грустные, молчаливые. Я заметил, что они не здоровались, когда подходили к конторе, никто ни с кем не разговаривал и на всех лицах застыло такое выжидательно-тоскливое выражение, что и мне стало не по себе. Многих из этих людей я знал в лицо и по имени, но никогда не задумывался над их жизнью. Теперь, когда я рассеянно вспоминал то, что знал и мельком слышал о каждом, все эти как будто знакомые и все же мне незнакомые люди предстали передо мной в новом свете. Нетрудно было заметить, что

здесь собрались, как на подбор, слабые, потерпевшие крушение, выброшенные за борт. Боже, сколько несчастных людей живет в городе!

Раздался треск внезапно распахнувшегося в конторе окна, все бесшумно и молча продвинулись поближе и стали вокруг него, как на групповой фотографии: каждый занял такое место, чтобы его не заслонил сосед. Я взглянул в окно и увидел Цаниса, управляющего «Черной бандой».

Мне казалось, что я довольно хорошо знаю этого человека — я встречал его на Большой Дунайской почти каждый день. Но здесь он был другим, совсем другим. Эта черная, с коротко остриженными волосами голова, эти сумрачно-презрительные глаза были неузнаваемы; человек этот казался теперь выше, чернее, злее и, главное, значительным, почти величественным. Даже не взглянув на ожидающую толпу, предводитель «Черной банды» сел на стул, кем-то услужливо придвинутый к окну, положил на белый, горячий от солнца подоконник пачку квитанционных книжек и приступил к еще никогда не виданному мною простому, но страшному делу.

Не поднимая глаз, Цанис уверенно называл фамилии, и каждый, кого он назвал, торопливо подходил к окну и получал квитанционную книжку — работу на день. А так как книжек на подоконнике было явно меньше, чем собравшихся под окном, то стало ясным, что по крайней мере одна треть уйдет отсюда ни с чем. Кто будут счастливцы, получившие работу, и кому придется уйти с пустыми руками — всецело зависело от черноволосого сумрачного человека с блестящим взглядом, быстрым и холодным.

Такова была обычная, принятая в «Черной банде» ежедневная процедура распределения работы. Распределения работы? Да, и работы. Но вместе с тем казалось, что здесь происходит и распределение воздуха, жизни, надежды, солнечного тепла. Стоящие перед окном люди смотрели на управляющего с такой мольбой, страхом, молитвенной надеждой, отчаянием и снова с надеждой, точно перед ними был сам господь бог.

Раздав первые десять—пятнадцать книжек, он вдруг сделал паузу и впервые поднял глаза. Толпа замерла. Только глаза ожидающих на тротуаре продолжали жить и внимательно смотреть на Цаниса. И в каждом взгляде можно было прочесть на языке, понятном всем: «Посмотрите на меня, уважаемый, дорогой, любимый господин главный бандит из «Черной банды», посмотрите на меня — я ваш верный, примерный, усердный раб, я самый послушный, самый старательный, самый внимательный, дайте книжку мне, прежде всего мне, только мне, а не этим стоящим рядом, они лицемеры, они вас, наверное, за глаза ругают, они даже не нуждаются в работе — нуждаюсь я, больше всех я, только я, если бы вы знали, как я нуждаюсь, посмотрите на меня, произнесите мое имя, мое, только мое, раньше всех мое...»

Но с каждой произнесенной управляющим фамилией уменьшалась надежда, с каждой отданной книжкой таяла их горка на подоконнике, и вот наконец остались только три, две, одна — кончилось! И эта отдана, все пропало, но почему же он не встает, может быть, есть еще, а вдруг это не все, а вдруг у него есть еще две-три книжки в кармане, боже, еще не кончилось, нет, кончилось, все пропало. Он встал, он ушел, даже не посмотрев на тех, кто остался под окном. Все, все, все, можно расходиться, можно идти домой, работы не будет, — и сегодня не будет, уже никогда не будет...

Я был настолько ошеломлен этой молчаливой, страшной, ни с чем не сравнимой процедурой, что только в самом конце спохватился, что все это касается и меня самого — я тоже остался ни с чем...

...Шесть раз ходил я к окну конторы «Черной банды». Шесть раз наблюдал я оскорбительную процедуру, шесть раз замирал вместе со всеми,

когда раздавался сухой треск распахнувшегося окна, и вздрагивал потом каждые тридцать—сорок секунд, когда Цанис называл очередного счастливого. Я ждал и надеялся, волновался, возмущался, снова надеялся и снова возмущался. И все шесть раз я возвращался домой ни с чем и снова уходил из дому на весь день, чтобы не видеть молчаливого, печально-покорного взгляда отца, чтобы не мучиться его тоской, пронизывающей меня до самого сердца.

Шесть раз я приходил к окну конторы «Черной банды» напрасно, а в седьмой, когда уже ничего не ждал и не надеялся, управляющий вдруг вызвал и меня и вручил квитанционную книжку.

Как описать этот первый рабочий день в моей жизни! Как рассказать о длинных часах стояния в амбаре, где шла погрузка. С какой завистью наблюдал я за быстрой, ловкой, слаженной работой человеческого конвейера из двух подавальщиков, весовщика и грузчиков: подавальщики загребали деревянными ведрами зерно и заполняли бадью, подвешенную под треножником, весовщик, ловко орудуя маленьким совочком, выгребал из нее столько, сколько нужно было, чтобы стрелка весов достигла центра и замерла, потом он одним легким движением высыпал содержимое бадьи в подставленный грузчиком пустой мешок, и, пока тот завязывал его, взваливал на плечи и выносил к поджидавшей у дверей амбара подводе, бадья уже снова заполнялась, совочек уже снова выгребал лишнее и другой грузчик уже стоял наготове с открытым мешком. Все эти быстрые, точно рассчитанные движения производились в едином ритме: живей, загребай, насыпай, взвешивай, подставляй мешок, высыпай, завязывай, давай новый мешок, быстрее, живей — и так без конца, в туче пыли, заполнявшей весь амбар, особенно густой и едкой в том месте, где стояла кадка весовщика. Пыль лезла в глаза, в нос, в уши, за ворот рубашки, смешивалась с потом и превращала лица работающих в страшные серо-грязные маски; пыль мешала видеть, разговаривать, дышать. Подавальщики, весовщик, грузчики работали со слезящимися глазами, но с какой-то зловещей веселостью, в которой не было ничего веселого. Я же стал задыхаться, и мне казалось, что пыль забирается не только в рот, нос и легкие, но и в мозги: я перестал соображать, перепутал простейший счет, выписал неправильную накладную, после чего получил из порта ругательную записку, нацарапанную карандашом маленькими, расплывшимися каракулями. «От самого», — сумрачно сказал передавший мне записку возчик, подразумевая шефа «Черной банды», но мне уже было все равно, только бы выйти наконец из этого амбара, только бы выхаркаться, выплюнуть из себя проглоченную грязь, только бы попасть наконец домой, где меня ждет теплая вода, чистая рубашка и горячий обед. Но домой я пришел в таком состоянии, что, успев помыться и проглотить чашку чаю, упал на постель одетый, со слезящимися глазами, с пылающим лицом, звоном в ушах и ощущением пустоты в сердце.

Четыре дня я пролежал в лихорадке, с высокой температурой, видя перед собой тучи пыли, блестящий совочек, бадью с зерном и черную голову Цаниса. А еще через три дня я уже снова как ни в чем не бывало стоял утром на тротуаре перед конторой «Черной банды» и ждал вместе со всеми, когда откроется ненавистное, но уже знакомое, привычное и ничем не удивляющее страшное окно.

После двух недель работы в амбарах управляющий стал посылать меня в порт. Работа здесь была другая: стоять на палубе парохода у открытого трюма по восьми-девяти часов и контролировать вес непрерывно высыпаемых туда мешков с зерном. И за это платили уже не какие-нибудь двести лей в день, а целых двести пятьдесят.

Здесь была та же едкая, густая пыль, что и в амбарах, но я увидел, что «лопатарам», залезающим в трюм с маленькими деревянными лопатками для разгребания зерна и мокрыми тряпками для защиты глаз, рта и носа, хуже, чем мне.

Корабли, на которых я работал, прибывали из далеких стран; в другое время я был бы счастлив сюда попасть. Но теперь, выстаивая долгие часы на закрепленной болтами кровле этих стальных домов, я не чувствовал любопытства. Усталый, озябший, с отеками пальцами и тяжелым комом в горле, я смотрел с полным безразличием на иностранные флаги — разноцветные лоскуты материи с нашитыми или нарисованными на них линиями, звездами, кружками; не удивляясь, медленно перечитывал названия далеких и не известных мне портов. Все корабли были теперь для меня одинаковыми и отличались друг от друга только количеством часов, проведенных мною около их зияющих трюмов, откуда беспрестанно, как из огромной трубы, валила пыль, не менее едкая, не менее горькая, густая и черная, чем фабричный дым.

Иногда я рассеянно наблюдал за работающей на палубе командой — это были люди с загорелыми лицами; среди них попадались и курчавые, кряжистые негры с блестящими маслинами добрых, детских глаз, и маленькие китайцы, и удивительно ловкие малайцы, и представители других, никогда не виданных мною рас и наций. Они работали, смеялись, курили в нескольких метрах от меня. Надо было только подойти поближе, внимательнее посмотреть на их темные лица, на вылинявшие, просоленные спецовки, чтобы почувствовать запахи морей и океанов всех частей света, — от них веяло и жарким экватором, и холодом Ледовитого океана, и волшебным бризом коралловых островов, — но для меня существовал только запах пыли и пота, только шершаво-холодные тяжелые гири, только повторяющиеся однообразные подсчеты в уме: 5 мешков по $80 = 400$, а здесь 380 — надо послать предупреждение, еще раз проверить, сообщить Цанису...

Однажды я заглянул в приоткрытую дверь капитанской каюты и на какое-то мгновение ощутил запах рома, крепких сигар и далеких странствий. Но в следующую секунду раздался длинный, протяжный гудок лесопилки, возвещающий об окончании рабочего дня. Шабаш! Конеч! Можно спрятать карандаш, согреть озябшие пальцы, отхаркаться и бежать домой. Так я и сделал. Жажда отдыха оказалась сильнее любопытства.

Корабли приходили, забирали пшеницу и уходили. Приходили и уходили дни. Менялась погода. После жарких безветренных дней начались дожди и ветры. Дунай потемнел, покрылся свинцово-серыми космами и беспрестанно перемещающимися холмами, среди которых плясали, подпрыгивали и проваливались черные точки, тире, запятые — одинокие рыбацьи лодки, каюки, маленькие плоты. Сизая муть стояла за бортом, свистел ветер в вантах и якорных цепях, и тихо покачивалась под ногами крепкая стальная кровля. В такие дни тоже приходилось выстаивать по девяти часов на открытой палубе, переругиваться с грузчиками, не желающими делать остановки у весов, поднимать обледенелые, впивающиеся острыми иглами в ладони гири, писать озябшими мокрыми пальцами предупреждения приемщикам.

И медленно, незаметно зрело во мне новое понимание жизни. Появилась новая способность видеть, судить, оценивать вещи и людей. И когда один из грузчиков, Цуркан, невысокий, сильный, с широкими скулами и смелым взглядом, заспорил однажды на моих глазах с управляющим «Черной бандой» и победил его, эта сцена вызвала во мне целую бурю. В тот день Цанис явился в порт незадолго до окончания рабочего дня и заявил, что погрузка будет продолжаться и после гудка; пароход

должен уйти ночью, иначе «Дрейфус и К°» потерпит убытки. «Черная банда» не платила за сверхурочную работу, и никто не смел ослушаться распоряжения ее начальника. Но в этот раз случилось иначе: Цуркан подошел к Цанису и, глядя ему прямо в глаза, сказал, что грузчики отказываются от работы. Разговор происходил около весов, и я увидел, как Цанис даже побледнел от неожиданности. Губы его затряслись, и он разразился потоком ругательств. Цуркан начал медленно, очень медленно подходить к беснующемуся Цанису. Стоявшая вокруг толпа замерла. Сразу стало тихо и на палубе, и на мостике, и даже внизу, на набережной. Я взглянул на Цаниса — на нем лица не было.

— Душегубы! — тихо и раздельно сказал Цуркан. — Сами грузите, если терпите убытки. Мы бесплатно работать не согласны!

Я думал, что сейчас раздастся крик и произойдет что-то ужасное. Но дело кончилось иначе: Цанис растерянно оглянулся — на него смотрели хмурые, непроницаемые лица грузчиков. И вдруг я увидел, как начальник «Черной банды» потупил глаза и молча направился к сходням. Через несколько минут раздался гудок, грузчики бросили работу и ушли вниз, окружив тесным кольцом приземистую фигуру Цуркана.

До этого дня я почти не связывал смелые и очень нравившиеся мне идеи, о которых я читал в книжках первых социалистов, с окружающей меня будничной жизнью. Я знал, конечно, что грузчиков эксплуатируют и что я сам нахожусь в таком же положении, но мне не приходило в голову, что с этим положением можно бороться уже сегодня, здесь, в нашем городе. Цуркан это делал. Кто он такой? Чем отличается он от других рабочих? Знает ли он о социалистических идеях? Все эти вопросы так и остались без ответа, потому что вскоре после этого я перестал работать и занялся устройством своих гимназических дел. Я заработал за лето около трех тысяч лей. С этими деньгами и чемоданом книг, приобретенных у Снитовского, я уехал осенью из дому в уездный город, чтобы поступить в пятый класс гимназии.

Там я вскоре узнал новых людей и убедился, что за чтением книг, изданных в прошлом столетии, проморгал самое главное. Оказалось, что все то, о чем я думал и мечтал, уже давно было не только красивой думой и далекой мечтой. Революцию надо было искать не в книгах с запыленными корешками. Революция была рядом, в каких-нибудь двадцати километрах от села моего детства, там, где на моей школьной карте простиралось огромное таинственное красное пятно, в близкой, но неведомой стране, о которой бухарестские газеты печатали сообщения под жирными пугающими надписями — с каждой буквы стекали крупные капли не то слез, не то крови: «Там, где была Россия!»

«Там, где была Россия!»

Я ничего толком не знал о тогдашней России и ничего о ней не слышал, кроме случайных неодобрительных отзывов за столиками кафе, вынесенными на тротуар у конторы фирмы «Дрейфус и К°». Я к ним не прислушивался: мало ли чего не одобряет лысый грек, представитель «Дрейфуса», любивший потолковать о политике со своими клиентами — старыми маклерами с аккуратно расчесанными бородами; они пили здесь кофе по-турецки, жевали свои бороды и всегда во всем соглашались с греком, кроне цены на пшеницу.

И вот после первых же недель, проведенных в уездном городе на приятном положении независимого, снимающего за свои деньги комнату ученика пятого класса, после того как я уже освоился с гимназией и новыми товарищами, новыми улицами и новыми библиотеками — их было здесь три, все старые, запущенные, — однажды вечером в полутем-

ном зале благотворительного общества «Свет», где учащимся выдавались книги на дом бесплатно, уже знакомый мне библиотекарь Макс, парень с нежным цветом лица, вздернутым носом, непокорными светлыми вихрами и неспокойными руками, все время ищущими себе работы, вдруг впился в меня своими светло-зелеными, слегка прищуренными глазами и, понизив голос до шепота, хотя мы были в комнате одни, спросил:

— Дать вам что-нибудь о России?

Я не понял. Я спрашивал сочинения Жореса или «Ложь предсоциалистической культуры» Макса Нордау. При чем тут Россия?

Видя, что я все еще смотрю на него растерянно и недоверчиво, он спросил:

— Ты слышал песню «Под частым разрывом гремучих гранат»?

— Нет.

— Ну, так послушай, я тебе спою. Подвинься поближе.

Перегнувшись через деревянный барьер, отделявший его стол от зала, и не сводя глаз с двери, он запел тихо, отдельно и самозабвенно:

Под частым разрывом гремучих гранат
Отряд коммунаров сражался.
Под натиском белых, наемных солдат
В расправу жестоку попался...

Песня звучала твердо и гордо, несмотря на печальные слова.

Навстречу им вышел седой генерал,
Он суд объявил беспощадный,
И всех коммунаров он сам предавал
Смертельной мучительной казни...

Я слушал и видел, как горят близорукие глаза Макса, как дрожит его рука, положенная на барьер.

— А теперь «Смело мы в бой пойдем!..» — сказал Макс, после того как закончил песню о коммунарах, и, лихо забарабанив пальцами по барьеру, затаил удалим, но тихим голосом:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!
И как один умрем
В борьбе за это!

Потом он неожиданно, без перехода, запел особенно радостным голосом:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем...

Эту песню он не успел закончить. В комнату вкатился председатель общества «Свет», розовощекий, насквозь светящийся жиром, надушенный и напомаженный толстяк. За ним плыла его супруга, еще более дородная, еще более надушенная, с полным ртом сияющих золотых зубов — наглядная выставка произведений мужа, самого дорогого дантиста в городе. Толстяк был весел, деятелен, полон веры в библиотечное дело. Улучив минуту, Макс шепнул мне, чтобы я уходил и пришел завтра.

— Что я тебе говорил, Машенька, — восторженно тараторил толстяк, — три новых абонента за один месяц. Растет, растет тяга к свету...

Организуем бал в пользу библиотеки, с лотереей, буфетом, а ты организуешь крjöшон — не спорь, Машенька, крjöшон можно доверить только тебе...

На улице было темно — глухая уездная ночная темнота с неясными очертаниями крыш, немигающими огоньками в окнах, редкими прохожими и замирающей вдаль долгой грустной песней. Прямо передо мной уходили ввысь, теряясь в темном небе, белые стены собора. Я вспомнил, что это был русский собор. И вот это серогранитное здание казино тоже было построено в русское время, на нем до сих пор сохранилась круглая медная дощечка «Страховое общество «Россия». Здесь ведь была Россия — больше половины населения и сейчас говорит по-русски. Перед глазами прыгали знакомые газетные буквы в слезах и крови: «Там, где была Россия!», но в ушах звучали волевые, отважные слова песни Макса:

Смело мы в бой пойдем
За власть Советов!..

Дождавшись следующего вечера, я снова явился в библиотеку. Макс встретил меня, как старого знакомого, но с каким-то торжественно-таинственным выражением на бледном, возбужденном лице. Опасливо поглядывая на дверь, он поманил меня к себе за барьер и провел в глубь комнаты между полками, набитыми истрепанно-лохматыми книгами и газетными подшивками. Здесь он остановился, вынул из кармана большой самодельный конверт и бережно извлек из него сложенную четверо газету на русском языке. Она была не похожа на все известные мне издания, выходящие в Бухаресте, Кишеневе, Риге. Я прочел ее заголовок: «Правда». Орган Центр. Ком. и Моск. Ком. ВКП(б)». Над ним была надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Минуты три я жадно перечитывал заголовки, от которых веяло кипучей энергией, отвагой и гордостью: «Пятому Всесоюзному съезду Советов — большевистский привет!», «Через баррикадные бои — к диктатуре пролетариата!», «Герои баррикад Веддинг и Нейкельна», «Пятилетку в массы!», «Нарастает волна пролетарской солидарности», «Страна справится с гигантским размахом социалистического строительства».

Еще больше поразили меня фотографии: массовые митинги, демонстрации, баррикадные бои, тракторные колонны и простые лица рабочих, крестьян в кепках, женщин в косынках — делегатов и делегаток Пятого съезда Советов.

Я был ошеломлен и растерян. Так вот что скрывается там, «где была Россия»! И я этого не знал. Осторожно притронувшись к шершавым серым листкам, напечатанным в далекой Москве, я почувствовал странный гуд в сердце. Макс стоял рядом и смотрел на меня с таким гордым и победоносным видом, точно он сам напечатал эти газетные листы, сам придумал эти зажигательные слова, сам нарисовал забавный рисунок «Десять лет советской книги!» — пушка, стреляющая книгами по чертям, на которых написано: «буржуазный профессор», «религия», «пьянство», «невежество», «неграмотность».

В этот первый вечер моего посвящения Макс дал мне не только взглянуть на московскую «Правду», но он раскрыл самого себя.

Макс не имел ни терпения, ни охоты дожидаться — все надо делать безотлагательно, как только поставлена ясная и правильная задача: необходимо немедленно прочесть «Капитал» и собрать сто лей на МОПР, провести собрание ячейки, посвященное кампании трех «Л», и начать мировую революцию. В тихом, дремотном городке, где под медленный звон соборных колоколов пили чай с виноградным вареньем,

играли в «табле», а в одиннадцать часов вечера уже ложились спать и начиналась длинная, глухая уездная ночь, Макс ухитрялся жить суматошно, напряженно, недосыпать и не иметь ни одной свободной минуты. Он мерял по несколько раз в день центральные улицы с их сонной торговлей, киосками с прохладительными напитками и дремлющими на козлах извозчиками, посещал отдаленные предместья, где начинались сады, деревенские хаты, баштаны и грязь, ездил в плавни, бывал в рыбацкой деревне на левом берегу реки, забегал в кофейню, гимназию, городскую читальню, сам выдавал по вечерам книги в обществе «Свет», всегда куда-то торопясь, всегда чем-то занятый, возбужденный и неутомный. Разговаривая, он тоже торопился, глотал слова, размахивал руками. Слушая его, можно было подумать, что революция, вероятнее всего, начнется послезавтра, но не исключено, что и завтра; буржуазия доживает свои последние дни — подумать только: в Берлине бастуют металлисты, в Нормандии — рыбаки, в Лондоне — докеры, и даже в тихой, всегда спокойной Швейцарии забастовали почтовые служащие. Разве это не показатель? В Бухаресте царят смятение и страх. Литвинов произнес новую речь. Теперь даже ребенку ясно, что сюда придет Красная Армия. Буржуазия сама развяжет антисоветскую войну и будет наказана. Если румынская армия нападет на Советский Союз, это кончится тем, что Красная Армия придет в Бухарест. Потом она придет в Будапешт. Потом в Прагу. Это так же верно, как то, что сейчас дождь и после дождя будет ясная погода, а после ночи восходит солнце и наступает день...

Я стал часто приходиться по вечерам в полутемный, сырой библиотечный зал общества «Свет». Но мое посвящение все же продвигалось медленно. Всею виной была моя тревожная жажда все узнать и как можно скорее — это всегда мешало мне основательно понять или заняться чем-либо одним. В мыслях моих царила глубочайшая путаница, я не мог их выразить, и иногда мне казалось, что глупее меня нет человека на земле.

— Как это так, ты не понимаешь, почему социал-демократия — хитрое прикрытие буржуазных твердынь? Это даже ребенку понятно.

Но я не понимал. И тогда Макс привел однажды с собой маленького человечка в очках, фигура которого была мне знакома — я уже видел его в читальне городской библиотеки и обратил внимание на его страсть к чтению, на тихий и грустный блеск его глаз, защищенных от мира толстыми стеклами очков в черной оправе. Я знал, что он дает частные уроки математики, латыни, греческого, что в городе его иронически зовут «вечным студентом».

— Познакомьтесь, — сказал Макс, и я почувствовал вялое прикосновение узкой влажной ладони «вечного студента» и узнал, что его зовут Леонид. — Вам нужно побеседовать, — продолжал Макс. — У этого товарища, — и он кивнул в мою сторону, — имеются вопросы...

Потом Макс ушел к себе за перегородку, оставив нас наедине. Какие у меня «вопросы», Макс не сказал, но Леонид, очевидно, был предупрежден. Он начал беседу первым, и я вскоре почувствовал, что не ошибся в своих предположениях. Он был именно тем человеком, которого мне так не доставало. То, чего Макс не сумел добиться за несколько недель, тихий и робкий, не глядевший на собеседника Леонид достиг чуть ли не за один вечер.

Удивительная это была беседа. Я задавал вопросы, а он отвечал спокойно, обстоятельно, ничему не удивляясь. А вопросы были самые неожиданные и странные. Скорее всего это были не вопросы; я искушал Леонида и самого себя, спорил с ним и с самим собой, красовался

своими знаниями и вместе с тем обнаруживал поразительное невежество, путался, блуждал, метался в паутине неясных мыслей.

Мы сидели в дальнем углу зала, за маленьким столиком, покрытым грязным, изъеденным молью зеленым сукном, и старались говорить потише, чтобы нас не услышали у деревянной перегородки, где вот уже целую вечность какая-то девица с худыми лопатками, жиденькими кошечками и нездоровым румянцем на щеках перебирала книги и все не могла решиться, что ей взять: роман Чарской или «Кво вадис?» Сенкевича.

Вскоре пришла уборщица, черноволосая, еще не старая женщина с выраженным слезливой тоски, несчастья, беспомощности на лице. Она и разговаривала всегда об одном и том же: о своей бедности и несчастьях — бедным всегда трудно, всегда и везде. Увидев меня, уже знакомого ей посетителя зала, она сразу завела разговор на обычную тему: у младшего мальчика — возвратный коклюш, доктор говорит, что этого не бывает, но у бедных все бывает...

Я ничего не понял. Коклюш? Я смотрел на ее слезливое, жалкое лицо и видел совсем другое: я видел дворец, высокий, светлый, с красивыми, счастливыми людьми, я видел мир будущего таким, каким рисовал мне его вот этот сидящий рядом тщедушный человек с грустными, милыми, все понимающими глазами.

Обидевшись, что я не поддерживаю разговора и не высказываю ей сочувствия, уборщица сердито попросила нас встать.

— Каждый день убираешь, а на другой день снова всюду пыль. И откуда только она берется? Все умеют сорить, а убирать никто не хочет!

Мы встали и отошли в другой угол. Здесь, у потемневшей, тронутой плесенью стены, Леонид продолжал рисовать очертания хрустального дворца будущего и счастье, которое ожидает всех, если только люди вовремя выберут наиболее правильную теорию перестройки мира.

Когда все высказанные мною сомнения были разрешены, я задал последний, мучивший меня вопрос:

— Предположим, что во всем мире утвердился социализм, не надо будет тратить время и труд на позорную борьбу за существование, прекратятся войны, классовая борьба, национальная рознь. Чем же будут тогда заниматься люди?

— Товарищ Вилковский, — серьезно ответил Леонид, впервые назвав меня товарищем и впервые глядя в глаза, — пусть это только свершится... Мало ли чем могут заняться люди? Один будет играть на скрипке, другой отправится путешествовать, третий станет художником. Вы любите музыку?

— Да, я люблю музыку, но заниматься ею всю жизнь...

— Да почему же всю жизнь? Пусть это только свершится... Мало ли чем могут заняться люди?

Это было сказано с такой глубокой, затаенной, страстной тоской по лучшим временам, что продолжать задавать вопросы и сомневаться было бы кощунством.

— Побеседовали? — спросил Макс, которому удалось наконец склонить нерешительную читательницу в пользу Сенкевича. — Теперь все ясно? Я же говорил — это даже ребенку понятно!.. — И тут же, отозвав меня в сторону, деловито предложил: — Значит, так — приходи завтра сюда ровно в семь, отнесешь кое-что в одно место. Если трусишь — говори заранее; трусов нам не нужно...

Я сказал, что не трушу. И это была ложь, происходившая оттого, что мое воображение было воспалено разговором с Леонидом. Но понял я это только на другой день, когда было поздно отказываться и в руках

у меня уже был ранец, в котором вместо учебников лежал пакет, обернутый в старую бумагу. Я знал, что в пакете последний номер подпольной газеты «Красный юг» — восемь белых страничек, отпечатанных на шапирографе лиловыми чернилами. Заголовки были нарисованы, все остальное написано от руки ровным, четким почерком. А на всю первую страницу, заменявшую обложку, был нарисован король Михай! Он был очень похож на рисунок — семилетний румынский король, столь знакомый по развешанным всюду портретам и фотографиям. Только здесь он был изображен за более естественным и сообразным его возрасту занятием, чем руководство государством, — он восседал на ночном горшке...

Я торопливо шагал по улицам, и от одной мысли, что я несу в ранце такой рисунок, испуганно колотилось сердце. Мне казалось, что все встречные догадываются, что у меня в ранце, и я испытывал такое чувство, точно несу бомбу, которая может взорваться каждую секунду вместе со мной и всеми окружающими.

Выполнив поручение, я помчался домой с пустым ранцем, возбужденный и гордый, в полной уверенности, что совершил необычайно смелый поступок. И только два месяца спустя, когда я увидел темноволосую девушку Шуру, спокойно стоящую перед строем солдатских штыков, я понял, как многого мне еще не хватает, чтобы иметь право считать себя участником революционной работы.

Шура

Проходили скучные зимние дни, в городе было снежно, глухо. Мои однокашники повадились ходить по вечерам в заднюю комнату кабака «У доброго Морица», где было натоплено, душно, пахло кислым вином и висел плакат: «Сегодня за деньги, завтра в долг!» Сын хозяина, белесый, очень похожий на поросенка ученик пятого класса, приносил вспотевшие графины с легким светлым вином, в котором еще чувствовался вкус винограда. гимназисты пили его с газированной водой и без воды, потом притворялись пьяными, били стаканы, хохотали и «прожигали жизнь», подпевая гитаристу, исполнявшему все песни на один лад — уныло, протяжно, даже когда это была лихая, быстрая «Гайда тройка, снег пушистый... ночь морозная кругом...». За синими окнами кабака, разрисованными легкими белыми узорами, действительно была морозная ночь и снежная муть. На углу стояла запорошенная снегом пролетка: лошадь не шевелилась, окоченевшая, седая; рядом прыгал и отчаянно бил себя крест-накрест длинными руками полушубка ее озябший хозяин, решивший во что бы то ни стало дожидаться седека. А когда раздавался наконец долгожданный окрик «Извозчик, свободен?» и он радостно отзывался «Так точно, свободен!», подвыпившие гимназисты кричали ему хором: «Да здравствует свобода!» — и, довольные, веселые, как будто совершили героический поступок, расходились по темным заснеженным улицам.

Следуя теории «все испытать», я тоже приходил в кабачок, пил вино с газированной водой и без воды, пел «Гайда тройка, снег пушистый...», «Гаудеамус игитур» и хвастал на другой день в гимназии, что вернулся домой под утро «на руках». Но очень быстро вино начало казаться мне слишком кислым, шутки и гоготанье собутыльников глупыми. После таких вечеров еще неудержимее тянуло в полутемный зал, где Макс выдавал чувствительным барышням романы Чарской и подолгу шептался с читателями, уходившими отсюда без книг. Среди них была девушка

в темно-синем плаще и светлом берете с приколотой к нему брошкой — слоником из белой кости. По тому, как разговаривал с ней Макс, бросая нервные взгляды на дверь, я догадался, что она связана с той работой, которая так манила и пугала меня самого. Пока она стояла у деревянной перегородки, я разглядывал ее с мучительным любопытством. Она была крупная, высокая, лицо смуглое с несколькими маленькими темными родинками, волосы на прямой пробор, темные, уложенные сзади красивым пучком.

Я видел ее в библиотеке три раза, но так и не решился спросить, кто она; я узнал только, что ее зовут Шурой, по крайней мере так называл ее Макс. В четвертый и последний раз я увидел Шуру при других, совершенно неожиданных для меня обстоятельствах.

Однажды в конце апреля, когда в отворенные окна несло уже не весенней сыростью, а сухим теплом раннего лета, Макс позвал меня за перегородку и, понизив голос, словно доверял большой секрет, сказал:

— Приходи завтра на базар в двенадцать часов!

— Зачем?

— Не задавай лишних вопросов.

— Вы тоже там будете?

— Опять вопросы? Говорят тебе: приходи ровно в двенадцать утра.

Судя по тому, как было обставлено это приглашение, на базаре меня ждало из ряда вон выходящее событие. Но какое? Как я ни напрягал свое воображение, я ничего не мог придумать.

Следующий день был воскресным, я не утерпел и явился в назначенное место за полчаса до указанного Максом времени.

Базар находился недалеко от центра и занимал большую, плохо замощенную, заплеванную, покрытую конским навозом и грязью площадку, вокруг которой тянулись длинные ряды лавок, ларьков, чайных, закусовых, пивных. Около вынесенных прямо на улицу столиков чайных сидели распаренные, уже отдыхающие от базарных трудов люди; в винном ряду собралась толпа и с завистливым напряжением следила за человеком в рваном вышитом жилете — он сосал вино из бочки через камышину, заменявшую шланг, и пил «на пузо», то есть столько, сколько влезет, и хотя он был маленьким, тщедушным, с красным лицом натужившегося младенца, он пил долго, не переводя дыхания, и казалось, что он в конце концов высосет все содержимое этой бочки с ржавыми обручами, которая была в два раза больше его самого.

Обойдя весь базар, вдыхая борющиеся друг с другом запахи сена, дегтя, навоза и прислушиваясь к страстным словесным поединкам, разгорающимся на каждом шагу между покупателями и продавцами, я все с большим недоумением думал о том, зачем меня сюда послали. Что здесь может случиться среди возов с овощами, новых горшков, плетеных рогож, ведер и мисок?

Пройдя еще раз по широкой мощеной дороге, разделяющей весь базар надвое, и уже подумывая об уходе, я вдруг увидел Макса. Он шел мне навстречу с каким-то незнакомым человеком, и по его торопливой походке, по тому, как он посмотрел на меня, я понял, что уходить нельзя. Дойдя до конца дороги, я свернул за угол, потом снова вернулся на базарную площадку, но Макса уже не было. Я поискал его глазами и вдруг увидел какое-то странное движение около одной из чайных: несколько человек подняли столик, стоявший у дверей чайной, и вынесли его на мостовую. Потом один из них, высокий, усатый, влез на него, протянул вперед руку и громко крикнул:

— Товарищи! Граждане!

Это было так неожиданно и странно, что все, кто его услышал, повернули головы и стали ждать, что будет дальше.

— Товарищи! — продолжал громко, но спокойно человек, взобравшийся на стол. — Я обращаюсь к вам от имени уездного комитета Коммунистической партии!

Так вот для чего Макс послал меня на базарную площадь! Чувствуя, как бьется сердце, я поспешил подойти поближе к столу, на котором стоял оратор. Теперь я мог хорошенько его разглядеть. Он был высок, худ и жилист, в темно-коричневом пиджаке и кремовой, застегнутой на все пуговицы косоворотке; лицо скуластое, бледное, с длинными черными усами; в спокойном прямом взгляде его темных глаз, как и во всем его облике, было что-то серьезное, строгое и простое — располагающая к доверию простота рабочего человека. Он действительно, как я узнал впоследствии, был рабочим-каменщиком. Говорил он тоже просто, без пафоса и ораторских приемов, но слова его звучали отдельно, громко, полновесно.

— Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как румынские помещики и капиталисты задушили революцию в Бессарабии, обагрили кровью бессарабскую землю и начали создавать здесь, между Дунаем и Днестром, военный плацдарм мирового капитализма для нападения на первое рабоче-крестьянское государство — Советскую Россию!

Слова эти были столь неожиданными и смелыми, что на площади воцарилась напряженная тишина. Сотни людей, стараясь не шуметь, стали подходить со всех сторон к тому месту, где выступал оратор. Десятки лиц, по которым еще несколько минут тому назад метались тени базарной суеты, теперь словно преобразились. Все слушали оратора с широко раскрытыми от удивления, от восторга или от испуга глазами, слушали молча, не двигаясь, простые и вместе с тем необычные слова об их собственной жизни, о засилье чиновников, жандармов и полицейских, о тяжелых налогах, о близкой и бесконечно далекой Советской России, о Коммунистической партии, которая, вопреки запрету и террору, существует и продолжает свою работу.

Как ни в чем не бывало пролетали табунки ласточек, и это было единственное движение над огромной, неподвижной, словно оцепеневшей площадью. У открытых дверей одной из чайной стоял полицейский в форме, но без фуражки; он выскочил на шум и теперь застыл, как все, загипнотизированный, не в силах стряхнуть с себя неожиданную силу непривычно смелых слов оратора; когда тот сделал передышку, я увидел, как полицейский вдруг замотал головой и ринулся бежать как был, без фуражки, расталкивая толпу, стремясь поскорее выбраться с площади, очевидно для того, чтобы донести о том, что здесь происходит.

Тем временем оратор кончил речь и сделал знак тем, кто стоял, окружив плотным кольцом столик-трибуну.

— А теперь, граждане, я даю слово представителю уездного комитета комсомола!

Он нагнулся, помогая кому-то взобраться на стол. Толпа вздрогнула: все увидели девушку. Когда она подняла голову, я узнал ее — это была Шура.

Она стояла на столе с непокрытой головой, в простом темном платье с белым воротничком. Обычно смуглое ее лицо побледнело, а глаза, нежные, фиалковые девичьи глаза, изменились, в них зажглись искорки, и они смотрели прямо, с новым, невиданным мною прежде выражением. Поразил меня ее голос — он уже не был грудным, волнующим, как всегда, а высоким, звонким, чуть-чуть срывающимся.

Шура говорила о том же, о чем говорил человек с лицом рабочего, она говорила об угрозе антисоветской войны, о советской молодежи, о комсомоле, о бессарабских комсомольцах, томлящихся в тюрьмах Дофтань и Жилавы...

Я слушал все это с ощущением необыкновенной радости и стыда — мне было стыдно за себя, за страх, который я испытывал, когда носил пакеты с «Красным югом», а вот она, девушка, не боится стоять здесь, выступать перед огромной толпой и смело говорить то, за что ее могут сгноить в тюрьме, и даже не торопится, не смотрит по сторонам, не беспокоится о том, что сейчас появятся полицейские и солдаты.

Но вот и она окончила свою речь. Я оглянулся — нет, не видно полицейских. Шура и ее товарищи смогут свободно уйти, их не задержат. Почему же они не уходят? Что это? Первый оратор поднял руку — он снова собирается говорить. Почему? Что еще?

— Товарищи! Граждане! Не расходитесь! Пойдемте все вместе мирной демонстрацией к центру города! Пусть увидят, что народ не безмолвствует! Кто согласен — идемте за нами!

Он легко соскочил со стола и подал руку Шуре — она тоже соскочила на тротуар, и небольшая тесная группа, очевидно все те, кто охранял ораторов, двинулась влево, туда, где начиналась улица, ведущая в центр города. Произошло короткое замешательство, и люди, сначала нерешительно, потом сразу густо, валом пошли за первой колонной. Демонстрация! Будет демонстрация!

Я тоже стал проталкиваться вперед, но вдруг услышал чей-то пронзительный крик. Идущие впереди остановились. Что там случилось? Мне удалось быстро протиснуться к каменным ступенькам ближайшего дома, откуда видна была вся площадь. И я увидел такую картину: в головную колонну начинающейся демонстрации врезалась открытая пролетка, прискакавшая, очевидно, из центра города. На подножке стоял человек в штатском, высокий, грузный, без шапки, с красным лицом и взлохмаченными волосами. Он бешено размахивал руками и кричал сиплым, срывающимся голосом:

— Стой! Держи большевиков! Стой!

Его узнали в толпе. «Полицмейстер!», «Сам прискакал!», «Теперь держись!» Но толпа и не думала расходиться, даже когда появилась вторая пролетка, набитая полицейскими в форме. Они соскочили на мостовую и, вытаращив испуганные глаза на своего начальника, начали повторять его крики и ругательства. А он тыкал во все стороны свои короткие толстые руки, и казалось, что вот-вот он начнет хватать, души. Но кого? Перед ним была стена, неподвижная и молчаливая, хмурая и загадочная человеческая стена, которая могла смять в одну секунду и его самого, и суевившихся рядом с ним перепуганных полицейских, и еще более испуганных извозчиков, съезжившихся на козлах и беспомощно теребивших опущенные вожжи.

В этот миг все услышали далекий, нарастающий гул, как будто начался каменный град. «Солдаты!» — тревожно зашептали в толпе. И я действительно увидел солдат: они бежали со стороны центра, по той же улице, по которой примчались извозчики с полицейскими, и топот боканчей — тяжелых бугс — звучал так, как будто на мостовую действительно обрушился каменный град. Увидав их, начальник полиции пришел в еще большее неистовство.

— Сюда! Держи! Вот этих! — кричал он, задыхаясь от бешенства, и, уже не в силах выговаривать обыкновенные слова, начал выкрикивать ругательства.

Я снова отыскал глазами Шуру. Она стояла по-прежнему прямо, слегка закинув голову. Она не пыталась скрыться в толпе, и через несколько минут и она и ее товарищи уже были оцеплены солдатами. Высокий чернявый офицер деловито выкрикивал отрывистые слова команды, и солдаты, бряцая ружьями и угрожая толпе штыками, медлен-

но повели арестованных — человек пятьдесят, всех тех, кого захватили вблизи Шуры и ее товарищей.

— Разойдись! Нечего тут стоять! — кричали осмелевшие полицейские на толпу, и люди начали медленно, нехотя расходиться по базару с хмурыми, задумчивыми лицами...

Рядом со мной какой-то сухой старичок в постолах и рваной крестьянской шапке что-то быстро шептал на ухо прильнувшему к нему босому мальчику с длинной худой шеей и испуганными немигающими глазами.

Что он ему говорил? Как объяснил то, что мальчик только что видел на площади? Кто эти люди, которых увели солдаты?

Эти беспокойные, мучительные вопросы обдумывали и решали теперь сотни людей. Будничная базарная суета, весь привычный, постылый, но казавшийся нерушимым порядок жизни был нарушен.

Долго после этого я не мог опомниться, стоял на опустевшей мостовой, тяжело дыша и глотая подступающий к горлу ком. Макс тоже арестован? Но я его не видел около Шуры! А что теперь будет с Шурой? И что мне самому надлежит сделать?

Я медленно побрел в центр. По лицам прохожих, по маленьким группкам людей, шептавшихся около лавок, было видно, что все уже знает о событиях на базарной площади. Около чугунной ограды парка было, как всегда, много гимназистов в голубых фуражках, учеников коммерческого училища в красных фуражках и унылых, одетых во все черное семинаристов. Но не слышно смеха и обычных шуток — здесь тоже все было под впечатлением случившегося и гуляли молча, поглядывая на площадь. Там виднелся угол длинного здания с колоннами: городская полиция. Я тоже посмотрел в сторону полиции и увидел бегущую через площадь фигуру человека — длинноногого, расхлябанного, в черном костюме и черной шляпе. Это оказался Негель Калиакра, местный корреспондент крупнейшей бухарестской газеты «Универсул», известный в городе скандалист, человек без чести, без совести, о котором говорили, что он крещеный еврей, поэтому и старается столь рьяно доказать свои антисемитские и черносотенные взгляды.

Добежав до первой группы гимназистов, стоявших у ворот парка, Негель остановился и обрушился на них с громким, визгливым криком:

— Гуляете? Дышите свежим воздухом? А тем временем большевики чуть не захватили город! Позор! Разве вы гимназисты? Разве вы патриоты? Позор! Почему вы молчите? Надо действовать! Надо что-то предпринять! Надо немедленно организовать контрманифестацию! Надо показать, что в городе есть не только коммунисты!

Он еще долго кричал что-то в том же духе, но трудно было разобрать все слова, так как он задышался от злости и бессилия, махал руками, дергался и извивался, и все смотрели на него с чувством неловкости и раздражения, как смотрят на неудачное и несмешное представление. А когда он наконец удалился, один из гимназистов обратился вдруг к своим товарищам по-украински и громко сказал:

— Пошли, хлопцы! Він сказився!

Через два дня я встретил Макса и узнал, что он не был арестован лишь потому, что не состоял в группе товарищей, которым было поручено организовать и охранять митинг на базарной площади. Еще через два месяца я узнал от него же, что Чернова — так звали рабочего-каменщика, выступавшего на площади, — Шуру и еще нескольких товарищей приговорили к тюремному заключению.

Я никогда их больше не видел. Шура заболела в тюрьме и после отбытия срока заключения умерла в том же городе на Дунае, где я

видел, как она, молодая, цветущая и здоровая, выступала перед тысячной толпой с такой смелостью, силой и верой в то, что жизнь должна стать радостной и справедливой, которую ни я, ни все те, кто ее тогда видел и слушал, не забудут никогда.

Мой первый товарищ

Митинг на базарной площади не прошел для меня бесследно. При одном воспоминании о Шуре я ощущал прилив смелости. Макс мог теперь вполне на меня положиться и понимал это. Но только об одном он не догадывался: Макс казался мне уже немолодым, Леонида я тоже в глубине души считал стариком — ему ведь уже стукнуло целых двадцать семь лет, а мне хотелось иметь товарищей моего возраста. Мои прежние друзья не годились для этой роли. Это были мальчики в хорошо сшитых формах и шегольских фуражках, веселые и беззаботные, всегда готовые ко всяческим выдумкам, насмешкам, мистификациям. В нашем классе учились и другие мальчики — желто-восковые честолюбцы и меланхолические зубрилы. Но им тоже нельзя было поверить то самое сокровенное и тайное, что волновало меня. И не было никого, с кем меня могла бы связать та нежная, тонкая, живая нить, которая связывает не только единомышленников, но и сверстников. Я это смутно чувствовал и даже предпринял кое-какие поиски, но тот, кого мне недоставало, сам разыскал меня. Он подошел ко мне в гимназии на перемене, среди визга, хохота, толкотни, и сказал:

— Я тебя знаю, Макс мне рассказывал...

Я посмотрел на него с некоторым удивлением: худой и не по годам высокий подросток с суховатым, остроносым лицом и спокойными синими глазами.

— Ты, кажется, из пятого?

Он усмехнулся

— Да, я из пятого...

Он это сказал так, что я должен был сразу понять — дело не в том, кто в каком классе учится. Но я не понял и продолжал разговаривать высокомерным тоном старшеклассника.

— Слушай, а у тебя хороший почерк? — спросил вдруг мой новый знакомый, о котором я знал пока только то, что его зовут Сия Гершков. Задавая этот неожиданный вопрос, он почему-то понизил голос до шепота.

Я удивился, но показал ему тетрадку, которую случайно держал в руках. Он полистал ее с таким серьезным видом, точно собирался проставить мне балл по чистописанию.

— Ты и рисовать умеешь?

— Что?

— Вот, скажем, буквы, умеешь рисовать печатные буквы?

— Ну, это пустяки, — ответил я пренебрежительно и показал ему обложку тетради, на которой я нарисовал фасад нашей гимназии.

— Чудненько! — сказал Сия. — Это хорошо, что ты умеешь рисовать...

Раздался звонок, мы разошлись по классам. Я не успел выяснить, для чего может пригодиться мое искусство рисовать, но чувствовал, что вопрос был задан неспроста.

Так началось наше знакомство. Вскоре мы стали встречаться ежедневно. И с каждым днем Сия внушал мне все большую симпатию. Сия был на год моложе меня, но он знал о жизни и людях что-то такое, что не было известно мне, хотя и не сиживал часами в городской библио-

теке. На всю жизнь запомнился мне практический урок философии, который он преподавал мне в самом начале нашего знакомства.

Мы катались на велосипеде вокруг базара: я сидел на раме, а Сияя вел велосипед, необыкновенно быстро и ловко обходя встречавшиеся препятствия. Так как я не был занят делом, то я занялся философствованием.

— Ты читал Шопенгауэра «Мир, как воля и представление»? — спросил я.

— Нет, не читал.

— Значит, ты ничего не знаешь, — сказал я снисходительно.

— Чего я не знаю? — спросил Сияя.

— Не знаешь, что мир не существует. Мир есть наше представление.

— Мир существует, — сказал Сияя.

— А как ты это докажешь?

— Тут и доказывать нечего, — сказал Сияя.

— Вот видишь — ты не знаешь. Шопенгауэр говорит иначе.

— Чепуха!

— Нет, не чепуха. Вот мы едем по базару, над нами светит солнце, а может быть, солнца вовсе и нет?

— Солнце есть, — сказал Сияя.

— Тебе кажется, что оно есть, потому что ты его видишь. А если зрение тебя обманывает? Может быть, солнце на самом деле не существует?

— Существует.

— Все не так просто. Это коренной вопрос философии: о реальности мира. Это не так легко доказать.

— Тут и доказывать нечего.

— Ты уверен?

— Ну, конечно.

— Вот впереди камень. Ты его видишь? — спросил я.

— Конечно, вижу.

— А если закрыть глаза, его уже нет.

— Он есть, — сказал Сияя.

— Как это доказать?

— Тут и доказывать нечего.

— Нет, ты послушай, как Шопенгауэр доказывает. Шопенгауэр думает...

Но я не успел сказать, что думает Шопенгауэр, так как велосипед круто вильнул и налетел на тот самый камень, существование которого я подверг сомнению. Мы перевернулись. Когда я поднялся с мостовой, весь в пыли и потирая рукой ушибленные места, Сияя уже был на ногах, невредимый и почему-то страшно довольный. Он посмотрел на меня сверкающими весельем глазами и спросил:

— Ну, как ты теперь думаешь: камень существует на самом деле или только в нашем воображении?

Так был впервые на моих глазах наглядно решен коренной вопрос философии. И решен правильно, хотя Сияя имел тогда весьма смутное представление о диалектическом материализме.

Потом мы стали близкими друзьями, и я перестал затевать с ним теоретические споры. Однажды он повел меня знакомить со своими братьями. Я думал, что мы идем к нему домой, но он привел меня на маслобойный завод, за базаром. Все предприятие помещалось в старом сарае, над крышей которого торчала небольшая железная труба. У ворот стояли крестьянские телеги, груженные макухой, а по двору ходил человек в замасленной спецовке, худой, с длинной детской шеей, перепачканной мазутом. Это оказался старший брат Сили — Яков. Вскоре появились еще два брата, один в очках, высокий, молчаливый, непроницаемый,

с по-цыгански черными волосами и серо-пепельными губами, другой — совсем еще мальчик, такой же угловатый, как Силя, в измазанной мазутом рваной косоворотке. Все четыре брата были необыкновенно худы и сухи, у всех оливково-зеленые лица и синие глаза. Старший работал на маслобойне механиком, второй, в очках, — бухгалтером; Силя и самый младший в свободное от школы время что-то мастерили в сумрачном сарае, где пыхтел и покашливал старенький мотор, шуршали латаные ремни передач, тужился и кряхтел допотопный маслобойный пресс. И все четверо потихоньку агитировали приезжавших сюда крестьян, выискивали среди них сочувствующих и нередко переправляли в села вместе с партией свежих жмыхов пачку недавно отпечатанных подпольных листовок.

Но все это я узнал позднее, когда повадился ходить сюда почти каждый день. Первое посещение маслобойни осталось в памяти как неожиданная встреча с тем полюбившимся еще в детстве миром машин, который я наблюдал, выстаивая часами на палубе дунайских пароходов. Деревянный сарай с керосиновым мотором и старинным прессом совсем не был похож на залитые электрическим светом и блеском стали машинные отделения дунайских пароходов. Но и здесь приятно пахло маслом, гудели, вращались и посвистывали многочисленные клапаны и поршни, вызывая какое-то особенное чувство растроганной радости и непонятного счастья. И еще более радостно было видеть четырех братьев, которые все вместе участвуют в одном деле. Для меня, вынужденного всегда таиться от своих близких, это было непостижимо.

Как слагаются дойны

— Ой, зеленый лист полыни! — заговорил нараспев кто-то безнадежно грустным голосом у ворот маслобойни, где стояли везы, груженные жмыхами и коноплей.

Была уже весна, но деревья все еще стояли голые и двор был покрыт грязью. Мы сидели с Яковом и Силей у конторы, и когда у ворот раздался грустный, переливчатый голос, Яков первый обратил на него внимание и показал нам певца.

Это был старик с горбоносым лицом цвета обожженной глины; он сидел на земле, у своей телеги, согнувшись под тяжестью овчинного тупла и островерхой барашковой шапки, похожей на высокую темную башенку. На коленях у него лежала самодельная сопилка из зеленого камыша. Старик не подносил сопилку к губам, он только поглаживал ее темными скрюченными пальцами и, словно перебирая невидимые струны, тянул с отчаянной скорбью:

Ой, зеленый лист полыни!
Я полыни не люблю,
Ем полынь, на ней и сплю...

Вечерело. Розовым светом покрылись деревья, труба и железная кровля сарая, где пыхтел и покашливал старенький мотор. Старик закончил традиционное вступление к песне, покачал своей темной башенкой и, глядя перед собой полужакрытыми глазами, заговорил нараспев:

На тихом и белом Дунае,
Реет парус белокрылый,
Плещут весла что есть силы,
Рассекая гладь речную,
Мутя пену водяную...

Мне показалось, что я узнаю слова старинной баллады о гайдуке Кодряне. Но почему-то вместо «Кодрян» старик сказал «Арсенте». Это имя тоже было мне знакомо. Все газеты писали, что в дунайских плавнях появился опасный и неуловимый бандит Арсенте. Неужели дойна о нем? Но в учебнике литературы говорится, что все дойны сложены по меньшей мере сто лет назад. Мы придвинулись к певцу, и вот что мы услышали.

На тихом и белом Дунае нет никого сильнее и смелее, чем Арсенте. Вся дельта трепещет перед ним, и самые красивые девушки готовы умереть за счастье служить ему в его камышовом шалаше, надежно скрытом в плавнях. Богачи ненавидят Арсенте, но бедные молятся на него, потому что сердце его полно ненависти к богатым и любви к обездоленным и обиженным. Но вот жандармы все же выследили Арсенте и окружили его, когда он отдыхал один на острове, в плавнях. Жандармов — туча, Арсенте — один, но им не одолеть богатыря.

Мы слушали песню. Где-то рядом, в сарае, уже давно захлебывался мотор, но Яков забыл о нем и, пристально глядя на певца, тихо шевелил губами, точно повторял бесстрашные слова песни. А когда старик кончил дойну, Яков сказал тихо, но так, что мы все слышали:

— Надо поднимать народ!

И вместо того чтобы идти в сарай к захлебывающемуся мотору, он опустился на корточки рядом со стариком и начал что-то говорить ему тихим, взволнованным шепотом. Старик спрятал сопилку в карман телогрейки и внимательно слушал Якова. Он слушал, полузакрыв глаза, башенка на его голове тихонько покачивалась, словно отбивая такт новой песни, которую пел теперь уже не он, а Яков. Мы стояли в оцепенении, и нам тоже казалось, что песня все еще длится...

Ой, зеленый лист полыни!..

Когда его захватили врасплох жандармы, говорила песня тех, чья жизнь горше полыни, Арсенте все же не сдался и, когда у него кончились патроны, извлекал пули из собственных ран и посылал их обратно в своих врагов. И он победил. Кто покоряется — тот заранее мертв, кто борется — тот всегда побеждает. В плавнях и в лесах есть много бесстрашных людей, и любой из них — Арсенте! Со всеми жандармам никогда не справиться...

Постояв некоторое время во дворе маслобойни, я простился с Силей и отправился домой. Был тихий провинциальный вечер. На деревянных скамейках перед своими маленькими домиками с геранью в окнах сидели обыватели и лугали семечки. Проходя по базару, я увидел, что лавочники уже закрывают свои лавки и с грохотом навешивают на железные засовы огромные ржавые замки. Воздух был напоен теплым запахом навоза, а на лицах людей застыла маска надменного равнодушия и безнадежной скуки. Но я не обращал на это внимания. Я знал, что есть и другая жизнь и другие люди где-то здесь же, рядом с этим убогим, скучным базаром. Я все еще слышал дойну горбоносого старика, и мне казалось, что ей нет и не будет конца. И тихие слова Якова я тоже слышал, и они были полны для меня нового смысла:

— Надо поднимать народ!

Это каждый может!

Был поздний вечер. Я сказал своей тете, у которой жил с тех пор, как приехал в уездный город, что иду спать. Но я не думал ложиться. Я ждал Силю. Он заходил днем, осматривал мою комнату, имевшую два

выхода, и подробно объяснил, что нужно сделать: запереть дверь в квартиру тети, занавесить окно и убрать все со стола, даже скатерть. Я знал, зачем нужны эти приготовления, но совсем не представлял себе, как все произойдет.

Кто-то тихонько постучал в окно. Я снял крючок с двери, выходявшей во двор, и увидел Силю. В руках у него была плетеная базарная кошелка, и я помог ему втащить ее в комнату. Она оказалась тяжелой, словно ее набили камнями.

— Теперь выйди на улицу и проверь хвосты,— сказал Сия.

— Хвосты? — переспросил я.

— Ну да. Я по дороге два раза проверял, а ты проверь еще разок. Я растерянно уставился на товарища. Он усмехнулся.

— Выйди на улицу и проверь, не торчит ли кто-нибудь около дома, не привел ли я с собой «хвоста»... Теперь ясно?

Теперь было ясно, и я вышел на улицу. Ночь давно накрыла дома, мостовую, тротуары. Только над головой белел Млечный Путь, а на углу, в каменном доме бакалейщика, из ярко освещенного открытого окна валил дым, как из паровой трубы. Там, как всегда, играли в карты.

Когда я вернулся, Сия извлек из кошелки небольшой металлический ящик с валиком, перепачканным фиолетовыми чернилами, поставил его на стол и прикрыл старой газетой. Потом он разложил остальные предметы, принесенные в кошелке: бутылку с фиолетовыми чернилами, две пачки белой бумаги, ручки, карандаши и набор кисточек, тоже измазанных фиолетовой краской.

— Чудесно,— сказал он, закончив приготовления, и вынул из кармана бумажку, аккуратно исписанную мелким почерком.— Разберешь?

Я взял бумажку и прочел: «Товарищи! Граждане! Молодежь! Сегодня, в день 1 Мая — великого праздника солидарности угнетенных всего мира,— уездный комитет комсомола обращается к вам...»

— Что это? — спросил я.

— Листовка, которую мы должны напечатать. Как-ты думаешь, справимся до утра?

— Конечно, справимся,— сказал я.

— Чудненько. Я тоже думаю, что справимся. Только смотри не проговорись Максусу. Он ничего не знает. Техник заболел, а листовка должна быть готова к субботе. Ясно?

— Вполне.

— Вот видишь, если бы я ему сказал о твоей квартире, он передал бы дальше, и они бы там недели две раздумывали, а листовка нужна к субботе. Ясно?

— Совершенно ясно.

— Ну вот и хорошо. Ты молодец. И комната у тебя первый сорт: два выхода. А тетя сюда не войдет?

— Она спит.

— А если проснется?

— Она никогда не встает ночью с постели — у нее ревматизм.

— Чудненько. А до утра мы должны справиться.

— Обязательно справимся,— сказал я, совсем не представляя себе, как мы справимся. Мне все еще не верилось, что на этом простом металлическом ящике, который Сия притащил в базарной кошелке, можно напечатать революционные листовки.

Пока я удивлялся, Сия действовал. Он проделывал все просто и привычно, как будто мы готовились к самому заурядному занятию. Минут через десять мы уже сидели рядышком за столом и рисовали печатными буквами текст листовки на двух страницах, которые Сия назвал «восковками».

В комнате было тихо и сумрачно. Свет маленькой керосиновой лампы, стоявшей посреди стола на толстой книге, едва доходил до другого конца комнаты. От этого света лицо Сили казалось коричневым. Глаза его смотрели внимательно, сосредоточенно. Я тоже очень старался, и Сили это заметил.

— Слушай, ты помогаешь себе языком? — спросил он.

— Ничего подобного! С чего ты взял?

— Ты его все время высовываешь.

— Неправда!

— Давай зеркало — сам увидишь.

— Ладно, — сказал я, намереваясь встать из-за стола.

— Чудненько. Мы будем смотреться в зеркало, а кто же будет работать?

— Ты прав — давай работать.

— Сколько ты написал? — спросил Силия.

— До «империализм захлебывается в своей собственной черной крови». Разве кровь бывает черной?

— У империализма бывает, — уверенно сказал Силия.

Мы сидели рядышком и писали печатными буквами слова листовки. Мы писали про империалистов, которые готовят нападение на Советский Союз, и про тех, кому придется умирать в этой несправедливой войне. Мы писали про Коминтерн и КИМ, призывающие рабочих не допустить войны. И про генерала, командующего гарнизоном в нашем городе и избивающего солдат, мы тоже написали. И про сигуранцу. И про уездного префекта. Только про налоги и перцепцию¹ мы ничего не успели написать. Но листовка все же была замечательная.

Мы приступили к печатанию. Силия намазал валик и прикрепил к станку восковку. Потом я держал раму, а он катал валик, и после каждой прокатки появлялась листовка: аккуратная, точь-в-точь как та, которая была написана на восковке, только в одном месте чернила расплылись, и буквы слились в небольшое фиолетовое пятно. Но Силия сказал, что это ничего, так бывает.

Мы стояли, склонившись над столом. Лампа тихо шипела, и мы снимали с шапирографа листовку за листовкой и аккуратно складывали их на столе. Мы знали, что все в городе давно спят. Я представил себе директора гимназии — ворона с противными черными усами — и тшедушного, остроносого учителя французского языка, прозванного «крысой», и надзирателей, которые храпят, наверное, утомленные после вечерней охоты на гимназистов. Свиноподобного генерала, командующего гарнизоном, я тоже себе представил. Он спит сейчас и тоже ничего не подозревает. А наши листовки завтра будут расклеены на телеграфных столбах и разбросаны на базаре, в порту, в парке. Это будет замечательно.

Я рассказал Силе о своих мыслях и о том, что мы отлично справляемся с нашей опасной работой.

— Это каждый может! — спокойно ответил он. — Ты же видишь, как все просто. Это каждый может!

Леонид

Три дня я провел в камере, и никто не приходил ко мне, кроме грузного, широколицего стражника: он молча отпирал дверь, бросал на рогожу кусок брынзы с хлебом, каменным, чуть-чуть заплесневевшим, и снова молча, не произнося ни слова, запирали дверь, оставляя меня наедине с рогожей, железной решеткой и уже привычными шумами.

¹ Перцепция — учреждение, ведавшее сбором налогов.

доносившимися с улицы и со двора. Хлеб и брынза тоже стали привычными, как и крики под окном: «Мэй, где Роберт? Роберта срочно к господину шефу!»; привычными стали и ругань, и тяжелый топот ног в коридоре, и возня с арестованными, чаще всего пьяными, и раскаты духового оркестра, доносившиеся из парка,— иногда громкие, как будто играли совсем рядом за стеной, иногда слабые, замирающие и тонушие где-то в вечерней мгле. Мне казалось, что я сижу здесь уже давно — неделю, две, может быть и больше,— и, раздумывая о своем плачевном положении, я начал смутно догадываться, что можно ко всему привыкнуть и все самое печальное на свете может казаться будничным, нормальным и должным.

Настал четвертый день моего ареста. В привычное время шелкнули ключи в замке, показалась уже хорошо знакомая грузная фигура стражника. На этот раз он не бросил на рогожу брынзу с хлебом, а неожиданно толкнул в полураскрытую дверь камеры небольшого человечка, при виде которого у меня заколотилось сердце и в горле застрял изумленный, радостный, испуганный, но все-таки больше радостный крик:

— Леонид!

Это действительно был он. Я узнал его сразу, еще не разглядев лица, по тщедушной, сгорбленной фигуре с длинными, расхлябанными, словно расшатанными, суставами, по очкам в толстой оправе, по съехавшему набок галстуку.

— Что с вами, Леонид? И вы сюда попали? Почему? На вас кто-нибудь донес? Почему вы молчите? Кто еще арестован? Почему вы молчите? Когда вас арестовали — ночью или только сейчас? Почему вы молчите? Вас били? Почему же вы молчите?

Он стоял посреди камеры в той же неловкой позе, в которой очутился, когда его толкнули сюда минуты две назад; казалось, что он ничего не видит и даже не понимает, где он, а думает о чем-то своем, далеком. Потом он поднял голову и тихо, без всякого выражения сказал:

— У меня дети...

Я был ошеломлен. Эти неожиданные три слова поразили меня больше, чем если бы он сказал, что у него в кармане бомба, которая вот-вот взорвется, или что в городе началось наводнение, землетрясение, грандиозный пожар.

— У меня дети, Вилковский,— тихо повторил Леонид,— две девочки...

Теперь я по крайней мере имел доказательство, что он видит меня и узнает. Да, у него семья — это я слышал и даже как-то видел его жену, такую же маленькую, тщедушную, как и он сам, с тонкими детскими ручками и цыплячьими ножками. Но какое это имеет отношение к историческому материализму и диалектике, в которых он так хорошо разбирался, к провалу уездного комитета комсомола и, наконец, к его появлению здесь, в полицейской кутузке?

Что следует говорить в таких случаях? Я не знал. А он продолжал молчать. После длинных проведенных здесь дней и ночей его молчание было для меня особенно нестерпимым. Я смотрел на Леонида и мучился пронзительной сложностью всего того, что увидел с момента ареста. Вот новая загадка, новый вопрос, в котором надо разобраться после «рыбака» и «теософа». Нет, конечно, Леонид не такой, он не предатель, он ничего им не сказал, хотя я ведь ничего не знаю, но думаю, что он молчал, он не трус и не предатель... Но кто же он? Человек, у которого есть дети... Две девочки. Он их любит. Это понятно — все любят детей. Нет, все-таки непонятно. Значит, революционерами могут быть только те люди, у кого нет детей? У меня нет детей. Но революцию не делают мальчики. У кого есть дети, тот не может быть смелым, твердым, непо-

колебимым? А у кого есть братья, родители? У меня есть родители... И я вдруг вспомнил, что не думал до сих пор о том, как родители отнесутся к моему аресту. Эта мысль меня огорчила. Я уже не видел Леонида. Я видел впалые, заросшие щеки отца, его коротко остриженную черную бородку и его глаза — карие, тихие, грустные; я видел палку с медной рукояткой, о которую он опирался сухой, дрожащей рукой; видел эту руку со слабыми морщинистыми пальцами, как она протягивала мне накануне моего отъезда в гимназию маленькую, покрытую вытертым и вылинявшим бархатом коробочку, в которой лежали мамины золотые часики. «Они давно не ходят... но у меня ничего больше нет... Продай их, все-таки это золото. Больше нечего продавать...»

Вспомнив все это, я почувствовал страшную грусть. Что он теперь скажет, когда узнает о моем аресте? Что скажет мама? Может быть, я не должен был этого делать? Но я немедленно отбрасываю от себя эту мысль. Все во мне протестует против такого вывода. Я должен был. Должен. И я стараюсь снова возвратиться к тем отрадным, счастливым мечтам, к тому отчаянно решительному настроению, в котором я находился до появления Леонида; но я вижу, что это уже невозможно. Леонид здесь, и я уже не существую сам по себе: нас двое, мое состояние зависит теперь и от его состояния; нас двое, я не могу думать только о себе и для себя — нас двое...

Несмотря на свои двадцать семь лет, Леонид был не выше меня, да и весом тоже, пожалуй, не больше. Я всматривался в его бледное лицо, в безжизненные глаза, которые не смотрели на окружающий мир, а выглядели такими глубокими и мудрыми, что взгляд их, казалось, говорил: «Зачем мне смотреть на мир? Я и так все о нем знаю». Я вспомнил наши беседы в библиотеке и сказал:

— Вот что, товарищ Леонид: довольно вам думать и говорить о делях. Этим делу не поможешь. Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом.

— О чем?

— Мало ли о чем можно разговаривать? Вы так много знаете. У меня есть вопросы.

— Какие?

— Разные. Давайте по порядку. Сначала вы прочтете мне лекцию. Например, о диалектике. А когда вы устанете, я буду читать вам...

— Что?

— Я могу научить вас выписывать накладные при погрузке зерна. Могу читать вам курс бухгалтерии — меня обучали этому совсем недавно. Папа хотел, чтобы я стал бухгалтером.

— Ну что ж, это интересно. Я действительно ничего не понимаю в бухгалтерии.

Я смотрел на него и изумлялся: неужели его действительно могут заинтересовать правила дебета и кредита?

Мы немедленно приступили к беседам по моему плану, и я с радостью убедился, что это пойдет ему впрок. Разговаривая об отвлеченных предметах, Леонид преображался. Он забывал о своем плачевном положении, забывал о девочках. И говорил с заразительной воодушевленностью о самых разнообразных вещах, о форме и сути вещей, о тайнах природы, о чудесах будущего. Я заметил, что будущее интересовало его больше всего остального. Он знал, каким будет мир через тысячи лет. Вернее, каким он должен быть. Во всех подробностях. Не только общественные отношения: коллективная собственность на средства производства, равенство, отсутствие эксплуатации, несправедливости, зла... Все это я знал и без него. Но ему было известно гораздо больше. Он знал,

какими должны быть книги и газеты будущего, какими должны быть литература, музыка, живопись, какими должны быть земля, леса...

Рассказал он мне кое-что и о себе: четыре раза блестяще выдерживал он вступительные экзамены в политехникум, на биологический, медицинский и даже математический факультеты, но ни один из них не окончил — после одного-двух лет безуспешной борьбы за существование в большом городе он вынужден был каждый раз возвращаться домой с новым запасом знаний и новым очагом в легких.

— В старину легче было заниматься науками, — сказал он, усмехнувшись, и рассказал о своем деде, ученом-талмудисте, который женился на дочери богатого купца, предусмотрев в брачном договоре согласно обычаю времени, что тесть берет его в свой дом «на всем готовом и на всю жизнь».

Он еще помнил деда и описал его: очень худой, седой и страшно заросший — к его лицу никогда не прикасались ножницы, — в черном люстриновом лапсердаке, коротких панталонах и белых шелковых чулках.

— Ученый был старик. Однажды во время прогулки, когда он рассказывал мне, как строился Иерусалимский храм, и перечислил наизусть все тридцать три сорта дерева, которые пошли на постройку, я вдруг спросил его, как называется дерево с красноватым стволом, росшее у наших ворот. Он не знал. Он не сумел бы отличить клена от акации... Смешно, правда?

Да, смешно... Я посмотрел на Леонида. Он сидел на рогоже согнувшись, положив руки на колени, и, казалось, ничего не видел — ни своего собеседника, ни стены камеры, ни ее зарешеченного окна. Он смотрел в себя. Чем больше я его слушал, тем сильнее верил, что он знает все. У него были обширнейшие знания не только в философии, истории, математике, но и в медицине. Он знал, например, все, что известно было врачам о его собственной легочной болезни: как образуются каверны и как под влиянием свежего воздуха, отдыха и обильной пищи они зарубцовываются. Но где и как добыть для себя немножко свежего воздуха, покоя и сытной пищи — этого он не знал.

Мы сидели допоздна в темной, сырой камере и шепотом вели нескончаемый разговор. Запахом щедрого лета, простора, свободы входила прохлада в щели окна, расчерченного железными прутьями тюремной решетки. Из всего огромного мира мы видели только это: черные квадраты решетки на фоне блестящего, разбитого по углам оконного стекла. Но мы слышали все шумы окружающей нас жизни: и тяжелые шаги в коридоре, и ругань, и далекое пение, и мирное стрекотание сверчков, и протяжные пароходные гудки на реке. Потом все звуки и шорохи смолкали, словно растворившись окончательно в густой темноте. И оставался только блеск очков и тихий, ровный шепот Леонида, который рисовал мне уверенными, точными мазками картину мира... такого, каким он должен быть!

Последний день заключения — первый вечер свободы

Через несколько дней утром нас с Леонидом привели в ту самую комнату, где меня уже допрашивали. По-прежнему со стен смотрели на меня румынские короли, а из-за стола — внимательно-наглые глаза полицейского комиссара в штатском. Но теперь мне казалось, что он смотрит на меня без всякого интереса. Он дал мне подписать протокол допроса, в котором довольно точно были отмечены все мои отрицательные ответы. Я ничего не понимал, но удержался от вопросов. Лучше ни о чем не спрашивать. Нельзя им показывать, что ты чем-то интересуешься, вол-

нуешься, на что-то надеешься. Ты для них не человек, и они для тебя не люди.

Нас отправили в прокуратуру. У сопровождавшего нас полицейского было худое, обветренное лицо, глаза маленькие, бесцветные и жалкие. Почему-то он показался мне добрым, и я рискнул спросить, когда мы вернемся в полицию.

— Зачем? — удивился он. — От прокурора одна дорожка — в тюрьму. — И, помолчав секунду, неожиданно добавил: — А может, отпустит... Кто его знает? Бывает!

Трибунал встретил нас такими же, как и в полиции, мрачными коридорами и совершенно таким же казенным запахом — смесь сырости с дезинфекцией. Сопровождающий нас полицейский сдал кому-то свою папку и провел нас в темную комнатку без окон и мебели — только у стены стояла деревянная скамья. Это было нечто вроде приемной перед кабинетом, на дверях которого красовалась ярко-синяя дощечка с белой надписью: «Уездный прокурор». Когда мы вошли, из нее вышел человек, оборванный, заросший и лохматый, держа руки напряженно вытянутыми по швам. За ним шел стражник в черном мундире и внимательно смотрел ему в затылок. Я понял, что это арестант, приведенный на допрос из тюрьмы; его жалкое заросшее лицо и руки, неестественно вытянутые по швам, свидетельствовали о власти того, кто находился за дверью с синей дощечкой. Полицейский молча указал нам на скамью. Мы сели и стали ждать.

Это было одним из самых тягостных ощущений, которые я когда-либо испытал: сидеть перед закрытой дверью и ждать, пока кто-то невидимый и неведомый тебе решит твою участь! Ждать в заплеванной и затоптанной комнатке без окон, вдыхая тяжелый, хватаящий за горло воздух; ждать час, два, три и не знать, сколько еще придется ждать — еще час или вечность; ждать и видеть, как мимо тебя идут люди — одни входят, другие выходят из двери, перед которой ты ждешь, третьи равнодушно идут мимо, но ты не можешь ни войти, ни выйти, ни даже встать, а только сидеть и ждать; ждать и прислушиваться к своему дыханию, к биению собственного сердца и понимать, что тот, кто заставляет тебя ждать, не думает о тебе, а если и думает, то уж, во всяком случае не как о живом человеке, у которого раскалывается голова и ноет сердце от тоски, от боли, от неизвестности...

Пока мы ждали, привели еще двух человек из тюрьмы; их тоже ввели к прокурору раньше нас, и оба они вышли оттуда с застывшими лицами и вытянутыми по швам руками; один из них беззвучно шевелил губами, — мне показалось, что его душили рыдания.

Наша очередь наступила, когда на дворе уже стемнело и в коридоре зажглось электричество. Я вошел в кабинет первым, и состояние у меня было такое, точно в комнате стоял туман. Сквозь туман я увидел большой дубовый стол, за которым сидел прокурор. Сквозь туман смотрел на меня со стены семилетний король в военной форме, увешанный орденами и медалями. Но живой человек, сидевший за столом, на меня не посмотрел — он смотрел только в бумагу, лежавшую перед ним на столе, и что-то писал. Стол его был весь завален папками, книгами в черных переплетах и разными канцелярскими принадлежностями. Я разглядел также маленькое резное распятие. Но деревянный Христос, увенчанный терновым венком, был ему, по-видимому, нужен не так уж часто, и он засунул его в самый дальний угол стола, где стояла стеклянная мухоловка, наполовину наполненная водой. Христос видел бьющихся о стекло и тонущих мух — людей он тоже не видел.

Человек, который сидел за столом и от которого зависела моя участь, выглядел молодым и красивым, сердитым и важным. Так и не взглянув

на меня и продолжая что-то писать, он прочел мне длинную нотацию. Гимназист должен учиться и слушаться учителей, так же как учителя должны слушаться своего начальства, а начальство в свою очередь должно слушаться короля; сам король тоже слушается господ бога; таков закон, который правит миром; все должны слушаться, все должны подчиняться и строго следовать установленному порядку. Все это он говорил, не запинаясь, как затверженное, и при этом не переставал что-то писать.

Я видел, что он держит в руках именно мое дело, что-то из него выписывает, ставит точки и запятыя, но ко мне это не имеет никакого отношения.

— Черт знает, что такое! — заговорил он снова вслух. — За две недели тридцать арестованных! Тюрьма переполнена, а тут еще, пожалуйста, ученики и черт знает кто!

Через много дней я понял, что в этих словах и был ключ к разгадке всего того, что случилось со мной после ареста. Следствие по делу Макса и других коммунистов было давно закончено, и то, что полиция собиралась приплести к этому делу с большим опозданием и учеников, не вызвало одобрения в прокуратуре. Такая история была в тот момент невыгодна властям, газеты могли раздуть ее, и создалось бы впечатление, что гимназия заражена коммунизмом. Вот почему комиссар с наглыми глазами оставил меня в покое после первого допроса, а прокурор тоже смотрел теперь на меня как на ненужный ему, отработанный материал. Но он не только не счел нужным сказать, что меня освобождают, а, наоборот, всем своим поведением создал у меня впечатление, что я попаду отсюда в тюрьму. Делал он это, очевидно, по привычке — так он поступал всегда со всеми арестованными, так поступил и со мной, ни разу не взглянув мне в лицо.

Покончив с моим делом, он отослал меня в коридор к полицейскому и вызвал Леонида. Ему он тоже читал нотацию — я слышал его сердитый механический голос. Потом снова вызвали в кабинет меня. Теперь, когда положение определилось, я был почти спокоен.

— Подпишите!

Мы подписали протянутые нам бумаги.

— Можете идти!

Все. Теперь нас уведут в тюрьму. Леонид стоял бледный, без кровинки в лице, и я видел, как дрожат его бумажно-серые губы. «Только бы он выдержал», — подумал я и тронул его за руку, показывая, что надо идти. Мы повернулись и вышли в тесенькую комнатку, где ожидали решения своей участи. Но полицейский почему-то за нами не пошел. Мы остановились и стали ждать. Прошло несколько минут, а его все не было. Наконец открылась дверь, и он вышел из прокурорского кабинета, держа под мышкой свою папку, и, даже не взглянув в нашу сторону, прошел в коридор и исчез: для него мы тоже больше не существовали. В это мгновение я все понял: мы свободны!

Когда мы очутились на улице, Леонид остановился, словно проснувшись, молча пожал мне руку и, не говоря ни слова, быстро пошел прочь. Я видел, как он свернул в переулок и скрылся.

Я остался один.

Был теплый и неподвижный июньский вечер. Улица казалась тесной от тополей и акаций, вытянувшихся вдоль ее желтых домов. Я смотрел на нее в каком-то странном оцепенении, ни о чем не думая, ничего не желая. Вдруг я почувствовал дуновение чуть-чуть влажного ветерка и смолистое благоухание деревьев, увидел огни фонарей и фигуры прохожих, услышал шаги, голоса и скрипучие грустные звуки

граммофонного вальса, доносящиеся из открытого окна соседнего дома. Все это я почувствовал, увидел и услышал не сразу, а постепенно, как человек, который медленно просыпается. Сначала ко мне вернулось зрение, потом слух и обоняние. Подняв голову, я, как всегда, поискал глазами Большую Медведицу, потом Алголь, мерцающий над второй яркой звездой ее хвоста, и Полярную, которая должна была находиться правее и выше, у пересечения двух линий, мысленно протянутых от оси Большой Медведицы. Вот она! Все в порядке: небо такое же, как всегда, за эти дни ничего не изменилось. И я почувствовал, что то, что произошло со мной в трибунале и полиции, отодвинулось куда-то далеко-далеко, как будто это происходило не со мной и не здесь, в этом привычном и незыблемом мире.

Я шел по улице, все еще ни о чем не думая, но чувства мои были обострены, и я впитывал в себя все окружающие звуки, цвета, запахи с какой-то удесятеренной, необычайной силой. Меня бессознательно тянуло к центральным улицам, к шуму и свету, к таинственно блестящей под огнями фонарей темной листве парка, к грохоту полковой музыки.

Парк встретил меня блеском огней, одуряющим запахом левкоя и табака, смехом и бестолочью толпы гуляющих, рассыпавшихся по узким, посыпанным желтым песком аллеям, громовыми литаврами и барабанной дробью военного марша Шуберта. Я свернул в знакомую темную аллею и сразу же увидел однокашника — маленького Узуна, сидевшего в классе через одну парту от меня.

— Послушай, это ты, да? — сказал он нерешительно, как говорил всегда, когда его вызывали к доске. — А нам сказали, что тебя арестовали... Как же ты пришел в парк?

Я посмотрел на его чистенькую, аккуратно выутюженную форму, на нежное конфетное личико, на удивленные глаза и почувствовал, что он так далек от всего того, что я пережил, что объяснения бесполезны — он их не поймет. Да он их и не требовал. Схватив меня за руку, он принялся торопливо рассказывать новости, радуясь, что он первый сообщит мне все, что случилось в классе в мое отсутствие; он рассказал, кто какие отметки получил по французскому письменному, кто «срезался» на речи Цицерона о Катилине и кому угрожает переэкзаменовка по истории.

— Да, чуть не забыл, — спохватился он вдруг и снова нерешительно, как в начале встречи, сказал: — Тебя исключили из гимназии...

— То есть как это исключили?

— Очень просто. Позавчера был учительский совет. Добреску все рассказал дома Марину, а он нам... Только Татович был против, а все остальные — за. В общем, тебя исключили... Пстой, куда ты? Я забыл тебе сказать, что завтра последняя контрольная по математике. Ты не придешь? Ах да... Что же ты теперь будешь делать?

...Я вышел из парка и снова, как на пороге здания трибунала, когда впервые почувствовал, что свободен, остановился. Я не испытывал ни тоски, ни страха, ни возмущения перед этим новым обрушившимся на меня ударом. Проходя мимо витрины часовой мастерской, я машинально отметил, что большие часы показывают всего лишь четверть одиннадцатого.

Навстречу мне подул ночной ветерок и подхватил, унося куда-то в сторону, грохот полковой музыки, неотступно следовавший за мной от самого парка. Я шел по улочке, где каждый дом, каждая лавчонка и каждый телеграфный столб были мне знакомы. Все выглядело в точности так, как и неделю тому назад: и улица, и дома, и деревья, и звезды в небе — все было так, как всегда, и все не так. Я не разду-

мывал над тем, что случилось, не тревожился о том, что я буду делать завтра, но чувствовал, что меня окружает уже не тот хорошо знакомый мир, в котором я жил до сих пор. И я сам уже не тот, кем был до ареста. Что-то кончилось в моей жизни, и что-то новое, еще не совсем осознанное, началось.

Конец и начало

Прошло лето.

...Это было в конце августа, я до сих пор вижу и чувствую этот ясный, теплый день, безлюдные улицы, по которым прохаживались военные патрули, пустой парк с закрытыми киосками, аромат листвы на бульваре и кислый казарменный запах в коридорах трибунала, куда я явился с повесткой свидетеля защиты на процессе комсомольцев, арестованных весной. Появление на сонных улицах городка целого полка, приведенного в боевую готовность, посеяло страх и разно-речивые слухи. Власти лобавляются процессу — значит, подпольная коммунистическая организация не разгромлена и еще возможны сюрпризы. Пока я добрался до трибунала, у меня трижды проверяли документы и ощупывали карманы. От всего этого в голову лезли отчаянные, сумасбродные мысли. Я даже представил себе нападение на здание трибунала, побег арестованных под выстрелы и крики полицейских. Ничего подобного, конечно, не произошло. То, что я действительно увидел, оказалось значительнее, чем мерещившиеся мне наивные романтические происшествия.

В коридоре суда я заметил невысокого мужчину средних лет, спокойно прогуливавшегося с большим кожаным портфелем в руках. В первую минуту ничего в его внешности, кроме красного галстука, не привлекало внимания: простое лицо, короткие и жесткие ореховые волосы, не поддающиеся гребенке, прямой нос и энергичный подбородок; но в голубых глазах, в выражении лица, в походке что-то спокойное, уверенное, решительное... Казалось, он совсем не замечал, с каким откровенным интересом и испугом пялили на него глаза сновавшие по коридору шпики, с какой ненавистью следил за ним полицейский комиссар, стоявший у входа в зал, как многозначительно смолкали, проходя мимо, судейские чиновники. «Рошану!» — тихо произнес кто-то рядом. Так вот он какой, известный бухарестский адвокат, постоянный защитник коммунистов, не побоявшийся приехать сюда и прийти на суд в красном галстуке! Я обернулся, еще раз взглянул на него. Он тоже почему-то оглянулся и неожиданно спросил:

— Вы свидетель?

— Да... Откуда вы знаете?

— Это несложно: в деле только один свидетель — ученик. — Он заглянул в свою записную книжку и назвал мою фамилию.

— Это я...

— Отойдите в сторону...

Мы подошли к окну. Уже с первых слов я с удивлением убедился, что он знает обстоятельства моего ареста не хуже меня, как будто он присутствовал при допросе.

— Нужно, чтобы вы рассказали суду, как вас били в сигуранце.

Слово «нужно» он произнес с особым выражением, глядя мне прямо в глаза, и я почувствовал, что говорит не только адвокат, но и товарищ.

— Хорошо...

— Учитите, вас будут перебивать и запугивать...

Он снова посмотрел на меня выжидательно оценивающим взглядом. Я молчал. Мы смотрели друг другу в глаза, и мы понимали друг друга.

— Значит, вы скажете, что вас били...

— Конечно, скажу...

— Ну вот и отлично.

Он быстро пожал мне руку и улыбнулся. Теперь на его энергичном лице появилось выражение мальчишеской веселости и даже озорства; глаза его смеялись и, казалось, говорили: «Все будет хорошо! Не надо дрейфить!»

— Учтите, после того как вы дадите показания, вы имеете право остаться в зале. Они никого, кроме полицейских, не пропустили. Вы останетесь?

— Да, конечно...

— Ну вот и хорошо!

...Я не присутствовал при начале судебного заседания. Не удалось мне увидеть и обвиняемых — их привели сюда ночью и заперли в комнате, непосредственно сообщавшейся с залом суда. Но по лицам тех, кто выходил из зала, по беготне в коридоре, по испуганному выражению глаз судейского пристава, дежурившего у дверей, я понял, что там происходит что-то, с их точки зрения, неладное. Вскоре мое предположение подтвердилось: по коридору протопали, неловко задевая пол тяжелыми прикладами опущенных ружей, человек десять солдат, приведенных с улицы, очевидно на подмогу тем, кто уже был в зале. Когда их впускали поодиночке в полуоткрытую дверь, я услышал оттуда возглас на русском языке: «Да здравствует...», но судебный пристав тотчас захлопнул дверь, и голос, показавшийся мне женским, замолк. Что это было? Я не мог догадаться. Надо подождать, пока я попаду в зал.

Судейский пристав назвал наконец мою фамилию, и я подошел к двери. Тревожное ожидание и боязнь, что я могу поддаться страху, когда предстану перед судом, обострили мои чувства. Войдя в зал, я оглянулся и выбрал в себя все увиденное. Так оно и осталось навсегда в памяти резким, отчетливым снимком: небольшая комната с деревянными скамейками для публики и возвышением для судей; черное деревянное распятие на столе; черные мантии судей, их лица, выступающие из белых кружевных воротников, — одно лицо толстое, розовое, с маленькими, торчащими вверх усиками, другое старое, сухощавое, с ввалившимися щеками и отвислой нижней челюстью; красный галстук адвоката Рошану и, наконец, самое главное — дубовая решетка в углу, а за ней обвиняемые, окруженные тюремными стражниками в черных и солдатами в зеленых мундирах. Обвиняемых много, они еле вмещаются в узком огороженном закутке; лица у всех одинаково серые, землистые, за исключением девушки в первом ряду; в белой блузке с короткими рукавами, красивая, с остриженными по-мальчишески каштановыми волосами и очень оживленными глазами — единственное светлое пятно на этой унылой серо-черной фотографии. Не успел я подойти к возвышению, на котором сидели судьи, как девушка подняла загорелую полную руку и крикнула звонким, задорным голосом по-русски:

— Да здравствует Советский Союз!

Я вздрогнул от неожиданности и остановился. В зале поднялась такая кутерьма, точно девушка бросила петарду: два судебных пристава и еще кто-то в штатском кинулись к перегородке, толстяк в черной мантии, председатель суда, вскопчил и яростно зазвонил в колокольчик. Девушка в белом не дрогнула и как ни в чем не бывало продолжала смотреть прямо перед собой.

— Подсудимая Белецкая! — закричал председатель, и на висках у него вздулись жилы.— Удаляю тебя на час из зала суда! Посмей еще раз крикнуть — удалю тебя совсем из зала!

В закутке за барьером засуетились: солдаты оттеснили обвиняемых, а стражники, мешая друг другу, окружили девушку в белой блузке и повели ее к выходу. Она не сопротивлялась, только глаза ее — глубокие, блестящие — смотрели прямо и вызывающе.

Когда ее вывели, в зале водворилось неловкое молчание. Теперь председательствующий заметил меня и, откашливаясь, точно он проделал большую работу, принялся задавать мне процедурные вопросы: имя, год рождения, не привлекался ли ранее к суду, не состою ли в родстве с кем-нибудь из обвиняемых...

— У вас есть вопросы? — спросил председатель длинного, тощего человека, сидевшего в противоположном конце возвышения за отдельным столиком, — очевидно, это был прокурор.

Лениво листая какие-то бумаги и не глядя на меня, тот спросил, кого я знаю из подсудимых. Я назвал Макса.

— Это он хотел вас обратить в коммунистическую веру?

— Нет...

У прокурора был рысий взгляд. Он не смотрел на меня, но мне почему-то казалось, что он отлично все видит, и я не решался повернуть голову в сторону Рошану, пока не услышал его голос:

— У меня есть вопрос к свидетелю...

— Спрашивайте, — сказал председатель и нахмурился.

— Свидетель — ученик, несовершеннолетний. Тем не менее он подвергался аресту...

— Это не имеет отношения к делу! — сказал председатель.

— Защита полагает... — снова начал Рошану.

— Это не имеет отношения к делу, — сказал председатель.

— Могу я все же задать вопрос свидетелю?

— Спрашивайте, — сказал председатель и снова нахмурился.

— Я хотел бы знать, как обращались со свидетелем в полиции...

— Это не имеет отношения к делу!

— Все подсудимые показали, что их избивали, — сказал Рошану.

— Это не имеет отношения к делу. Довольно! Свидетель свободен!

Я не тронулся с места: какое-то новое, никогда прежде не испытанное чувство гибельного восторга охватило меня с того момента, как я услышал смелый возглас девушки в белом.

— Меня тоже избили в полиции! — твердо сказал я.

— Кто тебя спрашивал? — рявкнул председатель, и я увидел, как на его висках вздуваются жилы.— Ты свободен! Следующий!

— Уходи! Уходи скорей! — услышал я сзади шепот судебного пристава и почувствовал, что он тянет меня за рукав к выходу. Я посмотрел на Рошану и по его лицу понял, что надо уходить. Уже у самой двери я все-таки свернул вправо и сел на скамью для публики. Шедший за мной судебный пристав снова что-то начал шептать, но я сделал вид, что не слышу, и остался в зале до конца заседания.

Какое это было зрелище человеческой стойкости, бесстрашия, убежденности! Я увидел мужество, твердость и удивительное пренебрежение к своей собственной судьбе. Грубость, произвол, хамство я тоже увидел. До сих пор у меня в ушах звенит сухой, металлический голос председателя: «Это не имеет отношения к делу!», «Отклоняется!»

— Я хочу поднять вопрос о правомочии суда... — сказал Рошану.

— Отклоняется! — рявкнул председатель еще до того, как Рошану закончил фразу.

— Нельзя судить людей на основании показаний, добытых в полиции. Требую производства следствия...

— Отклоняется!

— Запрещая защите осуществить свои права, вы подтверждаете, что весь этот процесс — инсценировка! — сказал Рошану.

— Это не имеет отношения к делу!

— Нельзя судить людей за коммунистические убеждения...

— Отклоняется! — сказал председатель и пригрозил Рошану привлечением к ответственности за недозволенную политическую агитацию.

Никто не смог запугать и девушку в белой блузке. Каждый раз, когда речь заходила о Советском Союзе, она спокойно подымала свою полную, красивую руку и провозглашала: «Да здравствует Советский Союз!» Ее трижды выводили из зала и трижды возвращали, так как Рошану зачитал статью уголовного кодекса, объявляющую процесс недействительным в отсутствие обвиняемых. Потом настала заключительная сцена: последнее слово обвиняемых. Макс получил слово первым. Но председатель его немедленно оборвал: «Следующий». Следующим был мой старый знакомый, старший брат Силя — Яков. И здесь, на суде, Яков со своей детской шеей и худым, бледным лицом производил впечатление болезненного, добродушно-наивного и слабого человека. Я хорошо знал, что это не так. Когда ему дали слово, он заговорил спокойно, неторопливо, как будто разговор происходил на садовой скамейке или за стаканом чая:

— Меня обвиняют в том, что я принимал активное участие в коммунистическом движении молодежи... Не отрицаю, что я убежденный коммунист и целиком и полностью согласен с программой комсомола...

— Говори коротко, — прервал его председатель. — Выполнял задания Коммунистической партии? Да или нет?

— Я был бы счастлив, если бы партия поручила мне какую-нибудь работу. Но, к сожалению, я таких поручений не получал.

— Значит, не признаешься? — спросил председатель.

— Я признаю только свои коммунистические убеждения. Я боролся за легализацию компартии и комсомола. Я и здесь требую легализации партии и комсомола, который входит в КИМ...

— Это не имеет отношения к делу! Следующий!

Следующим был Силя.

— Господин председатель, КИМ насчитывает полтора миллиона членов, — сказал Силя.

— Что?! — спросил председатель и даже привстал со стула. — Это не имеет отношения к делу!

— Имеет, — сказал Силя. — Полтора миллиона — это же еще не все. Подумайте, сколько коммунистов находится в Советском Союзе...

Председатель метнул на него уничтожающий взгляд и решил съязвить:

— Мальчики должны следить за своим носом, а не за политикой. Куда мы докатимся, если дети начнут учить нас политике?

Силя ничего не ответил, но как бы случайно поднял голову и уставился на портрет семилетнего короля Михая, висевший за спиной председателя. Все поняли дерзкий намек, и в зале воцарилась тревожная тишина.

— Это не имеет отношения к делу! — рявкнул председатель. — Следующий!

Из толпы обвиняемых выдвинулся к барьеру человек, которого я никогда раньше не видел, но именно он-то и был организатором и секретарем комсомольского движения в нашем городе. С виду он не производил никакого впечатления: невысокий, худой, с лысеющим черепом и проре-

занным глубокими морщинами лбом. Однако что-то до того упрямое, решительное было в его взгляде и звуке голоса, что даже председатель суда посмотрел на него с опаской. Сам подсудимый и не взглянул на председателя: казалось, что его меньше всего интересуют судьи. Он обращался не к ним, а к своим товарищам и к слушателям, находящимся далеко от этого зала, вполне убежденный, очевидно, что его услышат. Говорил он резко, страстно, и хотя совсем не был оратором, но убежденность и ясная прямота излагаемых мыслей словно преобразили его, разгладили морщины на лбу, изменили цвет лица, так что даже радостно было смотреть на него и слушать, как он говорит с таким выражением, как будто рядом нет стражников с примкнутыми к ружьям штыками, нет и хмурящихся судей в черных мантиях, и черного распятия на столе, и всей этой устрашающе торжественной обстановки суда.

— Массы видят, куда ведет их капитализм... Все более широкие массы понимают, что готовится антисоветская война, за которую заплатят миллионами жизней...

Несколько минут длилось остолбенение председателя суда, потом он как-то сразу очнулся, грубо перебил говорившего и лишил его слова.

...Теперь казалось, что дело идет к концу. Судьи удалились на совещание. В зале зажгли свет; усталые полицейские и шпики, изображавшие публику, уныло переговаривались между собой, бросая нетерпеливые взгляды на дверь, откуда должны были появиться судьи. Только Рошану спокойно сидел на своем месте и что-то записывал в блокнот. Я решил не выходить из зала, опасаясь, что меня не впустят обратно; вряд ли они будут долго совещаться — все у них решено заранее. Прочтут приговор — и конец... Но оказалось, что и это еще не конец: удивительный поединок продолжался и после вынесения приговора.

Председатель читал приговор торопливо и небрежно — ему явно хотелось поскорее уйти домой.

— Ребицкий Ефим... гм... пять, то есть к пяти годам тюрьмы... Черногогорский Ион... три года... Гершков Исаак — четыре года... Белецкая Татьяна — три года... гм... Артем Агафон — три... нет, один год...

Он произносил «пять, три, два года тюрьмы» таким вялым, скушающим тоном, словно отсчитывал медную монету. Но вот наконец он кончил; в последний раз метнув строгий взгляд на обвиняемых, положил бумагу, на которой был написан приговор, на стол и удовлетворенно потер руки с видом человека, закончившего свою работу. А в это время те, кому он прочел приговор и кто должен был бы быть потрясен и раздавлен полученным наказанием, те, у кого в эти мгновения должно было сжаться сердце и спутаться мысли от тоски, от холода, от удручающей перспективы тюремного заключения, ответили судьям самым неожиданным образом — за барьером раздались громкие возгласы:

— Долой классовую юстицию! Долой буржуазию!

Это было настолько неожиданно, что все в зале растерялись: и председатель, схватившийся вместо колокольчика за чугунное пресс-папье, и стражники, уже начавшие было после чтения приговора теснить осужденных к выходу; и даже среди самих осужденных были люди, растерявшиеся от неожиданности. Но те, которые кричали, делали это самозабвенно и бесстрашно.

— Долой буржуазный суд! Да здравствует комсомол! Да здравствует Советский Союз!

Кто-то догадался распахнуть обе половинки двери позади барьера, и опомнившиеся стражники начали свирепо толкать осужденных к выходу. Их остановил крик председателя суда.

— Назад! Верните их назад! — кричал он, наклонившись вперед и сжав кулаки так, словно сам хотел кинуться за барьер. — Кто кричал? —

тихо и раздельно спросил он, впиваясь глазами в осужденных, когда их снова загнали в огороженный закуток.— Кто кричал? — повторил он вразряжку.— Отвечайте, кто кричал, иначе всем будет худо!

Из толпы осужденных выдвинулись двое: невысокий, с бледным морщинистым лицом, осужденный на самый большой срок, и старший из братьев Гершковых, на лице которого даже теперь застыла простодушно-доверчивая улыбка.

— Почему вы кричали? — спросил председатель все еще тихо, и было видно, что он с большим трудом сдерживает свое бешенство.

— Это наш ответ на террор сигуранцы,— медленно и внятно произнес первый осужденный.— Это наш ответ на лишение нас защиты и права высказаться...

— Молчать! — заревел председатель, и губы его затряслись и посинели.— Приговариваю вас дополнительно к одному году тюрьмы каждого! Стража, уведите их! Я кончил! Конеч!

И, схватив трясущимися руками лежавшие на столе бумаги, он кинулся к двери, запахивая на ходу черную мантию, толстый, неуклюжий, похожий на огромную летучую мышь, ищущую выхода из тесной комнаты. За ним поспешили остальные: сухощавый старичок — второй член суда, прокурор с рысьим взглядом и еще какие-то судейские чиновники, все бледные, ошеломленные, потерянные...

«Не может быть, чтобы это был конец...» — думал я, выходя из здания суда и направляясь к прямой, пересекающей центр города аллее длинного бульвара. Город уже спал, таинственно чернели дома, деревья и зеленая изгородь бульвара. Неяркий свет уличных фонарей, обсыпанных ночными букашками, ложился на опавшие листья. Я шел по бульвару в каком-то грустно-восторженном состоянии. Я шел и думал о людях, которых я сегодня видел, об их дальнейшей судьбе. Я знал и чувствовал, что она становится отныне и моей судьбой, потому что я всегда буду на их стороне, всегда с ними...

Не может быть, чтобы этим все кончилось для тех, кто с таким упорством, с таким поразительным мужеством отстаивал свою правоту перед этим толстым хамом, опьяненным сытостью и властью...



К. С. ПРИЧАРД

★

ЙОРИМБА

Рассказ

Четвертого декабря 1959 года австралийской писательнице-коммунистке Катарине Сусанне Причард исполняется семьдесят пять лет. Этот юбилей совпадает и с другой славной датой — пятидесятилетием творческой деятельности замечательной писательницы.

Творчество К. С. Причард — пример страстного писательского отношения к жизни, к судьбам своей страны и ее народа. Многие романы и сборники рассказов К. С. Причард широко известны в СССР и во всем мире. Ее трилогия — «Девяностые годы», «Золотые мили», «Крылатые семена», — занимающая важное место в современной прогрессивной литературе, не раз издавалась на русском языке. К. С. Причард — верный друг Советского Союза, отважный борец за мир, бессменный председатель Общества австралийско-советской дружбы.

Печатаемый ниже рассказ взят из сборника «Неула», выпущенного в Мельбурне к юбилею писательницы.

Полевыми цветами да камни — вот и все, что получила мисс Присцилла, купив пол-акра земли на склоне холма. Только старый белоствольный эвкалипт и несколько тоненьких молодых деревьев тянулись к небу.

В миле от участка шоссе поворачивало в горы, и мисс Присцилла проложила от него дорогу сквозь заросли кустарника. На севере и на юге амфитеатром высились горы, густо поросшие лесом и покрытые голубой дымкой. А со склона холма открывался вид на широкую равнину, прорезанную серебряной нитью реки. В сумерках на горизонте ожерельем сверкали огни города.

Мисс Присцилла была в восторге от своего приобретения. Она говорила, что всю жизнь мечтала вот о таком собственном уголке в горах, где она могла бы проводить праздники и воскресенья, а когда состарится — жить постоянно.

Уже немало лет мисс Присцилла Теббат работала учительницей в пригородной школе. Молодость прошла, мисс Присцилла расплылась, в ее голубых глазах появилось усталое выражение, и стало ясно, что она обречена на одиночество.

Она выросла на севере страны, где на плоских песчаных равнинах все леса были выкорчеваны, чтобы освободить место для пшеницы, и лишь узкие полоски сухих кустарников окаймляли поля. Мисс Присцилла с радостью оставила север; люди там в поте лица обрабатывали землю и выращивали хлеб. А мать ее не только работала в поле, но еще держала коров и разводила птицу, чтобы иметь хоть немного лишних денег.

Мисс Присцилла не могла понять, как это ее мать сносила тяжелую, нудную работу, бесконечные засухи, как она сумела вырастить столько детей и при этом всегда сохранять доброе, веселое расположение духа.

Мисс Присцилла была старшей дочерью; она первой покинула родной дом. Три ее сестры вышли замуж и жили в соседних городках, неподалеку от фермы. А Сэм, единственный брат, остался дома, чтобы помогать отцу.

Мисс Присцилла рассказывала, что старик не хотел расставаться с фермой. Он первым поднял целину у Веселых Озер и теперь все еще продолжал корчевать пни и обрабатывать землю, сеять и собирать хлеб так же упорно, как прежде.

Когда ферма, как говорил отец, сможет обходиться без «припадок» — то есть освободится от долгов, — он обещал передать ее Сэму, объясняла мисс Присцилла. Но старику приходилось вести непрестанную борьбу, лишь бы только выплатить проценты по закладным: засухи и падение цен на пшеницу не позволяли ему выполнить свое обещание.

— У себя на участке я построю домик, — говорила мисс Теббат. — Вот будет чудесное местечко для отца с матерью, когда они уйдут на покой! Я не стану устраивать сад — пусть все остается, как есть, в первобытном состоянии. Не срублю ни одного дерева, не сорву ни одного полевого цветка. Тут нечего будет делать — только отдыхать.

Домик был построен за несколько месяцев, как раз перед самой войной. И мисс Присцилла старательнейшим образом спланировала все и обставила дом так, чтобы можно было без труда всегда держать его в порядке. Правда, она все же до блеска натирала полы и сделала на качалки и диваны пестрые и яркие подушки. Но на окнах не висело никаких занавесок, и каждое из них было как бы рамкой для разнообразных пейзажей: поросших лесом холмов или широких светлых равнин с горными хребтами на заднем плане.

Мисс Присцилла была вполне удовлетворена тем, что гостиная, две спальни, кухня и ванная имели такой строгий и в то же время уютный вид.

Каждую субботу мисс Присцилла сходила с автобуса, нагруженная бесчисленными пакетами, и с самым довольным видом направлялась по дороге к своему домику. Целыми днями она читала на маленькой веранде или просто наслаждалась бездельем, бродила по участку и в каждом уголке его открывала для себя новое очарование.

Ранней весной участок казался фиолетовым от цветущей ховеи¹. Вслед за нею покрывались пеной белых цветов кусты гревилеи. Колючая акация за одну ночь становилась золотисто-желтой, давиэзия и дальвиния выбрасывали длинные стрелы с крошечными шапочками цветов, ржаво-красными и темно-коричневыми. Шелковистые паучки алой гревилеи усеивали ее приземистые кустики, а рядом гордо покачивала ярко-красными султанами хакея. От дампыер каменистая земля синела, словно сапфир, и хоризема желтыми и вишневыми пятнами горела среди них. Все пни и молоденькие деревья были увиты коралловыми плетями кеннеды. Лазурная лешанельтия казалась отражением неба над ней, а рядом благоухал нежно-розовый дикий мирт. Вдоль дороги росли алые и зеленые «лапки кенгуру». Были тут и воздушные орхидеи, а в тени кустов прятали свои лакированные листья «зеленые колпачки». Множество других не столь ярких, но прелестных трав и полевых цветов пестрело по склону холма.

Мисс Присцилла была в восторге от своего сада. Она обожала каждый кустик, каждое деревце в нем. Летом, правда, они выглядели серень-

¹ Все названия полевых цветов — австралийские.

кими и незаметными — выгорали на солнце, — но как только проходили апрельские ливни, сад оживал. Мисс Присцилла называла свое владение «Йоримба», что на языке австралийских аборигенов означало «О, как прекрасно!».

Весной она каждую субботу привозила с собой друзей. Они восторгались и буйным красочным разливом полевых цветов, и теряющимся среди них маленьким скромным домиком из красновато-коричневых бревен, и расстилавшимися вокруг просторами — холмами и равнинами под ясными или облачными небесами. В доме мисс Присциллы гости наслаждались покоем и полной свободой.

В сентябре и октябре холмы вокруг цвели так же буйно, как и ее маленький дикий сад. Но постепенно соседние участки были распроданы, и вдоль дороги, ведущей от главного шоссе, выстроились в ряд новые дачные коттеджи. Мисс Присцилла ничего не имела против соседей, но когда пришельцы начали вырубать заросли кустарников и уничтожать полевые цветы, она заволновалась.

— Они выдирают с корнем полевые цветы и дикий мирт, будто это сорняки, и сажают вместо них герань и капусту! — негодовала она.

Она посетила некоторых соседей и попыталась растолковать им, как удивительна и необычна красота полевых цветов, умоляла не уничтожать их. Большинство только смеялось над ее мольбами и всерьез поговаривало, что у этой женщины «не все дома». Мисс Теббат приходила в отчаяние, когда видела, что все ее уговоры тщетны и опустошение продолжается.

Но личные заботы заставили ее на время забыть о раздорах с соседями.

Летом, перед самыми школьными каникулами, она зашла к нам очень огорченная.

— Мама больна, а у отца был сердечный приступ, — сообщила она. — Мне придется поехать к ним. Может быть, я им чем-нибудь помогу.

Она вернулась перед самым началом учебного года вместе с отцом и матерью.

— Доктор запретил отцу заниматься тяжелой работой, — сказала мисс Присцилла. — А мама так плоха, что не может ухаживать за ним. Сэм собирается жениться и будет теперь вести хозяйство на ферме самостоятельно. Слава богу, у меня есть местечко, где я могу приютить родителей. Они поселятся в Йоримбе, и им уж никогда больше не придется надрываться.

Усталые, исхудавшие старики поселились в аккуратном и удобном домике мисс Присциллы. Их морщинистые загорелые лица, натруженные руки и костлявые тела говорили о длительной, упорной борьбе с природой.

Нелегко им было расстаться с фермой, рассказывала мисс Присцилла. Всю жизнь они тяжело трудились, выбиваясь из сил, чтобы справиться с засухами и выплатить банку проценты. Но чуть природа становилась благосклоннее, как в душе отца вновь возрождались былые надежды. Упрямый и неумолимый, он не хотел признаться, что он уже не тот, что был прежде.

А теперь им пришлось расстаться с землей, которую он сам корчевал, с амбарами и усадьбой, которые он построил. Старик и сам понимал, что Сэм по праву получил ферму: последние несколько лет вся тяжесть работы лежала на сыне. А девушка, на которой собирался жениться Сэм, не желала делить ферму да к тому же еще заботиться о старых и больных родителях мужа.

Мисс Присцилла радовалась, что Мэйзи, невеста брата, так прямо об этом и заявила. Мисс Присцилла сама хотела заботиться об отце с матерью, дать им наконец отдых и покой. К тому же она сумеет их содержать, заверяла она. Она хорошо зарабатывает, и они будут жить с нею в Йоримбе.

Бездомные, без гроша в кармане, старики переехали к дочери, и она с такой нежностью заботилась о них, что скоро они привыкли к своему новому жилищу. С их лиц исчезло напряженное, испуганное выражение. Они поверили словам Присциллы: она всегда мечтала жить вместе с ними, говорила она, и никогда еще не была так счастлива, как теперь, когда ей наконец удалось освободить их от тяжелого, непосильного труда на ферме.

Конечно, содержать на ее заработок целую семью было нелегко. Мисс Присцилла отказалась от комнаты в городе и по утрам ходила целую милю пешком до автобуса. Она приезжала домой к вечеру, когда солнце уже садилось, часто нагруженная пакетами с хлебом, мясом и другими продуктами, которые приходилось покупать в городе. Почти все вечера она занималась уборкой дома и приготовлением пищи, чтобы освободить от этих забот мать.

— Какая наша Присси хорошая, — говорили старики.

Теперь они выглядели куда лучше — успокоились и окрепли.

Но вот однажды мисс Присцилла с ужасом узнала, что ее хотят перевести в одну из школ на золотых приисках. Это считалось повышением, а вместе с повышением увеличивался и заработок. Здоровье родителей уже не внушало опасений. Теперь они могли ухаживать друг за другом. Мисс Присцилле очень не хотелось покидать свой «сад» и домик. Но она заявила, что учитель — это тот же солдат. Раз дан приказ выступать в поход — она обязана подчиниться.

В зимние каникулы она собиралась навестить родителей. Но приступ аппендицита заставил ее лечь в больницу. А когда она встала после операции, каникулы уже кончились. Мать в письмах просила дочь не волноваться. Папа чувствует себя прекрасно и целыми днями приводит понемногу все в порядок, да и сама она занята с утра до вечера.

Мисс Присцилла невольно задумалась над тем, чем ее мать может заниматься в Йоримбе «с утра до вечера». Не понравилось ей и то, что отец «приводит все в порядок». Но уж если ему не сидится на месте, пускай — что он там сумеет сделать, успокаивала она себя.

Однако тут мисс Присцилла ошибалась. Старик в свои семьдесят лет был таким крепким и выносливым, что не уступал иному молодому. Отдых прибавил ему сил. Он и раньше не знал, что такое безделье, а жить на необработанной земле и не приложить к ней рук — нет, этого он вынести не мог.

Когда он начал уничтожать полевые цветы, чтобы развести огород, друзья мисс Присциллы пришли в ужас. Они пытались было объяснить старику, что Присси обожает полевые цветы и поэтому, мол, оставила участок в неприкосновенности. Но все их старания пропали даром.

— Наша Присси знает что к чему, — твердо заявил мистер Теббат. — Я так разделаю участок, что ей и во сне не снилось.

Он срубил деревья, выжег кустарник, одолжил лошадь с плугом и вспахал землю. Он посадил виноградные лозы и фруктовые деревья, а перед домом разбил цветник. В нем миссис Теббат посадила ноготки и герань, левкой и душистый горошек.

Затем мистер Теббат построил курятник и сарай для коровы. Он купил кур и корову. От зари до темна трудился он, превращая «сад» мисс Присциллы в образцовую маленькую ферму.

Миссис Теббат с равной энергией трудилась в доме. Из денег, что ей присылала мисс Присси на хозяйство, ей удалось выкроить сумму на линолеум и тюлевые занавески на окна. Она развесила на стенах несколько дешевых гравюр и семейных фотографий.

— Вот теперь тут гораздо уютнее, — сказала она, с довольной улыбкой оглядываясь вокруг. — В гостиной раньше было пустовато, правда?

Бедная мисс Присцилла! Какое потрясение она испытала, когда на рождество приехала домой и увидела, что случилось с ее Йоримбой, этим «уголком нетронутой природы».

Увидев картину опустошения, она остановилась у калитки, не в силах сделать ни шага вперед.

Исчезли деревья и кусты, которые она так любила. Каменистая почва почернела от огня, несколько жалких гераней вели борьбу за существование на сухой, потрескавшейся от жары почве возле дома.

Но старики с радостью бросились ей навстречу, лица их светились счастьем — так они довольны были собой и сюрпризом, который приготовили для дочери.

— Ты, верно, и не узнала сразу участка, Присси? — с нетерпением спрашивал отец.

— Нет, — мисс Присцилла с трудом сдерживала слезы, — не узнала.

— Отец так старался, — пояснила мать. — Он нанимался к соседям корчевать участки, чтобы можно было купить корову. Теперь их у нас две, и отец взял внаем участок у ручья под пастбище.

— Но мне так хотелось, чтобы вы отдохнули! — в отчаянии воскликнула мисс Присцилла. — Я не хотела, чтобы вы снова работали.

— Мы не знали, куда себя девать, — ответила мать. — Как-то странно ничего не выращивать и жить без кур и коровы.

— Может, вы и правы! — Мисс Присцилла не в силах была скрыть своего огорчения.

— Присси, неужели ты недовольна? — спросила мать.

— Нет, конечно, довольна! — великодушно ответила Присси. — Здесь так чудесно!

Но вечером она пришла к нам и горько рыдала.

— Всю жизнь они трудились, бедняги, — с горечью сказала она, — и на старости лет им не так-то легко понять, как это можно жить, ничего не делая.

Отец и мать так и не догадались, почему мисс Присцилла сняла досочку с надписью «Йоримба», которую повесила когда-то у калитки.

Перевели с английского Н. Ветюшкина и Э. Питерская.



ИЗ СТИХОВ СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЭТОВ

Современная реалистическая поэзия Америки многообразна. Ее возникновение относится к началу двадцатого века и связано с литературным движением, получившим в Америке название «Поэтическое возрождение». Наиболее яркими представителями этого движения являются современные поэты Америки Роберт Фрост (род. 1875) и Карл Сэндберг (род. 1878).

За плечами у Фроста большая трудная жизнь. Он был простым фермером, сельским учителем, репортером. Первую книгу стихов ему удалось выпустить лишь в тридцативосьмилетнем возрасте. Несмотря на то, что его стихи быстро приобрели широкую популярность, зарабатывать на жизнь литературным трудом поэт смог лишь на склоне лет.

Важное место в творчестве Фроста занимают стихотворные новеллы, посвященные жизни американских фермеров. В них он ставит философские проблемы: о ценности и смысле труда, о человеческом достоинстве труженика, о доверии человека к человеку, дружбе человека с природой и т. д. Поэт раскрывает психологию простых людей, которые предстают в его произведениях яркими, многогранными личностями. Тон этих новелл спокойный, непринужденный. Но спокойствие рассказчика лишь кажущееся: Фрост всей душой любит простого человека, он тревожится за его судьбу, радуется и горюет вместе с ним, выступает в его защиту.

Продолжатель демократических традиций Уолта Уитмена, Карл Сэндберг стремится раскрыть в своих произведениях многообразие жизни американского народа. Подобно Уитмену, он пишет свободным стихом — избегая рифм и классических размеров.

Многие годы поэт посвятил изучению богатого американского фольклора. Результатом этой работы явилась его книга «Народ, да», представляющая собой сложную композицию из народных речений, высказываний великих деятелей прошлого, а также размышлений поэта о судьбах человечества. Книга «Народ, да» явилась значительным вкладом в борьбу американских писателей за мир и демократию, за реализм и народность литературы, за продолжение и развитие лучших традиций прошлого.

Трагическим был путь Вэчела Линдзи (1879—1931), который наряду с Робертом Фростом и Карлом Сэндбергом входил в «Большую пятерку» поэтов «Поэтического возрождения» (кроме Фроста, Сэндберга и Линдзи, ее составляли Эдвин Арлингтон Робинсон и Эдгар Ли Мастерс). В своем творчестве Линдзи разрабатывал мотивы негритянского, индейского, китайского фольклора. Подобно Уитмену, Робинсону, Сэндбергу, он воссоздал поэтический образ великого американца Авраама Линкольна. Поэт мечтал о том, чтобы поэзия стала достоянием всего народа. Скитаясь по Америке, он разъяснял простым людям смысл подлинной поэзии, читал рабочим и фермерам стихи современных поэтов. Его творчество, его проповедь народного искусства не встречали, однако, поддержки в литературных кругах. Видя крушение своих идеалов, Линдзи покончил жизнь самоубийством.

Стихи Лэнгстона Хьюза (род. 1902) обладают своеобразной ритмикой, свойственной народной негритянской песне, яркой образностью, в них неизменно присутствует национальный негритянский колорит. Хьюз не только выдающийся поэт. Он страстный борец за мир и свободу негритянского народа, он испытанный друг Советского Союза. Его стихи и рассказы хорошо известны нашему читателю.

РОБЕРТ ФРОСТ

★

Дрова

Однажды я бродил по мерзлой топи.
Уже смеркалось, и, замедлив шаг,
Я произнес: «Пора идти домой?
Нет, я пройду еще, а там посмотрим».
Был крепок наст, и только изредка
Нога проваливалась. А в глазах
Рябило от деревьев тонких, стройных
И столь похожих, что по ним никак
Не назовешь и не заметишь место,
Чтобы сказать: ну, я наверняка
Стою вот здесь, но уж никак не там.
Я просто знал, что был вдали от дома.

Передо мною вспархивала птичка,
Опасливо все время оставляя
Сосну-другую меж собой и мной.
Она не говорила ничего,
Но было ясно: глупой показалось,
Что будто бы я гнал ее за пером —
Тем, белым, из ее хвоста. Она
Все принимала на свой счет, хотя
Порхни в сторонку — и конец обману.
И там были дрова, из-за которых
Я позабыл ее, позволив страхам
Угнать ее подальше от меня,
И даже не сказал ей до свиданья.
И вот она присела за дровами —
И нет ее.

Лежал рядами клен,
Нарубленный, расколотый и ровный —
Четыре на четыре и на восемь.
И больше ни поленицы вокруг.
И не вились следы саней по снегу.

Рубили здесь не в нынешнем году.
Да и не в прошлом и не в позапрошлом.
Пожухла древесина, и кора
Растрескалась, скрутилась и отстала.
Осела кладка. Цепкий ломонос
Уже скрутил поленья, как вязанку.
И слева их держало деревцо,
А справа — кол и ветхая подпорка,
Готовые упасть. И я подумал,
Что только тот, кто вечно видит в жизни
Все новые и новые задачи,
Мог так забыть свой труд, труд топора,
И бросить здесь, от очага вдали,
Дрова, чуть согревающие топь
Бездымным догоранием распада.

Закон

Их было трое на большом лугу,
Сгребавших сено и метавших копны,
Поглядывая искоса на запад,
Где туча, отороченная солнцем,
Поблескивая острой сталью молний,
Росла, темнела. Вдруг один батрак
Вонзил с размаху вилы в землю — и
Пошел, не оборачиваясь, к дому.
Другой батрак остался. Фермер был
Из городских — и ничего не понял.

— Что с ним такое? — То, что вы сказали.
— Что я сказал? — Что надо постараться.
— С уборкой сена? Потому что туча?
Но я сказал ведь полчаса назад,
Сказал и вам и самому себе!
— Вы ведь не знали, что обычный фермер
Как раз таким манером понукает.
А Джемс — дубина, он вас так и понял,
А прежде, чем понять, жевал, жевал
И разжевал, озлился и ушел.
— Воистину дубина. Так подумать!
— Вы не волнуйтесь. Это вам урок.
Умелого работника не учат
Работать побыстрее да получше.
Я сам терпеть такого не могу.
И я бы сделал то же, что и Джемс,
Да знаю — вы устроены иначе.
Вы говорили что взбрело на ум
И, ясно, ни на что не намекали.

Вот что со мной однажды приключилось.
Мы с четырьмя или пятью парнями
У некоего Сандерса в Салеме
Косили сено. Он был мерзкий тип;
Его заглазно звали пауком —
Коржавые ручищи и ножищи,
А сам горбатый, кряжистый и круглый.
Как он работал! Он-то понимал,
Что этим заставляет нас работать
Получше, побыстрее. Я не спорю,
Он сам с работыдох, но никогда
Не прохлаждался, видя нас у дела.
Такому жмоту что фонарь, что солнце —
Он и ночами молотил в амбаре.
И он имел привычку понукать.
Косящих впереди он нагонял —
Вы понимаете, что это значит, —
Грозился, что косой отхватит пятки.

Он и меня порядком заедал
(Мы называли это «заедать»).

Я был настороже. Однажды в поле,
Когда мы с ним вдвоем свозили сено,
Мне что-то подсказало: быть беде!
Я влез на стог, утрамбовал. Хозяин,
Пригладив граблями, сказал: «О'кей!»
Телега тронулась. Все шло нормально,
Пока мы не добрались до сарая,
Построенного над большущей ямой.

Понятно, это легкая работа —
Валить с телеги сено прямо вниз;
Особенно когда ее сравнишь
С метаньем сена наверх, на телегу,
Любому ясно, что к такому делу
Подначка не нужна — судите сами.
Но этот старый дурень спрыгнул в яму,
Схватил обеими руками вилы
И заорал, совсем как настоящий
Армейский капитан: «Давай-давай!»
Чего еще он хочет? Чтоб не вышло
Какой ошибки, я спросил погромче:
«Вы говорите мне: давай-давай?»
«Давай-давай!» — он повторил, но легче.

Так вот, не дай вам бог сказать такое
Тому, кто уважает сам себя.
Я был готов убить его на месте.
Уж я-то знал, что надо делать с сеном.
Две-три охапки я поддел на вилы
И сбросил вниз — легко, не торопясь,
Как будто размышляя, — а затем
Единым духом вывалил телегу —
Всю — на него. И только раз взглянув,
Увидел, как, по горло утопая,
Гребет он там руками, как в воде.
«Так-так, — сказал я, — черт тебя возьми!»
Он пискнул, как раздавленная крыса,
И все умолкло.

Я смахнул с телеги
Остатки сена и поехал прочь
Немного поостыть. И вот сижу,
Труху из-под рубахи выбираю
И жду расспросов. Наконец один
Ко мне подъехал: «Слушай, где хозяин?»
«Под сеном в яме. Если он тебе
Понадобится, можешь откопать».
И по тому, как я затряс рубаху,
Все догадались, что произошло,
И понеслись к сараю. Я остался.
Все сено донизу перевернули —
И никого! Прислушались — ни звука.

Наверняка подумали, что я
Его сначала долбанул в висок.
Опять порылись в сене. «Надо, чтобы
Его жена сюда не забрела...»

Тут кто-то заглянул в окно и видит
Его — дрожмя дрожащего — у печки.
И это летом, в самый жаркий день!
Он даже сзади был таким противным,
Что окликать его никто не стал.
Я, стало быть, его недозасыпал,
Но уж зато пробрал до основанья.
Он не навевывался к нам весь день.
Мы занимались сеном. Он попозже
На огороде собирал горох —
Уж он не мог чего-нибудь не делать.

— Вы хоть обрадовались, что он жив?
— Не знаю. Как сказать... По сути дела,
Я убивать его и не хотел.
— И все же так нельзя. Он не прогнал вас?
— Прогнал? Нет! Он-то знал, что я был прав!

★

КАРЛ СЭНДБЕРГ

Народ, да

(Отрывки из книги)

Это рассказы и песни, недоступные осмеянию,
Пересыпанные заметками, достойными прочтения дважды,
Это пословицы и анекдоты, порожденные горем и радостью,
Порою летящие, как легкая мелодия в классическом стиле,
Врывающиеся в отнюдь не классические жигу и чечетку,
Переломленные простыми неровными звуками и отзвуками
Ревущих уличных толп, рабочих бригад, запруженных тротуаров,
С интерлюдиями синей полночной прохлады и недосыгаемых звезд
Над иллюзорными контурами небоскребов.

* * *

«У меня самые добрые и обходительные люди — убийцы», — сказал
начальник тюрьмы.
«Я убила его, потому что любила его», — сказала женщина, которую
вчера забрала полиция.
«Ух, как здорово! — сказала женщина, выходя из кино. — Это мировая
картина!»
«Разведенный обычно женится на женщине, похожей на ту, от которой
он только что избавился», — сказал юрист.
«Жизнь — грандиозное надувательство», — гласила записка школьника-
самоубийцы.
«Я выбираю присяжных с добродушными лицами», — сказал адвокат,
который всегда обелял подзащитных.

- «Не плачьте по мне, но организуйтесь!» — сказал председатель ИРМ¹ штата Юта перед расстрелом. Его последнее слово: «Стреляйте!»
- «Мы зарабатываем и зарабатываем, и все, что мы зарабатываем, идет в могилу», — сказала мать из подвала, у которой шестеро из восьми детей умерло от чахотки.
- «Смотри у меня, а не то живо попадешь на индивидуальную дачку с серебряными ручками», — хохотал полисмен на улице.
- «Привяжи шляпу к седлу — и поскакали!» — грохотал тип из Альбукерка, сам в огромнейшей шляпе.
- «Если я тебя больше никогда не увижу, не думай, что время медлит», — улыбался в лунном свете старожил из Вайоминга.
- Привстав на цыпочки, шепотом, чтобы никто не услышал, девочка из Браунсвилла лопотала на ухо высшему чину преславного штата Техас: «Скажите, а как это — быть губернатором?»
- «Почему, прослышав о крахе биржи, человек в черной пижаме влез на пожарную лестницу и прыгнул вниз головой с десятого этажа?» — «Его шестьдесят миллионов превратились в десять миллионеров, и он не знал, как теперь жить».
- «Если бы она была злоущей ведьмой, она бы этого не сказала; она была бы такой злоущей, что никогда и не узнала бы этого», — сказала малютка Энн.
- «Бог безусловно простит меня — это по его части», — сказал немецкий поэт, еврей, умирая на чердаке.

Маленькая девочка, впервые увидев военный парад, спросила:

— Кто это?

— Солдаты.

— А кто такие солдаты?

— Это которые для войны. Они воюют, и каждый старается убить как можно больше врагов.

Девочка задумалась:

— А ты знаешь? Я чего знаю...

— Что еще ты знаешь?

— Вот когда-нибудь устроят войну, а никто на нее не придет.

Один из старых чикагских поэтов,
 Один из сутулых чикагских поэтов,
 Имея лишь разум, дарованный богом,
 Не имея ни единого медного цента,
 Написал своим единственным карандашом:

«Я верю в судьбу человека,
 Я верю в нее больше, чем могу доказать,
 Я верю в будущее человечества,
 В необходимость мечты,
 В важность больших ожиданий.
 Я хотел бы быть одновременно
 Червем (коим я и являюсь)
 И астронавтом (коим я и являюсь)».

Перевел с английского Андрей Сергеев.

¹ ИРМ — Индустриальные рабочие мира — профсоюзная организация США, основанная в 1905 году и прекратившая свое существование в двадцатых годах. (Примеч. перев.)

ВЭЧЕЛ ЛИНДЗИ

*Авраам Линкольн бродит в полночь**(В Спрингфилде, штат Иллинойс)*

Как знаменательно для нас для всех,
 Что, думая о нас, как и тогда,
 Среди ночи в нашем тихом городке
 Вновь горестно он бродит у суда.

И дом он снова навещает свой
 (Здесь не слышать, как прежде, детворы),
 Чуть свет обходит рынок наш пустой,
 Заглядывает в темные дворы.

На острых скулах бронзовый загар.
 Его цилиндр всегдашний, старый плед.
 И вытертый сюртук все так же стар.
 Взгляд, нам знакомый с давних, давних лет.

Не спится Линкольну там, на холме.
 Он среди нас — и прежде и теперь!
 Не спится в этот ранний час и мне,
 И, встав, гляжу, приотворивши дверь.

И сколько их, дверей, отворено!
 Не может спать он, и как нам уснуть:
 Ведь столько фермеров разорено,
 Скорбь стольким женам разрывает грудь.

Дела агрессоров как позабыть,
 Дредноуты их как нам не разглядеть.
 Не может гнева своего он скрыть,
 Того, что плавит его сердца медь.

Когда же умирятся города
 И сменит наций непрестанный спор
 Союз народов всех, и власть труда,
 И вечный мир равнин, морей и гор?

Но гром войны все яростней гремит
 И будоражит бронзовую грудь.
 Кто даст земле им возглашенный мир,
 Чтоб снова на холме он мог уснуть?

★

*Орел позабытый**(Джон П. Альтгельд. Родился 30 декабря 1847 г.; умер 12 марта 1902 г.)¹*

Спи спокойно... орел позабытый... под могильной плитой.
 Время с тобой рассчиталось, и глина хранит твой покой.

¹ Джон Альтгельд — губернатор штата Иллинойс. Подвергся гонениям со стороны реакционеров за то, что выпустил на свободу трех анархистов, осужденных на пожизненное тюремное заключение, и за то, что протестовал против вызова войск для подавления стачки на заводах Пульмана в 1894 году. *(Примеч. перев.)*

«Наконец мы его погребли», — ненавидя, шептали они,
 Оплакивая на людях, торжествуя — когда одни.
 Клеветали, гнали, чернили, сжить хотели с земли,
 А теперь, когда ты умер, прославили... и погребли.

Ну, а те, что тебя поминали в молчаньи и страхе, в слезах:
 Вдова, лишенная крова, ребенок, что рано зачах,
 Униженный, обокраденный, нищий, убогий, увечный, нагой, —
 Те, что должны были помнить навеки... забыли подвиг твой.

А те, что тебя провожали в последний горестный путь,
 Чем они тебя помянут, когда время придет помянуть?
 Теперь, о тебе вспоминая, они о других говорят,
 Твоим именем называют они молодых орлят.
 И крыльев расправленных сила — это сила твоей мечты,
 И когда они стаяй взлетают, с ними вместе летишь и ты.

Спи спокойно... орел позабытый... под могильной плитой.
 Время с тобой рассчиталось, и глина хранит твой покой.
 Спи спокойно, мудрое сердце, зоркий и смелый орел.
 Жить в сердцах человечества — славнее, чем любой ореол.
 Жить в сердцах человечества... славней... много славней,
 чем любой ореол.

★

ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ

Мрак

Блуждая во мраке,
 Иногда
 Сбиваешься с пути во мраке, —
 Но не всегда.

Стуча кулаками
 В стену,
 Расшибаешь кулаки
 Об стену, —
 Но не всегда.

Стены, бывало,
 Рушились,
 Мрак сменялся зарей алой
 И цепи спадали вмиг!

Там, где прошли армии

— Мама, с красною звездой фуражку
 Нашел я там, в снегу.
 Только чья она, фуражка,
 Понять я не могу.
 — Да и я как след не знаю,
 Чья она, сынок.
 И звезды не различаю —
 Только козырек.

- Но звезда вот тут...
— А ты уверен,
Что это не кровь?
— Там, в снегу, их много, мама,
Красных звезд в снегу.
Чья же кровь? Скажи мне, мама,
Понять я не могу.
— Этого, сынок, не знаю.
Может, это кровь отца, мой мальчик.
Может, брата кровь, мой мальчик.
Не гляди туда.
— Вот, а если грязь очистить, мама,
Видно, что звезда.

Перевел с английского Иван Кашкин.



СТ. РАКША

★

ТУРБАЕВЦЫ*

Литературная запись Е. Герасимова

7. РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

1

Ровные степи тянулись вдоль берега Буга и в сторону от него, до далекого горизонта,— хлебородные нивы немцев колонистов и богатых хуторян. Населенные пункты тут были редки, и только после захода солнца впереди показалось второе за день селение — кажется, колония Карлсруэ. Опасаясь, как бы колонисты не открыли стрельбу в спину, Таран велел пройти это селение до наступления темноты.

Еще днем разведчики встретили двух мужиков.

— Откуда? Куда?

— Со своих баштанов. Случилась заваруха у нас — вот мы и ушли на баштаны.

— А что за заваруха?

— Да какой-то штаб красных был у нас на зеленой машине с мачтой. На расвете уехал. Осталось несколько повозок и начальник в автомобиле. Тоже собирался уехать, а тут откуда ни возьмись казаки налетели, чи махновцы, чи петлюровцы, кто их знае, сотни две, со свистом, с гиком, шашки сверкают. Ну, мы и побегли...

«Начальником в автомобиле» оказался начальник артиллерии нашей дивизии Дьяконов. Бандиты зарубили его и всех, кто с ним оставался. Так начался наш поход на север.

В густом облаке пыли, простиравшемся лентой на несколько километров, проходил полк через Карлсруэ: кавдивизион, штаб на тачанках, а дальше обоз — биндоги, мажары, брички, стада фальц-фейновских овец, батарея, санчасть на двуколках и чумазаая от пыли пехота, шагавшая гуськом справа и слева от обоза.

Вдоль колонны носились верхом дежурные рот и батальонов.

— Разберись по взводам!.. Не отставай!. Подтянись!

Бойцов томила жажда, но командиры не велили выходить из строя. Жителей не видно было — казалось, что селение покинуто людьми. Только иногда кто-нибудь высунется из-за высокого каменного забора, кинет взгляд на запряженных в мажары верблюдов — они тоже были взяты в фальц-фейновских имениях — и исчезнет, как неприятель за стеной своей крепости.

— Дальше на север бедноты будет больше — там уж насладимся, попьем воднички вволю,— успокаивал приунывших бойцов командир взвода Гриша Мендус, пружинисто шагавший босиком обочь дороги.

— Попьем! — мрачно сказал кто-то.— Белые встретят, а если не белые, так какие-нибудь зеленые — попят нас свинцовым дождем!

— Ну чего ноешь? Известное дело — война! — сердито отозвался другой.

— Да, товарищи, война — война бедноты с богатеями за власть и землю, за счастье всех трудящихся,— мечтательно говорил Гриша Мендус.— Завтра пройдем колонию Шпеер, потом будет колония Ватерлоо, а там и город Новая Одесса на Буге.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

— А ты откуда все знаешь? Был, что ли, тут?

— У комроты Самарца на военной карте видел. На ней все дороги обозначены и даже колодцы, а населенные пункты как на ладони видны. Все там есть. Замечательная карта.

— Неужто до самого Киева дорога видна?

— Нет, только до Новой Одессы. А в штабе есть, наверное, и до Киева.

— А какая там местность, на севере?

— Говорят, что там холмы, леса — в общем, местность пересеченная.

— Вот то-то и есть — для бандитов самая удобная.

— Да что они нам, эти бандиты! Думаешь, не справимся — сил у нас мало, что ли? Погляди, полк растянулся на сколько верст, какую пылицу поднял, одних верблюдов видать. А мы только авангард дивизии. В дивизии еще сколько полков! А там, слева где-то, Одесская дивизия идет, тоже, говорят, большая сила. Пробьемся! И опять же не надо забывать, что впереди идет разведка. Теперь уже не Алехин у них начальник — Таран его отстранил за паникерство, — а Кулик. Он маленький, но глазастый, все высмотрит и проверит, смело можно идти. А в прикрытии у нас Василий Коваленко со своими пулеметными тачанками — верные защитники пехоты.

Враждебно притаившаяся колония Карлсруэ осталась позади. Уже стемнело. Кухни, готовившие пищу на ходу, начали съезжать с дороги на сторону. Дежурные передали долгожданную команду на привал.

В свете белой круглой луны видна была степь, заросшая бурьяном, и вдалеке копны скошенного хлеба. В какую бы сторону ни глядели истомленные жаждой люди, они нигде не видели никаких признаков того, что поблизости есть вода. Со злой досадой говорили:

— Сколько хлеба останется у этих пауков, присосавшихся к нашей земле!

Рассыпавшиеся по степи конники удалялись на поиски какого-либо озерца, чтобы попить лошадей, а на кухнях ротные повара уже разливали по котелкам, бачкам и ведрам суп, расчетливо кладя по одному куску жирной баранины на каждого.

2

После трехчасового привала, во время которого люди, свободные от караула, успели немного подремать, полк продолжал свой путь, торопясь оторваться от наседавшего противника. До рассвета бойцы шли молча, а если где-нибудь возникал разговор, то только о воде. Ругали разведчиков за то, что будто бы по их вине командиры не дали напиться в Карлсруэ: пугали, мол, стрельбой в затылок и прочее, а ничего такого не было.

С восходом солнца все приободрились, словно почувствовали, что до колодцев уже недалеко. Вскоре раздался чей-то восторженный возглас:

— Смотрите, смотрите — там какое-то селение!

Это была колония Шпеер. На ее широкой улице наши кавалеристы уже осаждали колодцы.

Напившись, попив лошадей и набрав с собой сколько можно воды, люди, не задерживаясь ни на минуту, двигались дальше.

Фурсенко, проверивший наличие боевого состава рот и команд, сообщил, что за ночь исчезло четверо бойцов. У Тарана это сообщение не вызвало никакого беспокойства, наоборот, оно было воспринято им с удовлетворением: не так уж много в полку оказалось трусов и маловеров, можно было думать, что их будет побольше.

В ротах о дезертирах никаких разговоров не велось: уши, ну и черт с ними, невелика потеря.

Поход продолжался. Покачиваясь на тачанке, Прокофий Иванович дремал, время от времени поднимал голову, оглядываясь, но в облаке пыли, сопровождавшем колонну, в трех шагах ничего не было видно. И все ехавшие на повозках, кто сидя, кто лежа, дремали. Казалось, что опасность уже осталась позади. Некоторые уже успели соорудить на своих повозках шатры из брезента или шалашики из стеблей подсолнуха и кукурузы и похрапывали, защищенные от пыли, солнца и мух.

Прошли колонию Ватерлоо, недалеко уже была и Новая Одесса, где ожидался большой привал, но штаб дивизии изменил маршрут, и Новая Одесса осталась справа. Вознесенск тоже остался справа, а полк все шел и шел извилистыми проселками день и ночь, останавливаясь только на короткие привалы.

В степных просторах, которые пересекал двигавшийся в облаке пыли полк, не видно было ничего, что могло бы насторожить, и бойцы, шагавшие гуськом по обе стороны обоза, притомившись, стали складывать свое оружие на повозки.

На маршруте полка опять оказался Буг, предстояла вторая переправа через него. Специалистом по переправам у нас был Петро Биленко, старый збурьевский моряк, плававший капитаном грузовой шхуны. Его послали на Буг с командой разведчиков, выделенных из роты Шатохина, во главе с ротным. Двадцать два человека ехали на двух подводах. Когда лошади взмокли и от усталости даже уши у них повисли, разведчики послезаляли с подвод. Вскоре попало им поле поспевающих уже в ту пору подсолнухов; пока каждый сорвал себе по шляпке, выбирая шляпку почернее и побольше, немного поотстали от подвод, на которых оставили свое оружие, однако шли не торопясь, вразвалочку, беззаботно грызя семечки и поплеывая скорлупой на дорогу.

При спуске к переправе через Буг у мельницы, стоявшей на старенькой плотине, дорога проходила под большой, нависавшей над берегом скалой.

Подводы с оружием уже миновали скалу, а разведчики только подходили к ней. Биленко, отставший по естественным надобностям, догоняя товарищей, увидел с бугра, что внизу происходит что-то неладное: какие-то вооруженные люди, выскочив из-за скалы, сбились в толпу и преградили дорогу.

Разведчики, оказавшиеся без оружия, топтались в нерешительности. Но Биленко был мужик сообразительный. Быстро сбежав вниз, он со свирепым видом накинулся на Шатохина, пытавшегося вступить в переговоры с бандитами, которые тоже не проявляли решительности.

— Ты чего тут рассусоливаешь, мать твою так-то! Красные идут на переправу. Живо разбирайте оружие и занимайте позицию у плотины. Господин полковник приказал перекрыть большевикам путь на тот берег и держаться до подхода полка.

— А хiba вы не большевики? — испуганно спросил один из бандитов.

— Ах ты сволочь! — заорал на него Биленко. — Вы что, до большевиков собрались? Вот сейчас их высокоблагородие подъедут со своим штабом — всех вас, сукиных детей, перевешают.

— Да мы не большевики... Мы за пана Петлюру, — загалдели бандиты.

— А если петлюровцы, так чего держитесь за бабы юбки, вместо того чтобы воевать с большевиками?

— Патронов у нас нет.

— Патронов мы вам дадим, — пообещал Биленко и крикнул своим разведчикам: — А ну, ребята, поделитесь с господами петлюровцами! Они хоть и домоседы, но все же вроде как бы наши союзники.

Растолкав опешивших бандитов, разведчики кинулись к своим подводам, вмиг разобрали винтовки и стали окружать банду. Она не оказала сопротивления. Двое пытавшихся убежать были убиты, остальные обезоружены и отпущены домой.

Так произошла наша первая встреча с петлюровцами.

И потом не раз бывало: столкнутся наши разведчики с бандитами, и начинается разговор:

— Кто вы такие?

— А вы кто такие?

По одежде не различишь: и те и другие с виду мужики.

Полк перебрался по гребню ветхой плотины на северный берег Буга и опять, окутавшись облаком хрустевшей на зубах пыли, устремился дальше по заданному маршруту. От наседавшего сзади противника дивизия оторвалась, и теперь надо было, раскидывая и уничтожая бродившие на нашем пути мелкие банды, опередить денкинецов и петлю-

ровцев, рвавшихся в общем направлении на Киев, наперерез нам, одни с востока, другие с запада.

Для ускорения марша пришлось всю пехоту посадить на подводы, а это потребовало мобилизации крестьянского транспорта и частой смены лошадей.

Обычно мы просили селян указать кулаков, у которых хорошие кони, но случилось, что ездовые меняли своих уставших или раненых лошадей не только у богатых мужиков. Подымался шум:

— Бандиты! Грабители! Сволочи!

И при мобилизации подвод не обходилось без шума. Мужики орали:

— Нас махновцы и всякие банды совсем загоняли, хлеб в поле необрунный стоит, а тут еще и вы!

Бойцы объясняли:

— Да поймите вы — с нами едут подводы из-под Николаева, нельзя не отпустить людей домой.

Если мужики все же не хотели ехать, бойцы сами запрягали коней и выезжали со двора, и тогда хозяин тоже поневоле садился на подводу, а хозяйка, провожая его, рыдала.

Сердце болело от таких сцен, но избежать их было невозможно, и потом в походе велись грустные разговоры о том, что вот уже август кончается, а в поле много еще необрунного хлеба и все потому, что коней загоняли, покалечили, поубивали; если война еще долго продолжится, мужики вовсе останутся без лошадей, пахать не на чем будет, и какой тогда толк от того, что поделили помещичью землю.

Запоздалая уборка хлебов наводила бойцов на думы о своих родных краях: неужели и там так поздно жнут серпами, косят косами, а если лобогрейками, то неужели и там лобогрейки так же лениво трещат в упряжках быков или коров?

Увидев в поле коров, запряженных в лобогрейку, кто-то подумал вслух:

— Не может того быть, чтобы и у нас тоже коров запрягали!

А другой в ответ ему:

— А ты думаешь, у нас там много лошадей сохранилось? Белые, будь уверен, всех забрали, может быть оставили каких-нибудь негодных кляч — им ведь казаков не на кол сажать, а на коней, и для обозов тоже кони нужны. Антанта им лошадей не даст — она сама английские орудия на мулах таскает.

Много велось таких разговоров и на марше и на бивуачных привалах в степи, у костров. И Феодосий Харченко, придя как-то на привале в санчасть навестить своего друга Алексея Гончарова, заговорил о том же:

— Как после войны будем крестьянское хозяйство подымать, если за войну всех лошадей изничтожим?

Вокруг двуколки, на которой лежал Алексей Гончаров, на привалах часто собирался народ. Какие только тут вопросы не возникали, и все больше о будущем. Гончаров много думал о нем. Даже когда он стонал от боли, его затуманенные глаза смотрели куда-то ввысь, точно он видел там, в небе, то, о чем он думал и от чего не мог оторвать взгляда. Порой боль была немогоду, и тогда он звал лекарей. Они не знали, чем ему помочь, и он, нервничая, говорил им:

— Ну, что вы стоите? Помогите, прошу вас, мне думать надо, а я не могу — голова сильно болит.

Наши полковые лекари — все они были деревенские фельдшеры — страдали от своей беспомощности, а он не спускал с них острого, пронизывающего взгляда. Брови у него были насулены — тугая повязка на лбу прижимала их книзу, отчего он выглядел не по возрасту пожилым и суровым.

Но когда вокруг него собирались земляки и друзья и речь заходила о будущем, Алексей забывал о боли, взгляд его становился светлым и добрым.

— Ты, Феодосий Степанович, о лошадях не беспокойся, — заговорил он, отвечая на недоуменный вопрос нашего уважаемого комбата. — Разобьем всех врагов, и все пойдет по-другому, не так, как было до сих пор. Тяжелый труд людей заменят машины, и в плуги вместо коней будем запрягать машины. Уже выдуманы такие. Командир наш видел их в Америке на выставке. Поговори с ним, он тебе расскажет... Вот я и думаю...

— И не думай об этом, Алексей. То в Америке! На выставке! Прокофий мени уже это уже рассказывал. А я ему на то сказал, что мужик в жизнь не променяет коня на машину. Несбыточная это фантазия. Машины нужны — это правильно, я не возражаю, но только кони тоже нужны, без лошадей в крестьянстве невозможно. Пустая это ба- лачка.

— О лошадях спору не может быть. Это Феодосий верно говорит. Нельзя их изничтожать, нужные в хозяйстве животные,— сказал старик Савенков и тут же свернул на свое: — А буржуев надо изничтожить всех до одного, иначе опять голову подымут.

— А мы их заставим работать на себя — мы же теперь хозяева государства,— заметил, вступая в разговор, Гавриил Соценко.— На самые тяжелые работы буржуев пошлем. Пусть таскают кирпич и бревна на рештовку, чтобы нам больше не надры- ваться.

— Будут они тебе таскать тяжести! Это же тунейдцы известные, люди бесполез- ные для тяжелого труда.

— Эх вы, старики! — снова заговорил Алексей Гончаров.— Слушаю я вас и думаю: по ужасам эксплуатации вы большие знатоки и природу тунейдцев хорошо знаете, а в коммунизме вы пока мало что смыслите. Будьте спокойны — никаких тяжестей при коммунизме никому таскать не придется. Как у нас во флоте на боевых кораблях грузят уголь, снаряды и другие тяжести? Грузят подъемные краны. Люди только под- вязывают. Так скоро всюду будет, лишь бы власть была в руках трудового народа, а не у буржуев. Зачем им нести расходы для облегчения труда — не они же таскают груз, а грузчики. А когда хозяином станет народ, он сделает все для облегчения своего труда, ничего не пожалеет, чтобы легче было работать. Так что не волнуйтесь, това- рищи грузчики и каменщики, не придется никому надрываться, и на ваших работах, как сейчас на боевых кораблях, будут приспособлены разные подъемные машины, которые подадут любой груз на любую высоту.

Много народу собралось возле двуколки раненого моряка, и все подходили и под- ходили любители поговорить о будущем, как станут жить люди, когда произойдет мировая революция и всем войнам наступит конец. Подошел Степан, брат командира, спросил:

— О чем толкуешь, Алексей?

— Да вот Соценко говорит, что при коммунизме буржуи будут на нас работать, а я ему говорю, что не буржуи, а машины.

— Правильно говоришь,— подтвердил Степан.— Мироедам, кровопийцам, разным паразитам и лодырям при коммунизме места не будет. Будут одни свободные труже- ники, владеющие всем богатством.

— Значит, все богатые будут? А ведь мы сейчас ведем борьбу с богатыми. Как же так? — спросил кто-то с недоумением.

— Вопрос ясный,— сказал Степан.— Мы против богачей, которые грабят бедных, издеваются над ними и не дают им никаких прав, но мы за богатство для всех, чтобы у тебя и твоей семьи было все, что нужно и сколько нужно. А что для этого должно быть? Государство наше должно быть богатым, иметь много заводов, фабрик, много одежды, обуви и всяких продуктов.

Степану будущее было ясно; когда речь шла о нем, он мог по любому вопросу, не задумываясь, дать разъяснение, а если его спрашивали, откуда он это знает, Степан отвечал:

— Мне Прокофий, брат, говорил, а он Ленина и Маркса читал.

Алексей Гончаров в таких случаях чаще всего ссылался на флотскую жизнь.

Зашел разговор о равноправии женщин — этот вопрос возбуждал у нас большие споры. Дотошный Харченко стал допытываться:

— А кто же по дому будет работать? Штаны-то кто-то должен зашить, обед кто-то должен приготовить, да и детишек надо обмыть. Если все это опять будет делать жен- щина, то где же тут равноправие?

— А ты, Феодосий, считай, что твоя семья стала большой, как экипаж на кораб- ле,— сказал Алексей.— В такой семье каждый будет знать свои обязанности: ты за

машиной ходишь, один сын кочегарит, другой вахту несет за штурвалом, ну а жена — кок, в камбузе у плиты орудует, и дочки там же, помощники кока. Вот тебе и равноправие в обязанностях и распределение труда.

— Погоди, погоди! Как же это так? — Харченко подумал и сказал: — Ну хорошо, Алексей, допустим, как экипаж на корабле, но это когда семья большая, а если семья маленькая, то тогда как?

— Я думал об этом, Феодосий. На заводе или на фабрике и сейчас все равно как на корабле, а в селе нет еще организованности, там надо создавать сообща на тот же манер большое хозяйство, коммуны, как у нас в Духнине, иначе нельзя...

— Плодородие почвы надо подымать, чтобы народ сытно жил, — сказал Харченко.

— Солончаковые и песчаные земли плохо у нас родят, а мы должны заставить их хорошо родить.

— Научные опыты надо делать, — живо подхватил Алеша Часнык. — Реки надо использовать в сельском хозяйстве для орошения, можно даже искусственные дожди устраивать. А в кучегурах заводы построим, будем стекло варить из белых песков, чтобы они зря не пропадали.

Алеше было всего семнадцать лет, но он слыл у нас ученым человеком. Его больше всего интересовала техника будущего. Когда в Скадовске появился первый в нашем крае автомобиль — им обзавелся тамошний помещик, любитель всяких новшеств, — Алеша за десятки верст ходил поглядеть, как этот автомобиль соревновался с лихой тройкой, запряженной в тачанку. Его старший брат, служа в армии, выучился на шофера, и Алеша тоже намеревался стать автомобилистом.

Все в будущем он связывал с автомобилями, аэропланами, электричеством и считал, что главная двигательная сила будущего — ветер: ветряные станции и будут вырабатывать электричество.

— Наслушаешься ваших фантазий, а потом сны одолевают, — засмеялся наш пулеметный начальник Вася Коваленко.

В походе его убаюкивало на мягких рессорах тачанки, и он иногда сидя засыпал и чему-то улыбался во сне. Однажды, проснувшись, он схватился за пулемет. Его потом спросили:

— Чего ты, Вася, сначала все улыбался, а потом вдруг встревожился?

— Приснилось мне, будто я с какой-то девушкой ехал на автомобиле, — сказал он. — Подъезжаем мы к большому красивому дому, он весь в зелени утопает. Я даже подумал: вот это и есть тот самый рай.

— А что же в этом раю? — заинтересовались пулеметчики.

— Этого я не доглядел. Только мы хотели войти в дом, как мне почудилось, что стрельба началась. Подумал, что банды Тютюника наступают, и проснулся.

А другой раз ему привиделось в походном сне, что все наши враги уже разбиты, Ленин выступает на каком-то огромном митинге и говорит: «Победу мы, товарищи, завоевали, теперь будем жить по-новому» — и тут же отдает команду пошить по сто миллионов мужских костюмов, женских платьев и сапог, чтобы одеть и обуть пообносившийся за войну народ.

8. ПРОРЫВ

1

Степные просторы, напоминавшие наш родной край, остались позади. Началась холмистая местность, которую многие из нас, турбаевцев, в жизни еще не видели: подъем, спуск и снова подъем. Все чаще на пути попадались рощи, речки и села. Это была уже Киевщина, живописная и густонаселенная.

То рысью, то шагом на подводах одолевали путь колонны полка. На подводе пятнадцать, а то и более бойцов. Иные полулежат впривалку друг к другу, иные сидят, свесив ноги. Там только что разжившиеся в селе самосадам закуривают компанией, там шумят, кто-то сбрасывает кого-то с повозки, курица кудахчет, взлетает — это куролава учат, чтобы не шарил по дворам, — там кто-то тихо напевает песню.

— Стой! — передают дежурные по колонне.

Бойцы обрадованно соскакивают с повозок — не привал ли? Мокрые лошади оглядываются назад — не несут ли им сена?

Напрасная надежда! Новая команда:

— Тронулись!

И снова подъем, спуск, подъем. Если с лошадьё что случилось — устала, не хочет идти дальше — или колесо сломалось,— движение не останавливается: подводу выводят с дороги на обочину, бойцы, ехавшие на ней, торопятся разместиться на других подводах.

Неподалеку от дороги видно сено в копнах. Все бросаются к ним, набирают полные охапки сена — надо запастись им, лошади голодные.

Где-то далеко впереди раздаются выстрелы. Движение останавливается. Все хватаются за винтовки, настороженно глядят вперед, но с повозок не сходят, ждут команды. Стрельба впереди усиливается. Дежурные дают команду:

— Приготовиться!

Бойцы соскакивают с повозок и идут по обеим сторонам дороги гуськом. Ездовые забирают покрепче в руки вожжи, чтобы лошади, испугавшись, не помчались.

Вдруг стрельба поднимается где-то рядом. Один выстрел слева, другой справа. Кто, откуда стреляет, не поймешь: пыль столбом, ничего не видно. Кое-кто из мужиков-подводчиков бросает вожжи, с ужасом в глазах высоко поднимает руки — еще не зная кому, они уже сдаются в плен, просят пощады. Другие возчики изо всей мочи хлещут коней. Подводы налетают одна на другую. Слышны команды:

— Рота, за мной!

Роты уходят с дороги вправо и влево, чтобы прочесать местность или отбросить появившуюся на пути движения полка банду.

Медработники надевают свои сумки с красными крестами и бегут за ротами.

Через час стрельба затихает, роты возвращаются, бойцы шумно рассаживаются по подводам, и полк снова продолжает путь.

Вчера была стычка — можно назвать ее и боем — с бандой Тютюника, сегодня схватились с бандой Ангела. Что ждет нас завтра, какие еще банды встретятся нам на пути?

Миновали Врадневу, впереди, на расстоянии двух-трех переходов, был Гайворон.

На одном привале возле какого-то небольшого села местные крестьяне говорили нам:

— Там, у Гайворона, на речке Синюхе,— большие леса, опушки все в зарослях кустарника. Будьте осторожнее в тех местах. Там бандитов пропасть, они там гнездяты, устраивают засады и в налеты ходят оттуда.

Эти же крестьяне жаловались:

— Вот уж сколько живем безо всякой власти. Двух председателей Совета бандиты убили. Теперь больше не выбираем — никто не хочет идти в Совет. Все бродим, как тени, всего и всех боимся, уже не знаем, куда и прятаться. Раньше были здесь григорьевцы. Говорят, что их батьку убил батька Махно и они куда-то перекочевали. Теперь тут какой-то батько Зеленый появился и орудует со своими зелеными. Эти зеленые не люди, а звери. Все забирают — и лошадей, и поросят, и птицу. А если кто вздумает перечить, бьют прикладами, раздевают и куда-то уводят. Девки, бедные, днем и ночью прячутся от них... Недавно прошли тут махновцы, тоже зверствовали — убивали, хаты жгли. Вы уж нас извините — видим, идете, опять бандиты, думаем, попрятались кто куда, а вы мимо прошли, в поле остановились — значит, не бандиты. Кто же такие, не пойдем. Слух был, что денкиинцы идут, а оказывается, красные пришли.

2

Приближаясь к гнездовью бандитов, полк изменил тактику в походе. Гаран отдал команду перегруппироваться: головным стал первый батальон, конники пошли следом за ним, второй батальон был оттянут в прикрытие артиллерии, третий выдвинут вправо, четвертый — влево. Обозы со всем хозяйством под охраной кавэскадрона и двух

пулеметных тачанок пошли другой дорогой вслед за полком Лунева, который двигался левее нас.

Впереди выростала, закрывая горизонт, темная, пугавшая наших степняков гряда леса с селом перед ним. Не доходя опушки, передовые роты батальонов развернулись в цепи, и, как только левофланговая рота вошла в кустарниковые заросли, затрещал бандитский пулемет и беспорядочно захлопали ружейные выстрелы. Наша артиллерия, уже успевшая развернуться, открыла огонь, и через несколько минут все стихло: банда зеленых скрылась в лесной гуще.

Село, в которое вступил первый батальон, встретило нас ревом бродившего по улицам скота: при нашем приближении зеленые пытались угнать отсюда скот в лес, но не успели. Во многих хатах были выбиты все оконные стекла. Откуда-то робко появлялись поодиночке мужики. Странный они имели вид: все с головы до ног обсыпаны кто соломой, кто сеном. Оказалось, что во время бандитского налета они прятались в скирдах и копнах.

Не успев очистить себя от соломенной и сеной трухи, мужики обращались к командирам и просили принять их в полк добровольцами. Прибывший в село комиссар полка велел организовать на площади у церкви митинг. Расположившийся тут полковой оркестр заиграл марш, и со всех сторон ожившего села на площадь потянулись кучками народ.

Добровольцы, вступившие здесь в полк, поднимались на бречку, служившую трибуной, и клялись своим землякам отомстить и белым и зеленым. В это время бойцы третьего батальона привели на площадь несколько пойманных в лесу бандитов. Толпа надвинулась на них. Одна минута — и они были бы растерзаны, но комиссар успел предотвратить самосуд. Вскочив на бречку, он закричал:

— Граждане селяне, не волнуйтесь! До конца митинга трибунал объявит приговор, и он тут же будет приведен в исполнение согласно вашей воле.

Так это и было. Под конец митинга на бречку поднялся комендант штаба Клевцов с листком бумаги в руке и прочел приговор «кименем Советов». Бандиты были расстреляны.

На следующий день полк двигался лесной дорогой. Наконец-то мы избавились от порожившей глаза и скрипевшей на зубах степной пыли. И зной уже не мучил, не одолевала жажда. Лес был смешанный — хвойный и лиственный. И вид и запах его казались нам необыкновенными. Но как настораживало всех самое легкое потрескивание сухих веток на обочине дороги: так и жди выстрела из-за любого куста.

В одном селе нас встретили бородатые старики с хлебом и солью, а на выходе из этого села нас подкарауливала банда. Завязавшийся с ней бой продолжался часа два. В другое село мы пришли после того, как тут побывали — в этот же день — махновцы и следом за ними еще какие-то бандиты, может быть Зеленого, крестьяне этого точно не знали. На улицах лежали трупы, до того изуродованные, что только по одежде можно было отличить мужчин от женщин. Дворы и палисадники были завалены разной домашней утварью и усыпаны пухом и пером из распоротых подушек.

— Долго ли будут истязать народ? Когда кончится этот ужас? — спрашивали нас мужики.

Очень ожесточало все это наших бойцов.

Бывало и так: переловят в лесу бандитов, а в штаб приведут для допроса одного или двух. Таран спрашивает:

— А где остальные?

— Там, в лесу остались, сваленные в кучу.

Боролсь с этим — и на собраниях говорилось, и строгие предупреждения давались, — и все же самочинные расправы с бандитами случались.

Миновали Ульяновку, прибыли в Грушку, и тут пришлось немного задержаться, потому что за Грушкой развезжали какие-то верховые и наша разведка сначала приняла их за банду. Потом выяснилось, что это конная разведка полка Лунева, крутившаяся перед Грушкой, думая, что в Грушке укрылись бандиты, которых она выслеживала.

— А может быть, и укрылись,— сказал Таран.— Они, как ужи, заползают и в хаты. Надо проверить.

Разведчики Лулева остались в Грушке проверять, не притаились ли здесь бандиты, а мы двинулись дальше, на Гайворон. На речке Синюхе нас дважды обстреляли из пулеметов. Роты прочесывали лес. Он тут был особенно темным, жутким. Или это только казалось нам? В тот день стало известно, что Киев занят деникинцами, встретившимися в городе с петлюровцами.

Куда отошли части Красной Армии из Киева? Удастся ли нам сомкнуться с ними или наш путь на север окончательно прегражден? А если так, значит прав был Алехин — погибнем мы все тут, в чужом краю. Притих весь двигавшийся на подводах полк: у многих в те дни уныние боролось с надеждой, и казалось, вот-вот уныние возьмет верх. Ведь деникинцы тогда захватывали один город за другим, наступление их продолжалось всюду, а на московском направлении они были уже под Орлом.

3

От Гайворона полк двигался на Умань. На одной большой поляне была дана команда на привал. Бойцы расположились на свежей стерне среди копен убранного хлеба. Уставшие до изнеможения люди рассчитывали, что полк останется тут на ночевку.

Впереди темнел густой лес, и по опушке его шла дорога на север — на Христиновку, Монастырище и далее на Жашков. Вдоль дороги на рельсовых опорах высились столбы, на них в несколько рядов тянулись телефонные и телеграфные провода. Вправо через лес проходила железная дорога. Недалеко была станция Вапнярка.

Ротные повара раздали обед. Уже несколько дней его варили без соли, запасы ее кончились. И вообще с продовольствием становилось плохо, доедали последнее. После обеда было проведено партийное собрание. Комиссар созвал его в связи с тем, что от населения стали поступать жалобы на красноармейцев: ловят кур, поросят, берут сметану, яйца, а денег не платят. Одного недавно вступившего в полк бойца товарищи поймали с полчиным в крестьянской хате у сундука. По приговору полковой группы трибунала он был публично расстрелян в том же селе.

Когда на собрании зашла речь о расстреле мародера, раздался голос Баржака:

— Об этом сметанникам надо почаще напоминать в назидание.

Под Вознесенском в наш полк влился кавалерийский отряд в двести пятьдесят сабель под командой Урсулова. Лихо ездил этот командир на своем разукрашенном сбруей коне. Нарядные уздечка и седло, попона с рисунками, висевший на поясе кинжал, сабля, отделанная серебром, и, конечно, усы придавали всаднику командармский вид.

Баржак, хотя он и сам носил щегольские штаны, сразу невзлюбил этого внушительного и грозного франта.

— От его серебряной сбруи и от его ретивой братвы так и несет анархизмом,— говорил он.

И был прав. Под внешним блеском и лихостью скрывалась гниль. Четырех самых лихих урсуловцев сразу же пришлось выгнать из полка за пьянство и вымогательство. Однако это мало помогло. Только после расстрела барахольщика урсуловцы стали побаваться залезать в крестьянские сундуки, но за сметаной они продолжали ездить, за что и получили прозвище сметанников.

Из-за сметанников и поднялся спор на собрании. Старик Чупрына, непримиримый к человеческим порокам, призывал железной метлой очищать полк от всякой дряни и скверны и даже обвинял командира и комиссара в попустительстве к сметанникам. Многие требовали крутых мер. Было предложение разоружить весь эскадрон Урсулова. Баржак сказал, что он может взять это на себя. И все-таки решили, что нужно обождать,— урсуловцы еще могут исправиться.

— Надо действовать на людей словом и песнями,— сказал под конец комиссар и пояснил: — Приходят в полк новые бойцы, спойте с ними «Слушай, товарищ, война началась...» Объясняя международное значение нашей борьбы, спойте «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!..»

— Да разве проймешь песнями этих сметанников и барахольщиков? — усомнился кто-то.

— Если у человека есть сердце, не может быть, чтобы наши революционные песни не дошли до него, — ответил комиссар.

Он часто говорил: «Песня — лучшее средство агитации». А когда кто-нибудь запевал грустную песню, спрашивал: «Ну зачем сами себе разлагаете душу? — И просил: — Давайте, товарищи, запоем свою, революционную». И, сгоняя с лица грустную улыбку, встряхивал своей гривастой головой.

После собрания спели «Интернационал» и, разойдясь по своим ротам, подсели к бойцам, расположившимся вразвалочку возле дороги. Разговор, начатый на собрании, продолжался по всему полку, пока сон не сморил давно уже не высыпавшихся людей.

Мы с командиром и комиссаром шагали по столбовой дороге, которая перерезала наш постепенно затихавший бивуак. Командир шел молча, озабоченный только что полученными из штаба дивизии новыми сведениями о продвижении деникинцев и петлюровцев. Мы уже были у них в клещах: справа и позади — деникинцы, слева и впереди — петлюровцы. А полк крайне нуждался в основательном отдыхе. Комиссар говорил:

— Нужна передышка, хотя бы на сутки, на двое. Уже около месяца в пути, позади осталось более пятисот верст, а если учесть все зигзаги, обходы и погони за бандитами, то будет много больше. Люди измотались, не могут помыться, белье постирать. Грязь и вшивость заедают.

— А держатся крепко, духом не падают, — перебил командир и, покосившись на комиссара, сказал: — Ты бы, Вася, сам хоть разок помылся как следует и гриву свою расчесал или, еще лучше, вовсе срезал, а то все других агитируешь, а о себе забываешь. Нехорошо, все-таки студент.

Подойдя к клубному фургону, стоявшему на обочине дороги, мы остановились. Чупрына, разложив возле себя на стерне влажные портянки, просвещал музыкантов. Они сидели, раздевшись до пояса, и занимались ручной санобработкой своих нателенных рубах. Старик рассказывал, как в пятом году наши днепровские бунтари развозили по селам отобранное у помещиков добро и раздавали его бедноте.

— Для себя они ничего не брали. Я это хорошо помню. Я уже тогда участвовал в революции, — говорил Чупрына.

У нас над головой звенели телефонные провода. Таран то подымал к ним глаза, то опускал их и хмурился. Тревожное внимание сменялось на его лице глубоким раздумьем.

— Вот как было, — продолжал свои воспоминания Чупрына. — Помнишь, Прокофий, листовку? — спросил он, обернувшись к командиру. — «Царь испугался, издал манифест — мертвым свобода, живых под арест».

Таран и бровью не шевельнул. Казалось, он прислушивался к звенящим проводам. И все стали прислушиваться. Меня словно что-то толкнуло — я пошел к своим повозкам, взял телефонный аппарат, шест и стал попеременно включаться то в один провод, то в другой, пока не услышал в трубке треск и какие-то непонятные звуки. Когда, сделав заземление, я основательно подключился, в трубке четко раздался голос человека, разговаривавшего с кем-то по-украински.

Подошел командир и взял у меня трубку. Немного послушав, Прокофий Иванович заулыбался и даже озорно подмигнул мне. Потом он еще долго слушал с очень довольным видом, а под конец от нетерпения стал переступать с ноги на ногу, как на собрании, когда он порывался уйти, не дослушав надоевших ему ораторов.

— Ну, хлопцы, крышка нам с вами, гроб с музыкой — паны полковники западню нам строят, — весело объявил он, возвращая мне трубку. — Сам Тютюник с каким-то Шуваевым разговаривал, передавал ему приказ об окружении и полном уничтожении нас. Вот как, — сказал он и быстро зашагал к штабным тачанкам.

Через несколько минут полк пришел в движение.

Случайно подслушанный разговор раскрывал план противника. Петлюровские паны полковники, договорившись с деникинцами, точно все рассчитали, чтобы

устроить нам западно. Из Вапнярки должен был выйти деникинский бронепоезд и отрезать нам путь на запад. Петлюровцы, стягивая артиллерию и пулеметы для огневого заслона, преграждали нам путь на север. А белоказаки, следовавшие за нами по пятам, должны были ударить с тыла. Разгром нам предполагалось учинить в два часа ночи по сигналу прожектора с бронепоезда.

К этому времени пехота полка была уже далеко от железной дороги. Деникинцы со своего бронепоезда в свете прожектора увидели только хвост нашей конницы, уходившей в лес. Они сделали по ней несколько неудачных артиллерийских выстрелов, и этим вся затея противника с западной под Вапняркой кончилась. А на рассвете полк с ходу разгромил какую-то петлюровскую часть, оказавшуюся на его пути, захватив в плен ее командира и нескольких штабных офицеров.

4

Пройдена была хорошо встретившая нас Христиновка. Спустя несколько дней пришла весть, что наша дивизия вот-вот должна соединиться с 45-й дивизией Якира, двигавшейся из-под Одессы в одном направлении с нами, и надежда, что нам удастся вырваться из вражеского кольца, стала брать верх над унынием, которое было посеяно известием о падении Киева и о том, что деникинцы сомкнулись с петлюровцами и таким образом впереди нас образовался единый фронт украинских самостийников и русских белогвардейцев.

Немного не доходя Монастырища, полк расположился на очередной привал. Штаб остановился на опушке небольшой рощи в трех-четырех километрах от местечка.

Таран, раздевшись до пояса, умывался возле своей тачанки, черпая воду из ведра жестяной кружкой, когда к нему примчался начальник конной разведки Недождий. Не слезая с коня, Недождий стал докладывать командиру, что Монастырище забито петлюровцами.

— Говорят, сегодня утром из Киева прибыли, целая дивизия, десять тысяч...

Таран, поливая водой из кружки свои плечи и грудь, перебил Недождия:

— Сам считал их? Или тебе кто помогал?

— Лично я их не видел, жители говорят. Хлопцы мои только заскочили на крайнюю улицу, думали там расквартироваться, а жители их окружили и вполголоса, как охрипшие, говорят: «Куда вы лезете на беду себе: в местечке полно петлюровцев, штаб их у церкви». Ну, мои хлопцы завертелись, спешились, хотели пройти по улице, чтобы самим убедиться, но тут я подъехал, узнал, в чем дело, и завернул их назад. Для проверки послал только одного пешего с проводником из жителей, чтобы показал ему такое место, откуда можно окинуть взглядом всех этих петлюровцев, или галичан, как их называют. Часа через два, думаю я, придет мой разведчик обратно, если все благополучно будет, и доложит точно, сколько их там. Я ему велел прямо в штаб к вам прибыть.

Пока Недождий докладывал, Таран успел помыться, одеться и бородку расчесать.

— Ну так вот, брат,— сказал он, приведя себя в порядок.— Сидеть сложа руки и ждать твоего разведчика два часа я не намерен и тебе этого делать никогда не рекомендую. Раз народ говорит, что там петлюровцы, значит верно, а сколько их там, считать с тобой мы будем после. Пока живо давай зови ко мне всех комбатов с комиссарами, артиллеристов и пулеметчиков тоже не забудь. Я жду, а ты давай во все концы аллюр три креста.

Бойцы в ротах спокойно обедали, не подозревая, что рядом в местечке расположились петлюровцы и тоже, как потом выяснилось, собирались обедать. Недождий на взмыленном коне носился от одного батальона к другому. Минут через двадцать в штабе собрались все вызванные Тараном командиры и комиссары.

Пришел и комроты Самарец, которого комбат Харченко, конечно, не преминул захватить с собой как военспеца, чтобы тот при случае помог ему разобраться в карте и посоветовать, как надо действовать по уставам и правилам военной тактики. Самарец, окончивший в германскую войну школу прапорщиков, слыл в полку большим военным авторитетом. Не один Харченко использовал его как своего военного совет-

ника. На привалах Самарца всегда окружали жадные до военных знаний комроты и комвзводы из бывших солдат и унтеров. Все с почтением внимали ему, когда он, вытащив из своей полевой сумки и развернув карту, показывал маршрут движения и давал всякие пояснения, касающиеся условий местности, возможных действий противника и наших контрмер.

Собравшиеся командиры и комиссары уже знали, что в Монастырище петлюровцы и что Таран решил их атаковать. Пока он с начштаба заканчивал разработку плана атаки, они толпились вокруг Самарца, развернувшего карту и высказывавшего свои соображения о предстоящих действиях полка.

— Ну, что вы там, стратеги, смотрите на карту? — спросил Таран, шагнув к собравшимся. — Вон оно где, Монастырище, и там петлюровцы. — Он показал рукой на видневшееся за леском местечко. — Сколько их там, неизвестно. Наша разведка еще считает и через два часа, может быть, сосчитает, но мы терять времени не будем, — сказал он и сообщил принятый им план атаки петлюровцев, а потом, как всегда, спросил, чтобы комбаты не были на него в обиде: — Есть какие-нибудь предложения или замечания?

Харченко, пошептавшись с Самарцем, предложил вслед за кавдивизионом, который должен был, прикрываясь рощами, выйти противнику в тыл, послать два орудия. Таран принял это предложение, а предложение одного комиссара батальона обождать более точных данных разведки решительно отклонил, сказав:

— Это неразумно. Не дело ты говоришь, комиссар.

На ворчливое замечание начштаба Кулиша, что все-таки следовало бы согласовать свои действия с дивизией и поставить в известность о них соседа — полк Лунева, — Таран ответил так:

— Насчет соседа — это верно, надо с ним связаться. С дивизией тоже надо, да время не позволяет — пусть сосед передаст, ему до дивизии ближе... Ну, теперь все, — заключил он, хотя Кулиш пытался еще что-то говорить.

Командиры разбежались по своим местам, и взбудораженный полк зашевелился. Эскадроны и батальоны растеклись по указанным им направлениям. На опушке рощи, у штаба, осталась одна рота, и обоз подтягивался под ее прикрытие.

Захваченный врасплох противник был атакован одновременно с четырех сторон. Основное его скопище оказалось на базарной площади. Батальон, с которым шел Таран, уже подходил к ней, а в местечке все еще было тихо. Наконец раздались взрывы гранат — это батальон, вступивший в Монастырище с противоположной стороны, давал знать, что он вошел в соприкосновение с противником. Однако после этого снова наступила тишина. Немного выждав, Таран дал сигнал, и правofланговая рота с криком «ура» побежала в атаку, а за ней и остальные роты батальона. Донесся гик конников Баржака. Подняв пыль, они мчались широкой улицей, вливавшейся в базарную площадь. Когда мы с группой связанных, следуя за Тараном, подошли к площади, там все уже смешалось в одну кипящую массу людей, лошадей и разных повозок. Стрельбы никакой не было. Вскоре наши бойцы стали выводить с площади построенных в колонну пленных, вывозить трофейное оружие, полевые кухни.

Кто-то радостно говорил:

— Спасибо панам — кухни их курятиной заправлены, полакомимся теперь.

— Так курятина-то награблена у населения, — сомневался другой.

— Ну и что же, не мы же грабили? Мы кухни эти как трофей захватили, так что можем законно полакомиться.

Под вечер батальоны возвращались из Монастырища с длинной колонной пленных и обозом трофейного оружия — одних пулеметов захвачено было около сотни. Под усиленным конвоем в штаб привели группу петлюровских офицеров. Таран, бывший уже в штабе, вышел встретить их.

— Ну як, добродии, ваше почутя?

Кто-то из офицеров тихо ответил:

— Кепське, пан полковник.

После этого в штабе полка велся разговор с каждым из них в отдельности. Выяснилось, что мы захватили в плен часть той петлюровской дивизии, которая встретилась

в Киеве с деникинцами. Несмотря на соглашение, заключенное Петлюрой с Деникиным, в Киеве они не поладили. Как пленные петлюровцы рассказывали нам, поссорились они с деникинцами из-за своего жовтоблакитного флага, вывешенного ими на здании городской думы. Деникинцы потребовали убрать этот флаг. Они не согласились, и началась драка. Деникинцы одолели, вывесили на думе свой царский флаг и вытурили петлюровцев из Киева. Так эти самостийники невзначай попали нам в руки и, обескураженные, сдались без всякого сопротивления.

Весть о трещине, образовавшейся в едином фронте петлюровцев и деникинцев, вызвала в полку оживленные толки: раз у них трещина, нам легче будет прорваться.

После допроса пленных офицеров отправили в штаб дивизии и начали разговаривать с солдатами. В большинстве это были такие же крестьяне, как и мы. Много среди них было бедноты, одураченной петлюровскими демагогами. Надо было рассортировать пленных, и с этим наши политработники провозились до середины следующего дня: одних, отрекшихся от Петлюры — им не терпелось вернуться домой, — отпускали небольшими партиями на все четыре стороны, других, желавших бороться за Советскую власть, принимали добровольцами в полк. Соблюдая осторожность, мы разбрасывали добровольцев из числа пленных по разным ротам и командам, но надо сказать, что почти все они оказались хорошими бойцами и товарищами, даже тот, кто раньше не раз перебегал из одного стана в другой — все никак, бедняга, не мог твердо решить, на чью сторону ему, крестьянину, нужно становиться в этой войне.

5

В боях и стычках с петлюровскими бандами Тютюника, Ангела и множеством других более мелких кулацких батак полк кровью прокладывал себе путь на Умань и дальше, на Сквиру. За Жашковым мы напоролись на крупные банды Тютюника. Одну из них — «полк Шуваева» — разгромили, другие разогнали. После этого Тютюник громы и молнии метал, петляя вокруг нас.

У станции Попельня — там был стык петлюровцев с деникинцами — противник готовил нам новую западню, но ничего из этого у него не получилось: бронепоезда, двигавшиеся наперерез нам (деникинские из Киева, петлюровские из Казатина), были остановлены на подорванных путях, а части «корпуса галичан», пытавшиеся заслонить нам дорогу, опрокинуты. После этого наша дивизия, соединившаяся с 45-й дивизией Якира, двигалась дальше на север уже не отдельными колоннами, а сплошным фронтом, и этот фронт вскоре сомкнулся на левом фланге 45-й дивизии, загибавшем к Житомиру, с фронтом 44-й дивизии Щорса. Так в начале сентября совершилось соединение Южной группы украинских советских войск с их Северной группой. Однако на правом фланге южан, где действовал наш полк, от северян нас отделяли еще позиции деникинцев, прикрывавшие Киев по реке Тетерев. Были впереди и вправо от нас и какие-то петлюровские части. Некоторые из них уже вышли из подчинения Петлюры. С одной такой взбунтовавшейся частью, повернувшей свой фронт против Деникина, мы оказались по соседству возле Белой Церкви. У нас установилось с ней немое, без слов, соглашение о нейтралитете.

— Что там за черт в кустах бродит? — заинтересовался Таран, заметив как-то черную фигуру, шныряющую в расположении полка. — Поймайте и приведите ко мне. Бойцы привели к нему растрепанного попика в черной рясе.

— Ты чего, отец, не в свой приход залез? — спросил его Таран.

Оказалось, что взбунтовавшиеся петлюровцы послали своего попа разузнать, какой мы веры придерживаемся и как относимся к крестьянству.

— Скажи, отец, своим прихожанам, что мы сами крестьяне, боремся за власть рабочих и крестьян и помещичья землячка нас, конечно, сильно манит. Вот какой мы веры придерживаемся, — ответил Таран.

Завязался разговор. Поп-политик выказался и против Деникина, и против Петлюры, и против «коммуний».

— А за что же ты, отец, молишься со своими прихожанами? — спросил его Прокофий Иванович.

— Я молюсь за вольное крестьянство и вольную Украину.

— Ну иди и молись.— Таран махнул рукой.

Уходя, поп то и дело оглядывался: видно, боялся, что пошлют ему пулю вдогонку.

— Смелей, батюшка, смелей идите, не бойтесь! — закричали бойцы.— Мы хоть и красные, но тоже православные христиане.

В той каше, которую заварили на Украине всевозможные батьки и атаманы, перемешались все программы, лозунги и универсалы. В селах, как только люди убеждались, что прятаться им нечего, нас обступали и допытывались:

— А вы за что боретесь, кого уничтожаете, кого милуете?

Играл полковой оркестр, созывая народ на митинг; на бричку, выкаченную на середину площади, подымались наши записные ораторы; столпившиеся вокруг мужики, подняв головы, внимательно слушали, а потом говорили:

— А мы думали, вы всех уничтожаете, кто другой веры.

6

Вскоре после того, как войска Южной группы соединились и стали продвигаться сплошным фронтом, наш полк получил приказ обойти Киев с запада и выйти в тыл деникинцам, занимавшим позиции на реке Тетерев против войск нашей Северной группы. На пути к Тетереву полк встретился с каким-то войском, сидевшим в окопах за рекой Ирпень, у моста. Приказав комбату Луппо с одной ротой переправиться через Ирпень километрах в двух-трех от моста, Таран вышел на мост и закричал:

— Эй, вы там! Чего сидите в окопах, за кого воевать думаете?

— За пана Петлюру,— ответил голос из окопа.

— Селяне?

— Ну селяне. А тебе чего?

— Дураки! Петлюра вас обманул, заключил союз с Деникиным. Складывайте оружие и расходитесь по домам.

Петлюровцы в окопах загалдели. Пока Таран, стоя на мосту, перекрикивался и перебранивался с ними, рота, скрытно переправившаяся через Ирпень, вышла петлюровцам в тыл и атаковала их. Прекратив галдеж, они подняли руки.

Это была наша последняя встреча с петлюровским сбродом. Полк готовился к решающим боям с Деникиным за Киев. И вдруг был получен приказ: командиру полка немедленно выехать в штаб дивизии.

Еще ранее был слух, что командование дивизии собирается изъять из полка в свое подчинение нашу конницу и артиллерию, так как-де их у нас гораздо больше, чем положено по штату.

Это и правда — за счет трофеев артиллерия у нас разрослась до дивизиона, а конницы собралось еще больше: дивизион Баржака, эскадрон конной разведки Недождия да еще эскадрон Урсулова.

За Урсулова мы не держались — наоборот, были рады избавиться от его пришлого, с дурной славой эскадрона. А кавдивизион Баржака и артиллерия Гирского — это плоть от плоти полка, его гордость, наши земляки, турбаевцы. Таран и помыслить не мог, что он расстанется с ними.

— Они там, в дивизии, думают жар загребать чужими руками, но это пустой номер, он им не пройдет,— сказал Прокофий Иванович, бросив косой взгляд на своего начштаба.

Последнее время он не ладил с Кулишом. Тот раздражал его и своей неумной суетливостью, и своим тоненьким голоском, и, конечно, своими постоянными напоминаниями о дивизии. Когда начштаба пропищал что-то про штатные расписания и обвисшие усы его при этом оттопорщились, начали прыгать и подергиваться, Прокофий Иванович вскипел:

— Что мне ихние штаты! Я не требую от дивизии людей, я сам их ращу.

Он чувствовал себя в полку таким же самовластным хозяином, каким он был на Перекопе, когда держал там свой доморощенный фронт и именовал себя командующим Черноморским побережьем,— еще существовавшая у нас некоторая партизанская

демократия была для него лишь формой, которую он иногда считал необходимым соблюдать.

Предчувствуя, что его вызывают, чтобы отнять конницу и артиллерию, Таран уехал в дивизию разгневанной.

— Голову свою положу, а не отдам,— говорил он, уезжая.— Там у них в штабе завелись царские офицеры, вот они и мутят воду, хотят лишить меня всякой самостоятельности, по рукам связать. Не могу я воевать без своей конницы и артиллерии.

Полк входил в дивизию, но дивизия была для нас еще чужой, мы подчинялись ей, но не чувствовали себя ее частью. Во время перехода с Херсонщины на Киевщину «там, в дивизии» — это было где-то очень далеко. А теперь вот, когда развернулись фронтом, дивизия сразу приблизилась к нам. И штаб армии, с которым раньше можно было связаться только по радио, имевшемуся в штабе дивизии, теперь был уже не так далеко. Таран не учел этого. Из штаба дивизии, где с ним не смогли договориться, его направили в штаб армии, и что уже произошло там, я не знаю, но в полк к нам Прокофий Иванович больше не вернулся.

Весть, что вместо Тарана к нам едет новый командир, взбудоражила умы. Опять собрались наши ветераны возле двуколки Алексея Гончарова, лежавшего с помутневшим сознанием,— лечение его раны было безнадежным, он медленно умирал, но по-прежнему горячо переживал все, что происходило вокруг.

— Не может того быть, чтоб Прокофий уехал, не попрощавшись со своими товарищами. Тут что-то не то. Вот поверьте мне, я его знаю,— говорил Алексей. До его сознания не доходило, что Тарана обвинили в партизанщине и за это сняли с командования полком. Он думал, что Прокофий Иванович сам покинул полк сгоряча, обиженный на начальство дивизии за то, что оно решило отнять у него конницу и артиллерию.— Уверю вас, он еще вернется и будет командовать полком. Это все какое-то недоразумение. Оно разъяснится. Прокофий докажет, что он прав. Я не сомневаюсь в этом.

Утомившись, Алексей сомкнул веки, немного полежал молча, неподвижно и, открыв глаза, снова тихо заговорил о Прокофии Ивановиче:

— Это же такой замечательной души человек! Он и там, у них в Америке, за революцию боролся, не щадя себя. Вы же знаете — его там прозвали «Черной шляпой», и полиция ходила по его следам. Для себя ему ничего не нужно: он даже морщится, когда курят,— не выносит запаха табака, а тем более водки. Один у него только недостаток — жену с собой в полк взял. Так разве можно его осуждать за это, сами же знаете, какая она красивая.

7

В эти дни, в десятых числах сентября, круто повернуло на осень. Сырой холодный ветер с колким дождем заставлял бойцов ежиться и прятаться за лошадей, повозки или просто друг за друга. Думалось, как тепло сейчас у нас под Херсоном и как далеко мы ушли от своих родных мест. А через несколько дней вернулась теплая и ясная погода. Солнце посочувствовало, как говорили мы, забравшимся на север южанам и снова стало светить, как летом. После жестокого боя с дроздовской офицерской частью и кавказской конницей Деникина наши батальоны расположились в не увядшей еще зеленой пойме Ирпеня.

— Тут мы остановимся, только не все, не все. Вы, товарищ Луппо, со своим первым батальоном пойдите в другое место, еще более интересное. Ах, какое это интересное место, все будут завидовать вам! — говорил новый командир полка товарищ Васильев.

Мы еще не знали, что этот белокурый, уже с лысиной, огромный человек, бывший капитан царской армии, может быть таким веселым и говорливым.

Комиссар предупредил нас, что новый командир хотя и бывший офицер, но большевик с дореволюционным партийным стажем, а все же полк встретил его недружелюбно. Он держался сурово, не искал нашего расположения, строго требовал соблю-

дения уставных армейских порядков, которыми наш молодой, сильный своим революционным духом полк несколько пренебрегал.

В бою с дроздовской пехотой Деникина — это был первый бой полка под командой Васильева — мы убедились, что он человек храбрый и беспощадный: когда одна рота чуть было не дрогнула, он застрелил побежавшего с поля боя паникера, а потом сам повел роту в атаку. И вот после этого боя, расположившись в зеленой, освещенной и согретой солнцем пойме Ирпеня, мы впервые увидели своего нового командира добродушным и веселым. Хотя ему и пришлось расстрелять одного труса, но в общем действиями полка в бою он, видимо, остался вполне доволен.

И полк если не сразу, то очень скоро после этого полюбил Васильева. Опять все пошло своим чередом, однако Тарана в полку часто вспоминали и жалели — многие тогда считали, что с ним в дивизии поступили неправильно, подозревали даже предательство¹.

«Интереснейшим местом», о котором говорил Васильев, были позиции деникинцев на Тетереве. Батальон Луппо должен был выйти здесь в тыл противнику, прорвать его позиции и соединиться с нашими северными братьями, державшими фронт по противоположному берегу Тетерева.

Батальону были приданы команды разведчиков, пулеметчиков и бомбометчиков. Когда все собрались и комиссар сообщил, на какое дело они пойдут, под крик «ура» полетели вверх фуражки и шапки, заиграла гармонь и бойцы пустились в пляс.

Пляска и веселье продолжались, пока не последовала команда готовиться к выходу. Предстояло идти по тылам белых, и, чтобы пройти скрытно, решено было замаскироваться под белых — звезды и красные ленты снять, вместо них нацепить кокарды и погоны. Погоны вырезали из шинелей, кокарды — из консервных банок.

Батальон с приданными командами получил наименование «группы прорыва». Вошел в нее и я со своими связными.

Группа двигалась лесами, обходя людные дороги и большие села.

В первый день мы шли всего четыре часа, еще не устали, а Луппо уже приказал останавливаться на ночлег.

— Темнеть начинает, надо как следует пощупать вокруг, — сказал он.

Группа расположилась в двух соседних деревушках, выставив вокруг них сторожевые заставы с караулами и разослав во все стороны пеших и конных разведчиков.

О мерах предосторожности Луппо никогда не забывал. Первой заповедью у него было: «Береженого бог бережет».

В крестьянской хате, усевшись за стол с Фурсенко — начальником штаба группы — и начальниками всех приданных ему команд, Луппо открыл военный совет.

— Пусть разведчики пошуруют вокруг, а мы пока поглядим на карту и обозвугуем, какой нам принять план, — сказал он.

Было уже далеко за полночь, а военный совет сидел за столом, обсуждал план действий, прикидывал маршрут движения и так и эдак. Постепенно обсуждение затихало — штабники начали клевать носами. Луппо поднялся и объявил:

— Утро вечера мудренее. Пока вернутся разведчики, можно заснуть.

Немного поспав, все опять уселись за стол. На улице уже светлело. Вернувшиеся разведчики, как хорошие хозяева, обхаживали на дворе трофейных лошадей, а захваченные ими «языки» в ожидании допроса сидели в караульном помещении — на кухне, занятой под штаб хаты.

Военный совет продолжался. Сначала докладывали разведчики, и Луппо делал какие-то пометки на карте, потом начали опрашивать пленных. Пора было посылать донесение в штаб полка с планом атаки, но Луппо не торопился — все еще не хватало ему каких-то данных, а некоторые данные разведки его смущали, и он не хотел докладывать о них, не проверив.

Не мог он по своему характеру послать донесение, не уточнив, не проверив всех данных, и поэтому послал его с опозданием и без особых подробностей, даже без указания времени атаки — чрезвычайно осторожный был комбат.

¹ П. И. Таран вскоре получил новое назначение и закончил свой боевой путь в гражданскую войну участием в разгроме Врангеля на Перекопе.

В тот день наша «группа прорыва» продвинулась еще километров на двадцать и к вечеру опять остановилась, чтобы тщательно пошарить вокруг. До рассвета мы в лесу. Разведчики захватили тут нескольких обозников, возивших боеприпасы на позиции деникинцев у Тетерева. Луппо долго выпытывал у них, как подойти к окопам, чтобы не наскочить на резервы, потом сказал:

— Ну, теперь, кажется, все данные уже есть, а уточнять будем по дороге.

До Тетерева оставалось три-четыре часа ходу. Шли лесом, по тропам и просекам, и вдруг слышали впереди тяжелые вздохи паровоза. Снова остановились — ждали, пока вернется конная разведка, посланная на железную дорогу: не бронепоезд ли пыхтит? Так и оказалось — на Тетерев двигался бронепоезд «Генерал Корнилов».

Луппо и Фурсенко стали думать, как быть: и поставленную задачу надо выполнять, и жаль упустить такую лакомую добычу.

— На передовых позициях этот дьявол долго не задержится, постреляет и поспешит убраться назад — это уж проверено, — сказал Фурсенко.

— А лес густой, подходит к самой железной дороге — удобное место для засады, — сказал Луппо.

Посовещавшись, они решили, что Фурсенко с одним взводом, двумя пулеметами и всеми бомбометами сядет в засаду, Костриков и Вермейчук, наши подрывники, заложат под рельсы шашки, а Луппо с батальоном пойдет потихоньку своим маршрутом на Тетерев и там уже будет ждать, пока «Генерал Корнилов», отстрелявшись, даст задний ход. Тогда они трахнут в одно время: Фурсенко — по бронепоезду, а Луппо — по позициям пехоты, в затылок ей.

Красиво получилось, точно как задумали наши стратеги.

«Генерал Корнилов», дав задний ход, подорвался в устроенной ему ловушке. Его ремонтники, выскочившие на полотно с ломami, кирками и лопатами, были накрыты пулеметным огнем. Кинулись в кювет и здесь напоролись на штыки. Затрещали пулеметы бронепоезда, но огонь их прошел поверху. А когда из леса ударили наши бомбометы, белые посыпались с бронепоезда, как горох. Спустя несколько минут с бронеплощадки, на которую уже взобрались наши бойцы, кто-то весело кричал:

— Смотри, смотри, ребята, позади всех поп драпают!

В это время Луппо, двигавшийся лесом вдоль железной дороги, подошел к вражеским окопам на расстояние одного короткого броска, развернул роты в цепи и повел их в атаку.

Беляки, и без того уже напуганные стрельбой, вдруг поднявшейся у них в тылу, услышали позади себя раскаты «ура», заметались туда-сюда, а потом побежали вдоль линии своих окопов куда-то вправо.

Боя почти не было, окопы были взяты на «ура». Оно гремело все громче и громче. Бойцы забыли, что надо преследовать врага, — стояли в окопах и во все горло кричали «ура», обращаясь к своим северным братьям, сидевшим в окопах по ту сторону Тетерева, за мостом. Но оттуда никто не отзывался — не понимали, что тут происходит, может быть опасались провокации деникинцев.

Луппо послал делегацию, но как только она вошла на мост, с той стороны был открыт огонь. Делегация приползла назад. Было сделано еще несколько попыток пройти через мост — и все с тем же результатом. После этого послали одного добровольца, вызвавшегося перейти речку вброд в стороне от моста.

Через некоторое время северный берег Тетерева ожил: оттуда донеслись крики «ура» и музыка, к реке стали кучками сбегаться красноармейцы. Переходя вброд на нашу сторону, они махали винтовками и кричали:

— Здравствуй, товарищ! Ура!

Мокрые с ног до головы, они обнимали наших бойцов, жали руки, хлопали по спине, плечам, смеялись и все опять и опять повторяли:

— Здравствуй, товарищ!

Это были бойцы китайского батальона Интернационального полка. Мало слов знали они по-русски. Мы отвечали им:

— Да здравствует товарищ Ленин! Да здравствует Интернационал!

В память встречи с Интернациональным полком (кроме китайцев, в нем были

венгры и немцы — по батальону каждой нации) захваченный нами у деникинцев бронепоезд был переименован. Старое название «Генерал Корнилов» зачеркнуто углем и над ним написано мелом «Память 18 сентября» — день встречи на Тетереве с китайским батальоном.

На следующий день вечером, соединившись со своим полком, мы узнали, что получена поздравительная радиограмма от командования 12-й армии. Ожидала нас и печальная весть: два часа тому назад скончался Алексей Гончаров. Говорили, что он умер сразу после того, как узнал о нашей победе, и что, умирая, он будто бы сказал: «Ну, теперь я могу спокойно расстаться с жизнью — уверен, что победа будет доведена до конца», — и что он попросил своих земляков, сидевших возле него, передать в Хорлы его родным, чтобы они не плакали, а сам заплакал и так, со слезами на глазах, и помер.

Много разговоров было о смерти Гончарова. По-разному рассказывали. Некоторые говорили, что его последние слова были такие: «Пехотинцы умирают в поле, моряки — в море, а я, моряк, умираю тут, рядом с вами». И будто бы при этом он не заплакал, а улыбнулся.

А другие говорили, что, умирая, он пел любимую в полку песню, переделанную им на свой лад:

Раскинулось море широко,
И волны бушуют в душе.
Товарищ, идем мы далеко,
Подальше от нашей земли.

И все страшно ругали наших медиков: от Херсона почти до самого Киева довели, лечили, лечили, а спасти не могли!

Хоронили Гончарова на опушке леса, недалеко от Ирпеня. Когда заиграл окрестр, деникинская артиллерия открыла огонь, но похороны продолжались и обошлись без жертв — снаряды проносились над могилой и падали с большим перелетом.

9. ЗА ЧТО ТАКОЕ НАКАЗАНИЕ?

1

Тут можно было бы закончить рассказ о турбаевцах — боевом землячестве крестьянской бедноты Днепрощины, — о том, как мы боролись за Советскую власть в своем родном уезде, как создали здесь свой полк и как этот крестьянский полк влился в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Но ведь и после того турбаевцы остались турбаевцами со всеми своими достоинствами, за которые их хвалили и славили, и со всеми своими недостатками, из-за которых еще пришлось пережить неприятности.

После походной жизни с бесконечными маршами и короткими бивуачными привалами начались тягучие позиционные будни.

Рубеж полка проходил по левому болотистому и открытому берегу Ирпеня — тут рос только мелкий кустарник. А противоположный берег, занятый белыми, был высок и сплошь покрыт густым лесом.

До осеннего ненастья мы не позаботились как следует благоустроить свои окопы, землянки и блиндажи. Вскоре всюду начала пробиваться вода, пришлось делать в окопах помосты, а в землянках — нары. С запозданием начали рыть и ходы сообщения. Думали обойтись без них, а нельзя было: белые нет-нет да и поймают на мушку связного, караульного или какого-нибудь бойца, беспечно шагающего с котелком к кухням, стоявшим за поймой, в небольшом леске.

С приходом ненастья начал свирепствовать тиф. Одной из первых жертв его стал Алеша Часнык.

— Вот тоже большой мечтатель был, все рассказывал, как хорошо будем жить, а сам на восемнадцатом году жизни помер от тифа, — говорили в полку.

Смерть от тифа казалась нашим людям особенно обидной, вроде как бы помер человек без чести и славы, которая ему полагалась.

Опять в разговорах зазвучали унылые нотки. Плохо налаживалось дело с продовольствия, суп по-прежнему варился без соли, холод и слякоть застали бойцов в летнем обмундировании, в драной обуви. С этими невзгодами надо было мириться: время тяжелое — Деникин взял Орел, подходил к Туле, но иных ворчунов трудно было унять. Они обвиняли во всем каперов и поваров, как только не величали их: и бездушными тыловыми крысами, и дармоедами. Особенно доставалось каперам после того, как в полк привезли шинели и пулеметчику Михаилу Бондаренко, дяде саженого роста, дали шинель, которая впору только связаному мальчику Яше.

— Ну скажите, есть ли у них, у этих тыловых крыс, какое-нибудь чувство к человеку? — возмущался Бондаренко.

Не было шинелей — люди дрожали от холода, но не жаловались. Привезли шинели — и пошла воркотня: одному дали короткую, другому слишком длинную и тому подобное.

Тяготила турбаевцев позиционная жизнь, раздражали разные невзгоды, досаждала артиллерия белых, методично бившая откуда-то издалека, угнетала эпидемия тифа, вырывавшая из рядов полка еще больше жертв, чем фугаски противника, но как только завязались горячие бои, воркотня затихла.

Дроздовцы пытались отбросить нас подальше от Киева, точно предчувствовали, что мы скоро пойдем в наступление. У местечка Ирпень они создали сильные предмостные позиции с пулеметными гнездами на кургане и отсюда рвались вперед. В контратаку пошла рота Павло Биленко. Она взяла белых в клещи и сбила их с кургана. Дроздовцы отходили к мосту. Павло с полуротой кинулся им наперерез вдоль заросшего кустарником берега, подошел почти к самому мосту, и тут, на резком изгибе реки, его полурота попала под перекрестный огонь двух кинжальных пулеметов. Четырнадцать бойцов и сам командир роты заплатились жизнью за отчаянную попытку овладеть мостом с ходу. Павло был убит наповал двумя пулями, пробившими ему голову навылет.

Павло Биленко хоронили на Ирпенском кладбище. С надгробными речами выступили оба его брата. Они говорили о своей Збурьевке: как бедно жило это безземельное село, окруженное песками и плавнями, какие испытания выпадали на долю его жителей — рыбаков, грузчиков и матросов, уходивших в море на жалких перегруженных парусниках. Выступали и земляки Павло — эти самые рыбаки, грузчики и матросы, — и все говорили о своей Збурьевке: каких революционных героев дало Красной Армии это бедное село.

И вдруг к могиле подходит и склоняет над ней голову какой-то не знакомый нам, кудрявый, стройный командир. Это пришел отдать честь нашим павшим героям венгерский коммунист, командир 3-го Интернационального полка, с которым мы встретились на Тетереве. Мы еще не знали, что этот полк включен в состав нашей бригады и выдвинут на соседний с нами участок.

С этого дня бойцы и командиры Интернационального полка — венгры, немцы и китайцы — стали у нас частыми гостями, особенно комполка, очень общительный и добродушный товарищ, говоривший, что как Днепр и Дунай текут в одно море, так и народы все идут к коммунизму. Вскоре вместе с ними мы пошли в наступление на Киев. Если раньше нередко можно было услышать в нашем полку, что вот, мол, как далеко мы забрались на север — погода здесь совсем не та, что у нас на юге, в степях, то теперь, соболезнуя своим новым товарищам, турбаевцы говорили:

— Мы хоть и далеко от дома, но все же у себя на Украине, а они бог весть откуда пришли к нам на помощь. — И добавляли: — А сила какая — три нации в одном полку!

2

Перед наступлением на Киев несколько наших пеших разведчиков были посланы в тыл противника. Пошел и Клименко, неистощимый по части всяких выдумок и проделок. Вернулся он в черном костюме, белой крахмальной рубашке и с цилиндром на голове. Покрутился, как цирковой клоун, показал свой наряд и спереди и сзади: «Ну чем я не барин?» — и стал рассказывать, как встретил в Святошинском лесу, под Киевом, какого-то молодого франта на прогулке.

— Иду я обочиной дороги, гляжу, навстречу кто-то на дрожках катит. «Вот,— думаю,— хорошо бы мне нарядиться под барина и на таких дрожках по Киеву покататься». Спрятался за сосну, жду. Подъезжают дрожки, и вижу я, что сидит в них молодой холеный господин, скажу я вам без всяких прикрас — настоящий трутень, паразит без подделки, каждый из вас убедился бы в этом, поглядев на него. Усики у этого субчика были сделаны колечками, на лбу завиток волос, на руках перчатки, на носу пенсне со шнурочком, на голове вот этот цилиндр. Вышел я из-за сосны и говорю ему вполголоса: «Стойте! Вам, господин, говорю, стойте и ни шагу дальше!» — и показываю револьверы, которые уже держу наготове в обеих руках. С испугу он начал было что-то лепетать, называл свою фамилию, но я ему сказал, что фамилия его мне ни к чему, и провел у него возле носа наганом, после чего руки у него затряслись и глаза стали часто мигать. «Чего, сударь, разъезжаете здесь? Разве не знаете, что сейчас военное время?» — спрашиваю его. А он говорит: «По совету врача делаю прогулку». Его ответ меня здорово рассердил. «Эх ты, трутень, паразит проклятый!» — говорю ему и начинаю водить у его носа двумя наганами. Тут он окончательно сдрейфил и бросил вожжи. «Ваши документы!» — говорю. Он полез в карман и вот из этого бумажника подает пропуск коменданта города Киева. «Ну вот, теперь порядок», — говорю и прошу этого барина слезть с коляски. Тут он малость опомнился и стал голос повышать, грозить мне, что генералу Май-Маевскому будет на меня жаловаться. «Жаловаться вы будете потом, — говорю, — а пока прошу вас, господин хороший, быстро сойти со своей повозки и раздеться, а то поймите меня, что будет хуже». И что же вы думаете? Он понял и быстренько стал раздеваться. Потом пришлось мне его слегка кокнуть рукояткой нагана по темени и отгашить за ноги подальше от дороги, чтобы он полежал там в кустах, пока я свою разведку закончу. И вот, представьте себе, весь Киев объехал на барских дрожках, с этим блестящим цилиндром на голове. И на Крещатике побывал, все высмотрел и проверил, и ни один черт меня нигде не остановил. Жаль, что времени мало было, а то бы я и у Май-Маевского побывал в гостях, поговорил бы с ним о его планах и замыслах.

Наши разведчики восхищались:

— В каком полку еще есть такие проныры, как Клименко? Или такие лихачи, как рыжий Свищ? Чего они только не откалывают, гуляя по тылам белых! Вот уж истинные турбаевцы! — И тут же жаловались: — Все дело во времени, уж очень ограничивают нам сроки, когда дают задания, а то бы мы во все штабы белых проникли и все их планы до тонкостей знали.

Новому комиссару полка — Лысенко вскоре после ухода Тарана тоже был куда-то отозван — не понравился наряд, в котором вернулся из разведки Клименко.

— От этих штук, — сказал он, ткнув пальцем в цилиндр, — махновщиной пахнет. С этим придется кончать.

— Какие же это махновские штучки? — недоумевал Клименко. — Если я кокнул кого-то франта, так это же по необходимости, для пользы дела. Не могут же по одному документу два барина быть? Нет, недооценивать у нас стали разведку. Вот Прокофий Иванович Таран, так тот ценил, говорил: «Золотые люди наши разведчики — в любую щель пролезут, циркачи!»

3

Справа от нас стояли фронтом знаменитые богунские и тарашанские полки дивизии, которой еще недавно командовал Щорс, а теперь Дубовой. В то слякотное, с дождем и снегом, октябрьское утро, когда началось наступление на Киев, со стороны бывшей Щорсовской дивизии доносился сплошной, рвавший воздух гул канонады. Богунцы и тарашанцы наносили главный удар вдоль Житомирского шоссе. Наша 58-я дивизия Федько играла в этом наступлении вспомогательную роль. На нашем участке пушки били прерывисто, наскаками. Они прокладывали путь на тот берег Ирпеня головному батальону, которым командовал Гриша Мендус.

— Ну вот, братцы, теперь только бы взять Киев, а оттуда уже будем двигаться обратно, в свою родную сторонку,— говорил он перед атакой своим бойцам.— В дивизии по радио получена депеша, что Буденный уже наступает и Мамонтов в панике. Буденный там, под Воронежем, белых бьет, а мы тут, под Киевом, должны их расколоматить. Это, братцы, я вам скажу, будет началом конца белых и началом нашего возвращения домой.

Такое настроение было общим в полку: возьмем Киев и оттуда пойдем обратно на юг, освобождать свой край. Заждались нас там родные и близкие, но ничего — скоро уже вернемся с победой, как обещали, уходя на север.

Потом говорили, что для захвата Киева у нас в октябре еще не было достаточно сил, что наше командование шло на большой риск, что, по сути дела, это был лишь налет, но у нас тогда разговоры шли о великом наступлении, и восторгам по этому поводу не было предела.

Надо сказать, что если турбаевцы иногда готовы были впасть в уныние, то им не так уж много нужно было, чтобы от уныния перейти к восторгу. Конец нашего позиционного сидения в болотах Ирпеня был воспринят в полку чуть ли не как конец всех военных тягот.

Сначала наступление шло успешно. Справа еще гремела канонада, когда Гриша Мендус послал в атаку передовую роту своего батальона. Ротой командовал Андрей Шульга — низкорослый и коренастый молодой мужик из Каховки, после того как его назначили ротным, для важности отпустивший себе усы и бороду. Бесстрашный был командир, но однажды, попав в санчасть с легким ранением в ногу, он удивил наших медиков своим паническим криком — этакий солидный дядя с усами и бородой при перевязке кричал и плакал, как маленький ребенок.

— Ну чего ты орал благим матом — рана-то ведь пустяковая? — спросили его потом.

— Пустяковая, а зачем сапог порезали? Только что получил, два года без сапог воевал,— ответил он.

После двухчасового боя рота Шульги вышла на правый берег Ирпеня, потеряв при этом половину своего состава. В пробитую брешь устремились другие роты. Полк быстро прошел до Святошинских дач, тут был задержан артиллерией белых, но ненадолго. Богунцы и тарашанцы были уже в городе и рвались к мостам через Днепр. Наш полк двигался на Куреневку, время от времени обстреливаемый шрапнелью. С наступлением темноты продвижение замедлилось. Не зная города, роты шли вперед на ощупь. Полк потерял связь с соседями и справа и слева. Была дана команда отойти назад. Вскоре новый приказ — вперед! Рванулись вперед и залезли в какое-то ущелье Куреневки — узкую, зажатую горами улицу, — и тут сбились в кучу два наших батальона, кавалерия и артиллерия, бригады и полковые обозы. Подвела крошечная тьма пасмурной ночи, она же и спасла, а то бы немногие выбрались из этого месива живыми.

Ночью трудно было разобраться в заварившейся каше. Часть нашего обоза перемешалась с обозом белых. До рассвета ни те ни другие не подозревали, с кем они ночуют по соседству, а на рассвете кинулись кто куда, и потом оказалось, что наш обоз увлек за собой много подвод белых.

На главной улице Куреневки к командиру полка, остановившемуся на лошади возле фонаря, подошла какая-то развязная девица, похлопала ладошкой коня по шее и спросила:

— Что же это, господа, решили уходить из Киева?

— Нет, что вы! Пустяки, барышня, говорите,— ответил ей Васильев.

— Хорошие пустяки, когда все обозы на левый берег уходят,— сердито отрезала бойкая девица.

В это время конные разведчики Недождия, рыскавшего по той же улице, вылавливали белых офицеров и юнкеров, еще не знавших, что в городе красные.

К утру весь Киев, за исключением южной части города, вниз от Владимирского собора, был очищен от белых. В южной части Киева и у моста весь день шли ожесточенные бои. Там богунцы и тарашанцы отражали непрерывные контратаки денкинцев.

У мостов бои не затихали и ночью. На следующее утро стало ясно, что, хотя Киев был взят нами молниеносно, удержать его в своих руках будет трудно: обнаружилось огромное превосходство сил противника. Особенно крепко нажимали деникинцы с юга, правым берегом Днепра.

В середине этого критического дня в тыл нам неожиданно ударил какой-то штрафной, или «арестантский», как его называли, полк бывших царских офицеров, в чем-то провинившихся перед белыми. Первые сутки «арестанты» не участвовали в боях, сидели, запершись в своих казармах, как бы держа нейтралитет,— выжидали, кто верх возьмет, а когда увидели, что верх берут деникинцы, решили заслужить у них прощение, и заслуживали его они весьма рьяно.

Под огонь этих «арестантов», бивших с чердаков и из окон верхних этажей, попал батальон Гриши Мендуса, отходивший со стороны еврейского базара. Комбат вывел свои роты из огневого мешка, но сам не вышел из него. Сраженный пулей, он упал на крутом спуске улицы. Бойцы увидели своего любимого комбата, лежавшего ничком на булыжной мостовой. Кто-то пополз, чтобы вытащить его, но не добрался — был убит. Пополз второй и замер по дороге, тяжело раненный. Пополз третий — все рвались, но комроты Булах, принявший на себя командование батальоном, приказал вернуться назад. Он не хотел жертвовать людьми, так как видел, что все жертвы будут напрасны, а батальон и без того сильно поредел. Булах стоял под аркой глубоких домовых ворот среди сбившихся в этой трубе бойцов. Надо было быстро отходить дворами, чтобы не оторваться от своего отступавшего полка, но люди стояли, подавленные горем: комбат лежал на мостовой, может быть убитый, может быть тяжело раненный, и к нему нельзя подступиться.

— Гриша, друг наш дорогой! — с отчаянием в голосе закричал Булах, выглядывая из ворот.— Прости нас, но мы не в силах тебе помочь. Эти дьяволы бьют из пулеметов кинжальным огнем. Гриша, друг, ты слышишь? Мы вынуждены уходить. Клянемся, что никогда не забудем тебя. Прости, родной!

Гриша Мендус не отозвался. Всех своих героев мы хоронили с почестями, а вот с Гришей получилось нехорошо.

Он лежал на булыжной мостовой в том же стареньком пиджаке, в котором ушел из дому, в изодранных полуботинках — он раздобыл их уже осенью, когда стало слишком холодно, чтобы ходить босиком.

У себя в Скадовске он был грузовым извозчиком, возил в порт пшеницу для погрузки на иностранные корабли, у нас в полку командовал взводом, ротой, а под конец батальоном, но по одежде его все принимали за рядового бойца.

— Такой уж он человек,— говорили о Грише Мендусе в полку.— Он даже шинели себе не взял — сказал, что она ему ни к чему, раз у него есть пиджак.

Это было, когда в полк привезли шинели, но их не хватило на всех и поднялась воркотня.

Никого нельзя было обвинять в том, что тело нашего комбата осталось в Киеве, однако все в батальоне чувствовали себя виновными, как будто можно было что-то сделать, но сделано это не было.

Спустя два месяца, когда мы снова вступили в Киев — на этот раз он был взят прочно,— возле дома с арочными воротами, где погиб Гриша Мендус, собрались его друзья и земляки. Была еще какая-то надежда, что удастся найти его останки и захоронить со всеми воинскими почестями, но эта надежда не сбылась. Опрошенные нами дворники и жильцы окрестных домов сказали, что тут было подобрано несколько убитых и что они помнят одного в плохоньком пиджаке и в полуботинках с обмотками, он еще дышал, когда его подобрала проживавшие в этом квартале студенты-медики. Они не думали, что он выживет — пуля попала в висок,— но все-таки отвезли его в больницу, потом они еще говорили: холод, грязь, а красноармейцы ходят в рваных полуботинках.

Мы нашли этих студентов, они показали нам больницу, в которую был доставлен наш комбат, но там не осталось никаких следов его.

4

— Чего кислые такие? Эх вы, вояки, прости господи... А ну-ка, сейчас же бросьте мне эту кислотину — не к лицу она вам, орлы днепровские! — говорил комполка Васильев, после октябрьского налета на Киев обходя подразделения, опять оказавшиеся на своих старых ирпенских позициях, в грязи чуть ли не по колено.

Ночью слегка примораживало, а днем всюду текло, сочилось, всюду чавкало болото. Падал мокрый снег. В землянках непрерывно топились печи. Ветер трепал и разносил по позициям серый, как дождевые облака, дым. Люди грудились у печей, чтобы просушить хотя бы портянки, и жаркие шли тут пересуды.

Разные были мнения относительно нашего наступления на Киев и отхода назад. Многие обвиняли командование в напрасных жертвах. Можно было услышать и такие разговоры:

— Надо было наступать, столько людей положить, чтобы снова в то же чертово болото залезть! Мало мы тут сидели в воде?! Скоро морозы начнутся — что мы, зимовать тут будем, на этом проклятом Ирпене? От тифа никакие окопы и блиндажи не спасут. Вон он как косит людей! Всюду берет на прицел и разит без промаха.

Политруки приносили в землянки газеты — давно мы уж не видели их — и говорили:

— Вот, почитайте, кто наиболее грамотный.

И какой-нибудь грамотный из пулеметного расчета читал вслух сводку о положении на фронте. После этого разговор принимал иное направление.

— Значит, Семен Буденный под Воронежем окончательно добил Мамонтова.

— И Орел снова красный.

По всем землянкам читались вслух газеты, и кто-то уже кричал:

— Ура, хлопцы! Наши всюду верх берут!

Конец октября прошел на нашем участке довольно спокойно, санитары увозили в тыл только заболевших тифом, а в первых числах ноября на позиции полка вдруг обрушился шквальный огонь батарей белых, затем дроздовские батальоны пошли в психическую атаку.

Офицерские цепи выходили из леса и стройно шагали к реке с винтовками наперевес. Спускаясь с крутого берега, они замедляли шаг, как будто опасались входить в холодную воду, и в этот момент наши пулеметчики открывали огонь. От четкого боевого порядка батальона дроздовцев ничего не оставалось. Но за первой, беспорядочно отхлынувшей цепью выростала вторая, стройно и уверенно шагающая, за ней — третья... Потом новый шквал артиллерийского огня, за ним — новая атака.

Несколько дней продолжались тяжелые, редкие по упорству бои. Вместе с дроздовцами бросались в атаку какие-то дружинники с белыми повязками на рукавах и среди них мальчишки в гимназических шинелях. Широко разевая рты, они оголтело кричали «ура», но тут же, срезанные пулеметным огнем, валились под откос берега и у самой воды громоздились один на другого, убитые и раненые.

Собрав все, что мог, Май-Маевский пытался во что бы то ни стало прорвать наш фронт под Киевом и соединиться с белополяками Пилсудского, которые стояли у Коростеня, угрожая нам ударом в тыл. Отчаянно дрались дроздовцы. На участке одного нашего обескровленного в боях батальона им удалось прорваться, но с помощью соседнего полка прорыв этот был ликвидирован, а потом мы получили сильное подкрепление — батальон красных курсантов, железная стойкость которого поразила дроздовцев. Некоторые из них, старые офицеры русской армии, перешли на нашу сторону и говорили:

— Подобной стойкости мы не видели на своем веку и, как русские патриоты, должны преклониться перед ней.

Завалив трупами своих солдат и белых дружинников крутой лесистый берег Ирпеня, Май-Маевский утихомирился. Он вынужден был отказаться от дальнейших попыток соединиться с войсками Пилсудского: положение на центральном участке фронта складывалось такое, что под Киевом деникинцам стало уже не до атак — началось повальное бегство белых на юг.

После этих боев наш уменьшившийся почти наполовину полк до середины декабря бесменно простоял на своих ирпенских позициях, а потом пошел вперед, ломая слабшее с каждым часом сопротивление противника, и не слышно было, чтобы кто-нибудь в полку роптал, что мы воюем без отдыха, не можем помыться, постираться, привести себя в чувство. Все рвались вперед, говорили:

— Ну вот и дожили наконец до веселой поры! Теперь надо только не давать белым передышки, гнать их до Черного моря. Если не будем мешкать, к весне закончим войну и вернемся домой.

Прошли через Киев и дальше до Фастова без остановки, преследуя отступающих на юг деникинцев. Впереди была прямая дорога на Николаев и Херсон — знакомый уже путь, по которому мы летом шли на север, — и вдруг приказ: вернуться всей дивизией в Киев для несения гарнизонной службы.

Весь фронт, преследуя и громя белых, стремительно движется на юг, а нам, южанам, поворачивать назад? Почему?

Когда приказ объявили по ротам, полк потрясла буря негодования.

— За что нам такое наказание? — кричали бойцы.

Командиры и политруки говорили, что гарнизонная служба в Киеве не наказание, а почетное дело, которое можно доверить не каждой дивизии, но это был малоубедительный довод для людей, сделанных из такого теста, как наши турбаевцы.

Они дрожали в окопах по колено в холодной воде, переносили и холод, и голод, и тиф, столько дорогих товарищей потеряли в боях. Они мечтали вернуться в свой родной край освободителями, наградой за все перенесенные муки и невзгоды было для них идти в авангарде наступающих войск, а им сулят тыловую казарменную жизнь.

От обиды люди теряли голову. На ротных собраниях ораторы надрывно кричали, что если дивизия возвращается в Киев, то черт с ней, но полк не должен возвращаться, он должен идти вперед с наступающими частями, нельзя давать белым опомниться — это предательство; если полк повернет назад, то рота выйдет из него и перейдет в другую, более сознательную часть, которая будет продолжать наступление до окончательного разгрома белых,

Люди закатывали истерики, взвинчивая себя страхом, что деникинцы, отступая, учинят кровавую расправу с их семьями и родными, оставшимися в селах, что надо скорее спешить им на помощь, а то будет поздно.

Ротные собрания, начавшиеся днем, продолжались и ночью, пока усилиями командования и всех партийцев удалось образумить людей, убедить их, что полк покроет себя позором и все заслуги его будут забыты, если он не выполнит приказа командования.

На другой день, хотя и с ропотом, полк повернул назад. Никто как следует так и не понял, почему нам приходится возвращаться в Киев, просто скрепя сердце подчинились приказу.

Потом уже нам, партийцам, стало известно, что истинной причиной этого приказа послужили высказанные кем-то в штабе армии опасения, как бы наша дивизия бывших партизан Днепрощины и Таврии, вернувшись в свои родные края, не разошлась по домам или, еще хуже того, не попала под влияние Махно, с которым она должна была столкнуться, пойдя на юг. Мы начисто отвергали эти ничем не обоснованные, оскорбительные, глубоко возмущавшие нас подозрения и скрывали их от красноармейцев, чтобы не подливать масла в огонь.

10. ЛЮБОВЬ МИТИ ЦЕЛИНКО

1

И в Киеве, неся гарнизонную службу, наши турбаевцы долго не переставали досаждать командирам и политрукам одним и тем же вопросом:

— Ну за что нам такое наказание? — И просили: — Объясните, пожалуйста, никак в толк не возьмем.

Напрасно убеждали их, что гарнизонная служба не наказание — вот уж малость приоделись, и кормить стали лучше, в баню ходите, белье вам стирают, от вшивости избавились,— все равно воркотня продолжалась:

— Живем в Киеве, а города не видим, кроме тех улочек, по которым ходим в караулы. Надоели эти караулы до чертиков. А побываешь в городе, только душу расстроишь — комендантские патрули всюду цепляются. Война еще идет, беднота расправляется с богатеями на фронтах, а мы тут в казармах околачиваемся, в школе ликбеза занимаемся, просто неловко перед товарищами и родными, которые ждут от нас освобождения. Невесть на кого похожи стали, как паразиты хлеб даром жуем.

В феврале — он был морозным и снежным — красноармейцы получили теплые портянки, ватные брюки, и прошел слух, что полк пойдет против Пилсудского, который собирает своих вояк в поход на Украину.

— Хотя против Пилсудского, хоть против кого, только бы от гарнизонных караулов избавиться, и на том спасибо,— заговорили в ротах.

А когда был получен приказ о погрузке в эшелоны для отправки на фронт против белополяков, весь полк облегченно вздохнул:

— Теперь хоть в деле будем.

Митя Целинко, после возвращения из госпиталя попавший в пулеметную команду и дослужившийся уже до взводного, при погрузке в эшелон разглагольствовал:

— Стариков наших тянет на юг, хотят поближе к дому воевать, а нам, молодым, все равно где — всюду охота побывать. Видели мы всяких вояк — и Деникина, и Петлюру с Тютюником, и Махно, а теперь увидим и вояк Пилсудского. Говорят, что англичане и французы здорово вооружили их и одели. Ладно, посмотрим и тогда будем судить о французских и английских модах... Ничего себе задумали паны — завладеть нашей землей от Балтийского до Черного моря. И откуда только аппетиты такие?

— А ты что, не знаешь, где собака зарыта? Если бы не Антанта, Пилсудский не стал бы так хорохориться,— вставил к слову начальник пулеметной команды Василий Коваленко, не упускавший случая дать свое авторитетное разъяснение по международным вопросам.

— Антанта! — живо подхватил Митя Целинко. — Говорят, она опять вытащила за уши на свет божий Симона Петлюру, а тот по своей дурости стал изо всех сил тужиться, доказывая Пилсудскому насчет своих прав на Украину, и тогда Антанта ему на ушко, приставив к носу кулак, тихо шепнула: «Ты, Симон, это оставь, не будь дураком, не заводи разлада в своем семействе, сейчас не время для споров, будет время, поговорим с тобой на другой почве, в Лондоне или в Париже». Вот где собака зарыта.

— И когда мы с этой собакой покончим, долго она нас еще будет терзать? Скажи ты мне, товарищ начальник,— с досадой спросил Михаил Бондаренко, очень расстроенный тем, что война затягивается и к весне, это уже очевидно, ему с бра- том домой не попасть.

— А ты, дружище, не унывай,— ответил начальник команды. — Деникин издыхает, Колчак сдох, Юденич едва ноги унес, остался, не считая моськи Махно, один пан Пилсудский со своей шляхтой. С ним мы быстро управимся, и тогда можешь невесту себе присматривать.

— Покончим с пилсудчиками — и домой,— так многие говорили по дороге на фронт.

Выгрузившись из эшелона на какой-то станции около Коростеня, полк под музыку оркестра вперемежку с песнями прошел маршем по лесной Волыни до Гуты Марьяновской и занял тут большой участок обороны, раскидав позиции батальонов далеко одна от другой, по рубежам мелких речек и опушкам лесов. Тут мы сравнительно спокойно провели остаток зимы и встретили весну, которая сразу же, как только стаял снег и чуть просохла земля, чудесно оживила и разукрасила зеленью этот глухой лесисто-болотистый край.

Были перестрелки и стычки, белополяки прощупывали нашу оборону, а мы — их, и этим дело ограничивалось, будто бы ни той, ни другой стороне не хотелось воевать.

Правда, в конце марта, когда земля уже подсыхала, пилсудчики начали предпринимать атаки, повторявшиеся почти ежедневно, но вскоре, ничего не добившись, опять затихли.

Свободного времени у бойцов было много. Умыв по ведру картошки на троих, залив кипятком с сахаром, наши турбаевцы погуливали в окрестностях, осматривали подворья волынских крестьян, вели хозяйственные разговоры с местными мужиками, а потом долго сидели у костров, свертывали козьи ножки, дымили и рассуждали о крестьянской жизни, сравнивая здешние обычаи с обычаями своего родного края. Все им тут не нравилось: что скот и птица живут под одной крышей с людьми, что в хатах нет дымоходов — дым выходит на чердак, что мужики носят рубашки с завязками вместо пуговиц, что девушкам на свадьбе обрезают косы и вместо платка надевают какой-то коллак, и от нее животы у всех раздуты. И приходили к выводу, что нигде, видно, людям не живется лучше, чем на Днепровщине.

О войне разговоров не слышно было. Разве что какой-нибудь старательный ездовой пулеметной команды, он же второй номер в расчете, натирая до блеска своего «максимку», скажет ему ласково:

— Эх, «максимушка», друг мой, и дадим же мы жару этим панам — пусть только попробуют полезть!

В конце апреля нас сменила какая-то часть. Полк отвели в Житомир на отдых, а на другой день белополяки начали наступление, прорвали фронт, в город хлынули наши панически бежавшие войска, а по шоссе уже мчались броневики и кавалерия противника. Мы едва вырвались из Житомира. Через несколько дней, миновав Киев, перебрались на левый берег Днепра и только тут, заняв позиции у Дарницы, пришли в себя.

И сразу же начались кривотолки и споры: отчего произошел такой конфуз? Почему так поспешно отступали? Зачем Киев сдали без боя? Одни были того мнения, что виной всему наши сменщики, бросившие позиции у Гуты Марьяновской: если бы нас не сняли, полякам бы ни за что не прорваться, они только в обороне крепки. Другие ругали командование и опять же все сводили к тому, что нас не вовремя сняли с позиций. А Митя Целинко, никогда не унывавший и не роптавший — все принимал он как должное, — говорил, что никакого конфуза нет. Он мнил себя бывалым воякой и считал, что все на войне — и наступление и отступление — происходит по «стратегии».

Больше месяца стояли мы в лесу под Дарницей. Томясь от бездействия, бойцы были падки на всякие слухи, толковали их по-своему и спорили до хрипоты, пока вдруг не приходили к выводу, что «нечего глотку драть, все равно в стратегии ни шиша не кумеаем». Спор затихал, и сразу же начинались жалобы:

— Ну долго еще мы будем тут торчать и глазеть на Киев издалека? Надоело это уже до нудьготы.

2

Общее настроение сразу изменилось, когда начались разговоры о прорыве Первой Конной под Сквирой.

— Я же говорил — стратегия! — торжествовал Митя Целинко. — Дал Буденный аллюр три креста и махнул со своими дивизиями через Днепр. У Рыдз-Смиглы глаза на лоб полезли, зовет он к себе Петлюру и велит ему быстро удочки сматывать. Петлюра напыжился и спрашивает: «С какой это стати, пан генерал, я буду сматывать удочки?» — «Да ты, Симон, не пыжься, — отвечает ему Рыдз-Смиглы. — Пока мы с тобой тут в Киеве грызлись, Семен Буденный под Сквирой прорвался». — «Не может того быть, пан генерал, — отвечает Петлюра. — Мне доподлинно известно, что Буденный маршем идет с Кубани, а лошади у него худые, истощенные в походах — когда он еще дотащится». — «Нет, Симон, я вижу, что таких дурней, как ты, поискать надо, и напрасно с тобой Антанта цацкается, — говорит Рыдз-Смиглы. — Не веришь мне, так спроси у моих уланов. Они в панике бегут и не могут никак оторваться от Буденного, а ты говоришь, что у него лошади худые».

Все эти рассказы исходили от разведчика Клименко. Он снова побывал в Киеве и потом, гоголем расхаживая по Дарницкому лесу, где был расположен наш полковой резерв, направо и налево сыпал разными былями и небылицами,

Спустя несколько дней полк двинулся на Киев и вступил в город без боя. Появившись ночью на его слабо освещенных улицах, мы застали тут только несколько разрозненных кучек пилсудчиков и петлюровцев, перепившихся и дравшихся между собой из-за подвод, да какую-то заставу, впопыхах забытую своим командованием. Солдаты этой заставы — польские мобилизованные крестьяне — встретили нас мирно и заявили, что давно уже ждут смены, а ее все нет и нет и по телефону почему-то никто не отвечает.

Из Киева полки нашей дивизии выступили с развернутыми полотнищами лозунгов: «Смерть Антанте!», «Вперед за Советы!» — и первое сопротивление встретили только на реке Уборти, где мы потоптались около суток, после чего опять началась погоня, продолжавшаяся без передышки до реки Горыни. Тут мы потоптались немного подольше; пилсудчики отбили две наши атаки, пришлось подождать, пока подойдет наша артиллерия, с ее помощью быстро форсировали Горынь, и снова наступление продолжалось без остановки до реки Стыри. Здесь похоже было, что белополяки решили драться всерьез, но когда наша артиллерия открыла огонь, они забились в блиндажи и просидели в них до тех пор, пока мы, переправившись через Стырь, не скомандовали им: «Руки вверх! Выходить по одному!»

И дальше, до Западного Буга, наше продвижение задерживали только застревавшие где-то тылы, отчего мы по несколько дней оставались без провианта, а иногда и без боеприпасов: в батальонных повозках все запасы иссякали, а у местного населения тех разоренных и обобранных мест ничего нельзя было достать, кроме молока, и то лишь в обмен на соль.

Люди уставали, голодали, но война быстро шла к концу, и никто не жаловался на изнурительный поход. Хвалили погоду, местность. «Тепло, а не знойно, не то что у нас на юге в эту пору. Легко дышится тут в лесах. И речек много — есть где помыться». Хвалили трофейные френчи французского фасона и английские шинели, в которые многие уже нарядились.

В пути нас нагнала 25-я Чапаевская дивизия. На Западном Буге, не доходя города Холма, двигаясь левее, чапаевцы первые пошли в атаку. Мы видели, как с криком «ура» бросились они в воды Буга. Потом в полку говорили:

— Интересные люди, эти чапаевцы! Даже у пожилых глаза веселые, а бороды у всех одинаковые — русые, раскладистые. «Ура» они кричат как-то особенно звонко и призывно. Подольше бы с ними рядом воевать!

Тяжелые тут были бон. Наш полк понес большие потери, пока переправился через эту каверзную реку. За Бугом пошли свободно, следом за первой бригадой Шишкина, которая, перейдя на тот берег по мостам, сразу же рванулась вперед. Шли с песнями по шоссе, обсаженному по обе стороны деревьями, подошли к лесу, окружавшему высившийся на горе город Холм, и тут вдруг нас начали обсыпать из пулеметов. Была дана команда: «Стой! Батальонам развернуться и занять позиции».

Мы проторчали здесь дня три, не понимая, что произошло, пока не стало известно о трагической гибели первой бригады. Оказалось, что у самого Люблина ее поймали в ловушку белогвардейцы Булак-Булаховича, действовавшие вместе с пилсудчиками. Бригада погибла в полном составе — все три полка — во главе со своим храбрым командиром, рабочим из Керчи, товарищем Шишкиным.

Покрутившись возле Холма и Владавы, мы ушли обратно за Буг. Нас не выбили, сами ушли по приказу командования, а по какой причине — этого мы долго не знали.

Потоптались в прибрежных песках Буга, около месяца простояли у каких-то болот и озер — тут и лето кончилось, как метеор пролетело оно в том году. А затем опять отход. Без боев, с досадой, недоумением отходили и отходили по приказу командования.

Ночью у костров, пылавших на лесных полянах и просеках, бойцы, суша портянки и обувь, грясь рубахи над пламенем, злились:

— До каких пор отступать будем? Куда? Зачем?

Прогорит костер, жар его передвинут дальше, а на обогретой им земле люди укладываются спать. Ляжет боец, завернется в прожженную углями шинель — един-

ственное укрытие и от холода и от дождя,— поворачается, затихнет, и вдруг станет ему беспокойно, подымет голову, посмотрит вокруг и скажет:

— А может, измена?

Митя Целинко опять уверенно говорил:

— Не измена, а стратегия.

Он был уже не тот, что раньше, когда своей детской смешливостью приводил в ярость нервно-взвинченного Сеньку Сухину. Если побасенки рассказывал, то только агитационные, все больше про Антанту и ее грызущихся между собой псов. Даже пускаясь в пляс на привале, не забывал, что теперь он командир,— то кубаночку поправит, то всего себя оглядит.

Когда он укладывался спать у костра, это было целое священнодействие. Все уже храпят, а Митька все еще устраивает свою постель: и чтобы удобно было и, главное, чтобы не запачкать, не помять, не попортить как-нибудь свою новенькую английскую шинель.

3

Еще никто в полку не знал, что война с белополяками заканчивается и что этим-то и вызван наш отход. На Горыни нас нагнали белогвардейцы Булак-Булаховича. Идя следом за нами, они пытались завязывать бои, рывкали и лаяли, как моськи на слона.

В эти дни в какой-то польской деревушке, затерявшейся в Полесье, мы сменили часть крестьян-подводчиков, перевозивших наши грузы, и в полку появилась Анюта. Всех удивило, почему в деревне нарядили с подводой молоденькую девушку — таких случаев еще не было. Потом заметили, что на подводку к девушке подсел Митя Целинко, и стали осуждать его — нашел время амуры разводить!

На привалах он не отходил от Анюты, обхаживал ее лошадей: и напоит, и корм задаст, и оботрет пучком сена, а потом притащит с кухни котелок супа, и обедают они вместе, сидя на подводке.

— Ты чего голову дуришь девушке? — накинулся на него начальник команды Василий Коваленко.— Разгрузят подводы, и поедет она домой. У нее, наверное, жених есть. Нехорошо может получиться, если ты ее в соблазн введешь.

Целинко разобиделся на своего начальника, повернулся и пошел прочь от него.

Через несколько дней все подводчики из той полесской деревни уехали под вечер домой, а Анюта осталась. Думали, что она побоялась ехать ночью, но утром ее увидели на козлах боевой тачанки Мити Целинко — в пулеметной команде появился новый ездовой!

Высказывались разные догадки и предположения относительно того, чем это может кончиться. Василий Коваленко пришел ко мне мрачный.

— Чего это ты, Вася, расстроился?

— Да вот эти издыхающие моськи, выброшенные вон из нашего общества революционной бурей, портят нервы своим лаем, а тут еще Митька чудить стал,— пожаловался он.— Не нравится мне его номер. Боюсь, не поступил бы он с девушкой похамски. Она ему поверила, а вдруг он ее обманет — позор и срам какой всей команде!

— Не допускай! Ты же в своей команде хозяин.

— Подхода к нему не найду. Упрямый стал, как осел. Разговаривать не желает. Ты же у нас в полку партийный секретарь, а он твой земляк, поговорил бы ты с ним, прошу тебя, узнай, почему эта полячка не едет домой и какие у них с Митькой намерения в дальнейшем.

Я нашел Целинко и спросил его:

— Что это за новый ездовой появился в твоём взводе?

— Доброволец Анюта,— ответил он.— Прошу к ней относиться с уважением.

— Нет, я серьезно спрашиваю.

— Я тоже не шучу.

Не получалось у нас сначала откровенного разговора.

— Чего это ты, Митя, сильно ершистый стал? Вот и начальник твой на тебя обижается...

— Всяк по-своему судит, а я так сужу, что лишний доброволец со своими конями не помешает нашей команде, а что Анюта — моя невеста, начальника это не касается. Жениться я пока не собираюсь. Кончится война, отвезу я ее к себе в Чалбассы, и там уже свадьбу сыграем. Домой возвращаться ей нельзя. Отец у нее нехороший, хочет насильно выдать за пьяницу. Она тайком уехала, когда он гулял в гостях у этого жениха.

— Ну что ж,— сказал я,— намерения у тебя, как видно, серьезные, а если так, то остается только пожелать тебе счастья.

— За это пожелание спасибо,— поблагодарил Целинко.— Думаю, что так оно и будет в нашей супружеской жизни.

Много еще пересудов было, но постепенно Коваленко и все его пулеметчики свыклись с тем, что у Мити Целинко завелась невеста. Анюта стала у них в команде хозяйкой: и белье стирает, а если оно порвалось, залатает, и картошку почистит на кухне.

Вскоре полк занял позиции на реке Уборти. Тут и застало нас окончание войны с белополяками. Под Олевском мы узнали, что заключено перемирие. Булак-Булахович не признавал его, пушки белогвардейцев еще тявкали, но теперь это никого в полку уже не беспокоило.

— Сколько ни тьякайте, а все равно Митька скоро свадьбу отгуляет, и мы на его свадьбе повеселимся,— говорили наши пулеметчики.

После того прошло не много времени. Пока мы стояли в Полесье, Красная Армия покончила с Врангелем в Таврии, началась демобилизация, и Митя Целинко укатил к себе домой с Анютой на паре ее добрых коней — приданом невесты.

Немногим турбаевцам так повезло.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

В. НЕКРАСОВ

★

ТРИ ВСТРЕЧИ

Герой в книге и в жизни... Как много об этом уже написано — умного, интересного, поучительного. И все-таки, сколько бы ты ни прочел книг и статей на эту тему, разобраться по-настоящему в этом сложнейшем клубке взаимоотношений не удастся, пока не обратишься к тому, что испытал на собственном горбу, на собственных ребрах.

Прошло ровно пятнадцать лет с того дня, как я расстался с человеком, с которым дружил очень недолго — менее полугода, но память о котором сохранил на всю жизнь. Мы расстались — я хорошо помню этот день — 25 июля 1944 года в Люблине. Он пришел на следующий день после моего ранения в санчасть, где я лежал, и принес мне ложку, бритвенный прибор, зубную щетку, мыло и планшетку с документами. Звали его Валега.

Познакомились мы с ним в марте того же года, незадолго до того, как наши войска форсировали Южный Буг. По счастливой случайности я попал после госпиталя в саперный батальон той самой дивизии, в которой воевал еще в Сталинграде. Получил назначение замкомбатом по строевой, а Валегу мне дали в связные. Не могу сказать, чтоб он обрадовался этой новой должности. Присланный начальником штаба, он стоял передо мной, маленький, головастый, недоброжелательный, с глазами, устремленными в землю. Я вспомнил Котеленца, комбатовского ординарца. — озорного, хитроглазого, легконогого пройдоху, — и невольно подумал: бирюк...

— Ну, так как, — сказал я, — пойдешь ко мне в связные?

— Как прикажете, — сумрачно ответил он.

— А хочешь?

— Нет.

— Не хочешь? — Я удивился. Обычно об этой должности «не бей лежачего» только мечтали.

— Нет, — повторил он и впервые поднял глаза, маленькие и очень серьезные.

— А почему?

— Так...

— Что это значит — так?

Он пожал плечами и опять, только тише, повторил свое «так».

Я все понял. Ему, провоевавшему весь Сталинград солдату-саперу, казалось зазорным идти в услужение. Это решило вопрос. В тот же вечер он перетащил ко мне свой «сидор» и, узнав, что поручений никаких нет, сел у лампы и молча стал чистить автомат.

Мы провоевали с ним недолго, всего четыре месяца — апрель, май, июнь и неполный июль. Вместе прошли от Буга до Одессы, потом попа-

ли на Днестр, оттуда — в Польшу. Спали, ели, ходили на задания всегда вместе. Мы мало с ним разговаривали: он был молчалив и даже выпивши не становился болтливее. Иногда только чуть-чуть приоткроемся — в душную ночь, когда не спится, или в лесу у ползутахушего костра, — заговорит вдруг об Алтае, об охоте на медведя, о чем-то очень далеком от войны, и слушать его неторопливую, основательную, чуть стариковскую речь было бесконечно интересно. Особенно мне, насквозь городскому человеку. И сразу становилось как-то спокойно и уютно. Вообще в нем было что-то, что невероятно притягивало к нему, — то ли невозмутимое спокойствие в любой обстановке, то ли умение всегда найти себе какое-то занятие, то ли желание всегда помочь, причем желание, исходившее не от его положения, а от его характера. Стремления услужить, чтоб угодить, в нем не было, просто он не мог спокойно видеть, как кто-нибудь в его присутствии делает что-нибудь плохо и неумело. Сам же он делал все хорошо, быстро и всегда с любовью.

Один только раз он оказался не на высоте — в течение часа варил в котелке трофейный кофе в зернах, а потом пришел и руками развел: «Ничего не понимаю, товарищ капитан... Варю, варю, а оно не разваривается...» Других неудач я не помню.

И еще одна черта. Подвернется минута свободная — от поручений, заданий, штопки, варки, земляночного благоустройства, — не ляжет спать, как положено заправскому солдату, а подойдет и спросит: «Разрешите к ребятам пойти?» И идет, и копает вместе с ними, строит какой-нибудь НП или КП. Моего общества ему, конечно же, было мало.

В день моего ранения он оставался в расположении батальона и только на следующее утро разыскал меня в санчасти. Явился насупленный и недовольный. По всему видно было, что он осуждает меня. Несмотря на разницу между нами в пятнадцать лет (ему было восемнадцать, мне тридцать три), он считал себя в чем-то старше и опытнее и сейчас ни минуты не сомневался, что, будь мы вместе, со мной ничего не случилось бы. И под осуждающим его взглядом я почувствовал себя виноватым.

Прощаясь, я очень хотел расцеловаться с ним, но он сантиментов не любил, пожал мне левую, здоровую руку и, сказав «Поправляйтесь!», ушел.

Больше я его не видал. Дивизия двинулась дальше, на Варшаву, а я, проболтавшись дней десять в Люблине, был эвакуирован в тыл, и воевать мне больше не пришлось.

Года через два я встретил одного из наших командиров и от него узнал, что Валега после моего ранения вернулся в роту, потом некоторое время работал поваром на кухне, а через месяц или полтора на Сандомирском плацдарме был легко ранен и отправлен в медсанбат. Дальнейшая его судьба мне не известна. Все попытки разыскать его ни к чему не привели. Верю, надеюсь, что он жив, но так ли это и где он — не знаю. Даже фотокарточки его у меня нет...

Счастье писателя — а я не сомневаюсь, что это настоящее, большое счастье, — в том, что он может продолжить прервавшуюся по каким-либо причинам дружбу. Свою дружбу с Валегой я продолжил «В окопах Сталинграда».

На театральном языке есть термин «предлагаемые обстоятельства». Это значит, что тебе, актеру, предлагается представить себе и изобразить перед зрителем состояние и поведение своего героя в тех или иных обстоятельствах — в гостях, на толкучке, в кабинете знаменитого профессора или при встрече с грабителями.

Вся моя «вторая» дружба с Валегой в какой-то своей части была построена именно на подобных «предлагаемых обстоятельствах». Я не боюсь этого сухого слова «построена» — в этом «строительстве» Валега не утерял ни одной своей черты, не приобрел никакой новой, но присущие ему черты, попав на другую почву, как бы расцвели, окрепли. Мне же это «строительство» дало возможность возобновить свои встречи с Валегой, и были они всегда радостными, интересными и разнообразными.

О пределе власти писателя над своим героем писалось уже много. Она не безгранична. Она до поры до времени. И пользоваться ею надо очень осторожно. Герой не из воска, чего угодно из него не вылепишь, он по-своему живой, с мускулами, кровью, сердцем. И очень раним. Он не переносит насилия. И если уж он не полюбит писателя, то читатель и подавно. Кажется, чего уж проще — взял и переброем своего героя, как я, например, позволил себе сделать, из одного времени в другое, из Одессы в Сталинград: сиди на новом месте и делай, что тебе приказывают... Оказывается, нет. На фронте мне куда легче было приказать Валеге, чем в книге. В книге он мне мстил за всякое своеволие, и мстил правильно, умно. И спасибо ему за это.

В книге есть такой эпизод. Лейтенант Керженцев с двумя ротами оказывается окруженным на небольшой сопке. И вдруг совершенно неожиданно там появляется Валега, которого Керженцев с собой не взял. Явился с шинелью, банкой тушенки, без чьего-либо приказа, просто потому, что он считал, что так надо. Нечто подобное, правда в несколько менее сложной обстановке, произошло на самом деле, только не в Сталинграде, а полгода спустя на Днестре — наша дивизия держала там «пяточек» на правом берегу реки. Я перенес этот случай в книгу. И все было бы чин чинном, по всем правилам, Валега охотно пошел на уступки, переброем с Днестра на Волгу; но дальше позволил себе поступать так, как он считал нужным.

На окруженной сопке пришла к концу вода. А она нужна всем — бойцам, раненым, пулеметам. В блиндаже идет разговор, где и как ее достать: кругом немцы, до Волги не добраться, ручьев никаких нет. И вот тут-то «книжный» Валега делает то, чего не мог не сделать настоящий Валега, окажись он в положении «книжного», — тихонько, никому не сказав ни слова, идет на поиски воды. Это — самое главное. Он не мог поступить иначе. А дальше я ему помог — подкинул немецкий термос с вином. Мы оказались квиты.

Начинающий (да и не только начинающий) писатель часто пытается доказать правильность какой-нибудь сцены в своем произведении, ссылаясь на то, что «так было». «Ей-богу, уверяю вас, сам видел». Я читал в рукописи одну повесть, в которой бойцу во время атаки попала в живот мина. И не разорвалась. Он вырвал ее из живота и, добыв до немецких окопов, стал лупить ею немцев по головам. Автор с обезоруживающей искренностью пытался убедить меня, что он сам был свидетелем этого факта. Что можно было на это ответить?..

Нет, в искусстве, в литературе одним «так было» не обойдешься. Оно необходимо, оно основа любого реалистического произведения. Но чтоб произведение стало, кроме того, и художественным, нужно еще и другое — «этого не было, но если б было, то было бы именно так», или еще категоричнее — «не могло быть не так». В этом и заключается различие между романом, повестью, рассказом и записками, дневниками или документальной прозой. Жанры эти вовсе не исключают друг друга, более того — внешне они могут быть очень схожи. Но внутренняя их сущность, принципы воздействия на читателя различны. Кстати, не могу здесь не сказать, что самой большой похвалой для меня было,

когда мою повесть называли записками офицера. Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный «обман», за него не краснеют, без него не может существовать никакое искусство.

И вот тут-то «предлагаемые обстоятельства» играют первостепеннейшую роль. Они должны быть точны и предельно правдивы, иначе герой не сможет ими воспользоваться или начнет дубасить неразорвавшейся миной противника по голове. И эти же «предлагаемые обстоятельства», если они только взяты из жизни, помогут тебе, писателю, правильно понять, увидеть своего героя и повести его туда, куда он и сам охотно пойдет. Не надо только заставлять его ходить на голове и говорить чужие слова: у него есть свои, не придуманные и ничуть не хуже твоих — умеи их только услышать и понять.

В окопах Сталинграда нашей дружбе с Валегой никто не мешал. Пиши сколько хочешь, подкидывай своему герою любые «предлагаемые обстоятельства» — он всегда с ними справится. И расстались мы с ним вторично в 1946 году в Москве, на улице Станиславского, 24, в журнале «Знамя», вполне удовлетворенные друг другом.

Прошло десять лет. Мы опять встретились. На этот раз в Ленинграде, на студии «Ленфильм». И опять подружились. И длилась эта дружба два года, но, не в пример первым двум, оказалась куда сложнее.

До самого того момента, как я получил телеграмму из студии с предложением написать сценарий, я был убежден и убеждал других — по моему, достаточно доказательно, — что экранизацией, да еще собственного произведения, заниматься нельзя. Помилуйте, кроме «Чапаева», ни одного случая в мировой кинематографии, чтобы фильм оказался лучше романа. И вообще роман есть роман, повесть есть повесть, а кино есть кино. Для кино надо писать оригинальные сценарии. Точка! Кроме того, у меня было еще не менее десятка убедительнейших аргументов. И все это полетело прахом, как только передо мной замаячила перспектива новой встречи со Сталинградом.

Вряд ли нужно рассказывать о том, что испытывает человек, когда попадает в те места, где когда-то воевал. А если к тому же не просто один — повспоминать, поклониться могилам, — а с целой группой людей, приехавших сюда специально, чтобы восстановить прошлое. Я ходил по Мамаеву кургану, узнавал или не узнавал обвалившиеся окопы, заросшие травой ямы, которые были когда-то землянками, и не очень уверенно говорил: «А вот здесь был артиллерийский НП, а здесь батарея «сорокапяток» прямой наводки, а там вот стоял подорвавшийся танк, за который почти три месяца шла ожесточенная борьба». Я говорил и говорил, и порой мне казалось, что я уже наскучил своим спутникам, что они слушают меня только из вежливости. Но это было не так. Уже потом, во время съемок, я понял, как дороги и святы были эти места и события, на них развернувшиеся, людям, пришедшим сюда с кинокамерами и юпитерами. Лучше всего эти чувства выразил молодой артист Леша Быков, которого нам очень хотелось переманить к себе на картину из Харьковского театра русской драмы. «Мы были тогда еще пацанами, — говорил он директору театра, — и не могли защищать Сталинград. Разрешите хоть теперь, на экране, принять участие в его защите». Леша Быков так и не попал к нам в картину, но слова его стали у нас чем-то вроде девиза.

Когда-нибудь я напишу о «Солдатах», о коллективе, который их снимал, о самих съемках, о препятствиях, стоявших на нашем пути, и о том, как мы их преодолевали, — история картины, сложная и поучительная, стоит этого. Но об этом в другой раз. Сейчас же хочется сказать

только одно: та достоверность, которой удалось достигнуть постановщику фильма Александру Иванову в «Солдатах», все эти незаметные на первый взгляд детали, фронтные черточки, окопные мелочи, солдатские повадки и словечки — одним словом, все то, что и создает в картине жизнь, — во многом зависели от настоящей, неподдельной заинтересованности в успехе нашего дела, которая чувствовалась во всем коллективе и в каждом человеке в отдельности, включая даже солдат, снимавшихся в массовках. Спасибо им всем.

Но вернемся к сценарию и Валеге. На первый взгляд Валеге в сценарии совсем не повезло. Так ли это?

Начнем со сценария.

После какого-то там варианта стало ясно, что, слепо следуя книге, ты губишь и книгу и будущий фильм. Кино не может всего переварить. У него свои законы, и законы очень суровые: сеанс полтора часа, картина 2 700 метров, сценарий не больше восьмидесяти страниц на машинке. А в повести 250 страниц — 13 печатных листов. Что же делать? Выход один. На кинематографическом языке это называется делать «по мотивам». То есть та же мысль, те же основные события, те же основные герои, но не обязательно те же «предлагаемые обстоятельства». Короче говоря, ты делаешь некую «выжимку» из произведения, берешь из него самое существенное и лепишь нечто новое, рассчитанное уже не на читателя (режиссер и актеры не в счет), а на зрителя, у которого к тебе, писателю, совсем другие требования, чем у читателя. Не могу сказать, чтобы операция превращения книги в сценарий проходила легко. Автор всегда несколько переоценивает свой талант, поэтому сравнение с отдельными сценами и героями воспринимает трагически. Только потом, когда картина уже закончена, он поймет, что в трех этих сакраментальных цифрах — 1½, 2 700 и 80 — заключена большая правда. Именно они — эти три цифры — приучают его к лаконизму, динамике, к композиционной четкости, ясности «кусков», заставляют заменять бесконечные диалоги двумя-тремя фразами, а еще лучше — взглядами (о немое кино!) и тем самым, скажем прямо, дают возможность актеру не только говорить, но и играть, а режиссеру — ставить. Кстати, должен сказать, что все эти качества — лаконизм, динамика, четкость и тому подобное — совсем не плохи и в прозе, поэтому работа писателя в кино — трудный, но очень полезный тренаж.

Но все это я понял, как и всякий начинающий автор, только после того, как увидел картину на экране. Когда же писал сценарий, мне казалось, что я преступно обкрадываю Валегу, но ничего поделать не мог — душил метраж. Более того, один из трех настоящих «валегиных» эпизодов (остальные все «проходные») был честно взят из книги, другой начисто выдуман и только третий, единственный на всю картину, взят от «живого» Валеги. Я чувствовал себя перед ним бесконечно виноватым. Мне было стыдно.

И тут-то появилось третье лицо, которое, правда не сразу, но постепенно, исподволь, восстановило наши былые добрые отношения. Этим лицом был Юра Соловьев, выпускник ВГИКа, которому поручена была роль Валеги.

Сейчас, когда все уже позади, могу прямо сказать — лучшего Валеги не сыскать. Но тогда, четыре года тому назад, когда мы с Ивановым подбирали актеров, волнений было более чем достаточно. Перебрали около десятка человек и остановились наконец на Соловьеве. Он, правда, долго артачился: соглашался, отказывался, писал режиссеру длинные объяснительные письма, говорил, что роль не его плана, что он нас подведет, но в конце концов мы его все-таки скрепя сердце взяли, другого выхода не было, подпирала зимняя натура.

Как и все актеры, он, конечно же, считал, что роль ему бессовестно обкорнали, оставили одни рожки да ножки, и вообще в картине играть ему нечего. Я не очень убедительно пытался доказать ему, что дело не в размерах, не в количестве слов, но сам — чего греха таить! — в душе с ним соглашался.

Роль действительно маленькая. На десять частей в ней всего лишь семнадцать эпизодов. Из них в пяти Валега попросту молчит, в десяти говорит по два-три слова и только в двух, всего лишь в двух эпизодах, имеет какой-то словесный материал. И вот — всем на удивление — оказалось, что этого вполне достаточно.

Есть актеры, которые играют легко и весело. В перерывах шутят, балагурят и только перед объективом кинокамеры собираются, входят в роль. Юра Соловьев не таков. Он без конца читал и перечитывал сценарий, книгу, ходил сумрачный, насупленный (как я потом узнал, это и было «вхождение в роль»), мучил костюмерш, подбирая гимнастерки и ботинки, обязательно большие, с загнутыми носами, как в книге, во время перерывов одолевал меня бесконечными вопросами и возникшими сомнениями. У него была специальная записная книжка, где он записывал «всё о Валеге». Я видел ее. Мне было очень интересно ее читать. Он продолжил мою игру в «предлагаемые обстоятельства» и, должен признаться, удивительно метко попадал в точку.

Вообще Соловьев — сейчас мне это уже абсолютно ясно — всей своей ролью попал в самое яблочко. Он поймал суть «живого» Валеги, никогда его не видав. Он нашел и понял обаяние человека, который никогда не улыбается. А как это трудно! «Живой» Валега никогда не улыбался. Он не был сумрачен, он был серьезен, он всегда был занят, у него не было времени на улыбки. Соловьев на протяжении всего фильма ни разу не улыбается и все время занят каким-нибудь делом. Только в двух кадрах у него нет прямого занятия: в штабе, где они с Седых ждут решения своей участи, и в землянке, перед атакой, когда он слушает песенку Карнаухова. А так, если нет задания поважнее, стирает белье, что-то зашивает, мастерит. И все это молча. Но все слышит, все понимает, все знает наперед.

Он слушает в землянке песенку Карнаухова о фонарях. Через полчаса атака. Он слушает песенку, только глотнул один раз (что-то подступило к горлу, первое проявление чувства) и говорит — впервые фактически в фильме, — говорит о том, что, когда кончится война, он построит себе дом в лесу, он любит лес, и товарищ лейтенант придет к нему туда на три недели... «Почему на три?» — «Вы больше не сможете, вы будете работать...»

Когда я смотрю этот кусок, у меня у самого подступает ком к горлу. Я вижу живого Валегу. Я до сих пор не могу понять, как на экране могли прозвучать эти не мечты о будущем, не приглашение в гости, а почти приказание — приказание живого Валеги, которое он мне отдал как-то ночью, в лесу под Ковелем: «И вы придете ко мне на три недели...»

В другом эпизоде Валега отправляется на поиски воды. Взял пустой термос, вылез из окопа, обнаружил в овраге группу немцев, распивающих вино, неслышно заменил их термос с вином своим пустым (а как аккуратно, по-валеговски это сделано!), вернулся назад и как ни в чем не бывало принялся за прерванное занятие — штопку брюк. «Ты где болтался?» — спрашивает Керженцев. «Как где? Вы ж сами сказали, что воды нет...» И потом, попробовав вина из кружки: «Дрянь! Как раз для пулеметов...» Две фразы на весь кусок. И в них весь Валега. Как и во всем куске. И это настолько убедительно, настолько точно, что мигнутами, глядя на экран, я думал: а может, и на самом деле это было?

И, наконец, последний эпизод — в госпитале. Валега привез раненому Керженцеву письма и подарки с передовой — две бутылки коньяку. И опять я вижу живого Валегу, его насупленный, неодобрительный взгляд, когда Керженцев размахивает бутылкой и кричит на всю палату «Живем, хлопцы!», слышу его голос, его интонации в рассказе о немцах, сидящих в колечке: «Им с самолетов продукты сбрасывают, а мы... подбираем». Живой, живой... И в то же время свой собственный, «соловьевский».

На всю роль, по сути, три эпизода — каких-нибудь восемь — десять минут, — а перед тобой живой человек. Не иллюстрация к книге, а достоверный, осязаемый, хотя и на экране, и главное — думающий.

А как это важно в кино, да и вообще в искусстве — не только говорить, но и думать. И жить своей жизнью. Зрителю в конце концов совершенно безразлично, похож ли экранный Валега на живого или нет, он увидел этого, экранного, и, поверив, полюбил — невзрачного, трогательного, порою забавного и никогда ничего не боящегося...

Много времени спустя Соловьев мне рассказывал, что его как-то пригласили на студию, чтобы сняться в роли Валеги для какого-то иллюстрированного журнала. «И вы знаете, — говорил он, — я даже заволновался. Разыскал ту самую гимнастерку, пилотку, телогрейку, штаны с собственной штопкой и, поверьте, надевал — и мне все казалось, будто я на самом деле в них воевал...»

Да, Юра и Валега по-настоящему сдружились. И их дружба еще больше укрепила мою.

Что же это за дружба такая, о которой я все время говорю? Не придумал ли я ее? А может, это вовсе и не дружба, и слово это я использовал только для того, чтобы оправдать свое вольное обращение с человеком, которого считал и до сих пор считаю своим другом? И возможно, прочитав книгу, посмотрев картину, а затем прочитав эти строки, он просто обидится на меня и скажет: «Вот они, писатели, что хочешь из тебя сделают, а ты терпи, молчи... И еще дружбой называют...»

Нет, не скажет он так.

Я пытаюсь сейчас восстановить в памяти эволюцию Валеги от живого, через книжного к кинематографическому и с тревогой обнаруживаю, что действительность и вымысел — иными словами, то, что было в самом деле, и то, что написано в книге и показано в кино, — как-то напластовавшись одно на другое, совместились и что мне необходимо определенное напряжение, чтобы установить четкую грань между ними. Получается нечто вроде того случая, когда человек много раз подряд рассказывает одну и ту же историю. Рассказ постепенно расцветивается деталями, иногда для красного словца даже придуманными, в результате же, особенно если рассказу слушатели поверили, рассказчик сам начинает в них верить. Одним словом, нечто «хлестаковское».

Хорошо это или плохо?

Для свидетеля на суде, конечно, плохо. Для произведения искусства не плохо и не хорошо, это — естественно. Это не должно вызывать тревогу. В этом и заключается художественная правда. Та самая, которая, отталкиваясь от действительности, возвращается к ней же.

И вот тут-то я не могу не привести отрывок из письма Соловьева ко мне, отрывок, который, на мой взгляд, дает очень убедительный и точный ответ на все возникшие у меня вопросы.

В начале письма Соловьев пишет, как он мучился на первых порах, пытаюсь «втиснуть себя» в написанного в книге и сценарии Валегу. Ничего не получалось.

«И вот тогда, — пишет Соловьев, — я стал искать другие ходы и приспособления к роли и в конце концов решил не «подражать» книжному

Валеге, как пытался было делать вначале, а попробовать строить на основе вашего материала то, что у меня может получиться. Я стал чувствовать себя свободнее.

Теперь мне пригодилась и тяжеловатая, вразвалку, походка моего бати (у вас же — «мягкая, беззвучная походка охотника»), и чувствительные к вещам руки, оценивающий глаз, неторопливые, точные движения, стариковская хозяйственность и аккуратность во всем — моего деда (на это натолкнуло сходство Валеге со старичком — у вас же). Манерой разговора кино-Валега напоминает моего бывшего сокурсника Рыбакова, позднее ушедшего из института «изучать жизнь». А вечно обиженное, насупленное выражение лица почему-то взято и вовсе с незнакомого человека — шофера пострадавшей «Победы» в момент его объяснения с милицией.

Кое-что перепало Валеге и от меня лично. Мне, например, казалось, что ему должно быть свойственно чувство ревности, а этого, как вы знаете, у меня — хоть отбавляй! Пришлось вспомнить и то, как я еще во время войны, пацаном, нянчился со своими младшими сестрами (вы где-то упоминаете, что Валега следил за Керженцевым, как «хорошая нянька»). Много пришлось фантазировать, а ко многому просто привыкать — ведь фронта я даже не нюхал! Выручило и мое давнишнее увлечение рисованием — это помогло найти индивидуальность в «костюме».

Так вот, оказывается, что получилось с Валегой. Он разросся, расширился, окреп. Работая «над ним» в книге, в сценарии я шел от живого человека. Соловьев, работая над ролью, отталкивался от книжного образа и лепил свой собственный, живой, беря детали из жизни — от деда, отца, друга, шофера, самого себя. Кстати, мне очень нравится слово «отталкивался». В данном случае оно очень точно. Именно отталкиваться от образа, идти от него вонне, в мир, а не насильственно втискиваться в него, замыкаться. Вот это-то «отталкивание» и рождает художественную правду. Круг замкнулся — действительность вернулась к действительности.

Кого же из этих трех Валег я больше люблю? Живого ли, но чуть-чуть уже потерявшего четкость очертаний (а как хотелось бы их восстановить, встретившись с ним сейчас, тридцатитрехлетним отцом семейства), или книжного, с которым нас сблизил совместная выдумка, или самого молодого, «соловьевского», где многое зависело уже не от меня? Кого же?

На этот вопрос нелегко ответить. Думаю, гадаю, а ответ все один — Валегу...



ПУБЛИЦИСТИКА

БОРИС ЛЕОНТЬЕВ

★

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ СЕНТЯБРЬ

Удивительная осень стояла в этом году. Все ближе надвигался конец календаря, а солнце светило совсем по-весеннему. Но не причудами погоды запомнится эта осень. В те сентябрьские дни все человечество с неослабевающим вниманием следило за поездкой Н. С. Хрущева по Америке. Во время этого исторического визита глава Советского правительства и президент США Дуайт Д. Эйзенхауэр обсудили ряд насущных международных проблем.

Вместе с группой советских журналистов мне посчастливилось быть очевидцем событий, связанных с пребыванием Н. С. Хрущева в Соединенных Штатах Америки.

Позади столько впечатлений и множество километров. Дважды проделан громадный воздушный путь через Атлантику, дважды пересечена поперек Америка. И десятки людей — знакомых и незнакомых — здесь, в Москве, и из других городов просят, требуют: расскажи, что видел. Отвечаю тем, с кем не успеваю встретиться:

— Читайте книгу. В ней все сказано.

Вот она передо мной, эта книга «Жить в мире и дружбе!» На переплете — ледокол «Ленин», ракета, летящая к Луне, и пересекающий ее путь самолет. На другой стороне этой книжной крышки — на форзаце, как говорят полиграфисты, — рисунок-схема: шесть городов Америки — Вашингтон, Нью-Йорк, Лос-Анжелос, Сан-Франциско, Де-Мойн, Питтсбург. Вокруг Вашингтона четыре стрелки: первая нацелена из Москвы, последняя — в Москву, а две остальные — в Нью-Йорк и из Питтсбурга. Но есть еще «супербложка»; поглядишь на нее, и все становится ясным: улыбающиеся Н. С. Хрущев и Дуайт Д. Эйзенхауэр стоят рядом, плечом к плечу.

«Перелистывать» эту книгу невозможно. То и дело зачитываешься, размышляешь о том, что недавно слышал и видел, снова увлекаешься смыслом прочитанного, находя в нем опять новое, глубокое, ранее не замеченное.

Да, конечно, собственные впечатления не полны. Многого не удалось увидеть, не все виденное было сразу осознано. Думается, еще долго люди двух континентов будут вспоминать эти дни сентября 1959 года, такие напряженные и такие насыщенные. Убежден теперь: все современники больших исторических событий не могли видеть «всё», чего-то они не досмотрели, чего-то не осмыслили. Впрочем, в своих отчетах они неизменно дополняют и корректируют друг друга. Нынешние же читатели, кроме печатных отчетов, видят киночерки, слышат свидетельства магнитофона. Они чувствуют ветер истории. Это не тот ветерок, который шевелил флаги на военном аэродроме вблизи Вашингтона в час, когда бежал по его широким бетонированным дорожкам блистательный «ТУ-114». Это не тот легкий морской ветер, что гулял у берегов Калифорнии, когда был там гость из Москвы. Эти колебания теплого американского воздуха уже не дойдут ни до читателя замечательной книги, ни до зрителя интересного фильма. Но их коснется дыхание Времени.

НАКАНУНЕ

Расстояние от Москвы до Вашингтона оказалось совсем не таким громадным, как представлялось не только в далеком детстве, но даже и ныне, в нашу эпоху воздушных сообщений. Всего шестнадцать часов — включая и полуторачасовую стоянку в Кевфлавике — мчал нас туда великолепный самолет советского производства «ИЛ-18», не реактивный, как «ТУ-104», а турбовинтовой. Ровно, отнюдь не назойливо гудели его моторы, а тридцать четыре пассажира — советские корреспонденты — беседовали, шутили, расхаживали от своих мест к общему столу, к дивану, своевременно завтракали и обедали, словно где-либо в большом «земном» зале.

В семь утра мы были еще в Москве, покупали столичные газеты, в полдень беседовали с советским послом в Исландии, а в шестнадцать, по вашингтонскому времени, при ярком свете солнца уже ехали на автомобилях в столицу США. Ночь не смогла догнать нас — мы «убегали» от нее на запад. Разница во времени удлинила этот день для каждого из нас на семь часов: еще засветло мы погуляли около Белого Дома, хотя только утром того же дня видели Кремль.

Не случайно и не для красного словца говорю я о нашей географической близости. Это не отвлеченное понятие, и создано оно не только достижениями техники. Есть точки, еще более близкие, чем Москва и Вашингтон, — например, наш Крайний Север в районе Чукотки и американская Аляска. Во всяком случае, живем на одной планете, а она теперь, в эру космических полетов, оказывается совсем не такой уж большой. Через неделю, очутившись в Калифорнии, мы дружески поглядывали на Тихий океан: вон там, за его водами, лежит наша Родина, наш Дальний Восток!

Начинаю я с этих рассуждений вот почему. Как только мы вдохнули американский воздух, услышали вашингтонские новости, почитали газеты, так сразу восстановились все наши «старые» представления о больших расстояниях. Да, между Советской социалистической страной и Соединенными Штатами Америки — дистанция громадная.

Мы сразу, немедленно увидели, какие дела натворила в этой стране «холодная война». Это не может быть квалифицировано только такими понятиями, как клевета, ложь, измышления по поводу всего того, что имеет отношение к социализму и коммунизму. Все это — в изобилии, но есть еще и другое. Творцы, руководители американской внешней и внутренней политики типа Маккарти и Даллеса постарались внушить миллионам американцев самые нелепые представления вообще о мире, о человечестве, об истории нашего времени, о всех событиях последних лет. Для этого нужна была целая концепция. И она создана, с виду весьма стройная, даже по-своему «логическая», как по-своему же «логичны» построения какой-нибудь допотопной религии — пусть нелепой и фанатичной, но внушаемой людям с детства и потому прочной, устойчивой.

Мы прибыли в США за три дня до приезда Никиты Сергеевича Хрущева. Все говорило о том, что накануне встречи Эйзенхауэра с Хрущевым подавляющее большинство американского народа осознало необходимость и пользу этого свидания. Народ открыто поддержал своего президента, его мужественную решимость. Верно, что органы прессы, выступавшие в эти дни с провокационными статьями, не отражали мнения американской общественности, как не отражали его пять чудаков (хотя и сенаторов), предложивших своим согражданам надеть траурные повязки по случаю прибытия в благословенную богом, верующую Америку «коммуниста № 1». За все время пребывания в Штатах я увидел только одного джентльмена с траурной повязкой, но он, возможно, надел ее в знак скорби по умершей тетушке. Американский народ встретил Н. С. Хрущева не «вежливо-холодно», как призывали его весьма громогласно, а радостно, дружески и даже — как это стало ясно уже на половине пути — восторженно.

Верно также и то, что вот уже два года, с момента запуска нашего первого спутника Земли, население Америки начало думать о том, что его годами обманывали. Оно стало понимать, что социалистический Советский Союз — это совсем не то, о чем болтали пропагандисты «холодной войны»; что это могучая держава, идущая в первых рядах научного и технического прогресса. Версия непобедимости, «первородства» США, их права управлять всем миром и диктовать ему свои условия рухнула. Но что

появилось на месте этой версии? Сознание, что политика «с позиции силы» никуда не годится, что надо ее менять. Но на что?

Для того чтобы все это стало яснее, я должен привести один только, но очень важный и исчерпывающий пример. Ведь «менять» старую, агрессивную политику Америки надо на политику мирного сосуществования. Этими двумя словами определяется то, что предлагал и предлагает Советский Союз капиталистическим государствам.

Мирному сосуществованию как единственно возможному пути человечества посвящена статья Н. С. Хрущева, напечатанная в американском журнале «Форин афферс» незадолго до приезда главы Советского правительства в Вашингтон. Ее «опровержению» и были отданы все силы наиболее опытных пропагандистов «холодной войны» в те дни, когда мы, советские журналисты, разместились в отведенных нам комнатах на 16-й улице в отеле «Статлер».

Как же «опровергали»? Отрицать, что мирное сосуществование лучше мировой войны, что все народы мира, в том числе и американский, против войны, — невозможно. Так, черным по белому, писала, например, газета «Нью-Йорк уорлд телеграм энд Сан». Но, многозначительно восклицал автор, статью Хрущева «надо читать между строк».

«Уолл-стрит джорнэл», «Нью-Йорк геральд трибюн», все ведущие вашингтонские и нью-йоркские газеты «выработали» накануне приезда Н. С. Хрущева удивительно стандартную, излагаемую в одинаковых выражениях идеологическую программу американской непримиримости, начисто отвергающую идею сосуществования. 15 сентября, в день прибытия советской делегации, «Нью-Йорк таймс» в редакционной статье повторила три уже опубликованных другими газетами «возражения».

Оказывается, согласиться на мирное сосуществование с Советским Союзом, то есть круто, радикально изменить курс внешней политики, — это значит принять «три жестких условия Хрущева». Вот они, эти «условия», якобы предъявленные Советским Союзом: «признание нами (Соединенными Штатами.— *Б. Л.*) всех коммунистических завоеваний как окончательных; урегулирование германской и берлинской проблем на условиях Хрущева; ликвидация эмбарго на стратегические товары»... «И все это без каких бы то ни было уступок с советской стороны»!!

Вдумайтесь в эту не очень длинную тираду, и вы поймете всю глубину, всю пропасть непонимания, искусственно созданного реакционными политиками. За каждой фразой — извращение истины и попытка оправдать политику агрессии.

А между тем каждому здравомыслящему человеку ясно, что не Советский Союз предъявляет «жесткое условие» — признать коммунистические завоевания, а империалистические круги Запада воинственно требуют, чтобы ряд стран, идущих по пути социализма, изменил по их воле свой внутренний строй. Это их «жесткое условие», их «ультиматум», от которого, разумеется, придется отказаться, если пойти на мирное соревнование двух систем. Не Советский Союз «требует» решить германскую проблему на своих «условиях», а Запад должен отказаться от агрессивного стремления уничтожить Германскую Демократическую Республику, от использования Берлина как базы этой агрессии. А американское «эмбарго» на нормальную международную торговлю? Это одна из нелепостей нашего времени, которая таит в себе опасность войны.

В приведенной тираде «Нью-Йорк таймс» наиболее четко и кратко выражена «лицевая сторона» программы современного империализма. Это именно то, что подается широким кругам народа в качестве объяснения «необходимости» вооружений, создания военных баз, союзов с самыми реакционными режимами на земном шаре. Нельзя сосуществовать с коммунистическими «захватчиками», — это было бы «бесчестьем» для Америки; нельзя «обижать» немцев, «допуская» существование ГДР, а надо вооружать нераскаявшихся гитлеровцев атомными бомбами, так как они теперь верные союзники Запада; торговать тоже не следует — это поможет безбожным коммунистам в их коварных планах...

Все «дохлые кошки» провокационных вопросов, подброшенные в последующие дни Н. С. Хрущеву реакционными американскими журналистами или такими истыми слугами империализма, как Рейтер и другие профсоюзные боссы, порождены этой идеологией. И вот американские бизнесмены или сенаторы с полным сознанием своей правоты, своего достоинства считают для себя возможным с видом прокуроров учинять «строгий» допрос: «Почему вы (то есть Советский Союз.— *Б. Л.*) не разрешаете своим гражданам слушать «Голос Америки»? Где же демократия?!» Но кому не известно, что этот «голос» только и занимался производством и выпуском в свет «дохлых кошек» всех мастей и пород?

Мы застали в Вашингтоне лихорадочную подготовку к беседам с Н. С. Хрущевым. Она состояла в том, чтобы внушить главе Советского правительства почтение к американскому капитализму, страх перед мощью Америки, заставить его изменить свои взгляды, а следовательно, и политику. Вице-президент Р. Никсон выразил надежду, что Хрущев в результате своей поездки «отрешится от некоторых заблуждений, которые у него есть в отношении США».

Поведение Р. Никсона в те дни наглядно демонстрировало растерянность и запутанность американской дипломатии. С одной стороны, стало ясно, что для повышения популярности любого деятеля в США (учитывая предстоящие в 1960 году президентские выборы) надо выглядеть склонным к улучшению отношений с СССР. С другой стороны, если прослывешь таковым всерьез, то правящая олигархия миллионеров и миллиардеров может и вообще не выдвинуть тебя кандидатом на выборах. «Уолл-стрит джорнэл» писала о Никсоне: «Он извлек богатейший политический капитал из своей поездки в Россию и считает, что больше ничего не выиграет от обхаживания Хрущева в Соединенных Штатах. Напротив, он мог бы многое потерять».

Напряженно, с огромным интересом ожидала американская столица знаменательного дня 15 сентября. Из Москвы, обогнав нас, прилетела весть об успешном запуске советской ракеты на Луну — мы узнали эту новость, как только приземлился наш «ИЛ-18» на аэродроме Эндрюс. А затем ракета «прилунилась!» Об этом непрерывно вешали все американские радиостанции, писали газеты, всюду это вызвало еще больший энтузиазм.

Встречаясь с американскими журналистами, которые любезно устроили для нас маленький прием, мы, представители советской печати, напоминали своим коллегам знаменательные слова Н. С. Хрущева, сказанные им на пресс-конференции в Москве еще 5 августа:

«...Мы поедем в Америку с открытой душой и чистым сердцем, с добрыми намерениями, с искренним желанием способствовать ликвидации состояния «холодной войны» и обеспечить возможность договориться с Президентом по вопросам, связанным с улучшением отношений между нашими странами, руководствуясь заботой об обеспечении мира во всем мире».

А вернувшись с приема у президента Национального клуба печати У. Лоуренса, поздно вечером 14 сентября, мы услышали по радио из Москвы ответ Н. С. Хрущева на письма и телеграммы, поступившие к нему накануне его поездки в США. Там было сказано:

«Я не сомневаюсь в добрых намерениях Президента США. Приглашая меня с визитом в Соединенные Штаты, он, видимо, тоже стремится к тому, чтобы был найден общий язык для решения спорных международных вопросов и улучшения отношений между нашими странами».

Одно стало нам очевидным: большинство американского народа горячо поддерживает акцию своего президента. Но нелегко большинству в этом «свободном мире». Оно опасается быть активным. Зато бешеную активность развивает явное меньшинство — те, кто не желает и даже страшится ликвидации «холодной войны». За кем же будет верх: за большинством или меньшинством?..

Столицу мы уже посмотрели, ощутили царящий в ней дух. Сомнений не было: этот город живет только предстоящим на завтра событием.

ОТ ВАШИНГТОНА ДО ГОЛЛИВУДА

Заполнившие всю мировую, в том числе и советскую, прессу бесчисленные корреспонденции дали уже яркое, отчетливое представление о днях пребывания Н. С. Хрущева в США. Следуя за главой Советского правительства, фиксируя на фото пленке, на киноленте его встречи с американцами, триста постоянных и множество «случайных» журналистов попутно записывали и свои впечатления от страны.

Современная Америка — интересная и богатая земля. Шесть городов ее, включенных в программу турне, были выбраны хорошо: они прежде всего разнообразны, отражают различные стороны жизни Соединенных Штатов Америки.

Быстрое путешествие по стране оставило у каждого из нас несколько поверхностное, но все же определенное впечатление. Я узнал ее, Америку, известную мне по книгам О'Генри и Драйзера, Синклера Льюиса и Стейнбека, Колдуэлла и Хемингуэя. И хотя я не принадлежу к числу тех, кому нравятся небоскребы Нью-Йорка, — по моему, они некрасивы, унылы, а сам этот громадный город внушает безотчетное беспокойство и раздражение, — могу признать, что в США есть немало хорошего.

Великолепны дороги и автомобили, поезда и самолеты. Удобны для путника кафетерии, а особенно «аптеки» — эти странные универмаги, в которых можно позавтракать и купить все — от одеяла до детских игрушек. Но давит и угнетает господство рекламы, ее непрерывное вторжение в жизнь человека, ее «диктатура» в газетах и в телевидении. Вот кому принадлежит подлинная власть — рекламе и рекламодателям! Даже в небольшой сан-францисской газете «Кроникл», давшей приветливый заголовок на первой странице в честь приезда Н. С. Хрущева, дежурный редактор нечаянно признался мне, что некоторые рекламодатели выразили ему по телефону свое недовольство, а ведь от них зависит — быть газете или не быть... Американская демократия предстала перед нами в весьма неприглядном виде. Любые реакционные, прямо-таки допотопные взгляды, а также все антигуманное, агрессивное, лживое имеет здесь не только «демократическое» право на существование наравне со всем честным, правдивым, но и право явно преимущественное.

В выступлениях Никиты Сергеевича перед американскими деятелями и перед американским народом нашла свое яркое и страстное выражение поучительная борьба идей, разоблачена небывалая в истории дезинформация. С особой силой развернулось «сражение» в первой половине путешествия по стране: в Вашингтоне, Нью-Йорке, Голливуде и Лос-Анжелосе, хотя «арьергардные бои» велись и в Сан-Франциско — с профсоюзными боссами.

Все это отражено в книге выступлений Н. С. Хрущева «Жить в мире и дружбе!».

В первый день пребывания Н. С. Хрущева на американском континенте, обмениваясь с главой Советского правительства речами на обеде в Белом Доме, Дуайт Д. Эйзенхауэр, в частности, сказал:

«Учитывая нашу мощь, наше значение для всего мира, чрезвычайно важно, чтобы мы лучше понимали друг друга. Относительно этого мы с вами согласны. Я думаю, что умело спорить сейчас недостаточно. Мы должны полагаться на факты и истину и должны, мне кажется, считать нашей общей целью ознакомление друг друга с максимальным количеством фактов и истиной, чтобы мы могли успешнее и сообща повести весь мир по пути более надежных перспектив мира и процветания».

Отвечая на эту речь, Никита Сергеевич тотчас же изложил основную мысль, которую позднее во всех своих выступлениях он популярно, доходчиво, в самых различных формах доносил до сознания миллионов американцев:

«Мы считаем, что наша социалистическая система лучше, нежели ваша. Вы верите, что ваша система лучше нашей. Как же нам быть? Доводить спор о том, чья система лучше, до борьбы между нами на военной арене? Не лучше ли предоставить истории решить этот вопрос? Думаю, что это было бы правильнее. Если вы согласны с этим, то мы можем построить наши отношения на основе мира и дружбы».

Многим американским деятелям — сторонникам «холодной войны» такая постановка вопроса представилась буквально крушением всего, чем они жили и надеются жить многие годы. На чем тогда строить политику вооружений, военных союзов, торговой

дискриминации, всевозможных непризнаний и необоснованных претензий на что-то «освобождение»?!

Беседа 16 сентября с лидерами американского конгресса и членами сенатской комиссии по иностранным делам, Н. С. Хрущев вынужден был сравнить положение некоторых политиков с состоянием человека, сменившего ботинки: новые жмут, хочется опять надеть старые, поношенные башмаки. «Я понимаю,— сказал он,— что это не всегда бывает легко — изменить направление в отношениях между государствами, отказаться от старого, отживающего и перейти к новому, прогрессивному».

Сама эта интересная беседа с сенаторами очень наглядно продемонстрировала, что, обвиняя Советский Союз ни много ни мало как во вмешательстве в дела других стран, иные американские политики только и думают о... вмешательстве США во внутренние дела многих народов. Сенатор Фулбрайт, например, не стесняясь, задал вопрос: «Готовы ли вы согласиться с тем, чтобы кто-либо из ваших союзников избрал двухпартийную систему?» (Вопрос этот последовал после того, как Н. С. Хрущев едко и метко высмеял так называемую «двухпартийную систему» в США, где ни один человек не может обнаружить различия между двумя правящими партиями крупных монополий.) «Такие вопросы решают сами народы»,— кратко ответил Н. С. Хрущев, ставя сразу точки над «i». Еще острее был его ответ на нелепый вопрос сенатора Рассела о предоставлении жителям «Восточной Германии» права самим решить свою судьбу путем плебисцита. «Я русский,— сказал Никита Сергеевич,— и представляю сейчас Советский Союз. Вы же интересуетесь делами немцев. Если у вас есть вопросы на этот счет, обратитесь с ними к премьер-министру ГДР, и он даст интересующую вас информацию. Адрес известен: Берлин, Гротеволу. Дойдет!»

И, наконец, глава Советского правительства поставил в безвыходный тупик «хитроумных» сенаторов, предложив им — в ответ на измышления об «угнетении» каких-то стран Советским Союзом — взаимно отвести все войска с чужих территорий. «Пусть солдаты вернутся домой! Как будут рады матери и невесты обнять их! Вы согласны?» Неловкое и тягостное молчание было ему ответом.

Столь же острый и сокрушительный отпор клевете, дезинформации и извращению фактов был дан Н. С. Хрущевым в Вашингтоне, в Национальном клубе печати, в отелях «Коммодор» и «Уолдорф-Астория» в Нью-Йорке, при встрече с актерами и режиссерами Голливуда, на большом обеде в Лос-Анжелосе.

Опишу эти собрания — они «ставились» по одной программе. Был ли это сравнительно небольшой зал Клуба печати в Вашингтоне, где все мы сидели за длинными и не очень просторными столами, или громадный зал «Уолдорф-Астории», в котором собрались богатейшие люди Америки,— дело шло одинаково.

...Шумит, гудит великолепный ресторанный зал. Один за другим прибывают приглашенные. Тут вся знать города. Не быть приглашенным на такой вечер — смертельная обида, оскорбление. В Нью-Йорке, в Экономическом клубе, собралось две тысячи человек — небывалое для этой организации число гостей, а ходатайствовало о билетах — по сообщениям всезнающей американской прессы — более трех тысяч!

Церемонные лакеи разносят кушанья. В Лос-Анжелосе даже устроили смешной «парад» официантов: когда пришло время подавать сладкое, около сотни этих одинаково одетых слуг проследовало один за другим не своим обычным путем — к столикам,— а мимо Н. С. Хрущева, его супруги, господина Лоджа и представителей местной власти. Соблюдая одинаковый интервал, официанты с подносами шли минут пять — их число казалось фантастическим...

Речи всегда начинались после еды. И неизменно, прежде чем предоставить слово Н. С. Хрущеву, высказывались два-три, а то и четыре-пять американских ораторов, стремившихся «обезвредить» предстоящее выступление гостя, выслушать которое и собрались присутствующие. Эти ораторы говорили о преимуществах капитализма, о его силе, о великих достижениях Америки. К этому в речах и записках добавлялись вопросы такого сорта: зачем вы хотите нас «закопать», «похоронить»; не позволите ли нам спасти Венгрию; не согласитесь ли изменить свой строй...

Н. С. Хрущев отвечал на эти хвастливые речи и нередко прямо провокационные вопросы.

В Экономическом клубе он говорил:

«Почему же здесь господин Лодж столь усердно занимался защитой капитализма? Он делал это так усердно, и его можно понять. Если бы он не защищал так ревностно капитализм, он не занимал бы в вашей стране такого важного поста. (Смех, аплодисменты). У меня возникает только один вопрос: что побудило господина Лоджа столь страстно доказывать пользу капитализма именно сегодня? Неужели он руководствуется желанием убедить меня перейти в капиталистическую веру? (Смех). Или, быть может, господин Лодж опасается, что если перед капиталистами выступит большевик, то он переубедит их и они перейдут в коммунистическую веру? Хочу успокоить вас: таких намерений у меня нет — я знаю, с кем имею дело. (Смех, продолжительные аплодисменты)».

Вопрос о том, действительно ли Советский Союз намерен «похоронить» и капитализм и сами Соединенные Штаты,— струнка, на которой без конца играли все, вплоть до мэра Лос-Анжелоса. Однако даже американские обозреватели высказывались по этому поводу с полным пониманием дела. Так, Липпман уже после выступления Хрущева в Клубе печати, яростно споря с марксистско-ленинскими положениями, признавал: «Что касается выражения «похоронить» нас, то ему вряд ли нужно было объяснять, что он не имеет в виду убить нас и выкопать нам могилы. (Но именно этот смысл и вытаскивали неизменно все «профилактические» ораторы на собраниях.— Б. Л.) Всегда было ясно, что он выражает свое убеждение как марксист в том, что наше общество переживает упадок, а коммунистическое общество растет и будет играть господствующую роль в мире».

К великому несчастью достойных оппонентов Н. С. Хрущева, они столкнулись с непобедимой логикой блестящего защитника правды, науки, непреложных фактов и политики мира. Никита Сергеевич безжалостно и остроумно использовал против них всю силу нашего марксистского мировоззрения. Все выдумки апологетов «холодной войны» разбивались вдребезги — ведь ложь стоит на очень непрочных ногах. А вместе с тем вызов, брошенный этими людьми и касавшийся «преимущества» системы капитализма, также оказывался для них самих крайне невыгодным. Он дал повод Н. С. Хрущеву рассказать американцам о социализме! И скудные данные, которые приводил глава Советского правительства,— о быстроте темпов нашего развития за сорок два года Советской власти, о миллиардах, вкладываемых в капитальное строительство по семилетнему плану, о размахе высшего образования в СССР — производили огромное впечатление.

Не забудем, что эти выступления передавались по радио и телевидению. Каждая фраза Никиты Сергеевича переводилась на английский язык.

— Какая сила логики у вашего премьера! — говорили нам, журналистам, многие американцы из самых различных слоев общества.— Какая убежденность!

Трудно найти более резкую, четкую, прямую постановку вопроса, чем та, к которой вынужден был прибегнуть Н. С. Хрущев после провокационного выступления мэра Лос-Анжелоса. Никита Сергеевич сказал:

«Выбирайте, идти ли нам вместе к миру или продолжать «холодную войну» и гонку вооружений. Я приехал не упрощать вас. Мы сильны не менее, чем вы. Уже много раз я выступал в Соединенных Штатах и еще ни разу не прибегал к слову «оружие», тем более — «ракета». И если я сегодня сказал об этом, то поймите, что у меня другого выхода не было.

Может быть, кое-кому хотелось бы создать впечатление, что мы приехали как бедные родственники и просим у вас мира, как милостыни. Но не заблуждайтесь. Мир нужен всем народам. Если вооружение приносит прибыли вашим монополиям, если нам предлагают соревноваться не на мирном поприще, а в производстве оружия, то это страшное направление! Подумайте, куда это ведет, и выберите!»

Голливуд и Лос-Анжелос — это были пункты путешествия, непосредственно следовавшие за Нью-Йорком, где 18 сентября на Генеральной Ассамблее ООН Н. С. Хрущев произнес свою историческую речь, внося предложение о всеобщем и полном разоружении. Вся страна жила в те дни под впечатлением этих предложений. И мы

особенно отчетливо увидели противоречие между мнением народных масс Америки и пропагандой рептильной американской печати.

Почти все газеты немедленно поспешили высказать скептические суждения о реальности плана разоружения, предложенного Советским Союзом, начались разговоры о том, что в нем «нет ничего нового». А простые люди США восторженно и с горячим одобрением встретили речь главы правительства СССР. Н. С. Хрущев сразу подорвал все лживые построения недобросовестных западных политиков о «несогласии» Советского Союза на международный контроль над разоружением. «Мы за действительное разоружение под контролем,— подчеркнул он,— но мы против контроля без разоружения».

Напряженность в международных отношениях, отмечал Н. С. Хрущев, не может продолжаться вечно: или она достигнет такого накала, когда останется одна развязка — война, или же совместными усилиями государств заблаговременно удастся добиться ликвидации этой напряженности.

То, что было сказано в ООН, полностью совпадало с мыслями и призывами Н. С. Хрущева, высказанными и в других его выступлениях — для американцев и перед американцами. Помню, как через несколько дней, на приеме в советском посольстве в Вашингтоне, известный американский капиталист Сайрус Итон сказал Никите Сергеевичу: «Ваша речь в ООН должна быть издана на всех языках мира».

Стремление изолировать советского гостя от рядовых американцев проявлялось все очевиднее. И все более резким становилось противоречие между настроением большинства встречающих Н. С. Хрущева и обстановкой официальных приемов. Когда прямо с лос-анжелосского аэродрома поезд советских гостей направился в Голливуд, теплое отношение знаменитых артистов американского кино и всех присутствовавших на завтраке в маленьком зале студии «XX век — фокс» полностью расходилось со словами их хозяина, владельца компании Спироза П. Скураса. Его речь расстроила участников встречи, и они горячо аплодировали Хрущеву, который, по образному выражению одного из журналистов, «сделал из этого грека котлету, разрубил ее еще и еще раз, снова слепил и снова сделал котлету». Через час, когда автомобильный кортеж блуждал по дорогам вокруг Лос-Анжелоса, мы наблюдали новое противоречие между пламенным энтузиазмом жителей и хитроумными маневрами местных властей, направлявших советскую делегацию по возможно более безлюдным аллеям и улицам.

Что изменило, сделало яснее и определеннее настроение тысяч, миллионов американцев? Почему уже в Лос-Анжелосе, а затем на всех станциях тысячекилометровой железной дороги, ведущей в Сан-Франциско, люди окончательно отрешились от продиктованной свыше «вежливой холодности» жителей Вашингтона и Нью-Йорка?

Это был результат навязанных Н. С. Хрущеву полемических битв. Он победил в этих сражениях! Победил разум марксиста, потерпела поражение тьма «холодной войны». Атмосфера в Соединенных Штатах изменилась к лучшему.

Не забыть никогда, как на станции Санта-Барбара — маленькой, расположенной близ Сан-Франциско,— где, в отличие от предыдущих таких же станций, местной полиции не удалось закрыть доступ народу, простые люди Америки наконец-то «прорвались» к Хрущеву, и Хрущев «прорвался» к ним.

— Продолжайте ваше доброе дело! — кричали эти люди.

И то же самое повторилось в Сан-Луис-Обиспо. А впереди ждал нас вечерний воскресный Фриско.

САН-ФРАНЦИСКО — КЕМП ДЭВИД

Обратно в Москву мы летели на быстроходном «ТУ-104». Ночь двигалась нам навстречу, пришлось заночевать в Лондоне. И вот тогда я впервые понял, чего мне не хватало в Америке. Лондонские вечерние улицы показались такими милыми, уютными. Не то что вытянутые в струнку магистрали Вашингтона или Нью-Йорка, параллельные или строго перпендикулярные друг к другу, все пронумерованные и уже по одному этому однообразные.

Только Сан-Франциско, хотя и он распланирован так же аккуратно, как и другие американские города, выделяется из общего стандарта: его улицы идут или в гору или под гору; город стоит на холмах. Прекрасен залив, величественны громадные мосты через него, есть и большие и маленькие здания, архитектура их очень разнообразна. Живописен весь район гавани, самобытен «китайский город».

Но главное — люди. Тут без помех увидели мы подлинное отношение американского народа к высокому советскому гостю. Власти — это одно: они почему-то приняли поезд Хрущева... на товарной станции, в семи милях от города, подальше от населения. А население перехитрило полицию — оно собралось возле гостиницы «Марк Гопкинс», куда должен был приехать советский премьер. И тут ему была устроена такая теплая встреча, какой еще нигде не было, но которая — еще жарче — повторилась затем в Де-Мойне и в Питтсбурге.

Решительного изменения «климата» поездки не смогла скрыть даже крупная центральная американская пресса. Нью-Йоркская вечерняя «Стар» немедленно сообщила, что сердечная встреча, устроенная в Сан-Франциско, вернула Хрущеву хорошее настроение. «Нью-Йорк таймс» признавала 21 сентября, что советский премьер встретил горячий прием, что он услышал в Сан-Франциско восторженные возгласы и что все это якобы «вызвало озабоченность официальных лиц».

Впрочем, в эти дни и буржуазная пресса оказалась вынужденной отразить то огромное впечатление, которое произвели на американский народ выступления Никиты Сергеевича. Отодвинув на второй план всевозможные провокационные шпильки, забыв о своей традиции сообщать американским читателям только такие «страшно важные» подробности, как цвет галстука и пиджака советского премьера, или такую «существенную деталь», что Хрущев «выпил бокал шотландского виски с водой и куском льда» (а это превалировало в первые дни), газеты изменили тон.

«Нью-Йорк пост» писала о Хрущеве как о «представителе и лидере общества, обладающего колоссальной энергией и динамизмом». Корреспондент «Нью-Йорк геральд трибюн» сообщал, что глава Советского правительства выглядит «воплощением уверенности в окончательном торжестве коммунизма». И в той же газете обычно весьма недоброжелательная Маргарита Хиггинс назвала выступления Хрущева «мастерскими», а его самого «глубоко проницательным человеком».

И только лидер профсоюзной олигархии из АФТ-КПП Джордж Мини попытался «предостеречь» санфранцисцев, заявив за три дня до прибытия туда Н. С. Хрущева: «Не дадим одурачить себя стремлением к миру и сосуществованию». Жители Сан-Франциско полностью пренебрегли столь провокационным призывом.

Кстати сказать, из маленького сообщения журнала «Нейшн» выявилась любопытнейшая подробность, разоблачающая хозяев Мини и Рейтера. Это фирмы, заинтересованные в военных заказах правительства, в гонке вооружений. Одна из таких фирм — «Аллен-Брэдли энд компани» — поместила в ряде газет большие статьи с грубыми нападениями на Н. С. Хрущева, призывающие США избегать всяких соглашений или «сделок» с Советским Союзом. Журнал «Нейшн», подсчитавший, что не менее трети продукции этой фирмы идет по военным контрактам правительства, писал: «Поэтому мир и дружба не тот лозунг, который может понравиться правлению этой компании».

Но как ни влиятельны подобные фирмы, они не смогли остановить движение народных масс, открыто одобрявших мирную миссию советского премьера. Н. С. Хрущев смог впервые заявить в Сан-Франциско:

«Жители Сан-Франциско обворожили нас. Я почувствовал себя в среде дружески настроенных людей, которые живут теми же мыслями, какими живут народы Советского Союза! В подтверждение этого могу рассказать о таком факте — когда мы ехали по городу, машина случайно остановилась у одного дома. Я спросил простую женщину, которая была рядом с нами, чего бы она хотела, какие у нее желания. Она ответила: у меня одно желание, чтобы был мир на земле, чтобы не было войны. Думаю, что она выразила мысли, желание всех людей: взрослых, женщин, мужчин и детей, потому что мир у каждого в сердце и на устах, как у нас в Советском Союзе, так и у вас в Соединенных Штатах Америки. Мира хотят все народы мира».

Никита Сергеевич ходил по улицам, беседовал со многими гражданами этого приветливого города. Непринужденно его морская прогулка по заливу Сан-Франциско на ксрабле береговой охраны. Огромное впечатление на всех рабочих города произвела его содержательная и теплая встреча с портовыми рабочими Тихоокеанского побережья, разговор с председателем их профсоюза Гарри Бриджесом. Интересным было и посещение завода счетных машин в Сан-Хосе.

Не смогла испортить общего впечатления от Сан-Франциско даже очень и очень недружелюбная встреча с группой руководителей американского профсоюзного движения.

Блестяще, лаконично и вместе с тем исчерпывающе отвечал Рейтеру, Кэри и их единомышленникам Никита Сергеевич. Примечателен самый набор заданных ему провокационных, в существе своем лживых вопросов. Удивительно только одно — их задавали те, кто называет себя «представителями рабочего класса США». Они обманывали и обманывают таким способом миллионы американцев.

Вот этот набор: вы «эксплуатируете Восточную Германию»; вы помогаете слабым странам «в корыстных целях»; вы «против контроля» над вооружениями; знаете ли вы, что «высшая степень социализма достигнута... в Израиле»; почему в СССР нет «свободы» для распространения любой информации...

Точно, противно было нам всем читать опубликованную в газете «Нью-Йорк таймс» извращенную запись этой беседы с профсоюзными боссами, каждый из которых богаче многих преуспевающих бизнесменов (Рейтер, например, получает в год полмиллиона долларов). Противно, но поучительно.

То был, в полном смысле этого слова, облик «холодной войны». Надо понять, что «арсенал» этой своеобразной, небывалой в истории «войны» разработан до мельчайших деталей. Это Ложь с большой буквы, взятая на вооружение. Вспомним, что еще Гитлер призывал именно к такой гипертрофированной, чудовищной лжи. Самый «арсенал» показывает слабость врагов марксистского мировоззрения, противников коммунизма. Страшнее всего для них — правда о нас.

В Сан-Франциско мне удалось поговорить со многими американцами. Это были разные люди: два торговца — хозяева магазинов, шофер такси, несколько рабочих, а среди них трое ищущих заработка, журналисты из «Кроникл», женщина очень бедного вида, державшая плакат «Добро пожаловать, Хрущев!».

Оказалось, что никто из них не прислушивается к Рейтеру и К°. Правда, некоторые из них находились под влиянием болтовни, что Советский Союз не хочет международного контроля над вооружениями, а посему и нет возможности остановить гонку. Но стоило мне только объяснить им, что такой «контроль» — это лишь форма военной разведки, а не путь к подлинному разоружению, и они начинали уже кое-что понимать. «Да,— сказал владелец галантерейного магазина,— это, разумеется, чепуха, чистое очковитительство». И этот дезориентированный прессой человек сразу согласился с тем, что сперва надо достигнуть соглашения о разоружении, а затем уже контролировать, как оно выполняется. Он уже слышал по радио всю речь Н. С. Хрущева в ООН.

И все мои случайные собеседники — до единого — горячо, страстно мечтают, чтобы наладились хорошие отношения с СССР. По мнению хозяйки маленькой лавочки в гавани, у которой мы покупали дешевые сувениры, «все газеты врут». Она не уважает их. Она просит передать поклон Хрущеву. Безработный желает, чтобы наладилась нормальная торговля с Советским Союзом: тогда, конечно, «будет больше работы». А женщина с плакатом твердила, приветливо улыбаясь: «Это человек мира, как хорошо, что мы увидели его».

Фриско оставил у всех нас благоприятное впечатление. Да и местные деятели — мэр города Дж. Кристофер, губернатор Калифорнии Э. Браун — произнесли речи, сильно отличающиеся от выступлений видных американцев в других городах. Это было на вечернем приеме в большом зале ресторана, где присутствовало около двух тысяч гостей. Как обычно, все выступления передавались по телевидению. Я вынужден был уйти еще до конца вечера, в тот момент, когда Н. С. Хрущев завершал свое выступление (надо было ехать на аэродром), и видел, как в десятках кафе люди слушали эту речь.

Не было в те дни в Штатах человека, который привлекал бы к себе большее внимание. Нет, он завоевал уже всеобщую симпатию!

В этом можно было убедиться наутро в Де-Мойне, куда домчал нас ночной самолет.

Де-Мойн — небольшой город. И почти все его население вышло на улицы, чтобы встретить советских гостей. Мы, журналисты, смешались с толпой. Могу засвидетельствовать: такой сердечности, такой искренней радости и приветливости мы еще не видали.

И это повторилось на следующий день, когда, следуя за Никитой Сергеевичем, армия журналистов помчалась на кукурузные поля, на ферму Гарста, в маленький поселок Кун-Рapidс. Мы встречали приветливые, радостные лица, беседовали с десятками простых людей Америки, каждый из которых хотел поговорить с главой Советского правительства.

В штате Айова произошла встреча с группой американской молодежи, студентами университета в городе Эймсе. Как же настроена эта молодежь? Конечно, беглые разговоры со студентами дали нам не много. Но одно очевидно: это ищущие люди, они отвергают официальную доктрину «непримиримости», они хотят знать правду о Советском Союзе, у них нет предубеждений. Лучше всего рассказал об этой встрече, о неожиданном повороте событий в университете, сам Н. С. Хрущев, приехав в Москву.

«Вспоминается такой эпизод,— говорил Никита Сергеевич.— Когда мы приехали в университет, кто-то из молодых людей сунул мне студенческую газету. Там была напечатана большая статья, в которой, как мне передали, студенты приветствовали наш приезд. В статье было написано, однако, что студенты встретят нас без энтузиазма, без приветственных возгласов. И что же? Студенты, от имени которых была написана статья, эти молодые, рвущиеся к жизни люди, проявили такой же энтузиазм, какой проявляет и наша молодежь. Они кричали, аплодировали, бурно выражали свои чувства. Слышны были возгласы: «Товарищ Хрущев!», «Никита» и другие простые теплые слова.

В тот же день, почти в полночь, я и еще несколько журналистов уже были в большом промышленном центре Питтсбурге. И вот мы на аэродроме Питтсбурга, не едем в город, ждем прибытия Никиты Сергеевича. Кругом довольно пустынно. На военном аэродроме только городские власти, среди них мэр города Томас Галлахер, отряды полиции, большая группа американских репортеров, фото- и кинокорреспондентов. Город далеко — милях в двадцати.

И вот после встречи, которая была очень теплой (ведь г-н Галлахер даже вручил Н. С. Хрущеву символический ключ от города Питтсбурга — традиционная церемония, нигде еще не примененная в отношении советского гостя), едем по темным, пустынным дорогам. Долго тянутся окраины, почти ничего не видно. И вдруг, как-то внезапно, мы в центре Питтсбурга, в его буржуазных, богатых кварталах, у самой гостиницы, где остановится Никита Сергеевич...

Что это? Улицы забиты народом. Полиция с трудом обеспечивает подъезд к отелю. Десятки тысяч вышли в полночь из своих домов, чтобы приветствовать главу Советского правительства. Возгласы. Рукопожатия. Все хотят пробиться поближе.

Коротким было свидание с Питтсбургом — ведь уже на следующий день, 24 сентября, Н. С. Хрущев вылетел в Вашингтон, где вечером в нашем посольстве состоялся большой прием. Но единственный промышленный центр Штатов, включенный в программу путешествия, хорошо встретил желанного гостя. Не оправдались и предсказания относительно рабочих станкостроительного завода компании «Места» — говорили, что там немало «перемещенных лиц», настроенных враждебно. Неприветливых лиц мы не видели. Было другое: сердечность, радостные улыбки, приветствия, жаркие рукопожатия.

«Мы очень довольны отношением жителей вашего замечательного города к нам, советским людям,— говорил Никита Сергеевич, выступая на завтраке в Питтсбургском университете,— довольны их теплотой и радушием, а главное — пониманием значения моего визита в США, пониманием необходимости улучшения отношений между нашими государствами».

Так завершилось стремительное турне по Америке. В течение недели на поездах и самолетах мы проделали обширный путь, побывав и на Атлантическом и на Тихоокеанском побережьях Штатов. Эта прогулка дала многое. Конечно, мы не «открыли» Америку, на что так рассчитывали хозяева, разумея под этими словами просмотр советских взглядов на эту страну, на ее политику. От пытливого взора Н. С. Хрущева не укрылись ни действительные достижения США, ни многие недостатки хвального «американского образа жизни». А уж если говорить о положении трудящихся США, то о нем свидетельствовала продолжавшаяся третий месяц упорнейшая забастовка полумиллиона металлургов — борьба за достойный человека заработок. Только лицемерные рейтеры были способны выдать эту забастовку чуть ли не за «показатель демократических свобод» в США, где каждый может работать «только за ту плату, которую считает необходимой», и где «предприниматель тоже может заботиться о своих прибылях» и не платить того, что следует. Оказалось, «демократия» действует только на пользу предпринимателям: они заранее подготовились к забастовке, запасли огромные резервы стали, а муки и страдания забастовщиков и их семей — это капиталистов всегда мало беспокоило. Когда им потребовалось все же возобновить производство, правительство как раз и вспомнило, что у него есть «закон Тафта — Хартли», позволяющий запретить забастовку как «незаконную»...

Нет, мы не «открыли» Америку; зато американцы «открыли» Хрущева, как выразился один английский журналист. Они поняли наконец, что на свете существует другая система — социализм, уже в наши дни обеспечивающий более чем миллиарду людей справедливое общественное устройство и неуклонное движение вперед, к изобилию материальных и духовных благ. Когда-то слабая, отсталая Россия теперь стала великим Советским Союзом, бросающим вызов на мирное экономическое соревнование самой богатой, по ряду причин обогнавшей другие страны капитализма стране — «самим» Соединенным Штатам Америки.

Бастионы «холодной войны» рушились.

Огромно значение встреч главы Советского правительства с американским народом. Ведь именно с широкими массами рядовых людей вел свои беседы Н. С. Хрущев, споря с пропагандистами системы капитализма, с поборниками «холодной войны», отражая атаки на советскую внешнюю политику.

Нельзя было не поразиться тому, как мало знают американцы о положении в мире. Нигде, ни в одной капиталистической стране Западной Европы, где мне случалось бывать, я не видел такой неосведомленности. В Париже, Брюсселе, Стокгольме тысячи людей имеют представление — пусть иногда неполное — о советской литературе и советском искусстве, о нашей истории, о нашей политике. В Соединенных Штатах не так уж часто встретишь человека, который назвал бы хоть два имени советских писателей, слышал когда-нибудь названия наших газет, журналов. Очень мало владеющих русским языком — только сейчас его начинают изучать в некоторых школах.

Однако наряду с этим мы часто встречали любопытство. В Де-Мойне я разговаривал с двумя буржуа, мужем и женой, примчавшимися из штата Алабама, чтобы повидать Хрущева. Все для них удивительно; советских журналистов они рассматривали с таким вниманием, будто подозревали, что у нас имеются хвост и рога. При этом были очень внимательны, проявили желание слушать, что-то узнать.

Сознание ответственности — вот что пришло сейчас к каждому американцу. Ответственности перед своими детьми, перед всем миром за будущее человечества. Их слухом долго успокаивали, баюкали сказками о могуществе Америки, о ее неуязвимости, о том, что все беды мира не для них. Они не видали современной войны, не пережили ужасов двух предыдущих мировых войн. «Политика — дело специалистов» — эту фразу теперь уже не повторяют.

Никита Сергеевич, будучи в Америке, говорил там о своих впечатлениях от встречи с американцами. На пресс-конференции в Вашингтоне 27 сентября он заявил:

«О встречах с рабочими и фермерами, студентами и вашей интеллигенцией хотелось бы сказать очень многое. Мне нравятся ваши люди. Они, как и советские люди, хотят одного — мира, предотвращения новой войны. Они хотят лучше знать Советский

Союз и советских людей, чтобы использовать могучие потенциальные возможности наших стран на благо людей, на дело улучшения международной обстановки».

Это было сказано в последний день пребывания главы Советского правительства в США, после бесед его с Дуайтом Д. Эйзенхауэром. Они состоялись в Кэмп Дэвиде — загородной резиденции президента. Журналистов там не было. Большая группа корреспондентов поселилась на два дня в маленьком городке Геттисберге, где их лишь изредка информировал о ходе бесед Хрущева с Эйзенхауэром секретарь Белого Дома по вопросам печати Хэгерти.

И вот все мы, весь мир прочли наконец текст совместного советско-американского коммюнике. Оно обрадовало граждан всех стран. Его слушали по радио, читали в газетах с необычайным вниманием. Не было за последние годы более важной и волнующей весте: главы правительств двух величайших держав — США и СССР — публикуют совместное заявление!

Да, впереди еще много работы, много трудностей. Но сказано главное: все неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем применения силы, а мирными средствами, путем переговоров. И разоружение, как сказано в коммюнике, «является самым важным вопросом, который стоит перед миром в настоящее время».

Никита Сергеевич рассказывал москвичам тотчас же после своего возвращения в Москву:

«Следует учесть, однако, что мы не могли, естественно, в один присест расчистить вдвоем с Президентом все нагромождения «холодной войны», накопившиеся за многие годы. Для того, чтобы убрать этот мусор, и не только убрать, но и перемолоть его, требуется время. Еще слишком свежи некоторые явления, разделяющие нас. Иной раз некоторым деятелям бывает трудно оторваться от старых позиций, от старых взглядов, от старых формулировок».

Позднее, докладывая Верховному Совету СССР о международном положении и внешней политике Советского Союза, 31 октября 1959 года Н. С. Хрущев, в частности, рассказал о своих беседах в Кэмп Дэвиде:

«Хочу лишь добавить, что наши беседы были весьма полезными и способствовали, на наш взгляд, определенному взаимопониманию, сближению точек зрения в оценке сложившегося положения в целом, в подходе к некоторым конкретным важным вопросам, в сознании необходимости улучшения отношений между СССР и США. Это — существенный вклад в дело упрочения всеобщего мира, и мы им весьма дорожим».

Поездка Н. С. Хрущева в Америку — это важный, большой исторический рубеж. За ним открываются светлые дали.

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ЭПОХИ

Наступит ли время, когда люди, все нации, все государства откажутся от оружия, распустят свои армии, обратят огромные средства, расходуемые сейчас на вооружения, только на то, чтобы улучшать жизнь? Устаноятся ли в связи с этим совершенно иные, небывалые отношения между государствами, что потребует и новых дипломатических навыков, норм, методов?

Выступление Н. С. Хрущева перед Генеральной Ассамблеей ООН является особенно важным. Оно, как и Обращение Верховного Совета СССР к парламентам всех стран мира, обнародованное 1 ноября, знаменует начало новой эпохи. В Обращении говорится: «Всеобщее и полное разоружение откроет поистине новый этап в истории международных отношений. Мирное сосуществование государств с различными социально-экономическими системами будет прочно обеспечено. Все государства будут жить как добрые соседи».

— Да, — скажет наш читатель, — это вполне укладывается в мировоззрение советских людей, граждан всех социалистических стран, они всегда хотели этого, такие отношения представляются им вполне нормальными, достойными современного человека. Но как отнесутся к этому политики и дипломаты буржуазных стран?

Ответить на этот вопрос нелегко.

Громадный сдвиг в «западном мышлении» сейчас несомненен. Ему много способствовали выступления Н. С. Хрущева в Америке. Твердо, настойчиво разъяснял американцам советский премьер необходимость, неизбежность нового подхода к международной политике. И он всегда говорил им не только о наших взглядах или о наших интересах — он подчеркивал, что прекращение «холодной войны» соответствует интересам всех держав, в том числе и Соединенных Штатов Америки.

На обратном пути из Вашингтона в Москву большой группе советских журналистов случилось лететь на таком самолете, маршрут которого — в отличие от маршрута трех остальных машин — предусматривал несколько остановок. Мы приземлились сначала еще на американском континенте, в Канаде, на огромной военной базе Хантер, затем в Кевфлавике, на исландской земле, — это опять-таки была мощная американская военно-воздушная база. Третьей станцией был Лондон. И хотя аэродром, на котором мы очутились, имел вполне гражданский вид, каждый из нас помнил: вся Англия превращена в неподвижный американский авианосец, в атомную и ракетную базу США... А что творится на территории Западной Германии? Там маршируют дивизии бундесвера — под этим названием возрождается гитлеровский вермахт, — командуют им те же генералы. Там строятся такие же базы. Да и не одна Западная Германия насыщается с каждым месяцем все большим количеством ракетного и атомно-водородного оружия, баз, площадок, военных аэродромов. Такое же творится и во многих странах Ближнего Востока, в Азии, в Африке...

Но раньше, чем это может быть ликвидировано, должен исчезнуть тот фанатизм «холодной войны», распространенный в США, о котором свидетельствовали, например, вопросы Рейтера или статьи Никсона.

Уже в конце октября выступал по лондонскому Би-Би-Си Джордж Кеннан, бывший посол США в Советском Союзе. За последние годы он приобрел популярность как человек, призывающий своих соотечественников к большему реализму в политике. Еще два года назад много шума наделали его статьи, в которых он настаивал на «военном разъединении» в Европе.

Сейчас Кеннан подчеркивает свою правоту. Он идет еще дальше, приветствуя выступление Н. С. Хрущева в ООН, признавая большое значение новых советских предложений. Это «западный» мыслитель, и у него, естественно, есть свои возражения, вопросы, сомнения. Но он пишет: «Что же касается практической осуществимости, то это такое дело, за которое значительная доля ответственности ложится на нас самих».

Гораздо важнее вот что: из выступления Кеннана вытекает необходимость для Запада пересмотреть все основные концепции внешней политики: «обожествление» атомного и водородного оружия, военное оснащение западногерманских милитаристов, «неизбежность» гонки вооружений. Даже по берлинскому вопросу Кеннан высказывается по-новому. Он отвергает утверждения западных политиков, будто бы Советский Союз «вызвал берлинский кризис». Дело обстоит не так, пишет Кеннан. «Положение Берлина исключительно ненормально, неустойчиво и опасно; его увековечение на неопределенный срок не соответствует интересам даже населения западных секторов города. И у западных держав также нет оснований спокойно довольствоваться этим положением. Фактически у них есть все основания желать его изменения и большей нормализации если не в точности средствами, предложенными г-ном Хрущевым, то более подходящими путями. Я с восторгом отметил открытое признание этой истины в заявлении, которое сделал президент Эйзенхауэр при отъезде Хрущева из Соединенных Штатов».

Если копнуть затронутую Кеннаном тему поглубже, чем делает это профессиональный американский дипломат, хотя и критикующий линию госдепартамента, неизбежным будет вывод о полном банкротстве американской внешней политики, основанной на принципе «холодной войны». Эта политика опасна и для США и для всего человечества.

Потребуется еще немало времени, немало усилий Советского Союза и других миролюбивых государств для того, чтобы мирное сосуществование всех государств, всеобщее и полное разоружение стали фактом и чтобы человеческое общество навсегда избавилось от угрозы войны.

Но время работает на мир. Гигантскими шагами развивается весь лагерь социализма. Успешно выполняется и, несомненно, будет выполнен наш семилетний план. Его осуществление приведет к тому, что в целом социалистические страны будут производить больше половины мировой промышленной продукции. Советский Союз приближается к тому времени, когда его население будет иметь самый высокий в мире жизненный уровень.

Строительство коммунистического общества разворачивается высокими темпами. И чем ближе мы к коммунизму, тем все дальше и дальше будут отходить мрачные тени прошлого. Войне больше не бывать!

Книга «Жить в мире и дружбе!» навсегда останется замечательным свидетельством исторических усилий Советского Союза, Никиты Сергеевича Хрущева во имя достижения этой высокой и желанной для всего человечества цели.



И. БЕЛОВ

★

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

1

Двадцатый век характерен стремительным нарастанием рабочих скоростей. Происходит это благодаря широкому внедрению в промышленность и транспорт моторов — электрических, внутреннего сгорания и в последнее время — реактивных.

В 1909 году Луи Блерио перелетел через Ла-Манш, преодолев тридцать два километра за двадцать семь минут. Спустя два года русский летчик Алехнович совершил перелет Петербург — Гатчина — Петербург уже со скоростью девяносто два километра в час. А в наши дни воздушное путешествие из Москвы в Вашингтон отнимает всего девять-десять часов. Советский пассажирский реактивный самолет «ТУ-114» способен пролететь за час тысячу километров.

На первых автомобильных состязаниях в преддверии двадцатого века гонщик развил рекордную по тому времени быстроту — двадцать четыре километра в час. Сегодня же сто километров в час не предел для обычного автомобиля.

Еще недавно скорость резания металла на токарных станках не превышала нескольких десятков метров в минуту. А теперь наши скоростники обрабатывают металл со скоростью триста — четыреста метров в минуту.

В дореволюционное время бурение нефтяных скважин производилось со скоростью тридцати — шестидесяти метров в месяц. Ныне передовые проходчики бурят за то же время не одну тысячу метров. Непрерывно убыстряется работа прокатных станков, интенсифицируются химические процессы.

Но не странно ли: эта всеохватывающая тенденция как бы обошла сельскохозяйственное производство, ничто не растормошило здесь медлительное течение рабочих процессов.

За последние полвека техническое вооружение сельского хозяйства изменилось коренным образом. На поля пришли тракторы, автомобили, самоходные машины. Мотор вовсе вытеснил лошадь, вола. Однако при всем этом рабочие скорости на полевых работах колеблются в пределах трех с половиной — пяти километров в час, то есть немногим больше, чем сто — двести лет назад, когда лошади были основной двигательной силой.

Выйдите в поле в дни пахоты. Тяжелый, громоздкий агрегат, состоящий из трактора и прицепленных к нему плугов, медленно бороздит почву. Человек может легко поспевать за ним.

Чем объяснить, что рабочая скорость, продиктованная сельскому хозяйству физическими качествами лошади, сохранилась в век стального коня — трактора? Может быть, специфические условия, в которых работают сельскохозяйственные машины, не приемлют ускоренных темпов, они не согласуются с требованиями агротехники?

Исчерпывающий ответ на эти вопросы дают испытания тракторов, работающих на высоких скоростях, проводимые на Кубани и в ряде других районов страны уже не первый год. Сама жизнь завершает затянувшийся спор между сторонниками высоких скоростей и их противниками.

2

Где же, как не на нашей советской земле с ее необозримыми пахотными просторами, с ее колхозами и совхозами, сплошь и рядом раскинувшимися на десятки тысяч гектаров каждый, должна была возникнуть нужда в преодолении медлительности рабочих процессов на полях!

Почти четверть века назад, когда в промышленности вспыхнуло движение за лучшее использование новой техники, передовые сельские механизаторы стали думать о том, как «выжать» из трактора максимальную производительность. Трактористы П. Ангелина, П. Ковардак, И. Бортаковский проводили опыты пахоты на повышенной, третьей скорости. Уже тогда они показали, какие огромные резервы заложены в этом методе.

Но на пути новаторов непреодолимой, казалось бы, преградой встало сопротивление самого трактора, несовершенство его конструкции. Как только скорость пахоты превышала законные три с половиной километра, трактор тотчас же резко снижал свой КПД — коэффициент полезного действия. Мощность тракторов была явно недостаточна, энергетические их возможности ограничены.

Выдающийся русский математик и механик, академик А. Н. Крылов, размышляя о косности, писал: «Долголетней практикой я убедился, что если какая-либо нелепость стала рутиной, то чем эта нелепость абсурднее, тем труднее ее уничтожить». Слова эти точно определяют обстановку, в которой начала разворачиваться борьба за повышенные скорости в сельскохозяйственном производстве.

Техника земледелия с древнейших времен развивалась крайне медленно, топталась на одном месте, медлительно, с крестьянской осторожностью и недоверчивостью восприимчивая все новое.

Долгие тысячелетия прошли, пока земледелец перешел от мотыги к плугу, и поныне являющемуся основным орудием возделывания почвы. Возраст плуга определяется примерно в восемь — десять тысяч лет. А мотыга значительно старше. Но вплоть до наших дней мотыга играла еще большую роль в земледелии.

Промышленный переворот, начавшийся в середине XVIII столетия, был связан, как известно, с широким применением энергии пара. Но в сельском хозяйстве на полевых работах паровая машина не привилась. В промышленности на смену пару пришла более могучая энергия электрического тока. Но на полевых работах не нашел себе применения и электромотор.

В царской России, в дореволюционный период, волю и лошади занимали в энергетике сельского хозяйства 99,2 процента.

Сменялись века, а на всех континентах мира все так же не спеша ходил землепашец за лошадей или волом. Применительно к этому ритму, к воловьим скоростям, веками складывались конструкции рабочих органов машин и орудий, применяемых в сельском хозяйстве. Тысячелетняя традиция определяла ход сельскохозяйственных процессов.

Но разве можно было примириться с явной нелепостью, с тем, что в наш век высоких скоростей полевые работы ведутся темпами, продиктованными физическими свойствами рабочего коняги?

Пять лет назад, в 1954 году, автору этих строк довелось побывать в колхозах юга Украины. Было время весенней пахоты, на полях я встречал и беспокойных, озабоченных новаторскими поисками механизаторов и степенных, неторопливых научных работников, изучавших технико-экономические показатели пахотных агрегатов при различных режимах работы.

— Можно бы работать и на третьей скорости, — делились своим опытом трактористы, — однако беда в том, что мотор не тянет. Скорость увеличиваешь, а производительность не растет. Мощность трактора — вот где загвоздка. Да и самый плуг нужно было бы облегчить.

— Вряд ли можно решить проблему повышения скоростей одним лишь увеличением мощности трактора, — высказывали свои соображения научные работники. — Если ориентироваться на повышенные скорости, то придется изменять и конструкцию плуга или сеялки. Мы исследовали на полях стойкость лемехов плуга. И что же, оказывается,

уже после вспашки всего лишь шести гектаров производительность пахотного агрегата резко снижается; эти колебания составляют от пятнадцати до сорока процентов в зависимости от характера почв. Почему так происходит? По очень простой причине: лемех затупляется; продолжая пахать им, нужно повышать тяговые усилия. Расход горючего увеличивается. Но дело не только в расходе горючего — уменьшается глубина вспашки.

Специалисты пришли к такому заключению: для того чтобы выдержать нужный режим пахоты, надо менять лемех. В степных районах это надо делать после обработки каждых пяти — семи гектаров, в лесостепи предел достигает четырех с половиной — шести гектаров, а на почвах Полесья — после двух с половиной гектаров. Легко понять, какие серьезные осложнения это вносит в работу при нормальных режимах. А что будет при повышенных скоростях? По-видимому, надо серьезно заняться проблемой лемеха. Может, стоит подумать об изменении его конструкции или об изготовлении лемехов из более стойких материалов.

Все эти замечания о качестве и конструкции плугов я добросовестно изложил главному конструктору Одесского завода имени Октябрьской революции.

— Все это для нас не новость, — ответил он. — Мы учитываем стремление механизаторов работать на высоких скоростях. У нас на заводе сконструированы и выпущены первые опытные образцы скоростного плуга. Он прошел уже первые испытания.

— И каковы результаты?

— Это мы сейчас покажем вам.

И здесь же, в кабинете главного конструктора, я просмотрел фильм, запечатлевший испытания скоростного плуга на белорусской земле.

Это был волнующий фильм. По полю двигались два пахотных агрегата. Поначалу они шли медленно, ровно, со скоростью, не превышавшей четырех километров в час. Но вот один из них обогнал своего спутника и начал набирать скорость... Никогда еще до того дня не приходилось мне видеть что-либо подобное. На полях механизаторы мечтали о третьей скорости, о пяти километрах в час, а сейчас я видел воочию, как плуг шел за трактором на скорости девяти километров, оставляя за собой ровную глубокую борозду.

Но вот на экране, во всю его ширину, возник участок только что вспаханного поля.

Конструктор, наклонившись ко мне, сказал:

— Посмотрите на почву... Обратили внимание? Она сохраняет комковатую структуру, такую же, как и при обычной скорости пахоты.

Я смотрел на необычно быстродвигающийся трактор с плугом, на возникавшую вдруг крупным планом борозду и все больше проникался сознанием, что вижу нечто действительно необыкновенное, смелый эксперимент, сулящий революционные перемены в сельском хозяйстве.

— Почему же на полях нет таких плугов? — спросил я после демонстрации фильма.

Мой собеседник тяжело вздохнул.

— Все объясняется просто. Дело в том, что наш плуг нуждается уже не в экспериментальных, а в производственных испытаниях, причем в широких масштабах. Но для этого нужно, чтобы промышленность выпускала тракторы, способные работать на повышенных рабочих скоростях, а таких тракторов нет в природе. Конечно, мы можем в какой-то степени попробовать наш плуг на обычных тракторах, но испытания скоростного плуга с помощью тихоходных тракторов искажают технико-экономические показатели и, прямо сказать, воодушевляют разве только противников высоких скоростей, а их немало. Многие предсказывают, что при высоких скоростях будет разрушаться структура почвы, она превратится в пыль. Однако, как вы могли убедиться сами, глядя на экран, ничего подобного не произошло, почва сохранила комковатую структуру. Но это нужно доказать не только на экспериментальном поле, а на больших пахотных массивах в разных районах страны, на различных землях. Для этого опять-таки необходимы тракторы, работающие на высоких скоростях.

Действительно, сложилось странное положение. Конструкторы тракторов приспособляли их рабочие скорости к имевшейся в то время технике. Когда же проблема повышения скоростей заявила о себе полным голосом, все уперлось в конструкцию тракторов.

Власть долготлетней привычки нелегко преодолеть. Сомнениям самого разнообразного характера не было предела.

— Скоростная пахота? — недоуменно пожимали плечами одни. — Помилуйте, это же чепуха! Трактор будет затрачивать всю тяговую силу на одно только передвижение агрегата, а на пахоту ее не хватит.

— При проведении полевых работ на высоких скоростях неизбежно резкое снижение качества, — заверяли другие.

— Машины не выдержат, — утверждали третьи. — При высоких скоростях они будут быстро выходить из строя. Поле — это не асфальтированная дорога.

Насколько глубоко было предубеждение против повышения скорости рабочих процессов в сельском хозяйстве можно судить хотя бы по такому факту: при разработке семилетки тракторной промышленности составители ее не предусмотрели выпуска тракторов, работающих на повышенных скоростях.

Поборникам высоких скоростей предстояло рассеять эти предубеждения, доказать реальную возможность и экономическую целесообразность перехода машинно-тракторного парка на повышенные скорости. Прежде всего нужно было добиться выпуска тракторов, способных работать на таком режиме. Во главе этого дела встала лаборатория тракторов Всесоюзного научно-исследовательского института механики сельского хозяйства (ВИМ) совместно с конструкторами-новаторами ряда заводов.

В 1957 и 1958 годах на полях испытательных станций появились наконец экспериментальные образцы тракторов — гусеничного «ДТ-54м» и колесного «Э-50», специально приспособленных для работы на повышенных скоростях. Это не были машины какой-либо принципиально новой конструкции. Нет, способность тракторов работать на повышенных скоростях была достигнута путем сравнительно незначительной модернизации наиболее распространенных в стране тракторов «ДТ-54» и «Беларусь».

Внешне незаметное и, к слову сказать, мало отмеченное печатью событие — появление скоростных тракторов — имело, однако, примерно такое же значение для сельского хозяйства, как в свое время появление первых тракторов на колхозных полях.

Испытания скоростных машинно-тракторных агрегатов проводились и проводятся в Краснодарском крае, Ростовской, Омской и других областях. И всюду на самых различных производственных процессах — на пахоте, севе, культивации, междурядной обработке и уборке хлеба жатками — переход на повышенные скорости оказался не только возможным, но и непрерываемо целесообразным. Целые тома отчетов о проведенных испытаниях неопровержимо подтверждают это.

При пахоте на повышенных скоростях на протяжении шести-семи километров с обычными плугами качество обработки почвы не только не снижается, а сплошь и рядом улучшается. Чистая часть борозды становится шире, наклон пласта уменьшается, а его оборачивание улучшается: на поверхности пашни меньше глыб, она становится более ровной. Но, может быть, переход на повышенные скорости вызвал дополнительный расход топлива, как предсказывали некоторые скептики? Нет, расход топлива на вспашку одного гектара не увеличился, а даже немного снизился. Пришлось ретироваться и тем предсказателям, кто заверял, что при высоких скоростях быстрее будут изнашиваться детали, потребуется больше запасных частей. Ничего подобного не случилось.

Не ухудшилась, а по некоторым показателям даже улучшилась агротехническая оценка сева, проведенного в условиях ускоренной машинной работы.

Серьезные сомнения вызывала возможность междурядной культивации. Трудно было предположить, что трактор, двигаясь на повышенных скоростях по узкой колее междурядий, не повредит культурные растения, справится с очисткой от сорняков. Но, пожалуй, ни на одном другом производственном процессе высокие скорости так не оправдали себя, как именно здесь. Приведем один из многочисленных примеров. При обработке междурядий кукурузы со скоростью 4,2 километра в час на поле оставалось около двадцати процентов неподрезанных сорняков, а при скорости 6,9 километра их количество снизилось втрое. Повышение рабочих скоростей полностью оправдало себя на лущении стерни и уборке хлебов с помощью рядовых жаток.

Разумеется, в одних случаях результаты испытания были более высокие, в других — менее. Но ясно одно: можно с теми же сельскохозяйственными машинами, которыми

располагает ныне сельское хозяйство, увеличить скорость пахоты до семи километров в час, а со специальным скоростным плугом — до восьми-деяти километров, скорость культивации посевов — до семи-восьми, а сева — до десяти километров в час.

Подводя итоги работы модернизированных скоростных тракторов, группа ученых, проводивших испытания, пришла к следующему выводу: нет больше технических препятствий к переходу на работу с повышенными скоростями. Перед советской наукой встала задача — в ближайшие годы продолжить разработку проблемы дальнейшего повышения скорости машинно-тракторных агрегатов.

Трудно переоценить значение этой перспективы для нашего сельского хозяйства с его огромными пахотными просторами, занимающими почти двести миллионов гектаров. Время всегда было решающим фактором при проведении полевых работ. Каждый день, каждый час в страдную пору уборки хлебов, пахоты, сева были на строгом учете. Но уж очень медлителен темп производственных процессов на полях, малы рабочие скорости тракторов и сельскохозяйственных машин.

И вот открылась реальная возможность преодолеть вековую медлительность на полях, в полтора-два раза повысить рабочие скорости машинно-тракторных агрегатов уже в ближайшие годы.

Гигантскую экономию средств, труда принесет осуществление этих возможностей.

Сельское хозяйство должно получить в 1959 году девяносто две тысячи гусеничных и колесных тракторов типа «ДТ-54» и «Беларусь». Экономисты подсчитали, что при замене только этих машин модернизированными тракторами сельское хозяйство сэкономило бы четыре с половиной миллиона человеко-дней и около полутора миллиардов рублей. А если заменить весь тракторный парк?..

При наличии скоростных тракторов сократятся сроки сева, уборки, прополки. Вновь осваиваемые целинные земли потребуют много меньше людей.

Сельское хозяйство вступает в период технической революции, которая повлечет за собой невиданные еще в земледелии темпы развития производительных сил.

3

Огромную территорию в двадцать тысяч гектаров занимает колхоз имени Ленина Ново-Кубанского района. Немало времени нужно затратить, чтобы осмотреть его хозяйство. Но только побывав на полях, фермах, свинооткормочных пунктах, в мастерских, можно получить реальное представление, что такое кубанский колхоз наших дней.

Впрочем, и «голые» цифры достаточно говорят сами за себя. Одной только кукурузой колхоз засеивает пять тысяч гектаров, свеклой — тысячу восемьсот гектаров, зерновыми — десять тысяч гектаров. Садов и виноградников здесь свыше тысячи гектаров. На широкую ногу поставлено животноводство и птицеводство, в колхозе четыре тысячи голов крупного рогатого скота, семнадцать тысяч свиней и двести тысяч голов птиц.

Главный инженер колхоза (есть теперь такая должность) знакомит меня с техническим оснащением колхоза. И тут есть чему подивиться. Колхоз имени Ленина имеет сто пятнадцать тракторов, пятьдесят шесть грузовых автомобилей, четыреста различных сельскохозяйственных машин, из них около ста комбайнов разного назначения, свою электростанцию, двадцать семь трансформаторных подстанций, молочный завод, пекарню, предприятия строительных материалов.

— В нашем колхозе есть кое-что такое, что вряд ли встретишь в каком-либо другом хозяйстве страны, — загадочно улыбаясь, сказал инженер.

— Что же это такое?

— Бригада трактористов-скоростников. Да, да, именно скоростников! Это если не первая в Союзе, то, во всяком случае, первая на Кубани такая бригада.

Мы уже давно привыкли к сочетанию слов: «скоростная плавка», «скоростное резание металла». Название «скоростник» сжилось с представлением о рабочем-новаторе, убежденном поборнике прогресса в производстве и технике, борце за высокую скорость — за высокую производительность труда. Но как-то непривычно звучит: «скоростная пахота», «скоростной сев» или «скоростник прополки».

И вот на Кубани появились скоростники полевых работ.

— Они уже второй год работают у нас на модернизированных скоростных тракторах и выполняют почти весь комплекс полевых работ на повышенных рабочих скоростях.

— Ну и как получается?

— Да уж лучше поговорите сами с ними,— ответил колхозный инженер.

В конторе второго участка я познакомился с трактористами-скоростниками Василием Кузьмичом Антюшиным, Михаилом Григорьевичем Горбанем и Василием Тарасовичем Перловым. Это все бывалые механизаторы, а Антюшин, пожалуй, один из опытнейших трактористов Кубани. «Скорость» попала в надежные, крепкие руки.

В колхозе имени Ленина вопрос о целесообразности работы на высоких скоростях является давно решенным, причем решен он практически, опытом почти двух лет работы. Скоростники даже не представляют теперь, что могут перейти на тракторы старого типа, вернуться к воловьим темпам.

— Только благодаря работе на повышенных скоростях наш участок, в прошлом не из лучших в колхозе, вышел на первое место,— говорит начальник участка Алексей Илларионович Гоценко.

— Да и качество работ много лучше,— дополняет Антюшин.— Это невооруженным глазом видно.

— Обратите внимание на нашу кукурузу,— продолжает Гоценко,— засевали мы ее на большой скорости, а квадрат получился идеальным. Или возьмем, к примеру, между-рядную культивацию. Вот уж, честно говоря, не думали, что так получится. Чем больше скорость, тем меньше поврежденных культурных растений, тем лучше очищаются они от сорняков. Трактор идет быстро, напористо и точно, много точнее, чем на малых скоростях.

Несколько десятков лет назад основоположник теории сельскохозяйственных машин и орудий, выдающийся русский ученый В. П. Горячкин высказал прозорливое предположение, что при повышении рабочих скоростей сельскохозяйственных машин следует ожидать: «во-первых, увеличения производительности, во-вторых, улучшения качества работы, в-третьих, легкости конструкции, в-четвертых, равномерности движения, так как изменить быстрое движение всегда труднее, чем медленное».

И вот сейчас первые скоростники полевых работ на практике открывают для себя прямую зависимость качества полевых работ от скорости: на повышенных скоростях качество пахоты, культивации, сева не ухудшается, а улучшается. Как важно, чтобы эту зависимость накрепко усвоили конструкторы тракторов и сельскохозяйственных машин!

Не следует представлять дело так, будто скоростники всем довольны. Нет. Они критически оценивают и первые скоростные тракторы и опыт своей работы. Они зорко всматриваются во все то, что держит скорость, не дает ей развернуться во всю силу, доступную при данном уровне техники.

В первых образцах скоростных тракторов есть недостатки. Моторы работают безотказно, а ходовая часть не приведена еще полностью в соответствие с теми нагрузками, которые возникают при повышенных скоростях. Многие из этих замечаний уже учтены конструкторами в новых образцах скоростных тракторов, появившихся ныне на испытательных станциях.

Еще больше нареканий при переходе на повышенную скорость вызывает качество изготовления сельскохозяйственных орудий и механизмов. Здесь частные замечания приводят к принципиальным, касающимся общей культуры сельскохозяйственного машиностроения. Этого следовало ожидать.

Ни для кого не секрет, что качество изготовления машин для сельского хозяйства заставляет желать много лучшего. С полей поступают жалобы на неточную пригонку узлов, деталей, ненадежность креплений, низкое качество материалов при работе на общепринятом режиме. А при высоких скоростях все эти пороки выступают еще нагляднее, становятся уже просто нетерпимыми.

— Сеялка после одной только смены работы на повышенных скоростях разбалтывается, приходится ее подтягивать,— жалуются трактористы.— И дело отнюдь не в чрезмерных нагрузках, а в небрежном изготовлении машин.

— Машиностроителям придется крепко подтянуться,— убежденно говорят механизаторы.— При работе на высоких скоростях нужно осуществить подлинно комплексную механизацию, охватывающую все основные производственные процессы. А то ведь вот что иной раз получается, поглядите сами.

Мы вышли на поле, где шел сев. И здесь нетрудно было заметить явную несуразницу: ручную загрузку семян в сеялку. От подводы с семенами к сеялке были расставлены женщины с ведрами — живой конвейер. Как только подходила сеялка, они быстро передавали друг другу ведра с семенами, чтобы загрузить ее.

Высокие скорости машин и ручная загрузка семян. Нет, не уживутся они ныне на полях. Машиностроителям надо скорее механизировать этот процесс.

Много новых требований высказывали трактористы-скоростники. И при всем этом, при всех неизбежных в новом деле недостатках производительность труда на участке скоростников была в прошлом году на двадцать — тридцать пять процентов выше, чем на всех других участках колхоза-гиганта. Расход горючего снизился на четыре — шесть процентов, а урожай не ниже, а по некоторым культурам даже выше, чем в среднем по колхозу, хотя участок скоростников расположен на трудных, как говорят здесь, землях.

— Обязательно учтите,— наставлял меня главный инженер колхоза,— что всего этого удалось добиться в условиях не столь уж совершенных конструкций скоростных тракторов, при совсем еще небольшом опыте работы на высоких скоростях.

4

Опыт кубанцев и особенно скоростников из колхоза имени Ленина убеждает, что при одном только повышении рабочих скоростей тракторов можно в полтора-два раза увеличить темпы основных производственных процессов — сева, пахоты, культивации.

А что дальше? Не предел ли достигнутое? Если переход на рабочие скорости до девяти-десяти километров в час — это только первый шаг, то как будет сделан второй шаг, а за ним третий, куда ведет это направление?

На опытном поле кубанского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства мне посчастливилось быть свидетелем испытаний, позволяющих заглянуть в это недалекое будущее.

Ранним октябрьским утром здесь собрались конструкторы нового скоростного плуга, научные работники ВИМ. Предстояло увидеть нечто поистине сверхъестественное. пахоту на скорости восемнадцать—двадцать километров в час!

Вот стоит, пока неподвижно, мощный, пятилемешный плуг весом в полторы тонны. Внешне он отличается от обычного плуга несколько необычной формой своих отвалов. Рядом тягач. Для того чтобы работать таким плугом на высоких скоростях, нужна машина с большой тяговой силой, значительно превышающей мощность модернизированных тракторов.

Могучий агрегат выезжает на стерню. Нет, в сознании просто не укладывается, что тягач потянет этот плуг и будет прокладывать борозды со скоростью чуть ли не автомобиля.

Первые борозды проложены на скорости пяти — семи километров. Сразу бросается в глаза, что плуг явно неудовлетворительно заделывает пожнивные остатки, они беспорядочно разбросаны на поверхности вспаханной полосы, как пена на морской волне. Но вот тягач начинает набирать темпы. Он идет со скоростью десять, двенадцать, четырнадцать километров. И ведь что удивительно: земля скалывается не бесформенными глыбами, а равномерно. Вспаханная почва сохраняет обычную при пахоте комковатую структуру, пожнивные остатки заделываются начисто.

Восемнадцать километров... Двадцать...

Нельзя без волнения смотреть на этот «землекол», когда он вздымает земляные волны и понуждает их своими отвалами ложиться, расплываться так, как это нужно земледельцу.

Экспериментаторы проверяют плуг, состояние его отвалов. Устояли ли они под напором земляных волн? Устояли!

Однако на такой большой скорости отвал чрезмерно перегревается. Это сказывается и на качестве пахоты.

Я гляжу на чудесный плуг, и невольно на память приходят строки из былины:

Орет в поле ратай, понукивает,
С края в край бороздки пометывает,
В край он уедет, другого не видать.

Великий русский народ — народ-пахарь — в своих легендах, былинах создал пленительный образ Микулы Селяниновича, наделенного богатырской силой, что «с края в край бороздки пометывает, в край он уедет, другого не видать». Сбывается и эта добрая народная мечта.

Испытания скоростного плуга с помощью мощного тягача — это пока только разведка, предпринятая прежде всего, чтобы доказать, что высокие скорости не входят в конфликт с агротехническими требованиями. Но как бы ни были ограничены цели, которые преследовал эксперимент, рывок в область высоких скоростей, как световая вспышка, озаряет дальние пути технического прогресса в сельском хозяйстве.

Я подхожу ближе, осматриваю и ощупываю скоростной плуг, только что проделавший титаническую работу. У него необычная форма, или, как говорят техники, геометрия отвалов. Именно этой новой геометрии плуг обязан тем, что на скоростях пять — семь километров в час он пашет плохо: не по нему такие темпы. А на более высоких работает лучше. Ведь он и называется «скоростной»!

Как же будут выглядеть машины и орудия эпохи больших скоростей в сельском хозяйстве? Трудно, конечно, сейчас ответить на этот вопрос. Можно вспомнить только, что первый автомобиль больше походил на карету, чем на современную машину, и невозможно было угадать в первых аэропланах облик современных реактивных самолетов.

Несомненно одно: высокие скорости преобразят машинный парк сельского хозяйства. Конструкторам придется больше внимания уделять точности работы скоростных машин, качеству их изготовления, надежности, облегчению веса. И еще: скорость, придя на поля, положит начало коренной реконструкции сельскохозяйственного машиностроения.

Семилетний план строительства коммунизма, принятый на XXI съезде КПСС, наметил высокие темпы развития сельского хозяйства. За семь лет валовая продукция сельского хозяйства увеличится в 1,7 раза.

Первый год борьбы за выполнение семилетнего плана вселяет уверенность, что цель эта будет достигнута досрочно.

Переход машинно-тракторного парка на повышенные скорости будет способствовать успешному решению одной из самых главных ныне для сельского хозяйства задач — увеличения производительности труда и снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции.

В докладе на декабрьском Пленуме ЦК КПСС (1958 год) Никита Сергеевич Хрущев говорил: «Следует смелее переходить на выпуск тракторов и сельскохозяйственных машин с повышенными рабочими скоростями, чтобы сделать новый, еще более значительный скачок в росте производительности труда механизаторов».

Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

Советы Министров УССР и БССР приняли постановление о переходе Харьковского и Минского тракторных заводов на выпуск тракторов, работающих на повышенных скоростях.

Начиная с будущего года тысячи скоростных тракторов придут в колхозы и совхозы. Они обеспечат значительный рост производительности труда, принесут с собой на поля высокую культуру труда, положат начало новому широкому движению передовиков сельского хозяйства — его ученых, конструкторов, механизаторов — за дальнейшее повышение скорости рабочих процессов на полях.



В МИРЕ НАУКИ

В. БАЗЫКИН

Директор Московского планетария

★

ПЕРВЫЕ РАЗВЕДЧИКИ

Четвертого октября 1957 года началась новая эра в истории покорения человеком природы — эра освоения космического пространства. В этот день был запущен первый в мире советский искусственный спутник Земли.

Не прошло и месяца, как в полет отправился второй, более совершенный спутник с разнообразной научной аппаратурой и подопытным животным на борту. Третий спутник — летающая космическая лаборатория — по сей день совершает свой триумфальный путь, посылая на Землю радиосигналы.

Первый рабочий день первого года семилетки, второе января 1959 года, принес новую победу в покорении космоса. В полет вокруг Солнца отправилась советская космическая ракета, навечно ставшая новой планетой солнечной системы.

В сентябре на Луну были доставлены советские вымпелы — впервые в истории совершен полет с Земли на другое небесное тело. Не успели еще пройти лунные сутки, а в космос помчалась, огибая Луну, еще одна советская космическая разведчица, вооруженная приборами и фотоаппаратами для съемки не видимой с Земли части лунной поверхности.

Каждый шаг в покорении космоса представляет собой факт огромного научного значения, свидетельство великой силы человеческого разума, настойчиво раскрывающего тайны Вселенной. Успехи советской науки и техники — ярчайшее доказательство истине неограниченных творческих возможностей, которые дает человеку социалистический строй, еще раз наглядно продемонстрировавший свое преимущество перед капиталистическим строем.

В чем же состоит научное значение исследований, с таким трудом проводимых в космическом пространстве?

1

Чтобы успешнее овладевать силами природы, надо лучше знать ее законы, законы изменения и развития окружающего мира. Необходимо всесторонне изучить нашу планету, ее атмосферу, в которой возникают такие явления, как грозы, ураганы, штормы, и которая защищает все живое от воздействия излучений из космоса. Нужно наконец познать происхождение и источники этих вредоносных излучений.

Наиболее доступны изучению нижние слои атмосферы, так называемая тропосфера, простирающаяся до высоты около десяти километров. Воздух здесь находится в состоянии непрерывной циркуляции, вызываемой неравномерным нагревом поверхности Земли. Пары воды конденсируются в облака, и образуется совокупность атмосферных условий — погода.

Еще сравнительно недавно основными средствами изучения атмосферы на высоте в несколько десятков километров были стратостаты и шары-зонды, а более высокие слои исследовались лишь такими косвенными методами, как наблюдения полярных сияний, свечения ночного неба, метеоров, что часто приводило к противоречивым результатам. Например, вопросы о плотности, давлении и температуре на высоте в четырехста километров находили самые различные ответы.

Вместе с тем ученые убедились в том, что состояние нижних слоев атмосферы в значительной степени зависит от тех явлений и процессов, которые происходят в самых верхних ее слоях и даже в космическом пространстве. Поэтому возникла необходимость поднимать приборы все выше и выше. Это потребовало новых технических средств, новой измерительной аппаратуры.

Мы упомянули о защитных свойствах атмосферы, которая задерживает губительное для всего живого коротковолновое (ультрафиолетовое и рентгеновское) излучение Солнца и космические лучи. Первыми встречают эти потоки верхние слои атмосферы, находящиеся выше ста километров (ионосфера). Газ здесь чрезвычайно разрежен. Под воздействием ультрафиолетового и рентгеновского излучения его молекулы распадаются на атомы и вместе с тем ионизируются — от атомов и молекул отрываются электроны. Концентрация свободных электронов (то есть их число в кубическом сантиметре) на различных высотах различна.

Оказалось, что ионизированные слои отражают радиоволны, причем их длина зависит от электронной концентрации. Средние волны длиной от шестисот до двухсот метров отражаются слоем, расположенным на высоте около ста — ста двадцати километров, волны длиной от двухсот до десяти метров — слоем на высоте шестидесяти — восьмидесяти пяти километров, а волны короче десяти метров способны проходить сквозь слои ионосферы и достигать других небесных тел. Поэтому с помощью радиоволн нельзя определить, как меняется электронная концентрация на высоте в триста — четыреста километров и в промежутках между слоями. Между тем это было необходимо для понимания воздействия Солнца на Землю, выяснения строения атмосферы, для создания теории распространения радиоволн и в конечном счете — для улучшения радиосвязи на Земле.

Известно, что качество радиоприема волн разной длины резко меняется в течение суток, а иногда в связи с резким увеличением концентрации электронов в слоях ионосферы радиосвязь вовсе прерывается. Такие помехи часто связаны с появлением вспышек на Солнце. Например, после сильных вспышек летом этого года временно прекратилась радиосвязь с Антарктикой и Арктикой, между континентами и различными странами. Подобные случаи наблюдались и прежде. Для обеспечения надежной радиосвязи используют прогнозы состояния ионосферы, аналогичные прогнозам погоды.

Основной «виновник» образования у Земли ионосферы и ее изменений — Солнце с его меняющимся излучением; поэтому ученые стремятся возможно полнее исследовать наше дневное светило. Это позволит лучше узнать и природу звезд. С другой стороны, новые сведения о звездах помогут в изучении Солнца. Серьезным препятствием для этого являются защитные свойства атмосферы. Кажущаяся на первый взгляд прозрачной, она пропускает лишь извне световые лучи и радиоволны короче двадцати метров. Таким образом, существуют как бы два узких окна в глухой стене, и до сего времени только сквозь них человек, находясь на Земле, был в состоянии исследовать Вселенную. Это мешало выяснить многие интересные свойства небесных тел.

Следует отметить, что проблемы исследования Солнца далеко не исчерпываются изучением зависимости от него земных явлений. В недрах Солнца и звезд, как теперь известно, происходят термоядерные реакции, при которых водород переходит в гелий с выделением огромных запасов энергии в виде тепла и света. Подобные реакции человек воспроизводит на Земле, но пока лишь в виде взрывов водородных бомб. Перед советскими физиками в текущем семилетии поставлена задача сконцентрировать усилия на разработке проблем термоядерных реакций, способных дать в руки человека неисчерпаемый источник энергии. Поэтому исследование процессов, протекающих в недрах Солнца и звезд, приобретает практическое значение.

Атмосфера не пропускает ультрафиолетового и рентгеновского излучения небесных светил. Значит, нужно поднимать приборы возможно выше, чтобы больше узнать и об этих излучениях, а также о космических лучах. Это потоки частиц в основном легких элементов, несущихся из глубин Вселенной с необычайно большой скоростью и обладающие поэтому большой энергией. Бомбардируя атомы воздуха, космические лучи порождают «вторичное» излучение, настолько энергичное, что отдельные его частицы про-

никают не только к поверхности Земли, но и в толщу земной коры, в глубокие шахты, на дно водоемов.

Первичным частицам не под силу пройти сквозь атмосферу. Между тем они могли бы многое рассказать о строении вещества, что позволило бы правильнее решать задачи использования ядерной энергии.

Все это говорит о необходимости поднять лаборатории физиков, обсерватории астрономов в верхние слои атмосферы и в космическое пространство.

В первую очередь речь идет об автоматической аппаратуре, работающей по заданной программе. Но этим дело не ограничится. Конечно, и впредь многие эксперименты можно будет осуществить лишь с помощью приборов-автоматов, но надо учесть, что никакая аппаратура не способна делать обобщения и выводы, менять программу и условия эксперимента в зависимости от результатов опыта. Поэтому в конечном счете человеку все же придется самому отправиться в космос. Оказавшись в межпланетном пространстве и на других небесных телах, он сможет полностью раскрыть их физическую природу, изучить климат и погоду на планетах, а при наличии жизни на них — строение и эволюцию живых существ. Все это поможет решить аналогичные вопросы, связанные с нашей Землей.

2

Советские ученые располагают разнообразными новейшими средствами для исследования верхних слоев атмосферы и космического пространства.

На высоту в восемьдесят — сто километров поднимаются метеорологические ракеты. Их запуск происходит в Арктике, в Антарктиде, в средних широтах. Возвращаясь на парашютах, приборы сообщают о состоянии тропосферы и стратосферы.

Геофизические ракеты оснащаются аппаратурой общим весом более полутора-двух тонн и взлетают на высоту в четыреста и больше километров. В кабинах этих ракет иногда совершают полеты первые космические путешественники — подопытные животные. Хотя способ ракетного исследования во многих отношениях незаменим, у него имеются и недостатки. Дело в том, что длительность пребывания ракет в ионосфере ограничена немногими минутами, поэтому с их помощью трудно, пожалуй даже невозможно, вести одновременные измерения над разными точками земной поверхности.

На выручку пришли искусственные спутники Земли. Спутники длительное время движутся по существу над всей планетой, их высота благодаря эллиптичности орбиты меняется в определенных пределах, а период обращения настолько мал, что позволяет вести практически одновременные наблюдения в пунктах, удаленных на тысячи и десятки тысяч километров. Спутники появляются многократно в одних и тех же зонах, и это обеспечивает возможность проследить изменения, происходящие в различных слоях ионосферы.

Вес и размеры советских спутников растут. В будущем наряду со специальными спутниками небольших размеров можно предвидеть создание таких летающих лабораторий, на борту которых могли бы разместиться люди. Появятся, очевидно, и космические заправочные станции для межпланетных кораблей, отправляющихся на далекие планеты. В зависимости от задач будут меняться орбиты спутников — от круговых до сильно вытянутых; двигаясь по ним, спутники будут удаляться на сотни тысяч километров от Земли. Первая такая автоматическая межпланетная станция, впервые обогнувшая Луну, уже существует.

Но есть недостатки и у спутников. Они движутся частично внутри земной атмосферы и почти всегда — внутри магнитного поля Земли.

Три советские космические ракеты должны были помочь ученым решить многие загадки межпланетного пространства, обнаружить различные опасности предстоящих космических полетов и найти способы борьбы с ними.

Чтобы запустить спутник, необходимо сообщить ему скорость большую, чем так называемая первая космическая, которая — без учета сопротивления воздуха — составляет для поверхности Земли 7912 метров в секунду. Кроме того, надо придать ему горизонтальное направление движения. При этой скорости спутник превращается в не-

бесное тело: земное притяжение уже не сможет заставить его вернуться к поверхности Земли. Спутник будет даже несколько удаляться от нее, а скорость станет медленно уменьшаться. Наконец в наиболее удаленной точке орбиты (апогее) она снизится настолько, что притяжение заставит спутник возвратиться к Земле. Огибая Землю и приближаясь к ней, спутник, как падающее тело, будет двигаться все быстрее. Когда он вернется в «исходную» точку, скорость его здесь снова достигнет начальной, полученной при запуске. А при этом условии он не сможет упасть на Землю, и процесс повторится сначала.

Итак, все дело в той скорости, которую надо придать спутнику, чтобы он, падая на Землю (ведь он не покидает сферу ее притяжения), все-таки не упал на нее. Чем скорость выше, тем по более вытянутому эллипсу обращается спутник. Можно рассчитать скорость и направление запуска так, что спутник обогнет Луну, несколько изменит под влиянием ее притяжения форму орбиты и снова вернется к Земле, чтобы двигаться вокруг нее. Именно с таким расчетом запускалась третья космическая ракета, превратившаяся в автоматическую межпланетную станцию.

При скорости 11,2 километра в секунду спутник будет удаляться от Земли по параболе и покинет сферу ее притяжения. Такая скорость называется второй космической. Она необходима для полета к другим планетам.

Первая космическая ракета, превратившаяся в новую планету солнечной системы, в сентябре была вчетверо ближе к орбите Марса, чем бывает Земля. Будь ее скорость еще на несколько сот метров в секунду больше, ракета подошла бы к орбите Марса вплотную.

При скорости более 16,8 километра в секунду (третья космическая) ракета покинет сферу притяжения Солнца и отправится в межзвездный полет.

Космические скорости для каждой из планет различны: они зависят от силы притяжения планеты и ее радиуса. Марс меньше Земли, и там легче создать искусственные спутники и космические ракеты. Еще проще было бы создавать спутники Луны: для этого необходима скорость лишь около двух с половиной километров в секунду.

3

Еще К. Э. Циолковский доказал, что ракета — единственное средство передвижения в космическом пространстве: она отталкивается не от окружающей среды, а получает отдачу от выбрасываемых газообразных потоков сгорающего топлива. Двигатель ракеты в короткое время развивает огромную мощность. Ракета с тягой двигателя около ста тонн при скорости двадцать тысяч километров в час (это меньше, чем первая космическая скорость) обладает мощностью около 7,5 миллиона лошадиных сил, что втрое превышает мощность Куйбышевской ГЭС.

Циолковский доказал также, что существующие виды химического топлива не позволяют ракетам достичь космических скоростей. Он предложил использовать многоступенчатые ракеты. Каждая ступень после сгорания в ней топлива отделяется и падает, уменьшая общую массу системы и позволяя следующей ступени развить еще большую скорость, вплоть до космической.

Но для создания космической ракеты мало иметь высококалорийное топливо. Необходимы и мощные двигатели, которые включались бы автоматически в строго определенные моменты. Требовалось разработать высокоточную систему управления полетом, которая должна в те немногие минуты, пока работает двигатель и ракета находится на участке разгона, суметь не только определить скорость и направление ее движения, но и успеть сравнить их с заранее вычисленными, определить поправку и дать команду механизмам ракеты изменить направление или скорость. Все это было бы невозможно без электронных вычислительных машин.

Космическая ракета движется по траектории, которая делится на два основных участка: активный и пассивный. Первый участок она проходит за несколько минут, и в этот период ее движение определяется тягой двигателей и притяжением Земли. На этом участке полет ракеты является управляемым.

Пассивный участок начинается после прекращения работы двигателя последней ступени. С этого момента ракета движется, как небесное тело, под влиянием притяжения Земли, Луны, Солнца и планет. В точку, откуда начинается пассивный участок ее орбиты, ракета должна прибыть с надлежащей скоростью, имея и надлежащее направление. Для этого требуются безукоризненно точные расчеты и исключительно четкая работа механизмов.

Рассмотрим особенности движения третьей советской космической ракеты, запущенной 4 октября 1959 года и превратившейся в искусственный спутник Земли с большим периодом обращения.

Для экономии топлива наиболее выгодным направлением запуска космической ракеты к Луне было бы восточное — в сторону движения Земли, чтобы ее вращение способствовало некоторому увеличению скорости ракеты. Но в этом случае плоскость движения ракеты должна была бы совпадать с плоскостью лунной орбиты. А при запусках ракет с территории Советского Союза это неосуществимо, так как плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости земного экватора примерно на 18 градусов. Значит, двигаться в плоскости лунной орбиты могут только ракеты, запущенные из районов Земли с широтами между 18 градусами к северу или к югу от экватора. А самая южная точка нашей страны имеет широту около 34 градусов.

Поэтому запуск ракет к Луне крайне осложняется, особенно если мы хотим, чтобы ракета прошла вблизи Луны, облетела ее и вернулась к Земле, превратившись в искусственный спутник.

Решение этой задачи может быть достигнуто различными способами. Ученые США, стремясь заставить ракету обогнуть Луну, установили на последней ступени дополнительный двигатель, который должен был в определенной точке вблизи Луны затормозить ракету и заставить ее перейти на окололунную орбиту. Предполагалось, что ракета, описав «восьмерку», вернется к Земле. Как известно, эта попытка окончилась неудачей: вследствие незначительной ошибки в направлении и скорости ракета упала на Землю, пролетев лишь одну треть расстояния до Луны.

Движение советской автоматической межпланетной станции рассчитано исключительно на основе законов движения небесных тел. Она была отделена от последней управляемой ступени ракеты и далее двигалась лишь по инерции в поле тяготения Земли и Луны.

В момент отделения станция начала движение по сильно вытянутому эллипсу, плоскость которого была почти перпендикулярна к плоскости лунной орбиты. Наиболее удаленная от Земли точка эллипса — его апогей — располагалась далеко за лунной орбитой. Начальная скорость составила 10,95 километра в секунду. Поэтому третья космическая ракета двигалась к Луне дольше, чем первая и вторая, которые при запуске превысили вторую космическую скорость.

По мере удаления межпланетной автоматической станции от Земли ее скорость под влиянием земного притяжения постепенно снижалась, и в сферу действия Луны она вошла со скоростью (относительно Земли) меньшей чем один километр в секунду.

Сферой действия Луны относительно Земли называется та область, внутри которой тело движется под влиянием притяжения Луны, причем Земля оказывает лишь «возмущающее» действие. Наоборот, вне этой сферы тело движется под действием притяжения Земли и «возмущения» со стороны Луны. Радиус сферы действия Луны относительно Земли составляет шестьдесят шесть тысяч километров.

Напомним, что радиус сферы действия Земли относительно Солнца составляет девятьсот тридцать тысяч километров. Вот почему первая советская космическая ракета, удалившись на это расстояние от Земли, стала двигаться под действием притяжения Солнца и превратилась в искусственную планету.

Войдя в сферу действия Луны, межпланетная автоматическая станция под влиянием лунного притяжения несколько увеличила скорость и начала двигаться по гиперболе относительно Луны и поэтому не могла упасть на нее. Ближайшая к Луне точка была пройдена 6 октября в 17 часов 16 минут московского времени на расстоянии около семи тысяч километров от ее поверхности. Этот второй участок пути станция проделала за несколько часов.

Лунное притяжение заставило станцию обогнуть Луну. Впервые была сфотографирована часть лунной поверхности, не видимая с Земли.

С выходом из сферы притяжения Луны станция начала движение вокруг Земли по эллипсу. Ни покинуть сферу притяжения Земли, ни упасть на нее она не могла.

Удалившись 10 октября на наибольшее расстояние от Земли (около 470 тысяч километров), ракета достигла минимальной скорости (около 0,4 километра в секунду) и начала возвращаться к Земле с возрастающей скоростью. 18 октября в 19 часов 50 минут она прошла ближайшую к Земле точку своей орбиты (перигей), отстоящую от Земли на 47 тысяч километров, со скоростью около четырех километров в секунду.

Если бы дальнейшее движение автоматической станции происходило лишь под действием притяжения Земли, станция, не испытывая сопротивления воздуха, стала бы спутником с неограниченным сроком существования. Однако притяжение Солнца и Луны постепенно уменьшает расстояние станции от Земли; после десяти—двенадцати оборотов станция войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

Период одного оборота станции вокруг Земли составляет около пятнадцати суток, а длина проходимого при этом пути — около миллиона километров.

Для запуска второй космической ракеты на Луну потребовалось выдержать направление с точностью до сотых долей градуса, скорость — до нескольких метров в секунду и момент запуска — до нескольких секунд. Точность выведения на орбиту третьей космической ракеты была еще большей. Поэтому ее успешный запуск — новое блестящее доказательство высокого уровня нашей вычислительной и ракетной техники, а вместе с тем убедительное свидетельство совершенства автоматики и способов телеуправления, разработанных советскими учеными.

Однако даже самый точный запуск автоматической межпланетной станции не имел бы смысла без обеспечения четкой связи с нею и возможности получения научной информации. Поэтому ученые оснастили станцию не только научно-измерительной аппаратурой, фототелевизионной системой для передачи на Землю фотографии обратной стороны Луны и радиопередающими устройствами, но и испытанными на третьем спутнике долговечными солнечными батареями и химическими источниками тока.

Принципиальное отличие автоматической станции от ранее запущенных спутников и ракет состоит в том, что она передает сигналы только в наиболее благоприятный для их приема момент.

Кстати сказать, второй американский спутник, также снабженный солнечными батареями, но не имеющий на борту никакой научной аппаратуры, своими непрерывными и громкими сигналами на частоте 108 мегагерц лишь затрудняет прием передач от других спутников, запущенных в США. Сейчас сами американские ученые серьезно озабочены тем, как заставить замолчать этот чрезмерно «разговорчивый» спутник, сигналы которого к тому же не имеют никакого научного значения.

Советская автоматическая межпланетная станция непрерывно ведет измерения, «запоминает» их результаты и только по особой команде с Земли быстро сообщает их.

Показания приборов ракет и спутников предварительно переводятся в импульсы тока, формируемые так, чтобы свести к минимуму искажения при различного рода радиопомехах. Преобразование передаваемых сигналов достигается методами кибернетики. В некоторых случаях принимающая сигналы аппаратура не только находит в переданных числах ошибки, связанные с возможными радиопомехами, но и исправляет эти ошибки.

Особенно сложные научно-технические проблемы были решены советскими учеными благодаря фотографированию обратной стороны Луны и передаче изображения на Землю — на расстоянии в сотни тысяч километров. Успешное осуществление этой задачи является подлинным триумфом радиоэлектроники.

4

Каковы научные результаты запуска первых искусственных спутников и космических ракет?

Следует оговориться, что обработка многих десятков километров специальных лент с записью сигналов, бесчисленное количество оптических и радионаблюдений — задача

достаточно трудоемкая и далеко еще не завершенная. Поэтому речь может идти лишь о предварительных результатах измерений. Впрочем, они составили уже объемистые тома, вышедшие из печати во многих странах. Ведь наблюдение советских искусственных спутников возможно из всех обитаемых мест земного шара, что позволяет обрабатывать результаты измерений ученым всего мира. В этом отчасти состоит общечеловеческое значение запуска советских спутников.

Одной из важнейших проблем, стоявших перед исследователями, была проблема космических лучей, с которыми связано много загадок. Не вполне ясно, например, откуда приходят к нам частицы космических лучей: из глубин мирового пространства, где они блуждают миллионы лет, разгоняясь в межзвездных магнитных полях, или основным их источником являются, как это полагает советский астроном И. С. Шкловский, гигантские космические взрывы «сверхновых» звезд. Несомненно, что некоторая часть этих частиц выбрасывается и Солнцем. Вторая загадка связана с огромной энергией заряженных частиц. Неясен состав первичного космического излучения. Наконец, неизвестно, не будет ли губительной для организма астронавтов бомбардировка столь быстрыми частицами.

Магнитное поле Земли отклоняет электрически заряженные космические частицы к полюсам и не пропускает их в экваториальную зону. Туда могут проникать лишь космические протоны с энергией 14 миллиардов электроновольт — почти в полтора раза большей, чем сообщает заряженным частицам крупнейший в мире синхрофазотрон в Дубне. В южные районы СССР могут проникать частицы с энергией вдвое меньшей, а в район Москвы — с энергией в полтора миллиарда электроновольт. Таким образом, магнитное поле Земли искажает первичную картину распределения частиц по энергии, и только аппаратура космических ракет, вдали от магнитного поля, может выявить истинную картину распределения и движения частиц космических лучей.

Уже на первой космической ракете работали три системы приборов, отбирающие частицы различных энергий. Обработка данных позволит получить намного больше сведений об интенсивности космических лучей и ее изменениях, чем было получено до сих пор.

Советские ученые С. Н. Вернов и А. Е. Чудаков, с помощью второго и третьего спутников, и ученый США Ван Аллен, по данным первого и третьего американских спутников, сделали интересное открытие: оказалось, что на высоте, превышающей тысячу километров, число заряженных частиц в тысячу раз больше, чем ожидалось.

Это означает, что Земля окружена своеобразным ореолом — двумя зонами повышенной радиации, охватывающими ее в плоскости, несколько отличной от экваториальной, двумя огромными «бубликами»: первым — на расстоянии тысячи шестисот — пяти тысяч километров, вторым — от десяти до пятидесяти тысяч километров.

Особенностью внутренней зоны является то, что составляющие ее протоны обладают очень высокими энергиями и могут проникать сквозь стальную броню толщиной в сантиметр. Отсюда необходимость защиты будущих космонавтов от смертельной опасности облучения в этой зоне.

Другая интересная особенность внутренней зоны — ее несимметричный характер: в восточном полушарии она начинается на высоте полутора тысяч километров, а в западном (над Америкой) ее высота втрое меньше. По-видимому, это можно объяснить тем, что центр земного магнитного поля не совпадает с центром Земли.

Аппаратура спутников дала возможность получить много новых сведений об атмосфере Земли. Например, химический анализ воздуха на высоте в двести пятьдесят километров и выше показал, что молекулы азота и кислорода, столь распространенные у поверхности Земли, здесь почти отсутствуют. Нет и ионов молекулярного кислорода и азота. Зато имеется большое количество атомарного кислорода и несколько меньшее — атомарного азота, которые при обычном атмосферном давлении немедленно соединились бы, выделяя тепло.

Была высказана интересная мысль о том, что, возможно, в будущем человек сможет использовать энергию, рассеянную в ионосфере, для полетов скоростных заатмосферных кораблей. Поднимаясь до высоты около ста километров, эти корабли будут продолжать

полет за счет энергии соединения двух атомов кислорода в одну двухатомную молекулу. Как в прямоточном реактивном двигателе, газ, поступая в переднее сопло, сжимается и направляется в «камеру сгорания», а горячие продукты реакции выбрасываются через выходное сопло и создают реактивную тягу.

Плотность атмосферы на высотах в двести и более километров оказалась в пять — десять раз большей, чем предполагалось. Это говорит о том, что высота атмосферы составляет не тысячу километров, как полагали еще недавно, а, по-видимому, втрое больше.

Плотность верхних слоев атмосферы изучалась, в частности, путем радионаблюдений за торможением спутника. Было обнаружено, что спутники тормозятся и снижаются неравномерно, а как бы по ступеням. Очевидно, это зависит от изменения плотности атмосферы в связи с изменениями солнечного излучения.

Влияние температуры на торможение может показаться на первый взгляд неожиданным. Казалось бы, чем выше температура, тем более разрежен газ и тем меньше будет торможение. Но в действительности наблюдалась обратная картина. Дело в том, что при нагревании атмосфера расширяется и часть газа перемещается на такие высоты, где раньше его почти не было; сопротивление движению спутника здесь увеличивается. В среднем же над каждым квадратным сантиметром земной поверхности масса газа практически неизменна.

Спутники впервые помогли исследовать ионосферные слои (что существенно важно для обеспечения надежной радиосвязи) не только с помощью отраженных, но также с помощью проходящих волн. Интересные явления наблюдались перед «восходом» и после «захода» спутников: их радиосигналы в первом случае опережали появление спутника из-за горизонта, а во втором — принимались еще после того, как спутник скрывался под горизонтом. Следовательно, радиоволны передатчиков спутника огибали земной шар. Иногда они принимались даже тогда (как это было отмечено радиолюбителями поселка Мирный в Антарктиде), когда спутник находился «по ту сторону» земного шара. Все это позволяет судить о концентрации электронов за пределами ранее известных слоев ионосферы и, в частности, сделать вывод о том, что эта концентрация уменьшается гораздо медленнее, чем предполагалось раньше.

Новым для науки является и следующее. С помощью приборов второй космической ракеты удалось установить, что вокруг Луны существует, по-видимому, своеобразная ионосфера.

Неожиданные результаты получены в связи с исследованием магнитного поля Земли магнитометром первой космической ракеты. Они расходились с тем, что можно было предполагать на основе теории. На высоте в двадцать две тысячи километров обнаружены новые системы токов (очевидно, Землю на этой высоте окружает огромное токовое кольцо), которые, надо полагать, должны интенсивно воздействовать и на протекание магнитных бурь и на полярные сияния.

От второй космической ракеты ожидалось, что она либо определит напряженность магнитного поля Луны, либо опровергнет его существование. Произошло последнее: магнитное поле Луны обнаружено не было; если бы напряженность ее магнитного поля была даже в несколько тысяч раз меньше напряженности земного поля, магнитометр позволил бы его измерить. Это очень важный факт для решения проблемы происхождения магнетизма и изучения строения небесных тел и их эволюции.

Аппаратура третьего спутника, а также первой и второй космических ракет измерила количество метеорной материи в межпланетном пространстве. Выяснилось, что крупные частицы — а к ним относятся метеориты размером более одного миллиметра — встречаются со спутниками крайне редко. По-видимому, космические корабли будущего могут встретить метеор размером в один миллиметр лишь один раз за многие десятки лет полета, а представляющий еще большую опасность метеор размером около пяти миллиметров — и того реже. Таким образом, «метеорная опасность» явно преувеличивалась, и с этой стороны серьезной угрозы астронавтам, по-видимому, не существует.

Но, пожалуй, трудно назвать более крупный научный успех, достигнутый с помощью космических ракет и спутников, и вообще более значительное событие в науке

за последнее время, столь богатое выдающимися открытиями, чем получение фотографий обратной, остававшейся до сих пор недоступной стороны Луны.

Астрономы могли лишь строить предположения о том, как она выглядит. Некоторые полагали, что «пояс морей» продолжается и на обратной стороне Луны, а изучая направление светлых лучей, выходящих из некоторых лунных цирков и идущих с противоположной стороны лунной поверхности, можно было сделать выводы о расположении крупных «невидимых» кратеров.

Но окончательно решить загадку обратной стороны Луны можно было только путем непосредственных наблюдений или фотографирования. Последнее и явилось одной из важнейших задач, поставленных перед создателями третьей космической ракеты.

Для решения этой крупнейшей задачи, еще недавно казавшейся невыполнимой, и была рассчитана та крайне сложная траектория, о которой мы уже рассказали. Для этого потребовалась гораздо большая точность, чем для «прямого попадания» в Луну, поскольку автоматическая межпланетная станция должна была пройти вблизи Луны и затем на полгода стать спутником Земли.

Чтобы представить себе высокую точность запуска третьей космической ракеты, вспомним, что ее скорость при выходе на участок свободного полета должна была отличаться от заданной лишь немногим больше, чем на один метр в секунду.

Но еще большие трудности были связаны с созданием сложной системы ориентации. Эта система обеспечила прекращение беспорядочного «кувыркания» станции вокруг центра тяжести, которое началось тотчас же после ее отделения от последней ступени, и точную наводку двух ее телеобъективов на Луну с расстояния в шестьдесят—семьдесят тысяч километров от ее поверхности.

К моменту начала фотографирования станция находилась приблизительно на линии, соединяющей Солнце и Луну. Момент был рассчитан таким образом, что Земля была несколько в стороне, чтобы вместо Луны фотоаппараты не направились на нашу планету. С помощью солнечных датчиков нижнее днище станции было направлено на Солнце. Тем самым фотоаппараты, расположенные за иллюминатором верхнего днища, оказались обращенными к Луне, но еще не направленными на нее. Для выполнения этой последней задачи оптическое устройство, в поле зрения которого Земля и Солнце уже не могли появиться, отключило ориентацию на Солнце и произвело точную ориентацию на Луну. Только после попадания Луны «в кадр» сигнал «присутствие» разрешал автоматическое фотографирование.

Съемка производилась в течение сорока минут с разной экспозицией для получения наиболее совершенных негативов. После окончания съемки система ориентации выключилась и автоматическая межпланетная станция снова начала вращаться. Однако теперь вращение было упорядочено с таким расчетом, чтобы улучшить тепловой режим, создать равномерное прогревание станции Солнцем и охлаждение ее неосвещенной стороны. Вместе с тем вращение не должно было быть особенно быстрым, чтобы не создалось помех для нормальной работы научных приборов.

Для фотографирования Луны применялись две фотокамеры с фокусным расстоянием объективов в двести и пятьсот миллиметров. Это обеспечило получение снимков разного масштаба. Применялась специальная фотопленка, защищенная от вуализирующего действия космических лучей. Фотопленку проявляло и фиксировало особое миниатюрное устройство.

Впервые за сто двадцать лет существования фотографии эти знакомые каждому любителю процессы происходили не только без участия человека (ближайший фотограф находился на расстоянии почти в полмиллиона километров), но и осуществились в условиях невесомости. После обработки пленка поступала в специальную касету, где и сохранялась.

Когда наступил наиболее благоприятный момент — он определялся положением станции в небе над Советским Союзом, — была подана команда передать фотографии на Землю. Изображение, полученное на пленке, переводилось на язык радиосигналов, подобно тому как это делается при передаче по телевидению кинофильмов.

Включение и выключение аппаратуры автоматической межпланетной станции и изменение режимов ее работы проводилось с Земли по той же радиолинии, по которой на Землю передавалась научная информация. Она намного превосходила по своему объему все те сведения, которые передавали первая и вторая космические ракеты.

Надежная радиосвязь с Землей сильно усложнялась тем, что радиоволны излучались не направленно, а равномерно во все стороны,— иначе в связи с непрерывным вращением станции радиосвязь могла бы прекращаться,— и поэтому лишь ничтожная часть и без того небольшой мощности, излучаемой радиопередатчиком станции, попадала в приемники земных станций наблюдения. В то время, когда ракета находилась вблизи Луны, мощность, которую улавливали специальные антенны этих приемников, была в сто миллионов раз меньше средней мощности, которую принимают наши обычные домашние телевизоры.

Следует напомнить, что передача изображений впервые происходила на расстояние в четыреста семьдесят тысяч километров. Так экспериментально была подтверждена возможность передачи на сверхдальние расстояния в космическом пространстве телевизионных изображений без существенных искажений в процессе распространения радиоволн.

И вот на первых страницах газет всего мира 27—28 октября появились огромные снимки обратной стороны Луны с новыми наименованиями, навсегда увековечившими историческую победу советских ученых. Снимки были сделаны с таким расчетом, чтобы получить на них часть видимой с Земли лунной поверхности и таким образом определить лунные (селенографические) координаты вновь открытых объектов.

К ранее известным объектам, полученным на снимке, относятся моря Гумбольдта, Кризисов, Смита, часть Южного моря и другие. Расположенные у самого края видимой поверхности, они выглядели вследствие перспективного искажения узкими и длинными. Некоторые из этих морей казались астрономам заливами огромного океана, составляющего значительную часть невидимой поверхности Луны. Теперь впервые удалось узнать их истинную форму. Стало ясно, что они являются самостоятельными и сравнительно небольшими образованиями и что никакого крупного океана на обратной стороне Луны нет. Даже морей здесь очень мало. Это опровергает теорию немецкого астронома Ю. Франса и английского астронома Г. Уилкинса.

Выяснилось, что обратная сторона Луны имеет преимущественно гористую поверхность. В отличие от известного нам полушария здесь обнаружены лишь два моря — море Москвы с заливом Астронавтов и море Мечты, как их наименовала Комиссия Академии наук СССР.

На видимом полушарии Луны общая площадь морей составляет примерно треть поверхности, а на невидимом полушарии — лишь около десяти процентов.

На обратной стороне Луны открыты кратеры, названные именем Ломоносова, Циолковского и Жолио-Кюри. Первые два кратера имеют характерные для многих лунных кратеров центральные горки. Такие кратеры чаще всего встречаются среди лунных равнин. По-видимому, это свидетельствует об их вулканическом происхождении. Селенологи считают, что центральные горки «выдавлены» на поверхность Луны в ходе древнего вулканического извержения, подобно тому как это имеет место у земных вулканов типа Мон-Пеле на острове Мартиника. Вулканическая деятельность лунного кратера Альфонс, обладающего центральной горкой, получила неоднократные подтверждения в недавних работах советского астронома Н. А. Козырева.

Одной из причин существования большого количества морей на обращенной к Земле стороне Луны, как полагает известный исследователь Луны ленинградский астроном А. Марков, явились более сильные действия приливных сил. В связи с этим здесь возможно образование трещин, сквозь которые на поверхность Луны изливалась лава, при застывании которой и образовывались обширные темные равнины — «моря».

Таким образом, предположения о громадном океане в центре невидимой части Луны, исходившие из неправильного представления о грушевидной форме Луны, повернутой более острым концом к Земле, оказались неправильными.

В отношении диссимметрии сторон Луны отмечается новое замечательное сходство с нашей Землей, которая также резко диссимметрична: она имеет с одной стороны огромную впадину, занимающую более трети ее поверхности,— гигантский Тихий океан.

Эта особенность Земли и Луны пока остается необъясненной. Впадину Тихого океана одни ученые считали следом от падения на Землю астероида — малой планеты,— а другие полагали, что отсюда миллиарды лет назад оторвалась Луна вследствие быстрого вращения Земли вокруг оси.

Дальнейшие исследования фотографий Луны помогут пролить свет на строение и эволюцию Луны и Земли. Поэтому новые сведения о Луне имеют большое значение для нашей геологической науки.

Астрономы получили ныне неопределимую возможность приближать свои инструменты к Луне и планетам. Можно думать, что в недалеком будущем станет реальной посылка автоматических «фотокорреспондентов» к поверхности Марса и Венеры. С расстояний в десятки миллионов километров они передадут нам фотографии каналов и спутников Марса, а может быть, погрузившись ненадолго в атмосферу Венеры, позволят наконец рассмотреть ее поверхность, скрытую от нас густым слоем облаков. Затем придет очередь поближе познакомиться с пятнами Юпитера и кольцами Сатурна...

«Умные, исполнительные» ракеты заглянут во все уголки нашей планетной системы и расскажут о многих ее тайнах. Можно полагать, что роль автоматических ракет в исследовании космоса останется столь же значительной даже тогда, когда человек получит наконец возможность сам проникнуть в мировое пространство.

Мы рассмотрели лишь немногие из большого числа проблем, решаемых с помощью искусственных спутников Земли и космических ракет. Но даже этот краткий обзор показывает, какое огромное научное значение имеют спутники и ракеты, какие блестящие перспективы исследования космоса открыты теперь перед учеными.

Следует особо отметить достижение Луны второй советской космической ракетой. Этот факт убедительнейшим образом свидетельствует о непревзойденных успехах советской науки и показывает полную возможность «освоения» Луны в ближайшем будущем.

В этой связи вспоминается статья в американском журнале «Мисайлс энд рокетс» (март 1959 года). В ней всерьез обсуждаются проблемы... дележа Луны между разными странами! Предлагаются четыре варианта и все они сопровождаются наглядными рисунками: водрузить на Луне флаг Объединенных Наций (автор признает это логичным, но труднодостижимым); второй вариант предусматривает дележ поверхности Луны на четыре части, три из которых должны принадлежать соответственно США, Англии и Советскому Союзу, а четвертая — также поровну — делится между Западной Германией и Францией (за исключением примерно одной двадцатичетвертой части, которая отводится другим странам); третий вариант изображает Луну с... дотами на ее поверхности; согласно этому варианту Луной владеет первый достигший ее; последний, четвертый вариант предусматривает организацию на Луне «национальных коридоров».

Всему миру известно, что советские люди никогда не заявляли собственных претензий ни на Луну, ни на какую-либо область космического пространства. Отвечая на соответствующий вопрос, заданный ему на пресс-конференции в Национальном клубе печати в Вашингтоне, Н. С. Хрущев сказал:

«Те, которые так ставят вопрос, мыслят понятиями частнокапиталистической психологии, а я человек социалистического строя, нового мировоззрения и новых понятий. У нас понятие «мое» отживает, а внедряется новое понятие «наше». Поэтому посылку в космос ракеты и доставку нашего вымпела на Луну мы рассматриваем как наше завоевание. И в этом слове «наше» мы подразумеваем страны всего мира, то есть мы подразумеваем, что это является и вашим достижением и достижением всех людей, живущих на Земле».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ РЮРИКОВ

★

ЧЕРЕЗ СТО И ТЫСЯЧУ ЛЕТ

(Заметки о литературе, посвященной будущему)

К чуду привыкаешь, оно перестает быть чудом, если часто встречаешься с ним. Каждый день проходит над нами наш третий спутник, каждый день газеты сообщают о его трассе, и мы уже не смотрим в небо, не ищем его глазами: сказки всегда выглядят чудом, но, входя в жизнь, наверно всегда делаются незаметными.

Тридцать шесть часов шла наша ракета до Луны, и это были часы, в которые стала реальностью фантазия Эдгара По, Жюль Верна, Уэллса и Циолковского, мечтавших о полете на Луну. В эти дни запас наших знаний обогатился словами, которые знали до того только астрономы: море Ясности, кратеры Аристилл, Архимед, Автолик. Потом к ним прибавились новые, только что рожденные имена: кратеры Ломоносова, Циолковского, Жолио-Кюри, море Москвы и море Мечты. Пройдет время, и эти названия лунных ландшафтов сделаются для нас привычными, как и земные географические имена. Пройдет время, и многие другие чудеса станут обычными для новых поколений.

Сказки технические часто делаются былью раньше, чем мечты социальные, но они всегда идут рука об руку. Мы сейчас тоже в полете, и уже обрисовывается под крылом новый социальный пейзаж планеты — фантастический для человека вчерашнего дня, но все более реальный для нас с вами. Десятки веков коммунизм был только недостижимой мечтой, — мы вступили сейчас в период его развернутого строительства. Многое кажется нам чудом в рассказах о коммунизме, но постепенно эти чудеса станут привычными и незаметными.

Новую роль начинает играть сейчас ли-

тература о чудесах, художественная фантастика, вернее, та часть ее, которая посвящена будущему. Разведка будущего, попытки представить его сейчас нужны, как никогда, и в то же время у фантастики появилась под ногами такая почва, какой не было раньше.

НОЛЬ ИЛИ БЕСКОНЕЧНОСТЬ?

Много лет назад врач и философ Макс Нордау написал книгу «В поисках истины». Жизнь для него — открытая рана, капище боли, где люди грызут и пожирают друг друга. Такими глазами смотрит он и в будущее.

...С каждым годом, предсказывает Нордау, земля становится все теснее. Ее население катастрофически прибывает, в разных точках мира кристаллизуются могущественные нации; они истребляют слабые народы, поглощают их, но численность людей растет и достигнет предела.

Тогда белая раса начинает массовые миграции в экваториальные зоны. Она колонизирует их, истребляя черную и желтую расы.

Но в районах цивилизации население все растет. Излишки его беспрестанно мигрируют в тропики — по линии наименьшего сопротивления от Европы.

Волны новых поколений накатываются на экватор, уничтожая старые, которые дегенерируют от расслабляющих условий тропической жизни.

«Экватор превращается в страшный паровой котел, в котором плавится и испаряется человеческое мясо... Народы умеренного климата выбрасывают часть своих сынов в

пасть этой пылающей печи и обеспечивают себе таким образом место для собственного благоденствия и развития».

Так проходят тысячелетия. Наступает эра охлаждения, полярные пояса все больше наползают на землю, пожирая один за другим градусы широты.

Зона жизни отступает, стягивается к экватору. И чем уже она, тем яростнее кипит котел смерти и тем грандиознее гека-томбы жертв. И наступает миг, когда панцирь ледников смыкается на экваторе, погребая последнего убийцу и последнюю жертву...

Такова утопия Нордау, утопия мизантропа — клубок конвульсий ужаса и отчаяния.

Там же, «В поисках истины», есть слова, которые как бумеранги возвращаются к своему автору: «Если бактерии, развивающиеся при процессах гниения, обладают философским мышлением, какое мрачное должно быть их мирозерцание! Они, наверно, находят все мировые порядки... жестокими и гнусно безразличными и с каждым днем убеждаются все более и более, что эти свойства прогрессируют».

Запомним: глазами бактерий гниения... Особый взгляд, особый по своему характеру пессимизм, так распространенный на Западе и в наше время...

Много лет вокруг проблем будущего идут жаркие споры, скрещиваются полярные взгляды, противоположные мнения «Ноль против бесконечности», — так иногда называют эти споры. Что сделает будущее с человеком: нивелируется ли человеческая личность, упадет ли ее значение до ноля, или она будет расти и ценность ее станет беспредельной?

Наши писатели, наши философы говорят: да, бесконечность. Многие писатели и ученые Запада отвечают: нет, ноль. И о чем бы ни шли споры, какие бы прогнозы ни появлялись, все они стягиваются к своему магнитному центру, к вопросу всех вопросов: нодем или бесконечностью станет человек?

Давным-давно возникла физиологическая теория, которая говорит, что человечество распадется на мыслителей — людей с огромной головой и хилым телом — и работников — людей с мощной мускулатурой и неразвитым мозгом. Теория эта проецирует в будущее известную тенденцию капитализ-

ма, его стремление родить «буржуазию без мускулов» и «пролетариет без мозга».

Адепты другой теории доказывают, что человек выродится с ходом цивилизации. Объем мозга, говорят они, все увеличивается, нагрузка на нервные клетки растет, делается чрезмерной. В конце концов это вызовет повальные нервные заболевания, и через сорок — пятьдесят тысяч лет человечество перестанет существовать.

Живуча на Западе и философия «морального отрыва». Она говорит: природа человека изменна и неизменна, и он никогда не избавится от жестокости и эгоизма. Если и возможен прогресс, то только внешний, только материальный, а внутренний мир человека, его мораль никогда не изменится к лучшему, и человеческое общество всегда будет основано на эгоизме.

Тени этих концепций падают на многие книги западных писателей, особенно на массовую — серийную и серую — продукцию, наводняющую книжный рынок.

Даже в лучших фантастических романах Запада сильно звучат тоскливые ноты. Наверно, многие читали «451° по Фаренгейту» — печальную и гуманную книгу американца Рэя Бредбери. Будущее Америки предстает в ней страшным и мрачным; люди стандартизованы, низведены на роль автоматов, за ними следят электронные чудовища, убивающие всех, кто восстает против подавленности и унижений. Повесть эта направлена прямо против империализма, она как бы говорит: смотрите, что будет, если он останется на земле.

Таких книг немало на Западе, и идут они еще от Уэллса. У них двойное звучание, в них слетается глубокий гуманизм, отрицание мира собственности — и тоскливая боязнь будущего, неверие, что этот мир исчезнет. Они сильны как иносказание о настоящем и слабы как предсказание будущего.

ДОЛЖЕН ЛИ ПОЛЗАТЬ РОЖДЕННЫЙ ЛЕТАТЬ?

Ну, а как у нас? Как смотрят на проблемы будущего наши писатели? Что говорят они о жизни через сто, двести, тысячу лет?

Голод на книги о будущем удовлетворяется у нас еще очень плохо. Жанр фантастики многие считают второстепенным или относят к детской литературе. «Взрослые»

издательства не печатают научно-фантастических книг, «взрослые» журналы проходят мимо них.

Впрочем, они во многом правы. Фантастика последнего времени в основном ориентируется на детей. Она стоит вне поля зрения критики, уровень ее невысок, а главное — ее просто очень и очень мало.

Она не играет в литературе той роли, которую должна бы играть, особенно если помнить о традициях, которые сложились в мировой литературе.

Десятки веков мечтали люди о совершенном будущем. Эти мечты насквозь пронизывают и фольклор и письменное творчество всех веков и народов. Они воплощаются в легендах о Фаэтоне и Икаре, сказках о ковре-самолете и сапогах-скороходах, «золотом царстве» и могучих добрых героях.

Они воплощаются в утопиях античности — книгах Платона, Лукиана, Ксенофонта и других мыслителей, в древних идиллиях и идиллиях средневековья.

Огромная эпоха перелома — Возрождение, а за ним семнадцатый век — рождает плеяду утопий, которыми зачитываются с тех пор многие поколения людей. Появляется «Золотая книга» Мора, «Государство Солнца» Кампанеллы, «Новая Атлантида» Бэкона и масса уже забытых книг¹. В восемнадцатом веке в литературу входит «Базилиада» Морелли, утопии Руссо и других просветителей.

Деятнадцатый — революционный — век, век больших переломов и открытий, рождает «машинную утопию», несет с собой публицистику Сен-Симона, Оуэна, Фурье, «Путешествие в Икарию» Кабе, «Вести ниоткуда» Морриса и много других утопий и романов о будущем². Проникнутые мечтой о мире справедливости и равенства, они

¹ Лучшие из них — «Закон свободы» Уинстэнли, «Человек на Луне» Годвина, «Океания» Гаррингтона, «Иной свет» Сирано де Бержерака и его же неоконченная «История государств и империй Солнца», «История североамериканцев» Дони Верраса, «Телемах» Фенелона.

В восемнадцатом веке появляются «Австралийские открытия» де ля Бретона, «2440 год» Мерсье, «История Галлигенов» де ля Роша и т. д.

² Среди них — «Будущее общество» Тарбури и «Будущее общество» Грава, «Страна свободы» Герцки, «Обозрение 1887—2000 года» Беллами, «Картины будущего» Лассвица, «Спустя триста лет» Гея, «3000 год» Мантегацци и другие.

сильно влияли на социалистическое движение: французский утопический социализм стал одним из источников марксизма; фаланстеры, возникшие в начале века, были наивной, но великой попыткой немедленно создать этот идеальный новый мир.

Конечно, социалисты-утописты не знали реальных путей в будущее, конечно, в их взглядах было много иллюзий. С появлением марксизма роль утопий, их место в жизни меняется. Они перестают быть маяками, указывающими путь вперед, но они остаются памятниками человеческой мечты, которая рвется в будущее, к миру свободы и человечности.

Эта мечта пронизывает книги многих великих художников прошлого. Вспомним хотя бы «Робинзона Крузо», страну гуигнмов из «Гулливера», Телемскую обитель из «Гаргантюа и Пантагрюэля», «Рай» Данте, «Сон в летнюю ночь» Шекспира, «Возвращенный рай» Мильтона или утопические главы «Фауста» — те самые, где звучит знаменитое «тогда воскликну я: мгновенье, прекрасно ты, продлись, стой!».

Вспомним фантазии романтиков прошлого века, «4338 год» В. Одоевского, «Необыкновенное путешествие Ганса Пфалля» Эдгара По, «Сельского врача» и «Деревенского священника» Бальзака, «Таинственный остров» — скрытую утопию Жюль Верна — или утопический «Труд» Золя. Вспомним «сон» из «Что делать?» Чернышевского, утопические мотивы, часто встречающиеся у Толстого и Достоевского. Вспомним утопию Франса «На белом камне», рассказ Куприна «Тост», «Марсианина» Мопассана, социальные романы Уэллса, революционно-утопическую «Железную пядь» Джека Лондона, «Туннель» Келлермана, «Войну с саламандрами» Чапека...

Мотивы будущего играли важнейшую роль в мировой литературе, никогда не были каким-то боковым жанром, ответвлением от ее главного ствола. Отвергая бесчеловечность собственничества, великие писатели не просто звали к лучшему миру, но и стремились вызвать его силой своего воображения, столкнуть его картины с картинами современной жизни, чтобы искры, которые высекаются из этого столкновения, ярче осветили бесчеловечность настоящего и человечность будущего. Правда, они делали это с разных позиций, их представления о будущей жизни часто были противо-

речивыми, поэтому и соседствуют в литературе прошлого идеалы революционные и идеалы иллюзорные.

Октябрь положил начало строительству нового мира, о котором мечтали лучшие умы человечества, дал нам новую почву для мечтаний о будущем. Теперь, заглядывая в него, уже не надо было отвергать настоящее, отвергать современную действительность. Порыв в грядущее больших советских художников получает опору в настоящем: стоит вспомнить хотя бы Алексея Толстого с его «Аэлитой», Маяковского с его мечтой о будущем, которая идет сквозной нитью от его ранних поэм до вступления к «Во весь голос», от сценария «Позабудь про камин» и «Летающего пролетария» до «Клопа» и «Бани».

Казалось бы, что у нас, вооруженных марксизмом-ленинизмом, который дает огромную возможность провидеть и предвидеть, бурно расцветет литература о будущем. Но этого еще не случилось.

Многие наши писатели, занимающиеся фантастикой, охотно пишут о прошлом и настоящем, а если и заглядывают в будущее, то не дальше чем на десять—пятнадцать лет. И главное — их интересует не человек и не общество, а только техника и наука.

А ведь стремление к панорамному, широкому охвату грядущей жизни всегда было главным в мировой утопической литературе. Утописты прошлого брали социальные проблемы во всю ширь, во всем объеме — от строения общества до быта, от собственности до любви.

На рубеже нашего века в утопической литературе воцарился Уэллс. Он связал в один узел традиции, идущие от социальной утопии, «машинной фантастики» и психологической литературы, сплел воедино общественные, человековедческие и технические мотивы: в этой широте была тайна его успеха, секрет его новаторства.

Тем же путем синтеза, но уже на новой основе шел и Алексей Толстой, один из зачинателей советской фантастики. Потом социально-психологические мотивы будущего стали отходить на периферию литературы. А. Беляев, Г. Адамов, Ю. Долгушин, А. Казанцев развернули поиски в других направлениях. Они ввели в фантастику творческий труд как одну из ее главных тем, стали сплавлять научную и техниче-

скую утопию с космической и военно-приключенческой литературой. Их поиски рождали фантастику нового типа, с новыми героями, новой проблематикой, с захватом новых сфер жизни. Она росла, мужала, выходила на новые горизонты.

Но уже и тогда начинало ощущаться слабое внимание писателей к большим социально-психологическим проблемам будущего. Традиции мирового утопизма мельчали, фантастика как бы замедляла свой рост, становясь из «взрослого» жанра литературой для детей и юношества. Особенно касается это послевоенного времени, когда поле ее стало сужаться, когда «машиноведение» стало теснить «человековедение», а луч, просвечивающий будущее, начал укорачиваться, все меньше отходя от сегодняшнего дня. Произошла как бы «специализация»: утопические элементы вычленились из большой литературы, ушли в особый, «детский» жанр. Мотивами будущего стал заниматься небольшой отряд писателей-специалистов.

В эти годы возникла и нанесла большой урон фантастике вулгаризаторская «теория предела». Ее адепты возвели потолок для полета мечты, крепкими путами стали вязать ей крылья. Они говорили, что литература о будущем должна решать только технические проблемы ближайших лет, не вырываться за их пределы, и лишь тогда она останется на почве социалистического реализма.

Мечтать в пределах, ставить только технические вопросы, уже решаемые в лабораториях, — что может быть противостественнее для фантастики? Надо ли ползать рожденному летать?

Разговоры о пределе подействовали на многих — из маленького отряда писателей. Их стреноженная мечта, привязанная к колышку узкой технической тематики, ползла куриным шагом, и кругозор ее стал резко сужаться. Из книг этого времени начали исчезать фантастические элементы. Авторы не рисковали забегать вперед, они говорили о сегодняшнем дне, чуть прикрашивая фантазией нашу сегодняшнюю технику.

Это относится прежде всего к книгам Вл. Немцова и В. Охотникова, которые в те годы активнее других работали в фантастическом жанре.

Писатель, как и ученый, всегда стоит на грани непознанного, на линии, соединяющей неоткрытое с уже открытым. Если он

передвинул эту грань дальше, если он привел читателя в новые миры, он настоящий писатель. Это задача каждого художника, а в фантастике она выступает в своем химически чистом виде.

Чем подкупают читателя лучшие наши фантастические произведения? Прежде всего масштабностью, размахом своей фантазии. Вспомним хотя бы «Генератор чудес» Ю. Долгушина, «Пылающий остров» А. Казанцева, «Туманность Андромеды» и «Сердце Змеи» И. Ефремова. Все они строятся на рассказе об огромных, узловых открытиях, которые несут в себе вихрь перемен во многих областях жизни. Романтика невиданных открытий, могущества человеческой мысли пронизывает каждую их строку.

В книгах Вл. Немцова и В. Охотникова нет рассказа о коренных открытиях, о переворотах в технике и науке. Фантазия их недалёбойна, мелкокалиберна, она не вздымается выше небольших технических изобретений. Многие, что выдается за новинку, стареет, едва сойдя с кончика их пера. Давным-давно существуют мощные локаторы и ведутся опыты по использованию солнечной энергии. Входит в жизнь цветное телевидение и прием телепрограмм на дальних расстояниях. Буровые вышки давно шагнули с берегов Каспия в море.

Если мечта плетется рядом с жизнью — может ли она обогнать ее?

Не лучше научно-технических и психологические «слои» таких книг. Особенно касается это произведений В. Охотникова (исключая, конечно, его первые вещи, которые были скорее научно-популярными, а не фантастическими). Человек в них загорожен, заставлен техникой, как стены в тесной комнате мебелью. Его не видно, не слышно, он придаток техники, колесико, винтик, простой экскурсовод по техническим дорожкам книги. Он произносит речи, поясняющие какую-нибудь проблему техники, и за эти «путеводительские» рамки не выходит.

Герои таких книг — схемы, построенные на стереотипах среднеарифметической психологии. Их можно отличить друг от друга только по именам да по условным психологическим «знакам различия». У героя-руководителя такие «знаки» — мужество, воля, мудрость, у начинающего — самоуверенность, петушинный задор, у отрицательного — эгоизм, карьеризм.

Все они много и утомительно разговари-

вают, исправно выполняя роль авторских рупоров. Они излагают технические прописи, которые писателю неудобно давать «от себя» и которые он старается оживить, пропуская через уста персонажей. Положительные герои то и дело взбираются на ходули и произносят патентованные речи про отрицательных, а отрицательные усердно само-разоблачаются.

Книги Вл. Немцова имеют здесь свои отличия. В них есть и морально-психологические темы, герои их окрашены ярче, но и в тематике и в обрисовке персонажей тоже масса иллюстративности.

Скудость фантастики, пустота в тех местах, которые она должна заполнять, заставляет авторов обильно вводить в свои книги посторонние элементы. В них то низвергаются головоломные водопады детектива, то уныло втекают житейски-бытовые и моральные темы. И те и другие стереотипны, бродят из книги в книгу, плохо связаны с собственно фантастическими мотивами. Любовь или дружба героев стоит на уровне психологической азбуки и таблицы умножения. Приключенчески-детективная линия полна шаблонного драматизма: главы обычно обрываются как раз в ту секунду, когда герой попадает в страшную опасность.

Говорят, банальность — это бывшая оригинальность. Давно прошли времена, когда такие сюжетные «допинги», нужные, чтобы поддержать интерес читателя, были новинкой. Этот прием, при котором кульминация какого-нибудь действия переносится со своего «срединного» положения в конец главы, знаком нам еще со времен Шах-разады...

Читатель любит фантастику и ради этой любви многое прощает ее создателям. Но не слишком ли многое? Не пора ли поднять голос против примитива, против схематических прямых линий, по которым гуськом, один за одним, ходят многие писатели? Мы гоним такой примитив из большой литературы и не замечаем, что он заполняет фантастику, обильно гнездится в ней.

А ведь у нас есть хорошие книги, есть точка опоры, которая позволит нам отличать настоящую фантастику от мимикрии под фантастику. Я говорю не только об «Аэлите» или «Земле Санникова», не только о «Пылающем острове» или «Туманности Андромеды», «Тайне двух океанов»

или «Прыжке в ничто». И в послевоенное десятилетие у нас выходили интересные книги, не зараженные «теорией предела». Речь идет о ранних произведениях И. Ефремова — «Алмазной трубе», «Тени минувшего», «Звездных кораблях». Речь идет о романе А. Казанцева «Полярная мечта» («Мол «Северный»), правда, более слабом, чем «Пылающий остров», но масштабном по замыслу и не страдающем приземленным техницизмом. Список интересных книг, вышедших в эти годы, можно было бы дополнить и другими, более или менее удачными, но дело не в реестре. К тому же скучная и неизобретательная «земная» фантастика (хотя в кавычки надо бы скорее заключить второе слово) слишком уж распространилась после войны. Ее авторы наглухо изолировались от важнейших проблем будущего — устройства нового общества, облика коммунистического человека, — и техническая однобокость стала чуть ли не главным канонem в этой ветви фантастики.

Конечно, писатель может выбирать тему где угодно: в будущем, настоящем, прошлом. Конечно, он может писать и о науке, и о технике, и о жизни общества. Мы знаем хорошие фантастические книги, посвященные настоящему и даже прошлому: стоит вспомнить «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого или «Человека-амфибию» А. Беляева, «Затерянный мир» Конан-Дойля и «Борьбу за огонь» Ронн-старшего. Мы знаем хорошие книги, посвященные проблемам науки и техники: «Вне Земли» К. Циолковского, «ГЧ» Ю. Долгушина, многие книги Жюль Верна и т. д.

Но все эти писатели не замыкали себя в узкие рамки, их фантазия была смелой, герои — живыми, и сквозь вопросы науки и техники у них всегда просвечивали большие человеческие и общественные проблемы. Ни того, ни другого нет в книгах «техницистов» конца сороковых — начала пятидесятых годов.

НА НОВЫХ ОРБИТАХ

Великие открытия середины века принесли с собой новую базу для прогнозов о будущем. Укрощение атомной энергии, появление кибернетических машин, ракетных двигателей, искусственных материалов дало нам реальные представления об энергетике

и технике будущего. Теперь мы знаем, на каком техническом фундаменте будет строиться грядущая жизнь. Рассеялась дымка, закрывавшая от нас реальные очертания этого фундамента, и его зыбкий рисунок стал четким, рельефным. Если раньше многие подробности будущего были нам неясны, то теперь мы получили реальную возможность представить их. Это и определяет особенности современного этапа фантастики.

Каким будет человек космической эры? Каким будет общество в атомно-кибернетическую эпоху? Вот новое русло споров о будущем, которые ведутся в последние пять—десять лет.

Как повлияет на жизнь общества новейшая техника, новейшие научные открытия? Что нового появится в облике человека, его труде, его обыденной жизни?

Полюсы споров обозначились и здесь.

Недавно изобретен новый вид кибернетических устройств — «самообучающиеся» машины-гомеостаты. Они сами могут составлять для себя «программу действий», «накапливать опыт» — конечно, в рамках, отведенных им человеком. Глаза «бактерий», о которых писал Нордау, увидели в них гибель для человечества, на прилавки Запада хлынула волна книг, в которых предвещается власть машин над миром. Машинные научатся делать все, что может делать человек, пророчат западные писатели, они подчинят себе людей, превратят их в «ноль», а потом уничтожат. Машинное царство придет на смену царству человека, и на земле начнется эра язгающей жизни.

По-иному воспринимают новейшие открытия люди иного миропонимания. Стефана Гейма, например, заинтересовало, как кибернетические машины, «думающие» в миллион раз быстрее человека, повлияют на человеческое мышление, на умственный труд. «Иметь возможность думать в миллион раз скорее... — сказал он, — значит не только сокращать время, но изменить и самый характер мышления. Количество переходит в качество».

Человек, говорит Гейм, передаст машинам черновые, механические мыслительные операции, громадные по трудоемкости пласты умственного труда. Освободив от них свое сознание, он все свои силы отдаст творческим областям мышления.

Вот реальная проблема будущего, очень важная для психологов, философов, худож-

ников. Черновая работа, «разбег» мысли по земле — машинам; творческая работа, «прыжок» в воздух — человеку. Это и в самом деле громадная перемена в характере умственного труда, в структуре человеческого мышления.

Но как конкретно будет происходить это перераспределение мыслительных операций, внедрение машинного «мышления» в умственный труд? Не зачахнет ли мысль, не расслабнет ли ее мускулатура, не отучится ли она взлетать ввысь, если лишит ее разбега по земле? И как «прыгать», не набрав инерции?

Тут есть о чем подумать ученым и писателям. Стефан Гейм, видимо, прав: «индустриализация» низших видов мышления возможна, и она приведет к расцвету творческой мысли человека. Несности, возникающие здесь, естественны: ведь это совершенно новая (и поэтому очень перспективная для фантастики) проблема.

А как изменят новые изобретения производственный труд? Недавно у нас вышла интересная книга английского физика, лауреата Нобелевской премии Д. Томсона «Предвидимое будущее». По его мнению, число людей, занятых обслуживанием машин, станет все время сокращаться: их место займут электронные машины и сервомеханизмы — механизмы «обслуживания».

«Совершенно ясно, — пишет Д. Томсон, — что на пути к тому, чтобы покончить с тяжелой и нудной работой, это будет шагом вперед. Менее ясно, однако, какое занятие найдут себе люди, которые выполняют эту работу в настоящее время».

Д. Томсон прав: внедрение кибернетической автоматике резко облегчит труд человека, изменит его характер и вызовет перераспределение работников между разными сферами труда и производства. Он прав и в другом: менее ясно, как конкретно будут происходить эти огромные сдвиги, к чему они приведут. Конечно, они не вызовут у нас безработицы, как это может быть при капитализме. Но речь идет о другом — к каким областям жизни приложат свои способности большие группы людей, которых автоматика освободит от непосредственной работы на машинах.

В «Туманности Андромеды» И. Ефремова есть интересная гипотеза на этот счет. Но прежде чем приводить ее, отойдем немного в сторону. Все, наверно, помнят, как «Промышленно-экономическая газета» выступила

прошлым летом против этого романа. В одной из статей писателя обвинили в неверном подборе героев, в том, что все они — ученые, художники, историки, инженеры. «Что же, — с негодованием восклицала газета, — на Земле уже нет рабочих?» («Промышленно-экономическая газета», 19 июля 1959 года).

Что же, авторы угадали. При коммунизме действительно не останется ни рабочих, ни колхозников, ни интеллигентов: это азы марксистской теории. Исчезнут классы, исчезнут теперешние виды разделения труда, и новый труженик не будет ни современным рабочим, ни современным интеллигентом. Специалист-универсал с разносторонним образованием, он будет заниматься одновременно разными видами физического и умственного труда, сменяя их, переходя от одного к другому.

Из этой мысли и исходил И. Ефремов, выбирая своих героев. Научный, инженерный и художественный труд, утверждает он, стал основным видом труда в развитом коммунистическом обществе. Нет больше особых отрядов людей, занятых только работой на машинах, — они постоянно сменяются. Да и число людей, непосредственно обслуживающих машины, невелико: основное делают здесь сверхавтоматы, «умные» механизмы. Человек, по Ефремову, почти не участвует прямо и непосредственно в самом процессе производства материальных благ, и главными группами людей при высокоразвитом коммунизме выступают непосредственные производители этих благ в теперешнем смысле, а люди других видов труда — научного, инженерного, художественного. Именно таким трудом, по Ефремову, занимается человек будущего, сочетая его с физическим.

Это смелая, важная, толкающая на раздумья мысль. С ней можно соглашаться или спорить, но жаль, что критики романа не захотели заметить и вдуматься в нее.

Как видим, у литературы о будущем появилась под ногами такая научная основа, какой не было раньше. И она сдвинулась с места, в орбиту ее стали входить большие открытия, последние достижения науки, грандиозные работы по переделке природы. Проблематика ее сделалась масштабнее, мечта — смелее, она стала «взрослеть», излечиваться от своей «детской» болезни. Оживилась примолкшая было космическая

фантастика, появились книги, посвященные коммунистической эре, человеку и технике коммунизма, ясно обозначилась в литературе тенденция поисков и открытий.

Но инерция шаблона еще живуча. Часто писатели не используют внутренних потенций своего жанра, его возможностей, сбиваются на чуждые для фантастики дороги.

Все мы помним, как в последние годы стала плодиться детективно-шпионская литература. Веяния ее проникли и в фантастику: маятник качнулся в сторону, обратную скучному земному «технизму». Появились книги вроде «Властелина мира» Н. Дашкиева, «Тайны астероида 117-03» Б. Фрадкина, «220 дней на звездолете» Г. Мартынова, некоторых произведений Г. Тушкана — приключенческие детективы, костюмированные под фантастику.

Главное в них — остренькая цепь событий, в которую вклинены звенья фантастических научных сведений или космических приключений. По виду они противоположны откровенно скучному земному «технизму», но и этот «технизм» и занимательное космическое приключенчество родственны, как два взмаха маятника. Такую литературу не интересует, как меняется человек на пути к коммунизму, ее не занимают и социальные сдвиги. Она изолирует людей от их социальной жизни, замыкает их в переборки ракеты или стены лаборатории и видит их двухмерно — не как людей, а как представителей своей профессии: физиков, биологов, астронавтов. Каток шаблона едет по многим книгам, сплющивая человека до рамок профессии, до толщины картонной фигурки.

Так выглядят люди в «Звезде утренней» К. Волкова — повести о полете на Венеру. Повесть эта, правда, далека от детектива, в ней есть интересные сведения по биологии, биохимии, астрономии, но автор то и дело оступается в наезженные колеи, ходит по протоптанному тропам. Потому-то и мелькают в книге дежурные встречи с метеорами в космосе и чудовищами на других планетах, потому-то ходят по ней дежурные герои на дежурные амплуа начальника, смельчака и эгоиста.

В последние годы наши писатели изменили Марсу и все больше пишут о другой нашей соседке — с солнечной стороны. Недавно появилась еще одна повесть о Венере — «Планета бурь» А. Казанцева (напечатан-

ная в «Комсомольской правде»). И опять Венере не повезло: на нее снова прилетели безликие фигурки, так хорошо знакомые нам по другим книгам. Разница, пожалуй, лишь в том, что они многозначительно символизируют трех былинных богатырей: спокойный Илья Богатырев — Илью Муромца, осторожный Добров — Добрыню Никитича, запальчивый Алеша Попов — Алешу Поповича. В остальном они почти не отличаются от электронного робота, которого привезли на Венеру их американские коллеги. В них, как и в робота, тоже вложена «программа», они говорят и действуют не от себя, а от автора, и только штампы — «перфорированные карты» — у каждого свои: восторженная порывистость у одного, уравновешивающая ее осторожность у другого, гранитное спокойствие у третьего, лицемерная религиозность у четвертого и т. д.

Повесть до отказа набита леденящими душу опасностями, она вполне может быть энциклопедией детективных канонов, пособием по подбору космических трафаретов. Тут и борьба со свистящим звероящером, «Соловьем-разбойником» Венеры, которого, как и в былинах, побеждает современный Илья Муромец — Илья Богатырев; тут и битва с летающим драконом величиной в океанский корабль, и схватка с «207 348 ящерицами», из которых «9 341» были уничтожены; тут и единоборство с гигантским хищным цветком, который чуть не съел осторожного Алешу Поповича, и космическая лихорадка, и inferнальные ливни, и ураган в тринадцать баллов, и переход через поток лавы, и другие страсти-мордасти.

Под нагромождениями этих страстей буквально погребена научно-фантастическая идея повести. Впрочем, ее не всякий назовет научной. Оказывается, земные люди произошли не от обезьян, а от марсиан, которые много лет назад переселились на Землю и на Венеру. У нас они сначала одичали, стали первобытными, а потом опять стали развиваться по восходящей линии. На Венере, видимо, одичания не произошло, так как экспедиция нашла там древний «космодром», сооружения для постройки ракет и т. п.

В «Планете бурь» нет ни настоящих научных проблем, ни настоящих живых героев, но зато очень много серийного приключенчества.

«Законы жанра», — могут сказать нам. Нет, шаблоны жанра.

К счастью, увлечение детективом и страсти к старым дорожкам начинает проходить. Это видно по творчеству и опытных и молодых писателей.

Несколько месяцев назад появилась новая книга Вл. Немцова — «Последний полустанок». Автор назвал ее просто романом, но, как ни парадоксально, в этом просто романе куда больше фантастики, чем в предыдущих его научно-фантастических романах. Вл. Немцов ищет новые возможности, вводит в книгу большие проблемы науки и техники. Я не сказал бы, правда, что этот роман — удача писателя: слишком много в нем недостатков, перешедших туда из старых его книг, но заметно, что автор отходит кое в чем от своих прошлых позиций.

Ушел вперед от своего неудачного дебюта и писатель Г. Мартынов. Два года назад он выпустил роман «Каллисто» — о людях коммунизма, прилетевших на Землю с планеты чужого солнца. Герои Мартынова восприимчивы, умны, их психическая организация тонка, мораль гуманна. Правда, в изображении их писателю не хватило глубины и смелости, к тому же он и здесь не обошелся без вкрапленных детектива. Но хорошо уже то, что он переступил через черту привычности, взял для изображения людей коммунизма. В конце романа протягивается ниточка к другой, еще не написанной книге Мартынова: звездолет гостей улетает назад, увозя с собой человека Земли. Видимо, скоро появится продолжение романа, рассказ о коммунистическом обществе и его людях.

А пока мы можем прочесть другую книгу о коммунизме, но уже земном. «Внуки наших внуков» называется эта книга, написанная Ю. и С. Сафроновыми и напечатанная — впервые за многие годы — во «взрослом» журнале («Нева», 1958, № 11).

Книга рассказывает о жизни в XXII веке. В основе ее лежат свершения, еще не доступные нам и характерные для общества с высочайшим развитием науки и техники. Люди создают искусственное солнце, подвешивают его в космосе и меняют климат земли. Не часто встречается в фантастике столь характерный сюжет, который вбирает в себя важные черты эпохи, олицетворяет собой ее мощь, как бы вынут из ее сердцевины.

Фантазия авторов вырывается из плена «земного тяготения». Микросолнце бросает

отсвет на всю структуру книги, все ее события и действия; рассказ о нем смел, интересен, построен на новейших научных открытиях.

В сфере техники Ю. и С. Сафроновы сильны, фантазия их захватывает, они идут своей дорогой. Но когда они вступают в область человековедения, кажется, что они берут в руки другое перо, не свое — острое и интересное, а чужое — притупленное и безликое. Их люди не имеют характеров, они не живые герои, а плоские двумерные фигуры. Проблемы грядущего человека и общества, проблемы отношений между людьми почти совсем не затронуты в книге.

Да, он властелин над миром, да, он может зажечь свое солнце, создать новый материк, сместить ось земли. Но где точка опоры, которая дает ему такую силу? Как устроена жизнь, основанная на принципе «от каждого по способностям, каждому — по потребности»? Как этот властелин живет у себя дома, как он любит, чем увлекается, как разрешает противоречия и конфликты?

Интересная книга Ю. и С. Сафроновых почти не восполняет пустот, которые существуют в социально-психологических областях нашей фантастики.

РЕВОЛЮЦИЯ — ВОКРУГ НАС

До сих пор укором многим писателям звучат слова Алексея Толстого, сказанные четверть века назад: «Утопический роман почти всегда, рассказывая о социальном строе будущего, в центре внимания ставит машины, механизмы, необычайные аппараты, автоматы... Человек в пропорциях к этому индустриальному величю — ничтожная величина».

А ведь в океане социально-психологической жизни лежит масса неоткрытых художественных материков. Стоит только задуматься, какие огромные сдвиги происходят сейчас и будут происходить, когда мы войдем в коммунизм, когда он станет крепнуть охватывать весь мир, все области человеческой жизни.

Сейчас делает первые шаги по земле громадная техническая революция, самая большая из всех, которые были в истории, идут грандиозные преобразования человеческого общества. Вся жизнь человечества пропитана токами революционных измене-

ний, с ходом времени они будут все нарастать, убыстрять темп, выходить на поверхность.

До капитализма ход истории был медленным, жизнь — застойной, малоподвижной. Буржуазная революция принесла с собой бурное движение, везде начались перемены, ломка.

Но изменения происходили внутри «родовых» рамок, которые возникли за тысячи лет до этого. Частная собственность меняла свой вид, но оставалась частной собственностью. Менялась классовая структура общества, но оставались эксплуататоры и эксплуатируемые. Появлялись новые виды государства, но оно оставалось государством меньшинства. Менялась мораль, этика, права личности, но все это в рамках старого принципа — принципа собственности.

Изменения все глубже въедались в общественный организм, но не вели к коренной, «химической» перестройке его структуры. Менялись виды, формы явлений, а их сущность оставалась. Революционность этих изменений была относительной.

С эпохой социалистических переворотов, с переходом к коммунизму начались «абсолютные» перемены в жизни общества, началась сплошная и всеохватывающая непрерывная революция. Она ломает все, что в собственности общества было «родовым» явлением и до чего не притрагивалась никакая предыдущая революция. На переходе к коммунизму в корне меняются самые давние, самые глубинные устои общества — основные виды разделения труда, созданные сотнями предыдущих поколений. Развитый коммунизм уничтожит извечное размежевание людей на группы, занимающиеся только физическим или только умственным трудом, только производством или только управлением. Уйдут в историю и другие «родовые» явления: исчезнут классы, угаснет государство, сменившись общественным самоуправлением, отомрет калечащее человека замыкание в рамки одной профессии.

В перепахку при социализме попадает все; борьба будущего с прошлым идет везде, нет ни одной вещи, ни одного явления, которые не были бы вовлечены в этот живительный процесс. В период развернутого построения коммунизма резко усиливается перестройка всех областей жизни — техники, производства, науки, культуры,

быта, семьи. Меняется структура мельчайших клеток, из которых состоит общественный организм. На место старых структурных «кирпичиков» социализм начинает класть новые: общественная собственность сменяет частную, появляются дружественные классы — первый шаг к ликвидации классов вообще, исчезает противоположность умственного и физического труда — первый шаг к их слиянию. Коммунизм достроит возводимое сейчас здание, и в нем уже не будет ни одного «кирпича», из которых состояло здание собственнических обществ.

Революционность нашей жизни всепроникающая; все текуче, все изменчиво, и лишь русло этих изменений остается неизменным: стрелка социального компаса указывает на коммунизм.

Как пойдут дальше эти перемены, как подействуют они на человека, его труд, быт, характер, строй его чувств, привычек — кому, как не литературе, заниматься этим?

Наша большая литература пишет об этих процессах применительно к настоящему, почему бы фантастике не посмотреть на их развитие в будущем?

Или — волнующий всех вопрос, как будут входить в жизнь основные принципы коммунизма. Наши писатели не очень внимательны к этой теме. Кое-что говорится о ней в «Изгнании владыки» Г. Адамова. Действие романа происходит в последней четверти нашего века: в Советском Союзе делает свои первые шаги коммунизм. Страна электрифицирована, на всех заводах почти сплошная механизация, огромную роль в управлении производством играют счетно-аналитические машины. Появились заводы-автоматы — первые форпосты коммунистической техники. На них уже нет рабочих старого типа, вместо них рождается новый работник инженерного профиля. Основная масса продуктов распределяется по потребности, но существуют еще остатки денег: в сфере денежного обмена остаются дефицитные продукты — новинки техники, старинные гравюры и т. п.

Правда, многих важных проблем перехода к коммунизму Г. Адамов даже и не касается, а кое в чем его гипотезы кажутся сейчас наивными. Но главное в том, что пусть бегло, пусть вскользь, мимоходом, но он ставил те социальные проблемы, кото-

рых почти не трогают его собратя по жанру.

Иногда у нас распространялись упрощенные взгляды на построение коммунизма. «Великие стройки коммунизма», — говорили в свое время пропагандисты, внушая, что, когда войдут в строй огромные волжские ГЭС и большие южные каналы, чуть ли не наступит коммунизм. Путь к нему представлялся простым и легким, сложные социальные процессы упрощались или не принимались во внимание. Иногда и сейчас встречается нечто похожее. А между тем «процесс перехода от социализма к коммунизму — это длительный и очень сложный процесс». Слова эти принадлежат Н. С. Хрущеву.

Социализм и коммунизм — две фазы одной формации, и во многом они зиждутся на общих основах. Но между ними есть существенные различия: в общем своем виде они сводятся к тому, что социализм — это начало всеохватывающих революционных переворотов, а коммунизм — их продолжение и завершение.

Построить коммунизм — значит развить новые общественные отношения, построить новую материально-техническую базу. Как обычно, решающую роль в развитии производительных сил будут играть производственные отношения. Технической базой коммунизма станет автоматическая система машин, где машинами управляют машины, а человек контролирует их работу, монтирует и ремонтирует их, создает новые виды механизмов. Единство новой техники и социалистических общественных отношений, перерастающих в коммунистические, и станет универсальной основой материального и духовного изобилия. Это единство и даст человеку возможности для всестороннего развития, высвобождения из рамок одной профессии, оно и породит новый тип человека, гармоничного и всестороннего человека коммунизма. Сейчас, кажется, это ясно всем. Именно так, во всяком случае, говорится во многих статьях наших философов и экономистов.

А раз так, значит можно примерно представить, как будет входить в жизнь эта материальная основа коммунизма.

Ближайшая семилетка даст нам пятьдесят автоматических заводов, двести во семьдесят—триста автоматических и полуавтоматических линий; это внедрение в жизнь новой техники будет началом

больших перемен в теперешней системе разделения труда. Семилетний план — это как бы карта, на которой проложен первый этап развернутого построения коммунизма. Его цифры несут в себе картины новых социальных сдвигов, говорят о новых изменениях в обществе

Чтобы достичь полного коммунизма, надо пронизать комплексной автоматизацией всю страну, перестроить техническую базу промышленности и сельского хозяйства, сменить теперешнюю систему разделения труда на новую. Надо, чтобы две формы собственности, которые есть у нас, переросли в новую, коммунистическую собственность, чтобы размылись границы классов, исчезли теперешние различия между городом и деревней, физическим и умственным трудом.

Все это не абстрактные, не отвлеченные процессы. Они проходят через мозг и сердце каждого человека, переделывают его психику и взгляды. Создание коммунистических общественных отношений — это и создание нового человека, ибо человек — венец и средоточие всех изменений общества. Отмирание старого разделения труда — это не только перемены в обществе, но и рождение нового человека, свободного от подчинения одной профессии; слияние умственного и физического труда — это тоже рождение нового человека, всестороннего и гармонически развитого; отмирание классов, отмена денег, угасание государства — все эти процессы отпечатываются в новом человеке, создают его и не могут проходить без него.

Нелепо думать, что можно отложить на счетах истории точную цифру и сказать: социализм кончится через столько-то лет, и сразу же начнется коммунизм. Ясно, что между ними нет резкой границы, ясно, что принципы коммунизма будут входить в жизнь постепенно, шаг за шагом, сосуществуя и перемежаясь с принципами социализма, все глубже проникая в толщу самых разных областей жизни.

Все эти вопросы исключительно важны для читателя, и можно себе представить, как рвали бы из рук в руки фантастический роман, в котором зашла бы речь об этом. И жаль, что ничего похожего нет в нашей сегодняшней литературе.

О коммунизме можно писать по-разному, и нам нужны разные жанры фантастики.

Нужна фантастика труда, переделки земной природы, нужна техническая утопия и утопия покорения космоса. Эти жанры у нас есть, и при всех своих слабостях они приносят пользу.

Но у нас почти нет главного жанра литературы о будущем — «человековедческого», социально-психологического романа. А ведь для сегодняшнего читателя исключительно интересно, какими будут те явления, которые окружают его, служат атмосферой его жизни. Отбирая для изображения те или другие области жизни, стоит исходить из того, о чем больше всего думают теперешние труженики, что им ближе всего, что составляет их главную заботу, главный интерес, с чем они каждодневно и постоянно сталкиваются, чем живут, дышат.

Что такое коммунизм как скачок из царства необходимости в царство свободы? Что значит полное удовлетворение материальных и духовных потребностей человека? Какой будет жизнь без денег, налогов, материального неравенства, еще не устранимого социализмом? Что будет, когда совсем отомрут причины, мешающие человеку развиваться гармонически: тяжесть добывания хлеба насущного, утомляющий, иногда изматывающий характер труда, скудость жилищных условий, нехватка свободного времени? Какие трудности станут испытывать люди коммунизма?

Мы знаем, конечно, что они останутся, знаем, что и тогда будут свои преграды и конфликты, споры и столкновения, неудачи и катастрофы. Люди коммунизма будут и плакать и тосковать, у них не исчезнут и свои слабые стороны. В грядущей жизни будет и свое новое и свое старое, останутся и противоречия между людьми. Но, видимо, разрешаться они станут по-новому. Можно предположить, что одним из тяжелейших наказаний — может быть, равным теперешнему лишению свободы — будет лишение работы, временное отлучение от труда и его радостей. И здесь ждут писателей новые, неосвоенные просторы.

Что такое коммунистический труд — «труд вне нормы», как говорил Ленин, труд не для отбытия повинности, а «по привычке трудиться на общую пользу», «труд, как потребность здорового организма»? ¹

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 30, стр. 482.

Каким будет быт, жилищные условия, что это за жизнь без деления на классы, без войн и армий, без милиции и преступников? Как люди будущего станут непосредственно управлять производством, непосредственно руководить всеми делами общества?

Все это пока не обжитые в фантастике пространства. То же самое касается огромного, мировых масштабов процесса — появления нового человека. В свое время Маркс говорил о замене «частичного рабочего, простого носителя известной частичной общественной функции» «всесторонне развитым индивидуумом», как о вопросе «жизни и смерти» ¹. Энгельс писал: «Вместе с разделением труда делится на части и сам человек. Развитию одной какой-нибудь деятельности приносятся в жертву все прочие физические и духовные способности» ². Коммунистическое производство, продолжал он, будет нуждаться в совершенно новых людях и создаст их. «Воспитание даст молодым людям возможность быстро осваивать на практике всю систему производства, оно позволит им поочередно переходить от одной отрасли производства к другой... Воспитание освободит их, следовательно, от той односторонности, которую современное разделение труда навязывает каждому отдельному человеку» ³.

Разве не интересно написать о том, как человек социализма, который, конечно, отличен от капиталистического, но еще не избавлен от односторонности, от закрепления в рамки одной профессии, превращается в гармонического и всестороннего человека коммунизма?

Человек коммунизма складывается постепенно, поколение за поколением рождает черту за чертой этого нового человека. Человек социализма — как бы первый этап в развитии коммунистического человека. Уже в ходе социалистического строительства ломается основа человеческих взглядов, стимулов, чувств, коллективизм начинает вытеснять индивидуализм.

У человека социализма и человека коммунизма общие основы мировоззрения.

¹ К. Маркс. Капитал, т. I, 1950, стр. 493.

² Ф. Энгельс. Анти-Дюринг, 1950, стр. 276.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 4, стр. 336.

общий — коллективистский — фундамент морали, психики. Но наш человек отличается от человека будущего: он не достиг еще гармонической всесторонности, подчинен остаткам старого разделения труда, наряду с новыми духовными стимулами им движут и стимулы материальные, он не во всем избавился от наследия собственничества.

В человеке социализма все в развитии, росте, ломке. Все больше нарастают в нем черты человека будущего, все больше угасают пережитки прошлого. Сорок лет назад он вошел во всестороннюю переплавку, и с тех пор постоянно изменяются все его качества, все свойства его интеллекта и его эмоций.

Новый человек будет универсальным специалистом, одновременно производящим материальные и духовные блага и управляющим жизнью общества. Он будет и похож на теперешнего и не похож на него. Можно предположить, что вместе с разрывом гармоничности, с изменением жизненных условий изменится и его мироощущение, «состав» его чувств, строение психики: уменьшится удельный вес «отрицающих» чувств — ненависти, презрения, до ноля спадут состояния мелкого недовольства, исчезнут корыстные стимулы поступков и настроений. Зато, видимо, возрастет и сделается исключительно сильной роль «утверждающих» чувств, гармонических настроений, еще сильнее станут привязанности нового человека, ярче и глубже — его радости.

ЧЕЛОВЕК-БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Недавно у нас появились книги, которые далеко — на тысячу с лишним лет — заглядывают в будущее земли. Это «Туманность Андромеды» и «Сердце Змеи» И. Ефремова.

Впервые за последние годы далекое будущее просматривается не в одном его измерении — научном или техническом, — а во всех сразу, слитно, синтетически. И. Ефремов берет облик грядущего всеобъемлюще, вовлекая в орбиту книги жизнь и труд нового человека, его воспитание, любовь, семью, устройство общества, социальные обычаи, технику, науку, искусство, звездные путешествия и земные дела.

Герой Ефремова шагнул далеко вперед. За тысячу лет, протекших от наших дней, выросли новые люди, прекрасные телом и духом, с глазами, в которых светятся большие, глубокие чувства. Ефремов стремится показать, что они стоят на новой ступени в развитии человеческого сознания. У них новый тип понятийного, абстрактного мышления: оно полностью порвало с метафизикой, формальной логикой, насквозь диалектично, пропитано динамикой. Мышление ефремовского человека сосредоточивается на качественных скачках в явлениях, на моментах перехода из одного состояния в другое; элементы количественные, отражение эволюционных процессов не играют в нем такой роли, как сейчас.

Видимо, не все читатели уловили эту важную мысль романа (возможно, потому, что она не очень глубоко воплощена в образах героев). Академик В. Амбарцумян, например, считает, что автор напрасно вводит в книгу несуществующие науки вроде биполярной математики, репагулярного исчисления и т. п. (см. «Литературную газету» за 29 августа 1959 года). Но эти фантастические дисциплины как раз и соответствуют у Ефремова новым этапам человеческого сознания, чуют в себе мысль о его подъеме на новые ступени диалектики.

Ефремов старается показать, что не только научное, но и художественное мышление изменило у людей будущего свой характер. Как новый вид понятийного мышления рождает в романе новые науки, так и новый тип художественного мышления вызывает к жизни новый, синтетический род искусства, построенный на сплаве музыки, живописи и пластики. Герои книги слушают «синюю космическую симфонию», странное для нашего глаза сплетение разных образных рядов. В этой «музыкальной живописи» звуковые и цветовые образы, пластические и пространственные формы прославляют друг друга, все время переходя из зрительного ряда в слуховой, из слухового в зрительный, но никогда не разделяясь, так что музыка, живопись и пластика ни на секунду не исчезают, плывя вместе и переливаясь друг в друга, как струи одного потока, границы которых можно различить, но которые нельзя изолировать друг от друга. Синяя симфония рассказывает о рождении жизни в космосе. Все ее частицы насыщены глубоким философски-психологическим под-

текстом: эра гигантских скоростей и масштабов родила в искусстве величайшую концентрацию смысла в каждом образе.

Новое искусство действует сразу на все стороны человека — его мысль и эмоцию, зрение и слух, его чувство формы, цвета, мелодии... Ефремов как бы говорит: всестороннему и синтетичному человеку нужно всестороннее и синтетичное искусство.

Фантастика это? Да, фантастика; но она нужна Ефремову не сама по себе, а чтобы показать сдвиги, которые, как он предполагает, произойдут в человеке. Структура симфонии отражает строение психики, художественного сознания нового человека. Через этот новый вид искусства Ефремов показывает новые качества человека, с его синтетичным и обостренно философским мировосприятием, богатым оттенками и переливами и в то же время простым и цельным.

Гипотеза, конечно, есть гипотеза: возможно, что и не так будет выглядеть новый человек, его науки, его искусство. Но Ефремов нашел реальные жизненные формы, в которых отлилась его мысль о новых качествах человеческого сознания, попробовал зримо показать, как и в чем изменился человек далекого будущего. Любопытно вспомнить, кстати, что о синтезе музыки и живописи, звукописи и цветописи много лет назад мечтал еще Скрябин.

Человек будущего поднялся на новые ступени в своем развитии. Его эмоциональная сфера так совершенна и сверхчувствительна, что он стоит на грани чтения чужих мыслей, на грани их непосредственной — из мозга в мозг — передачи. Человечество, говорит Ефремов, подходит к рождению третьей сигнальной системы, когда люди будут общаться не только через слово, но и прямо улавливая волны чужих эмоций, образов, мыслей.

Возможно ли это? Будущее ответит, прав ли Ефремов в своих гипотезах. Но он имеет право на них, ибо в принципе такая возможность заложена в человеке. Наверно, каждому из нас приходилось угадывать, что чувствует, думает, собирается сказать или сделать другой человек. Бывает это не часто и обычно с близкими людьми, которых мы хорошо знаем. Но исключительное сегодня — становится обычным завтра, и кто знает, не разовьется ли эта способность так, как предсказывает Ефремов?

Кстати, именно о таком прямом разгово-

ре «мозга с мозгом», «сердца с сердцем» очень интересно и обоснованно, опираясь на последние данные науки, пишет Ю. Долгушин в своем фантастическом «Генераторе чудес».

Герои Ефремова — люди исключительно развитой психики, и поэтому в том, что может показаться нам идеальным, они видят противоречие.

Эрг Ноэр, Мвен Мас, Дар Ветер — каждый из них по-своему чувствует, что он слишком изолировался от простой жизни земли, слишком ушел в дали науки и звездоплавания. Это делает односторонним строй их душ, сужает их многосторонность, лишает каких-то очень важных для человека свойств, нарушает гармонию психики.

В развитии их появляется своя односторонность — иного, не нашего измерения. Они осознают, что многие их современники развиваются слишком рационально, что их эмоциональная сфера растет менее совершенно, чем интеллектуальная. И верно: чувства людей Ефремова иногда слишком анемичны, им не хватает земной полноты, земной весомости. Ефремов пытается угадывать здесь противоречия, возможные в обществе будущего.

Но и с этими своими противоречиями люди коммунизма могучи.

Ярко выражено это в одной из ключевых для понимания нового человека сцен, когда Эрг Ноэр, говоря о победах над космосом, замечает: «Это пока еще топтание на крохотном пятнышке диаметром в полсотни световых лет».

Пятьдесят световых лет — цифра с гигантским количеством нулей, если перевести ее на километры. Для нас это ошеломляющие, недостижимые просторы, для них — тесное «пятнышко». Здесь сквозит новое мироощущение человека, новое понимание своего места во вселенной.

Сейчас выходы в космос — исключительное событие; обыденное мироощущение современных людей оперирует масштабами города, страны, земли. Для людей Ефремова этих рамок нет, потолок их возможностей неизмеримо выше, они чувствуют себя равновеликими космосу, галактике. Иные масштабы, иные меры определяют их мироощущение, их самооценку.

Всей своей книгой Ефремов говорит: возможности коммунизма безграничны, силе нового человека нет пределов. Герои романа — именно герои, и весь он — цепь огром-

ных по масштабу подвигов и открытий. Духовное изобилие, по Ефремову, — это не только расцвет мысли и чувства, но и изобилие героизма. Совершенное, героическое общество создает совершенных, героических людей — такова одна из главных мыслей книги.

МАТЕРИКИ БУДУЩЕГО И ОСТРОВА ПРОШЛОГО

Какова же концепция этого общества у Ефремова? Как оно выглядит?

Структура его предельно проста. На земле нет ни государств, ни границ, ни особых аппаратов власти. Центральный орган правления — Совет экономики. Руководство осуществляется через научные центры, органы планирования и контроля. Все они сведены в простую, стройную и гармоничную систему, без лишних ответвлений и усложняющих звеньев. Власть у Ефремова такая, о какой говорил Энгельс: не управление людьми, а управление вещами, руководство производственными процессами.

Глубокий коллективизм проникает во все клетки общественного организма. Решение принимают все затронутые им люди, единоличное руководство сведено к нулю.

О важных и спорных вопросах оповещается население всей земли. Радио бросает в эфир формулу широкого обсуждения: все, кто думал и работал в этом направлении, все, кто обладает сходными мыслями или отрицательными заключениями, высказывайтесь! Эти частые и массовые референдумы прямо и непосредственно вовлекают в руководство обществом, в решение своей судьбы миллиарды людей.

Полная свобода царит на земле: свобода в выборе профессий, в действиях, мнениях, поведении. Все делается добровольно, сознательно, никакого насилия не существует. Но свобода эта не хаотична. Роман Ефремова — не анархическая утопия Штирнера, в которой общество выглядело хаосом летучих песчинок, гонимых ветром эгоистических стремлений, «абсолютно» свободных и ни секунды не лежащих на месте.

Люди коммунизма — люди новой морали, которая стала их привычкой и в то же время регулятором общественных отношений. С исчезновением классов и государств, с вовлечением всей земли в орбиту

коммунизма мораль заняла место, которое принадлежит сейчас праву и политике.

Такова гипотеза Ефремова, выдвинутая впервые в нашей фантастической литературе. Она, конечно, может вызвать возражения, но мне кажется, что она не только интересна, но и верна.

Разве не что-то похожее имел в виду Ленин, когда он много раз говорил об исключительной роли привычки при коммунизме? Вспомним его слова: «Мы ставим своей конечной целью уничтожение... всякого насилия над людьми вообще.. Люди привыкнут к соблюдению элементарных условий общественности без насилия и без подчинения»¹. «Только привычка,— настаивает он,— может оказать и несомненно окажет такое действие, ибо мы кругом себя наблюдаем миллионы раз, как легко привыкают люди к соблюдению необходимых для них правил общежития...»².

А ведь привычка к соблюдению правил общежития — это моральная, этическая величина. Именно она, по мысли Ленина, и придет на смену «принуждению», возмет на себя функции права и политики.

И мы видим, как все действия людей Ефремова проникнуты этими привычками коммунистического общежития. Мораль коммунизма стала их внутренней потребностью, и когда они отклоняются от ее принципов, они тяжело и открыто переживают чувство своей вины.

Вот Мвен Мас производит грандиозный опыт по созданию ноль-пространства. Он хочет покорить пространство, научиться в ничтожные частицы времени покрывать расстояния в десятки световых лет. Опыт кончается сокрушительным взрывом, гибнут люди, гибнет спутник Земли. Мвен Мас осуждает себя и сам выбирает себе наказание: он просит отстранить его от руководства Великим Кольцом и уходит на остров Забвения — ждать, пока Совет Звездоплавания и Контроль чести и права установят степень его вины. Он беспощадно и неукротимо казнит себя.

Моральная самоотверженность людей будущего исключительна: Гром Орм, председатель Совета Звездоплавания, считает, что и он виноват во взрыве, так как не предусмотрел ошибку Мвена Маса. Он про-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 25, стр. 428

² Там же, стр. 434.

сит устранить его с поста и отправить на восстановление спутника.

В обществе Ефремова нет организаций, которые помимо воли людей решают их судьбу. Это не парадокс: Ефремов идет здесь за Марксом. «...Н а к а з а н и е, п р и н у ж д е н и е,— писал Маркс в «Святом семействе»,— противоречат ч е л о в е ч е с к о м у образу действий».

«...При ч е л о в е ч е с к и х отношениях (то есть при коммунизме.— Ю. Р.) наказание действительно будет не более как приговором, который провинившийся приносит над самим собой. Никому не придет в голову убеждать его в том, что внешнее насилие, произведенное над ним другими, есть насилие, произведенное им самим над собой. В других людях он, напротив, будет встречать естественных спасителей от того наказания, которое он сам наложил на себя...»¹. Эти слова Маркса Ленин занес в «Философские тетради», соглашаясь с ними.

Так и происходит в «Туманности Андромеды». Совет Звездоплавания освобождает Мвена Маса от наказания, которое он наложил на себя, и возвращает его с острова Забвения.

Среди гипотез Ефремова есть и такие, которых не принимаешь до конца, с которыми хочется поспорить. Гипотезы двух островов — назвал бы я их, и первый из них как раз остров Забвения.

Героев старых утопий часто прибывало бурей к берегам неизвестных земель. Это были островки с идеальным устройством жизни, островки будущего в океане настоящего. В книге Ефремова тоже есть такой островок, но это остров прошлого. Живут на нем инертные и слабые духом люди; им не под силу духовное напряжение большого мира, и они сами уходят из него, чтобы жить, как в древности, охотой, рыбной ловлей, скотоводством.

Вполне возможно, что в будущем случится что-то похожее: видимо, всегда будет существовать пусть крохотная, но слабая часть людей. Только мечтание могут думать о коммунизме как о голубом мирке стриженных газонов, по которым порхают ангелы с крыльями лебедя. И очень хорошо, что Ефремов не рисует сусальных картинок, а старается как-то угадать противоречия, воз-

можные в грядущей жизни. Но все же как-то не укладывается в душе, что общество будущего станет так пассивно относиться к своей пассивной части. Большой мир присылает им пищу, дает орудия труда, охраняет от диких зверей, лечит от болезней. Но он не пытается излечить их от инертности, вдохнуть силу духа, вернуть в настоящую жизнь. А ведь обществу Ефремова с его исключительно развитым гуманизмом, величайшей заботой о счастье каждого человека, с его достигшей огромных высот медициной и психологией — этому обществу вполне под силу вернуть к счастью и таких людей.

Есть в книге и другой остров прошлого, остров Матерей, единственное на земле место, где сохранились остатки семьи. В мире Ефремова дети живут отдельно от родителей, родители — друг от друга, и семьи не существуют.

Гипотеза эта поражает, в глаза бьет ее неожиданность исчезла одна из древнейших структурных ячеек человеческого общества, первая школа чувств, которую в своей жизни проходят люди. Потом спохватываешься. а не противоречит ли это взглядам самого автора на людей будущего? Ведь они умеют дорожить богатством своей жизни, остро чувствуют блаженство от малейшего всплеска радости, малейшей крупинки счастья. Откажутся ли они от россыпей этого счастья, которые может дать им семья?

Ведь смерть семьи — это не просто смерть «ячейки», «клеточки». Вместе с ней исчезает материнская и детская любовь, два величайших человеческих чувства, два огромных материка на карте человеческой любви. Возможно ли такое опустошение в душах людей?

И. Ефремов, безусловно, прав, говоря, что семейная жизнь изменится, что многое будет иным в отношениях между семьей и обществом. Стремление предугадать эти перемены, увидеть, что нового появится в любви будущих людей, играет важную роль в замысле автора. Со многим, что говорит здесь И. Ефремов, соглашаешься, и только мысль об угасании семьи кажется ненужной крайностью, которая не гармонирует с другими его взглядами.

Вернее, видимо, предположить, что семья останется. Она, конечно, изменит свой облик, мимо нее не пройдут гигантские изменения, которые совершатся в жизни и в душах людей.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 2, стр. 197.

Энгельс писал об этом: «...Отдельная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную промышленность. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом...»¹.

Слова эти говорят об огромных изменениях, которые произойдут в семье.

Социалистическая революция раскрепостила женщину, дала ей равенство в общественной и производственной жизни. Но семья у нас не потеряла еще признаков хозяйственной единицы общества. Правда, теперь уже не частная собственность — фундамент социалистической семьи. Она перестала быть частным хозяйством, и это большая перемена в ее облике. Но семья наша остается еще мелким домашним хозяйством, она, видимо, будет последним уголком человеческого общества, в котором дольше других не исчезнет мелкое ручное производство. Приготовление пищи, стирка белья, шитье одежды, уборка комнат — все эти мелкие хозяйственные операции ведутся примитивным способом, с гигантски нерациональной затратой труда, сил, времени. Особенно тяжел домашний труд в деревне, где к городским его видам добавляется еще уход за скотиной, огородные работы, топка печей, выпечка хлеба и т. п.

Ленин резко писал об этом наследии прошлого: «Женщина продолжает оставаться домашней рабыней... ибо ее давит, душит, отупляет, принижает мелкое домашнее хозяйство, приковывая ее к кухне и к детской, расхищая ее труд работою до дикости непроизводительною, мелочною, изнервляющею, отупляющею, забивающею. Настоящее освобождение женщины, настоящий коммунизм начнется только там и тогда, где и когда начнется массовая борьба... против этого мелкого домашнего хозяйства, или, вернее, массовая перестройка его в крупное социалистическое хозяйство»².

Эта перестройка личного и мелкого домашнего хозяйства в крупное и общественное давно уже идет у нас. Темпы ее, видимо, будут нарастать, вытеснение мелкого домашнего труда промышленным, рост сети столовых, прачечных, мастерских, сети

яслей и детских садов будет все более интенсивным.

Когда эта «массовая перестройка» кончится и отомрет последний вид мелкого хозяйства, когда семья передаст свои хозяйственные функции обществу, произойдет переворот в одной из ее давнишних основ, и ее облик, быт, строй ее жизни резко изменится. Исчезнет все «мелочное», «изнервляющее», «отупляющее» человека. Женщина будет освобождена от лишней затраты сил и энергии, у нее высвободится масса времени для творчества, совершенствования, отдыха, воспитания детей.

Отпадение хозяйственных функций семьи станет изменением в самых глубинных, самых стойких и «неподвижных» слоях человеческой жизни, еще одним переворотом в общественном разделении труда. Впервые в истории появится семья, свободная от тысячелетних гирь, висевших на ней. Это будет настоящей революцией быта, которая приведет к полному равенству женщины, многое изменит в браке, воспитании детей, отношениях жены и мужа.

Исчезнут все остатки «побочных, экономических соображений», которые еще влияют иногда на выбор супруга, возникнет, как говорил Энгельс, «полная свобода при заключении браков». Единственной и безраздельной основой брака будет любовь, не замутненная никакими примесями.

Какой же станет эта новая семья? Сохранится ли моногамия? Энгельс склоняется к тому, что она не исчезнет. «...Половая любовь по природе своей исключительна», говорит он, и поэтому «брак, основанный на половой любви, по природе своей является единобрачием».

Но при этом, добавляет он, от моногамии отпадут черты, навязанные ей собственничеством, — «во-первых, господство мужчины и, во-вторых, нерасторжимость брака»¹. Ведь «если нравственным является только брак, заключенный по любви, то остается нравственным только такой, в котором любовь продолжает существовать»².

И тогда «отношения полов станут исключительно частным делом, которое будет касаться только заинтересованных лиц и в

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, 1948, стр. 221.

² В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 396.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Избранные произведения в двух томах, т. II, стр. 226.

² Там же, стр. 227.

которое обществу нет нужды вмешиваться»¹.

Я привел столько выписок, чтобы показать, как остры, как связаны с нашим сегодняшним днем все эти проблемы будущего. Все они имеют гигантское значение, но все плохо разрабатываются в нашей науке и почти никак — в фантастике. А ведь каким интересным для нынешних читателей — особенно молодых — был бы фантастический роман, в котором шла бы речь о семье при коммунизме, о любви будущих людей, о браке и воспитании. Это еще одна большая страна, на берега которой почти не вступали наши фантасты.

«Туманность Андромеды» современна в лучшем смысле этого слова. Она исходит из последних достижений науки, причем не одной какой-нибудь, а многих сразу. Не только теория относительности и физика, не только математика и биология были трамплином для Ефремова, но и философия, этика, психология. Отсюда и жанр книги — многосоставной, синтетичный, соединяющий в себе элементы философской, научно-технической, приключенческой и социально-психологической фантастики. Чтобы писать о многостороннем будущем, надо самому стать многосторонним, и это едва ли не главная трудность, которая подстерегает наших писателей.

Правда, замысел автора кое-где оказывается сильнее, чем его воплощение. В глубинах некоторых образов иногда просвечивают их жесткие конструкции, обнажая всю их геометрию. Особенно много ее в отрицательных персонажах — трусливом эго-

исте Пур Хиссе и властолюбивом маньяке Бет Лоне. Есть в книге и герои чересчур величественные, недосыгаемые — Гром Орм, например.

«Земные» части книги менее увлекательны, чем «звездные». Там почти нет захватывающих сюжетных сцеплений и конфликтов, и сила их от этого понижается. А ведь именно здесь идет основной разговор о жизни и облике нового человека, устройстве нового общества. Именно здесь лежат проблемы, которые ближе всего сегодняшним интересам серьезного читателя. Рассказ о них может больше всего повлиять на формирование наших взглядов, и об этом стоило бы всерьез задуматься тем, кто займется в будущем социально-психологической фантастикой.

Путь, который выбрал Ефремов, очень плодотворен для фантастической литературы. «Туманность Андромеды» дает нам разностороннюю и свою концепцию будущего, несет в себе большие социальные проблемы, и в этом ее сила, ее незаурядность. Это не узкофантастический роман, а большая, «взрослая» книга, фантазия ее автора переступает через привычные барьеры, выходит за рамки уже известного, измеренного.

Для всех нас исключительно важно, чтобы фантастика перестала быть второстепенной областью литературы. Мечта, фантазия, выдумка всегда раздвигает границы литературы, придает ей новые, яркие и привлекательные цвета. Она раздвигает горизонты писателя, расширяет кругозор каждого человека, она помогает человеку стать более человеческим, чем он есть. И почему бы ей не сделаться спутником многих писателей, отнюдь не только «специалистов»?

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 4, стр. 336—337.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Сергей Львов. Новое имя.— **В. Шкловский.** Верно и неверно угаданные пути.— **В. Твардовская.** Повесть о первомайцах.— **В. Ланшин.** Чеховский сборник.— **Инна Соловьева.** «Это ваша книга».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Дм. Рудь. Дело в организаторах.— Кандидат философских наук **М. Слуцкий.** Правда о двоедушии и лжи — **А. Мельников.** Живые страницы истории — **Е. Касимовский.** «Не веришь? Проверь».— Профессор **В. Покшишевский.** Путешествия географа.

Литература и искусство

Новое имя

В журнале «Знамя» напечатана новая повесть Александра Рекемчука «Время летних отпусков».

Скажут: новая повесть — да, но почему же новое имя? Рекемчук печатался и раньше. И все-таки, думается, только после этой повести читатель по-настоящему запомнит его имя.

Сколько раз в произведениях всех жанров был изображен молодой специалист, который должен принять ответственность за отстающее предприятие! Именно так начинается повесть Рекемчука. Если добавить, что молодой специалист — девушка и что неожиданное назначение застает ее в день, когда она запаковала чемоданы, чтобы ехать в отпуск, придется согласиться: завязка повести звучит привычно.

Но начал читать и не можешь оторваться. А когда дочитал, оглядываешься на прочитанное, и на ум приходит соображение неожиданное: в этой повести обычность исходной ситуации не ослабляет интереса, а способствует ему.

А. Рекемчук. Время летних отпусков. Повесть. «Знамя», 1959, № 7.

...Геолога Светлану Панышко неожиданно назначают заведующей отстающим нефтяным промыслом. Назначение это приносит ей не только множество тревог, но и — впервые в жизни — вполне самостоятельную работу.

Пусть профессия читателя ничем не похожа на профессию героини, но порасспрашивайте врача про первое самостоятельное дежурство, попросите журналиста рассказать, как однажды вечером ему первый раз пришлось самостоятельно «вести номер», пусть припомнит металлург, как его назначили первым раз ответственным за плавку, или речник — минуту, когда капитан-наставник сказал: «Сегодня стоишь вахту сам», — и вы увидите, каким особенным, неповторимым чувством был окрашен для каждого из них этот день. Это чувство первого рубежа (значительного по внутреннему ощущению, каким бы скромным он ни был в абсолютных величинах) помогает человеку свежо и обостренно увидеть все окружающее.

В повести «Время летних отпусков» эта свежесть и острота восприятия не только характерная особенность главной героини.

Это определяет тональность, в которой звучит вся вещь. Повесть написана не от лица Светланы, но как бы в ее лирическом настроении, а оно — с его острой радостью новизны — заразительно и привлекательно.

Не каждому случалось бывать на далеком нефтяном промысле Северной Печоры. Но многим, вероятно, доводилось входить в контору небольшого предприятия с не очень новым номером стеной газеты, выпущенной к праздничному дню, с прорубленным в стене окошечком кассира, с доской, на которой висят отпечатанные на папиросной бумаге приказы. А. Рекемчук вводит нас в коридор такой конторы — и вдруг привычное и будничное предстает как интересное, потому что показано как впервые увиденное. Таким становится график отпусков, с которого начинается повесть.

Описание запыленной и пожелтевшей канцелярской бумаги дает автору возможность словно мимоходом сказать и про дальний край, где дают отпуска на два месяца в год, и о том, кто и как этот отпуск обычно проводит, и ввести целую вереницу людей. Вдруг в графике крупно высвечивается одна строка, а в ней должность, имя и фамилия человека, и мы догадываемся: он будет играть в повести важную роль.

Так иногда вводит своих персонажей кино. Впрочем, сходство композиционных и стилистических приемов с приемами кино еще одна особенность повести. Она вся написана так, будто А. Рекемчук видит происходящее в зримых и действенных кадрах. И вот мы уже запомнили и механика Глеба Горелова, и Брызгалова Н. Ф., заведующего промыслом, который об отпуске может только вздыхать, потому что промысел в тяжком прорыве, и старшего геолога Светлану Панышко, которая собирается ехать на юг... И уже очерчены некоторые обстоятельства их работы и жизни: дальний промысел, который кажется особенно глухим потому, что давно ходит в отстающих, и где все хорошее — трудовая слава, почет, премии — в прошлом, а теперь осталась одна радость: ожидание отпуска.

С первых страниц в повесть вошли и заинтересовали нас не только люди промысла, вошел и повествователь, хотя произведение написано не от первого лица и

автор как действующее лицо не появляется в нем ни разу. Однако мы все время слышим (чуть было не сказал «слышим за кадром») его голос. В одних главах он звучит явственнее и громче, в других приглушеннее. Этот голос — несмотря на откровенное и, казалось бы, старомодное обращение: «возможно, некоторые читатели удивятся...» — не нарушает достоверности повествования, не делает его стилизованным, но окрашивает всю повесть лирическим отношением к происходящему.

В повести отличные описания природы, суровость которой не умалется, а подчеркивается тем, что в маленьком поселке, заброшенном в глухой лес, по вечерам вспыхивает электрический свет.

«В лесу было темно, неуютно, сыро. Поутру обычно казалось, что лес отступает от поселка, отодвигается, отходит, а к ночи — наоборот: что лес подступает, надвигается на поселок, сжимает его глухим кольцом... (Это очень точно: каждый, кому случилось жить среди лесов, знает, как яркий вечерний свет — все равно от лампы или от костра, — выхватив ближние предметы, непроницаемым делает все в нескольких шагах и придвигает черную стену леса. — С. Л.) В окнах зажегся электрический свет и квадратами лег наземь. Послышалась разноголосая — не в лад — музыка: это в квартирах включили приемники, проигрыватели, патефоны завели». (И это тоже верно и метко: чем меньше и чем дальше от больших городов такой поселок, тем больше дорожат в нем этой вечерней «разноголосицей».)

Но даже в описаниях природы объективный авторский голос уступает место лирически пристрастному повествователю. Отсюда — азартные восклицания о ягодном и грибном раздолье, и взволнованные строки о белой ночи, и восхищение перед нехоженными таежными просторами, и даже чуть насмешливая интонация, когда речь заходит о красотах южных курортов. Не в декларациях, а именно в этом лирическом отношении к пейзажу как бы звучит авторский призыв: «Приезжайте в мой край! Нет лучше его на свете!»

И пусть читатель, который живет где-нибудь на окском плесе или в карпатских предгорьях, в совхозе на восточном побережье Крыма или на меловом берегу Десны, не согласится с рассказчиком. Всегда интересно слушать, когда человек упоенно

говорит про места, где он живет и где он работает...

Но лирическая пристрастность повествователя сильнее и прежде всего сказывается на его отношении к людям. Ему смешон наглаженный и засушенный педант Инихов. А Брызгалова Н. Ф., с его нехитрой чиновничьей тактикой, построенной на мелких житейских хитростях, повествователь откровенно не уважает. Это просто очень небольшой человек, измелчивший порученное ему дело, которое могло быть крупным и перспективным и которое становится таким, когда за него берется Светлана.

И своего увлеченного пристрастия к Светлане Панышко повествователь не скрывает. Она едва возникла в повести, но по всему уже видно, что появился человек не только красивый, но духовно значительный, от которого ждешь сильных чувств, ярких поступков.

Вот она всего-навсего примеряет платье. «На лице Светланы Панышко торжество. Ах, как она счастлива! Она сама, своими руками, хотя и на чужой машине, сшила вот это несравненное платье!

Ах, всего-навсего полвека назад она, эта русская девушка-затворница, чернавка, востельница, — без колебаний, без жалости ножницами обрезав косу, рвалась из кухарок, из швей, из маменькиных дочек в курсистки, лбом прошибала стены, ежилась от оскорблений и ликовала безмерно, заполучив диплом: она — врач, она — агроном, она — человек!

И вот полвека спустя она, эта русская девушка, одна из сотен тысяч, как на обыденность, как на правило, как на само собой разумеющееся смотрит на свой диплом инженера и бесконечно горда, если умеет сама себе шить нарядное платье. И пройтись в нем павой. И даже обо всем этом не подумать.

Обо всем этом Светлана сейчас и не думала: она просто радовалась новому платью».

Мы, конечно, замечаем два «ах» крику, из которых одно наверняка лишнее, и стейно-штампованное «одна из сотен тысяч». Но не это главное. Нам интересна героиня, которая входит в повесть не только со своей короткой личной, но и с исторической биографией.

Характер, заявленный значительно, раскрывается и подтверждает эту заявку, хотя

особенных чудес геолог Панышко, ставшая временной заведующей промыслом, не совершает. Она просто принимает решение воскресить заглохшие скважины при помощи приема, который изучала в институте, но о котором почему-то не вспоминала, покуда не стала сама отвечать за промысел. Психологически это понятно. Именно груз самостоятельной ответственности раскрывает возможности, заложенные в характере Светланы, помогает ей с необыкновенной остротой увидеть все нужды Унь-Яги.

Есть здесь и еще одно важное обстоятельство. Жизненный конфликт, участником которого оказывается молодой специалист, в нашей современной литературе изображается преимущественно в одной форме: герой выступает в роли новатора, который придумывает нечто, до него не существовавшее, и борется за внедрение этого усовершенствования, изобретения или даже открытия. Разумеется, бывает и такое, и есть технические и научные биографии, начало которых именно таково. Но гораздо чаще в жизни встречается другая, почти не отраженная в книгах ситуация, когда молодому специалисту нужно бороться не за то, что он открыл сам, а за то, что выучено им в институте как последнее слово науки, но там, куда он приехал, еще не применяется... Повсеместное внедрение в практику новейших, проверенных теоретических рекомендаций — одна из важнейших народнохозяйственных задач. Но это не только производственная, а и вполне человеческая проблема. Здесь тоже провернется и сила характера, и преданность профессии, и вера в науку.

Глеб Горелов говорит Светлане жесткие слова: «Почему так? Приезжает на промысел новый человек. Из института приезжает. из Москвы. Там ему лекции читали профессора, научные светила. Самые последние достижения, самое что ни на есть новое в голову вдальблывали... А приехал человек на работу, и ему здесь говорят: очень приятно, мол. Уважаем вашу образованность... Но, прежде чем других учить, сами поучитесь. Понюхайте настоящего производства. Пообвыкните. Мы, дескать, тоже не лыком шиты. Что не лыком — это верно: техника здесь уже... двадцатых годов достигла, что называется, «на грани фантастики»! Однако новый человек и такого производства не нюхал. Ну, и начинает понемногу привыкать. А то, чему его в институте учили, забывать понемногу... Глядишь, через

год-другой и совсем привык. Об т е с а л с я... Сам уже других поучает: «Это вы برسете... Мы тоже не без дипломов!»

Конфликт этот весьма жизненный и типический, хотя вроде бы и неброский.

Светлана не похожа на многих других героинь, попадающих на какой-либо отстающий участок, не только потому, что она своим появлением не меняет все сразу, как мановением волшебной палочки, но и потому, что, как это и бывает в жизни, действует она не одна, а в окружении и при поддержке многих людей, коротко, но точно очерченных писателем. В повести удались не только психологические портреты этих людей, но портрет коллектива — и типичного и очень своеобразного. В маленьком ли поселке нефтяников, заброшенном в тайгу, на опытной ли станции, работающей где-нибудь в оазисе, в речном ли затоне — словом, в стороне от больших городов — не только работа, вся жизнь человека на виду. И А. Рекемчуку удалось хорошо передать эту обстановку со всем хорошим и трудным, что происходит из ее особенностей. Светлана не только старший геолог, она человек куда не очень-то счастливый в личной жизни, и получается так, что ее новое назначение неожиданно и круто усложняет ее начавшуюся было устраиваться женскую судьбу.

Но не станем пересказывать все то, что случилось со Светланой. Зачем отнимать у читателя в общем не очень-то частую радость в конце главы задумываться: что же будет дальше?

Но вот, когда дочитываешь повесть, которая кончается тем, что трест присылает нового заведующего промыслом, а Светлана — посреди всего ею начатого — вольна ехать в отложенный отпуск и действительно уезжает, снова возникает этот вопрос: а что дальше? Однако он возникает здесь не как результат неудовлетворенности наивного читателя, который хочет, чтобы понравившаяся ему вещь длилась как можно дольше, хотя она внутренне завершена. Здесь, в финальной главе, это, пожалуй, просчет автора.

Пусть для треста и его масштабов временное назначение Светланы Панышко — незначительный эпизод; пусть то обстоятельство, что во время ее заведования безнадёжные, казалось, скважины вдруг «задышали», проходит почти незамеченным, потому что не играет существенной роли в общем нефтяном балансе треста. Но для

Светланы-то и для коллектива Унь-Яги эти два месяца не эпизод, а важная глава в жизни. Какими же они станут после этих двух месяцев? Дело даже не в том, удастся или не удастся парторгу промысла доказать, что Светлану Панышко нужно было оставить руководить промыслом. В повести, естественно, вовсе не обязательно рассказывать о всем служебном пути главной героини. Но вот что читателю важно знать: иной выходит она из повести, чем вошла в нее, или такой же? Подчеркнутая оборванность конца, подчеркнутая нейтральность интонации, подчеркнутое возобновление повествования на той же ситуации, с которой оно начиналось, — все это производит впечатлительные нарочитости.

Мы уже привыкли, что историю Светланы, ее друзей и знакомых рассказывает нам заинтересованный, наблюдательный, лиричный, иногда даже патетичный человек. Почему же вдруг он исчез, уступая место другому, который бесстрастно сообщает: «А Светлана Панышко ехала в отпуск», как бы говоря: мы заканчиваем на том, с чего начали, — по сути дела, ничего особенного не случилось... Если другие приемы, которые говорят о внимательном изучении автором опыта современного кино, кажутся мне оправданными, то кольцевая конструкция, жестко обрамляющая повесть, представляется несколько искусственной.

Чуть-чуть навязчива также манера автора подчеркивать и без того очевидную меткость найденных им деталей. В одном из эпизодов повести на столе появляется бутылка с наклейкой «Коньяк. Плодово-ягодный». Больше ничего говорить не надо: уже ясно, в какую глухомань забросила работа героев книги и как стараются местные снабженцы, чтобы в здешних магазинах все было «как у людей». Но этикетку в тексте сопровождает совершенно лишний эпитет: «захолустная наклейка». Голос повествователя как бы делает многозначительную паузу — дескать, дошло до вас, как я это здорово подметил?

Сейчас ведутся довольно оживленные споры о современном стиле нашей прозы. Надо надеяться, впрочем, что основные аргументы в этих спорах будут даны все-таки не статьями, а новыми повестями, рассказами, романами. И повести А. Рекемчука здесь принадлежат не последнее место. Манера, в которой она написана, конечно, не единственно возможная, но она, на мой

взгляд, очень современна и обещающа. Мы закрываем «Время летних отпусков» с чувством, что узнали не только о том, как извлекается нефть из вполне разработанной скважины, которая вроде бы отдала уже все, но и как много можно извлечь из, ка-

залось бы, уже вполне разработанного сюжета, если начать пристально всматриваться в характеры людей, которых жизнь свела на листе одного графика отпусков...

Сергей ЛЬВОВ.

★

Верно и неверно угаданные пути

Оружие пристреливают, потому что каждый пистолет, каждая винтовка имеет свою особенность боя, которую надо знать, для того чтобы попасть в цель.

Каждый инструмент, самый точный, нуждается в определении его особенности.

Критик определяет особенности писателя, указывает читателю, как положить маршрут писателя на карту мира.

Он рассматривает исследуемого им автора на историко-литературном фоне, оценивает в том новом, что художник умеет дать для нового познания действительности.

Статьи А. Роскина, переизданные сейчас издательством «Советский писатель», остаются чрезвычайно интересными. Рецензии на произведения Габриловича («Усеченная строка и усеченная действительность»), Паустовского («Путешествие из страны Грина»), Каверина — все это очень точные определения писательских маршрутов.

Эти статьи-рецензии написаны два десятка лет тому назад, но орбиты писателей определены правильно.

Мы видим, чего не хватало писателям, что сумели они превозмочь и чего превозмочь не смогли.

Дело не в том, чтобы только указать на недостатки писателя или с ним поспорить, дело в том, чтобы суметь всесторонне оценить его свойства — их пользу или вред, рассказать читателю, как прочесть книгу, какие поправки внести в чтение.

Такие статьи являются частью общего литературного дела. Книги создаются и отдельными писателями и всеми вместе — в общем процессе осознания жизни. Осознавая свой путь, мы как бы убыстряем его.

Некоторые писатели сошли с пути, на котором они начинали. Евгений Габрилович писал свою раннюю прозу как будто бы одними существительными; он брал предме-

ты, сопоставляя их коротко и остро, объективно. Он рано установил свой почерк. К сожалению, мы не имеем новой прозы Евгения Габриловича. Писатель перешел в кино. Этот его путь был как бы предсказан монтажным характером выработанного им литературного стиля.

В кинематографии Евгений Габрилович сделал много и чаще всего работал хорошо. Но и сейчас Габриловичу не всегда удается найти взаимоотношение положений и перейти от показа эпизода к развернутому анализу человеческих отношений. Это заметил А. Роскин более двадцати лет тому назад в прозе писателя.

Паустовский видит мир; его пейзаж для нашего времени классичен. Паустовский прекрасный художник, но первичное прикосновение к живому миру — не через литературу — не всегда ему удается. Человек, который смог увидеть то, что не часто видели другие, — красоту обыденного русского пейзажа, — в творчестве нередко прибегает как бы к цитате, сопоставляет неожиданное с заведомо красивым и прежде описанным.

Между тем романтика возникла в свое время из стремления преодолеть тогдашние шаблоны писательского почерка и прикоснуться к тому миру, который прежде другими художниками не осязался.

Давняя статья Роскина, его указания на пути Грина и на пути Паустовского, ведущие к Кара-Бугазу, не потеряли и сейчас своего значения.

Когда-то Навои говорил своим ученикам, что если они хотят создавать цветы, то должны стать землею.

Золотая роза искусства, о которой писал не так давно Паустовский, создается не из случайно найденных крупинок чужого золота, а из претворения в землю всего того, что было жизненным, умерло и в искусстве воскресает переработанным и переосмысленным.

Можно рассказать о Бабеле, изображая его высоко поднятые плечи, короткое дыха-

А. Роскин. Статьи о литературе и театре. Антоша Чехонте. Редактор В. Иващенко. 438 стр. «Советский писатель». М. 1959.

ние и интерес к Молдаванке, но понять Бабеля можно, только зная, что он так же коротко дышал и среди бойцов Первой Конной, видя вокруг себя новую, никем еще не описанную жизнь,— именно это делало его тем писателем, который остался в истории литературы.

Прикосновение к миру, непосредственность видения — это то, что делает писателя, но подробности прикосновения нужно слить, генерализировать, как говорил Толстой.

Литературная жизнь старой Одессы в последней книге Паустовского показана живо, но спор Багрицкого, Кирсанова и других с Шенгели не был спором чудаков, хотя этот спор иногда и облакался в шуточные формы. Это был спор мировоззрений.

Передать это условно, изобразить поверхностную яркость — очень легко. Показать в этом суть искусства, движение времени — чрезвычайно трудно. Пренебречь этим различием — художественная ошибка.

Рецензия на сборник А. Роскина не может превратиться в попытку написать статьи обо всех людях, о которых он говорил.

Книга эта — о началах верно угаданных путей.

В этой книге — книге непрощедшей, показывающей, сколько мы потеряли со смертью ее автора,— есть чудесные вещи. Очень интересно начало биографии Чехова «Антоша Чехонте». Писать об этой биографии трудно потому, что она уже вросла в наши общие знания о Чехове, ее все прочли, она стала нашим общим достоянием, и наше сегодняшнее представление о Чехове неотделимо от работы А. Роскина. Но в некоторых частностях хочется возразить умершему, как живому,— именно потому, что книга не умерла.

Рассказывая о семье Чеховых, писатель, очевидно, во многом пошел от воспоминаний Александра Чехова. А. Роскин хорошо понял стиль отца Чехова. Павел Егорыч и люди, его окружавшие, говорили странным, высоким, неточным и выпяченным слогом. Его питала архаичная литература. Мир Павла Егорыча душен, груб, ограничен.

В родном доме Александр Чехов был неудачником с оскорбленным самолюбием, с тысячами попыток и ошибок, с любопытством к собственным неудачам, с любовью к бедности.

Все это превосходно изобразил Роскин.

Но из этой земли выросли цветы. Как же они выросли?

Почему Антон Чехов — гениальный писатель; почему Николай Чехов — крупный художник; почему Александр Чехов — одаренный литератор, а сын его Михаил — актер мирового значения?

Что же такое семья Чехова?

За внешней скорлупой, за видимостью, за кажимостью как будто реальной есть нечто иное. Если бы внешность предметов соответствовала их внутренней сущности, то наука не была бы нужна и не понадобилось бы искусство. Мы просто отбирали бы предметы, ставили их рядом, сталкивали бы их.

Но из монтажа искусство не получается.

Семья Павла Егорыча дана А. Роскиным слишком изолированно.

Между тем мир, окружавший Чехова, степь, через которую он ехал мальчиком, разговоры, которые он слышал, были разные, и искусство в окружении Чехова существовало не только в форме романтической мелодрамы. Такой рассказ Чехова, как «Лошадина фамилия», очень легко, например, мог быть подсказан народным анекдотом, который мы знаем по афанасьевской записи: украинец вспоминает фамилию пана, знает, что это фамилия птичьей, перебирает десяток фамилий. Фамилия оказывается Вербицкий, потому что птицы сидят на вербах. Так же дана Чеховым и «лошадина фамилия» — Овсов.

Мир мелкой прессы, в которой работал Чехов, тоже не должен быть изображен так сниженно. Чехов разговаривает со своими товарищами по перу, как с друзьями. Этих людей надо прочесть, потому что в какой-то мере они приняли участие в создании новой литературы, помогли Чехову преодолеть старые формы, которые уже не выражали нового содержания...

Но, повторяю, я говорю о частностях большой и интересной работы.

Рецензируемая книга хорошо составлена И. А. Роскиной; предисловие В. В. Смирновой и И. И. Халтурина написано с очень большой заинтересованностью и с умением видеть писателя.

Книга — значительная, ее могут читать все как книгу сегодняшнюю, живую; десятитысячный тираж для нее мал.

Читатель из этой книги узнает, как надо читать писателей, которых он любит. Писатель узнает, как превращать статью в точно построенное, продуманное произведение, которое способно пережить десятилетия.

В. ШКЛОВСКИЙ.

Повесть о первоуротвах

Книга Ю. Давыдова — одно из первых художественных произведений в нашей литературе, которое рассказывает об увлекательных и достоверных фактах жизни революционеров-народовольцев, об их борьбе с самодержавием, остановившей на себе, по выражению Плеханова, «зрачок мира». Сюжет повести составляет «охота» народовольцев за царем Александром II, которому они вынесли смертный приговор. Автор рассказывает о четырех покушениях на Александра II, следовавших одно за другим, вплоть до приведения приговора в исполнение 1 марта 1881 года, о следствии и суде над первоуротвами, подготовившими и осуществившими казнь царя.

Ю. Давыдов изучил солидный круг источников и, главное, сумел их во многом по-своему, по-новому осмыслить. Он хорошо владеет материалом, помогающим воссоздать то, что называют колоритом эпохи. Он знает цену исторической детали, той мелкой, но неповторимой подробности, которая скорее, чем самое основательное описание, может перенести нас в соответствующую обстановку — или Петербурга восьмидесятых годов, или провинциального курорта в Липецке, или осенней ярмарки в Александровске...

Располагает к повести увлеченность автора своими героями, которую он старается передать читателям.

Думается, что молодежь с интересом обратится к этой книге: слишком значителен и важен исторический материал, положенный в ее основу. К сожалению, интерес этот не вполне будет удовлетворен.

Из образов народовольцев, нарисованных в повести, наиболее удачны образы Александра Михайлова, Николая Клеточникова, по заданию товарищей пошедшего служить в Третье отделение, хозяйки конспиративной квартиры Геси Гельфман, Юрия Богдановича (Кобозева) — «владельца» магазина, из которого велся подкуп на Малую Садовую. Эти не самые главные герои повести получились более живыми, конкретными, индивидуальными, чем фигуры Андрея Желябова и Софьи Перовской, которые обрисованы слишком прямолинейными штрихами. Отмечены их героизм, бесстрашие, воля,

целеустремленность. Все это исторически верно, но лишено настоящего художественного воплощения. Это скорее революционеры вообще, а не конкретные в своей индивидуальности образы Перовской и Желябова — натур действительно великих, с огромным и богатым внутренним миром.

Практическая деятельность народовольцев изображена в повести выпуклее, ярче, чем их душевная жизнь. Их стремления, мечты, их убеждения воссозданы иногда несколько поверхностно и односторонне.

Повесть Ю. Давыдова насыщена подлинными историческими документами, подлинными высказываниями народовольцев, взятыми из их писем, воспоминаний, показаний на следствии. Но слабость художественных средств автора очень часто снижает воздействие этих подлинных свидетельств. Вот в начале повести на Воронежском съезде читают предсмертное письмо казненного царским правительством революционера Валериана Осинского: «Наше дело не может никогда погибнуть, эта-то уверенность и заставляет нас с таким презрением относиться к вопросу о смерти. Лишь бы жили вы, а если уж придется вам умирать, то умерли бы производительнее нас. Прощайте и прощайте...»

Нужно ли этим простым и мужественным словам подлинного документа следующее «пейзажное оформление», которое дается в повести: «...Лес стоял не шевелясь, будто он тоже слушал слова смертников. Только шмель гудел, да кузнечики стрекотали, да солнечный луч играл с листвою осин и березок». Думается, что это беллетристическое обрамление своей искусственностью только мешает читателю поверить в достоверность этого человеческого документа во всей его впечатляющей силе и в жизненность самого эпизода повести.

Художественные недостатки повести неразрывно связаны с главным ее недостатком — слабостью исторической основы.

Писатель, задумавший книгу о «Народной Воле», должен был неизбежно выступить и в роли исследователя ее истории, так как она до сих пор слабо разработана. У нас нет ни одной монографии, посвященной этой теме, и очень мало статей по от-

Юрий Давыдов. Март. Повесть. Редактор Г. Домбровский. 234 стр. Детгиз. М. 1959.

дельным ее вопросам. Это и обязывает в первую очередь и главным образом говорить об исторической правдивости повести.

Уже на первых страницах, посвященных расколу старой народнической организации «Земля и Воля» и возникновению «Народной Воли» и «Черного Передела», выявляется лицо новой организации, намечается ее характеристика. Какими же предстают здесь «политики» (будущие народовольцы), как объясняется неизбежность раскола «Земли и Воли», расхождения путей старых товарищей, связанных общей революционной борьбой, ее традициями, личной дружбой?

Разногласия «политиков» и «деревенщиков», а затем и народовольцев и чернопередельцев показаны автором как чисто тактические. В спорах, которые они ведут в повести, «политики» выступают за террор, а «деревенщики» — за продолжение работы в народе.

В действительности же тактические разногласия определялись программными и вытекали из них. «Политики» в результате революционного опыта признали необходимость политической борьбы с самодержавием и террор как форму ее. «Деревенщики» продолжали защищать старую, анархистскую программу, видевшую цель революционеров в подготовке одновременно экономического и политического переворота, программу, отрицавшую политическую борьбу как самостоятельную задачу. Они настаивали на продолжении агитационной деятельности в деревне. В повести Давыдова «политики» будто бы и говорят о политической борьбе как о своей задаче, но очень уж мимоходом, невнятно, а ведь именно на этом, а не на терроре должны были сосредоточиться в книге и споры на съездах и послесъездовские дебаты. Не по вопросу о терроре развернулась борьба в Воронеже, как это показывает Ю. Давыдов, а по вопросу о политической борьбе в первую очередь. Большинство «деревенщиков» на съезде как раз признало целесообразность террора и царевубийства, но решительно выступило против попытки «политиков» внести в старую землевольческую программу политическую борьбу. Террор признавался «деревенщиками» как способ агитации, средство дезорганизации правительства, но отрицался как форма политической борьбы. Поэтому в Воронеже речь о терроре и могла идти

только в связи с главными целями и задачами революционеров, а не отвлеченно, как это представлено в повести.

Неправильно построен автором и спор Г. Плеханова со Степаном Халтуриним. В ответ на утверждение Халтурина о необходимости политической борьбы Плеханов, по воле автора, начинает доказывать ему... вред террора. А ведь Плеханов, носивший кличку «Оратор», был отличным спорщиком, схватывавшим самую суть разногласий. Он должен был, как подсказывала логика, говорить Халтурину о вреде политических свобод и конституции для народа, о том, что нужно готовить не политическую революцию, а социальный переворот, который утвердил бы в жизни принципы «анархии и коллективизма». Словом, должен был приобщить все те бакунистские, анархистские доводы, за которые так прочно держались тогда «деревенщики».

На неверных противопоставлениях «политиков» и «деревенщиков» основывается в повести и спор А. Желябова с одесскими революционерами. Желябов, по воле автора повести, доказывает им невозможность продолжать борьбу мирными средствами, упрекает их в «барском сентиментальном воспитании», в боязни решительной, кровавой борьбы.

Но такие споры между народовольцами и революционными народниками (какими являлись «деревенщики», а затем чернопередельцы) были невозможны. Когда же революционные народники действовали «мирными средствами»? Когда они боялись революционного насилия? Ведь их программа ставила целью организацию крестьянского восстания! Отношение к политической борьбе — вот что лежало в основе их разногласий.

Изображение идейных разногласий в повести снижает глубину конфликта между «политиками» и «деревенщиками», затушевывает исторически прогрессивный смысл борьбы народовольцев с анархизмом.

Народовольцы в повести «Март» выступают как чистые террористы, то есть теоретически и практически признающие лишь одну форму политической борьбы — террор. К сожалению, автор следует установившемуся мнению, что героизм «Народной Воли» проявлялся прежде всего в терроре и только в нем, полагая, может быть, что только террористическая деятельность дает увлекатель-

ный материал для повести о «Народной Воле».

Но в действительности деятельность «Народной Воли» не исчерпывалась террором Народовольцы вели большую организационную работу, создавая вокруг центра — Исполнительного Комитета — сеть местных групп и групп специального назначения: рабочих, военных, боевых, студенческих и т. д. Народовольцы вели пропаганду и агитацию среди рабочих и молодежи. Главное место в их деятельности террор занял не сразу и помимо их воли, стихийно. В первых программных документах ему еще не отводилось главной роли, но постепенно он стал поглощать все силы и средства организации. Вопреки стремлениям народовольцев к многообразной, широкой организационной деятельности, террор логикой событий стал главной формой их борьбы, систематически обескровливая организацию, ведя ее к вырождению. В повести правильно показано стремление Желябова сопротивляться стихийной силе терроризма «Мы затерроризировались и проживаем свой капитал...» В этих подлинных словах Желябова, приводимых в повести, скрыта трагедия народовольцев, беспомощных перед стихийной силой событий. Но из всего, о чем до того рассказывала повесть, эти опасения Желябова как бы не вытекают. Они просто непонятны, если учесть, что в повести террор выступает единственным содержанием деятельности и помыслов революционеров, что они с самого начала стремились сделать его единственным своим способом борьбы. От какой же другой деятельности отвлекает террор народовольцев, если эта другая деятельность отсутствует в повести даже как фон террористических событий? Не случайно, с этой точки зрения, в повести идет речь только о «военном кружке», а не о разветвленной военно-революционной организации «Народной Воли». Когда С. Перовская в повести идет к рабочим, она вспоминает о встречах с ними как о чем-то очень давнем. Визит к рабочим для нее вроде передышки от террора. В действительности же народовольцы не прекращали своей деятельности среди рабочих даже перед самым 1 марта, хотя террор все больше отвлекает и от нее.

В повести много спорят о терроре: спорят «политики» с «деревенщиками», народовольцы с чернопередельцами, народовольцы с рабочими и друг с другом. Все это помо-

гает читателю уяснить несостоятельность основного способа борьбы народовольцев, и в этом заслуга автора. Но книга не дает ясного ответа на вопрос: почему же народовольцы были террористами? Характеризуя народовольца Саблина, автор правильно показал, что не все революционеры слепо верили в могущество террора. Саблин скептически смотрит на этот способ борьбы, но и он действует как террорист, потому что не видит другого выхода. Однако, за исключением раздумий Саблина, автор нигде не останавливается на этом вопросе, который, конечно же, возникает у каждого читателя. А ведь мысль, что у революционеров, оторванных от народа, не было другой возможности революционного действия, должна была красной нитью пройти через повесть. По словам В. И. Ленина, народовольцы были «кучкой героев, которые не могли ничего сделать, кроме убийств отдельных лиц». Народовольцы «не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества». Эти слова Ленина могли бы стать ключом и к психологической характеристике героев «Народной Воли».

В ряде мест повести народовольцы говорят о стремлении к политическим свободам, к конституции, к республике. «За свободу!» — провозглашает новогодний тост А. Желябов. Все это, конечно, верно. Но поставить на этом точку — значит сказать только половину правды о взглядах народовольцев. Ведь они были социалистами-утопистами, которые, как говорил Ленин, вели борьбу с правительством «во имя социализма, опираясь на теорию, что народ готов для социализма и что простым захватом власти можно будет совершить не политическую только, а и социальную революцию» (разрядка моя.— В. Т.) Вот этой-то веры и лишены народовольцы в повести «Март». Они нигде не говорят о своих социалистических мечтах, нигде (за исключением двух случаев, когда приводятся подлинные слова Михайлова и Желябова на суде), не называют себя социалистами. Больше того, они и о захвате власти не помышляют, а хотят лишь добиться уступок у правительства, запугав его террором. Так Халтурин объясняет Плеханову цели народовольцев: «растроим правительство, вырвем конституцию...» После убийства царя народовольцы

думают: «Александра II не стало; правительственная верхушка в смертельном страхе перед революцией... Пусть народ требует решительно и громко. Новый царь, третий Александр, уступит».

Поэтому герои повести больше похожи на либералов, чем на революционеров-демократов, — правда, не на обычных русских либералов, вялых и трусливых, а на «либералов с бомбой».

Как же повесть «Март» заставляет читателя оценить исторический смысл дела народовольцев? Ведь ни к каким положительным завоеваниям их движение не пришло. «Видно, нам, русским, суждено все выстрадать, все пути испробовать», — говорит Плеханов Жюлю Геду о борьбе «Народной Воли». Очень жаль, что автор никак не остановил внимания читателей на этой мысли и нигде не развил ее. В. И. Ленин писал, что прогресс русского освободительного движения «состоит не в завоевании каких-либо положительных приобретений, а в освобождении от вредных иллюзий». В числе таких он называет «иллюзии анархизма... пренебрежение к политике». Великая историческая заслуга народовольцев — в преодолении ими анархизма, в провозглашении политической борьбы с самодержавием. Революционно-практический опыт борьбы народовольцев способствовал изживанию и другой иллюзии — веры в успех «единоборства с самодержавием геройской интеллигенции», «теории захвата власти». Когда Ленин говорил, что непригодность террора «ясно доказана опытом русского революционного движения», он имел в виду в первую очередь опыт «Народной Воли». И в этом смысле также дело народовольцев не пропало и послужило последующему революционному поколению.

Есть у героев повести «Март» одна общая черта, с которой нельзя согла-

ситься, когда думаешь об их реальных прототипах. Это — глубокое сознание своей обреченности, неминуемой гибели. Вот народовольцы встречают новый, 1881 год; вдруг задумались все, затихли. И, угадав общее настроение, Софья Перовская нарушает молчание: «Большое дело затяли мы. Не одному, верно, поколению придется лечь костями, а сделать его надо...» В Желябове, по словам автора, жила спокойная уверенность: «Мы погибнем — будут другие». А вот портрет народовольца Саблина: «То ли из-за сумерек, то ли потому, что выражение его лица пришло в соответствие с душевным состоянием, но оно могло показаться лицом обреченного». Конечно, мысль о возможной гибели не могло не быть у революционеров, ежечасно рискующих жизнью. Но нельзя думать, что только стремление «лечь костями» и передать эстафету последующему поколению руководило ими. Народовольцы верили в возможность успеха своих планов. Именно эта вера (как мы сейчас понимаем, утопическая) давала силы для нечеловеческой борьбы горсти героев с самодержавием.

Не было в них этой жертвенности, подавленности и обреченности, которыми наделяет их автор. Это были люди, жившие полнокровной жизнью, не мыслившие своей судьбы иначе, чем идти избранным путем. Для них счастье было именно в такой борьбе, полной трудностей и лишений, но служащей освобождению народа. И, оглядываясь на свое прошлое, многие народовольцы впоследствии признавали, что они были счастливы в самом большом и человеческом смысле этого слова. Это и дало им спокойствие, уверенность на суде и силы именно так встретить смертный приговор, как правдиво описано на последних страницах книги...

В. ТВАРДОВСКАЯ.

★

Чеховский сборник

Обычно случается так: отшумит юбилей писателя, пройдет полгода или год, и начинают появляться книги, готовившиеся к памятной дате. Хорошую книгу, понятно, всегда прочтут и оценят, даже если издате-

ли запоздают и явится она не в юбилейный срок. А все же дорого яичко к светлomu дню.

Потому и радостно приветствовать эту с любовью составленную и скромно изданную книжку о Чехове, опередившую приближающийся литературный праздник.

Литературный музей имени А. П. Чехова в Таганроге задумал доброе дело: перио-

«А. П. Чехов». Сборник статей и материалов. Литературный музей им. А. П. Чехова. Под редакцией Л. Громова и И. Федорова. 384 стр. Ростов-на-Дону. 1959.

дическое издание сборников, которые объединят усилия историков литературы старшего и молодого поколений, занятых изучением жизни и творчества Чехова. Перед нами первая такая книга.

Сборник открывает солидная работа покойного профессора С. Д. Балухатого «Ранний Чехов», составляющая главу из незавершенной им книги о Чехове-прозаике. Известны научные заслуги и большая эрудиция этого ученого — знатока и энтузиаста изучения Чехова. В его статье с раннем творчестве писателя та же строгость, методичность анализа и свободная ориентировка в материале, к которым мы привыкли по прежним работам С. Д. Балухатого.

Читатель получает представление о том, как мужает, набирает силу талант Чехова, шагнувшего от ранних «мелочишек» и анекдотов в «Будильнике» и «Стрекозе» к рассказам второй половины восьмидесятых годов, принесшим ему славу как художнику. Этот путь — от Чехонте к Чехову — Балухатый показывает умело и достоверно. Жаль только, что наблюдения, часто удачные, над художественной манерой Чехова словно «выключены» из истории его идейного развития. Группировка рассказов «по темам» не восполняет этого пробела. Впрочем, вряд ли будет справедливо винить в этом автора. Его статья была написана в начале сороковых годов, долго потом лежала в архиве, в то время как изучение творчества Чехова, да и сами методы советской литературной науки за последние полтора десятилетия заметно прогрессировали.

Будем же благодарны трудолюбивому ученому и за то, что им сделано для изучения чеховского творчества, тем более что некоторые страницы его труда, как, например, о мастерстве пейзажа, и сейчас могут быть признаны «новым словом» в литературе о Чехове.

Случайно ли так вышло или таков был расчет составителей, но в центре сборника оказались статьи, посвященные литературным взаимосвязям Чехова с его современниками. Это работы М. Семановой «Чехов и Глеб Успенский», Л. Громова «Чехов и «артель» восьмидесятников», Е. Сахаровой «Черный монах» Чехова и «Ошибка» Горького». В статье Э. Полоцкой «Первая повесть А. П. Чехова об интеллигенции («Скучная история»)» мы также найдем сопоставления с творчеством Горького.

Интерес к отношениям Чехова с писателями-современниками оправдан не только желанием лучше узнать эпоху, среду и литературное окружение писателя. Современная литературная наука все больше начинает заниматься вопросами связей, взаимовлияния, сходных художественных принципов у разных писателей одной исторической поры. Это и понятно. Если историко-литературный процесс — единая цепь, то мы должны от изучения отдельных звеньев этой цепи перейти к исследованию их ближайших связей, сочленений, чтобы лучше понять ход литературного развития в целом. Так что сопоставление творчества Чехова с творчеством Глеба Успенского, Горького, выяснение его связей с второстепенными писателями восьмидесятых годов, такими, как И. Поталенко, И. Леонтьев-Щеглов, И. Ясинский и прочими членами «артели» восьмидесятников», — дело полезное и нужное.

Надо опасаться только «подводных камней» сравнительного анализа, разного рода натяжек и необоснованных сближений, а для этого следует не упускать из виду замечание Чехова в записной книжке: «Лжедмитрий и актеры», «Тургенев и тигры» — такие статьи писать можно, и они пишутся».

Наибольшая удача сборника — статья Е. Сахаровой «Черный монах» Чехова и «Ошибка» Горького». Здесь не только интересно сопоставлены два близких по теме рассказа Чехова и Горького, но и делается попытка по-новому истолковать «Черного монаха», одну из самых загадочных вещей Чехова. Художественное содержание рассказа, как и обычно у Чехова, трудно свети к одному какому-то тезису, и Е. Сахарова права, когда старается уяснить разные оттенки мысли автора: фантастические видения магистра Коврина — героя рассказа — возвышают его над обыденной прозой существования, делают его жизнь осмысленной и полной, но «избранничество» героя, отлет от реальной действительности приводят его к краху и гибели.

Полезный обзор творчества второстепенных писателей восьмидесятых годов — современников Чехова — содержится в статье Л. Громова. В статье М. Семановой о Чехове и Г. Успенском хорошо показано своеобразие крестьянской темы у одного и другого писателя.

Жаль только, что в статьях сборника описание нередко господствует над анализом,

перечисление фактов — над их творческим объяснением. Иногда, впрочем, случается и другое: подробности малозначительные рассматриваются с излишним глубокомыслием. Так, толкуя известное высказывание Чехова о том, что писателю, кроме таланта, необходимы «эрудиция, школа, фосфор и железо», Л. Громов производит «химический анализ» двух последних терминов и заключает: «Думается, что «фосфор» у Чехова обозначал творческие усилия таланта при создании произведений, а «железо» — это высокое качество созданных творений, определяющее их прочность, «вечность» (стр. 105). Но ведь можно решить и иначе: «фосфор» — кратковременная вспышка чувств, «железо» — твердость убеждений и т. д.

Да и надо ли вообще «расчленять» и углублять и без того ясную чеховскую образную мысль? Другой пример чрезмерного глубокомыслия — сопоставление в статье М. Семановой творческих результатов поездки Г. Успенского и Чехова по Сибири. Успенский, пишет М. Семанова, «по-видимому, преувеличил опасность сибирских дорог. Чехова, по его словам, тоже перед поездкой «пугали бродягами». Но он, будучи свободным от идеализации бродяг С. В. Максимовым, В. Г. Короленко, стремился, однако, оберечь читателя и от предубежденного отношения и преувеличений. При этом Чехов все же делал крен в сторону полной реабилитации сибирских бродяг в глазах читателя, так как ставил задачей в преддверии Сахалина вызвать сочувствие к ним». С трудом пробравшись сквозь лес фраз (как обидна такая небрежность к слову в статье о Чехове!), испытываешь разочарование и мыслью автора. «Крен Чехова в сторону реабилитации бродяг» и сравнение его в этом отношении с Успенским заставляют вспомнить о «Тургеневе и тиграх».

Один из разделов сборника посвящен памяти Марии Павловны Чеховой — сестры и друга писателя, долгие годы трудившейся над его литературным наследием и неутомимо пропагандировавшей его творчество. Люди, встречавшиеся с М. П. Чеховой, в своих воспоминаниях пишут о ней как о человеке редкой душевной щедрости, отзывчивости, всегда готовой прийти в любых затруднениях на помощь «чеховистам» — исследователям творчества писателя.

В сборнике помещены и любопытные мемуары, относящиеся к поре детства Чехова и годам его учения в Таганрогской гимназии (публикации П. С. Попова). Бесхитрый рассказ сверстника Чехова — А. А. Долженко — о детских проказах и изобретательной выдумке будущего писателя, о ловле бычков в Таганрогской гавани или увлечении воздушными шарами из папиросной бумаги, разумеется, не много добавляет к биографии Чехова, но, тем не менее, оставляет в памяти несколько живых, правдивых штрихов.

Таким образом, содержание сборника достаточно разнообразно, и хотя материалы его неравноценны, нельзя сомневаться в пользе его издания. Тем большее недоумение испытываешь, заглянув в «выходные данные» книги. Сборник издан тиражом в пятьсот экземпляров и потому обречен с самого момента появления на свет именоваться «библиографической редкостью». Этого микроскопического тиража не хватит даже для научных библиотек и специалистов-чеховедов. А в наши дни такого рода книгами интересуется куда большее число читателей. Тем более это относится к книге о Чехове, интерес к которому среди наших читателей не иссякает, а, напротив, с каждым годом все продолжает расти.

В. ЛАКШИН.

★

„Это ваша книга“

Альчиде Черви написал книгу о детях, которых он потерял. У него было семь сыновей, все семеро были крестьянами, как отец, все семеро участвовали в партизанской борьбе против фашизма, вместе были

арестованы и вместе расстреляны без суда. Альчиде Черви шел тогда шестьдесят девятый год. Жена его, Дженовеффа, не выдержала горя и умерла, старый Черви остался один с четырьмя невестками и одиннадцатью внучатами — одиннадцатый появился на свет уже после того, как отца его убили. «Разве я имел право умереть?» — спрашивается в книге.

Надо было обрабатывать поля — около

Альчиде Черви. Мои семь сыновей. Литературная запись Ренато Николаи. Перевод с итальянского Ю. Добровольской. 144 стр. Издание второе. «Молодая гвардия». М. 1959.

двадцати гектаров, «надо было спасти семью, землю и — в память о сыновьях — выступать, призывать к миру, бороться против фашизма».

Альчиде Черви ставит в один ряд то необходимое, что он должен был делать: спасти семью; спасти землю; бороться с фашизмом. С разительной естественностью политическая и социальная задача сближена, слита с древнейшими обязанностями главы рода и пахаря. Здесь ключ к рассказу Альчиде Черви «Мои семь сыновей».

Сыновья Черви были героями в самом простом и сильном значении слова. И книга их отца — книга о воспитании героизма, хотя Альчиде не имел в виду этой цели ни тогда, когда растил семерых мальчиков, ни тогда, когда писал об их жизни и конце.

Перед нами разворачивается семейная хроника со случайно запомнившимися мелочами, домашними шутками, с памятными событиями крестьянской жизни. Отец вспоминает, как малыш Альдо соорудил телефон из веревочек и колышков; как любил прятаться в траве младший, Этторе, заявляя: «А меня нет», и все должны были искать его и удивляться, куда же это он запропастился... По вечерам собирались прямо на дворе, под звездами, запасались хлебом и капустой, и Дженовекка читала вслух либо из «Обрученных» Мандзони, либо из «Подвигов Каролингов», либо из «Божественной комедии» Данте... На праздник ребята ставили на шесток башмак с кеном и приговаривали:

Приходи,
Санта Лючия,
Вьнь у папы кошелек,
Положи,
Санта Лючия,
Мне гостинец
В башмачок.

Потом — не успеешь оглянуться, как они быстро растут! — стоило появиться на танцах братьям Черви, семь девушек непременно бросят своих кавалеров... Потом пришла пора помолвок и свадеб. Антеноре познакомился со своей суженой на сыроварне, а Агостино со своей — на танцах, а Джеллиндо все робел и не решался сделать предложение, пришлось писать письмо...

Читаешь, и решительно неуловима грань, за которой рассказ об одном деревенском доме с его традициями, работой, праздниками и преданиями превращается в рассказ

о подготовке и свершении подвига. Но в том-то и дело, что такой грани нет и для самого пишущего, как не было ее, по-видимому, для семи юношей Черви.

Повествование ведется не так, что вот, дескать, жили простые люди, скромно обрабатывали арендованное поле и так до поры, пока чрезвычайные обстоятельства не призвали их к отважному деянию и к славной гибели. История того, как семья Черви обрабатывала поле, рассказана в книге «Мои семь сыновей» столь же эпично, значимо, достойно, как и история антифашистской работы, как история подвига семи молодых коммунистов. Но и подвиг — это прежде всего работа, трудные переходы по горам, усталость женщин, с утра до вечера обшивающих и обмывающих беглецов из лагерей для военнопленных, забота о том, где достать еду для раненых...

Здесь героическое естественно и прекрасно возникает в глубине бытового; оно как бы искони растворено в нем, сообщая особую значимость ежедневному труду крестьянина. Высота самоуважения человека, возделывающего эту упрямую, в камнях и рытвинах, землю, живущего по честным законам народной нравственности, определяет общий строй книги «Мои семь сыновей», определяет ее антифашистскую направленность.

Характерно, что диктатура Муссолини связуется для Черви прежде всего с неуважением к земле, с незнанием земли. Развал сельского хозяйства при Муссолини воспринимается старым крестьянином не только как знак экономической несостоятельности фашизма, но и как знак его этической несостоятельности. Неухоженная, пропадающая земля, брошенная в то время, как правительство затевает захватнические войны, это — преступление против нравственных представлений земледельца, и именно здесь начало антифашистских настроений семьи Черви.

Не случайно сходство в описании того, как праздновали в Кампеджине начало и окончание работ по выравниванию земельного надела и как праздновали свержение Муссолини. «После полудня прибыли грузовые машины с вагонетками и рельсами. День был ясный, безоблачный. Мои ребята с песнями приступили к разгрузке. Мать, радостная, стояла на дворе и угощала рабочих вином... Агостино забрался со стаканом вина в вагонетку и заявил:

— Я буду теперь ездить на работу в собственной машине...

Хороший это был день, самый лучший день моей жизни. Машины, люди, поля — вот он, прогресс, дети мои!..»

Дни и месяцы работы. И наконец наступил долгожданный момент, когда бугры и ямы были выровнены, старый заброшенный колодец снова был полон, канавы прорыты по всем правилам искусства и оставалось только пустить воду: «Мы пригласили всех соседей, служащих Комитета мелиорации и даже карабинеров. Лошадям и коровам нацепили банты, а победителю Баттисте (быку, таскавшему вагонетки.— И. С.) надели на шею гирлянду цветов. Все собрались на дворе. Мы с женой принимали гостей.

Наши женщины приготовили пельмени, эбращоне, ньокки. Вина было вдоволь...

Учитель произнес тост, сказал много теплых слов и под конец напомнил поговорку про крестьянина, у которого башмак груб, да сам он не глуп.

Я ему ответил так:

— Я пью за прогресс, за будущее, за счастье народа. Бедной и скудной была еще недавно моя земля. Завтра она будет богатой и плодородной. Пусть же и наш народ покончит с нуждой и отсталостью и станет богатым и передовым!»

А вот другое воспоминание. 25 июля 1943 года семья работала в поле и не слышала радио. Прибежал кто-то из друзей и говорит:

— Фашизм пал, Муссолини в тюрьме!

Что тут началось! На дворе всю ночь танцевали, пели... Альдо предложил:

«— Отец, давай пригласим все село на макароны...

Все женщины были мобилизованы, хлопотали вокруг котлов, пробовали. В котлах булькало... Вот это была симфония! Лучше всех речей по поводу падения фашизма, которые я когда-нибудь слышал.

Я смотрел на своих сыновей, как они прыгали от радости и целовали девушек...

Тем временем макароны сварились. Погрузили котлы на повозки и поехали. По дороге все нас приветствовали, многие пошли следом. Лучших похорон фашизма и придумать было нельзя!

Повозки подпрыгивали на ухабах, макароны понемножку выплескивались из кастрюль. Ребятишки их подбирали и, балуясь, наклеивали себе под нос и на голову».

Низвержение фашизма справляется семьей Черви как языческое земледельческое празднество, а на празднике завершения полевых работ звучат слова о прогрессе, о счастье народа. Размышляя о том, почему так много оказалось среди крестьян Эмилиии самоотверженных борцов с фашизмом, Альчиде Черви вспоминает пятерых Манфреди, расстрелянных, как и его сыновья, троих Мизелли. «Такие дружные семьи, где все как пальцы одной руки, у нас не редкость. А почему они дружные? Потому, что у всех одна вера: все почитают родителей, любят прогресс, родину, жизнь и науку... Поэтому мы и смерти не боимся». Почитают родителей, любят прогресс... Опять разительное и естественное соседство исконнейших настоящих народной этики с требованиями нового характера, с установлениями революционной морали.

Народные истоки коммунистической идеологии, восприимчивость крестьянской среды к семенам научного социализма — вот о чем заставляет думать книга Альчиде Черви. Она свидетельствует о том, как подготовлена нравственная почва итальянской деревни, как взрыхлена она, как богата соками, способными питать росток, появляющийся из этого семени.

Коммунистическая мораль для Черви — высшее воплощение нравственных требований, выработанных трудовым народом.

Во имя верности этим требованиям погибло семеро сыновей Альчиде, и об отцовской боли в книге повествуется с той же удивительной простотой и эпичностью, какой отмечен весь рассказ. «Разве моя вина, что я всегда верил в вас, думал, никто вас не одолеет? И разве не так это было всегда, когда мы жили вместе и вы выходили победителями из всех испытаний: из судебных процессов, из тюрьмы, из стычек с фашистами, из партизанских битв? Я никогда, никогда не думал о смерти!..», «Ты, Джеллиндо, всегда был готов откликнуться первый, теперь ты меня не узнаешь, не отвечаешь мне! А ты, Этторе, помнишь, как ты прятался в высокой траве и говорил: «А меня нет»... Теперь трава покрыла тебя всего, и тебя действительно больше нет с нами...»

В старину погибших воинов провожали не женщины-плакальщицы, а скорбные песни мужчин — книга Черви заставляет об этом вспомнить.

«Когда я узнал о гибели моих сыновей, я сказал: «После одного урожая приходит другой». Но урожай сам не зреет. Чтобы он не пропал, надо немало потрудиться. Я вырастил семерых сыновей, теперь надо поставить на ноги одиннадцать внуков... Все надо было начинать сначала».

И Альчиде Черви начал сначала.

...Осенью корок первого года, осенью отступления, мой отец был в Дорогобуже. Маленький дом на окраине, в Ямской слободе. На хозяина косились. У него был запас оконного стекла, и после каждой бомбежки он аккуратно выметал осколки, вставлял новые стекла, закрепляя их патефонными иголками. Стекла жили не больше часа — город били с воздуха немилосердно, — но хозяин опять подгребал колючие дребезги на выкрашенный масляной краской совок, опять дом озирался чистенькими, застекленными окнами. Хозяин подметал и двор, куда взрывная волна наносила черт знает что. Однажды он подошел к кому-то из начальства, спросил, куда это вернуть: взрывом занесло на крышу что-то медное, в чем можно было угадать то ли трубу, то ли валторну. «Это же нужная вещь, ее можно исправить». На хозяина, повторяю, косились: немцев он ждет, что ли, этот старательный блюститель домашнего порядка? Батальон уходил. С хозяином еле простились. Он не сразу понял: куда? Потом попросил обо-

ждать его. Вынул откуда-то два бидончика с керосином, тоже выкрашенные голубой масляной краской, достал паклю (в этом доме было запасено все, что может понадобиться по хозяйству). Поджигал он свой дом быстро, сноровисто. Он все делал хорошо.

Отец с тех пор не был в Дорогобуже. Мы хотим поехать с ним туда давно, но до сих пор не собрались. Дом в Ямской слободе — я уверена, он стоит — я хочу увидеть так же, как хотела бы увидеть поднявшийся дом Черви в Кампеджине.

Редко бывает дано явственно ощутить людское бессмертие. Книга Черви дает именно это реальное ощущение несокрушимости человеческой жизни. «Доказательство тому — моя семья. У меня было семь сыновей, а теперь одиннадцать внуков... Мы были исполщниками, не вылезали из долгов, а теперь... земля принадлежит внукам и невесткам... Если понадобится опять жертвовать жизнью, семья Черви не подведет. Но кто-нибудь из нас да останется в живых и все снова поставит на ноги, и еще лучше прежнего».

Книга «Мои семь сыновей», за которую автора благодарил Пальмиро Тольятти, — это книга о стойкости и прочности человека на земле. «Это ваша книга», — говорит Альчиде Черви, обращаясь к своему читателю, а его читатель — народ.

Инна СОЛОВЬЕВА.

★

Политика и наука

Дело в организаторах

Организатор... Начиная со времени первых рабочих кружков и кончая нашими днями, на всех этапах нашего строительства Коммунистическая партия высоко ценила и ценит работников, умеющих найти путь к умам и сердцам людей, организовать их, сплотить, поднять на большие и славные дела.

Крупнейшую роль наша партия всегда отводила и отводит организаторской работе в деревне, среди крестьян-колхозников, наиболее многочисленного и в прошлом наиболее разобщенного и отсталого слоя

Дело в руководителях. Сборник статей. Составители Д. В. Валовой, А. В. Белявский, В. В. Лебедев. Редактор Н. А. Банников. 320 стр. Сельхозгиз. М. 1959.

трудящихся. Особенно большое значение она придает этой работе в наши дни, когда со всей ясностью и ощутимостью сказываются меры, в свое время принятые партией к крутому подъему сельского хозяйства. Именно сейчас, когда созданы необходимые объективные условия для быстрого и успешного развития колхозов и совхозов, всё в большей степени, чем когда-либо, зависит от организации дела, от организаторов.

«Мы еще недостаточно используем созданные уже возможности и хорошую материальную обеспеченность сельского хозяйства, — говорил на июньском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев. — Главный недостаток в слабости организаторской рабо-

ты. Чем, как не слабостью организаторской работы, можно объяснить тот факт, что у нас наряду с колхозами, которые на 100 гектаров производят 150—170 центнеров мяса, есть колхозы, которые производят 2 центнера мяса на 100 гектаров земли. И не думайте, что такие колхозы расположены в разных зонах и имеют разные условия. Нет, такие показатели часто бывают у соседей.

В чем же дело, почему на одних и тех же землях получаются столь разные результаты? Дело — в кадрах, в организаторах... Нам надо усилить кадры в колхозах и прежде всего укрепить колхозы опытными председателями, умелыми организаторами.

Отдавая должное благородному поступку Валентины Гагановой, Никита Сергеевич далее заметил: «Но если это сделала молодая работница, то неужели наш актив... не дорос до того, чтобы переместить часть наиболее опытных людей с мест, где они сейчас работают, на места, где они требуются, с тем, чтобы поднять отстающие колхозы, а следовательно, поднять сельское хозяйство на более высокий уровень».

Издательство сельскохозяйственной литературы проявило похвальную оперативность, выпустив сборник «Дело в руководителях» в необычно короткий срок. Материалы его, интересные и содержательные, с одной стороны наглядно и выразительно показывают подлинно решающее значение на данном этапе организаторской работы в колхозах и совхозах, а с другой — зрелость нашего актива, его безусловную способность укрепить отстающие хозяйства опытными кадрами организаторов, которые в силах поднять их в кратчайшее время до уровня передовых.

В сборнике двенадцать статей. Авторы их — секретари обкомов и райкомов партии, директора совхозов, председатели колхозов, бригадиры. Статьи написаны по-разному — одни лучше, другие хуже, но почти каждая содержит примеры, в высокой степени поучительные. Они убеждают в том, что положение экономически слабых колхозов не безнадежно, что их отставание преодолимо. Они показывают, что организаторских талантов у нас, выражаясь словами Владимира Ильича, действи-

тельно «богатейший родник», что дело лишь за тем, чтобы их разглядеть, привлечь к активной работе, дать им по настоящему развернуться.

Следует особо отметить статьи секретаря Павлодарского обкома КП Казахстана С. Д. Елагина, секретаря Белоцерковского райкома партии Киевской области Г. А. Ткаченко и председателя колхоза «Украина», Ивано-Франковского района, Львовской области, Р. Ф. Германчука.

Яркий пример того, как круто меняет положение приход к руководству районной партийной организацией опытного, талантливого организатора, приводит С. Д. Елагин. Василию Ивановичу Куриленко понадобилось не много времени, чтобы разобраться в сложной и трудной обстановке сильно отстававшего Бескарагайского района, поднять боеспособность партийной организации и добиться резкого перелома. Затем обком направил его в другой отстававший район — Павлодарский. Куриленко и там сумел добиться разительных перемен. Райком партии нашел ключ к сердцам людей, а люди принесли району отрядные успехи. Только за семь месяцев нынешнего года он продал государству вдвое больше молока и шерсти, вчетверо больше мяса, чем за весь 1957 год.

Любопытны мысли и соображения Г. А. Ткаченко. По его словам, с недавних пор райком партии нашел очень неплохой способ замены слабых руководителей колхозов — стажировку молодых специалистов. Одним из колхозов, рассказывает он, руководил человек немолодой уже, с жизненным опытом, но с явно недостаточными данными для председателя. Ему все казалось, что народ в селе какой-то не такой, каким ему хотелось бы его видеть. А колхозникам он сам казался не таким, каким должен быть председатель. Райком послал в этот колхоз на должность агронома молодого специалиста, комсомольца. Поработал тот в колхозе месяц, два, три, и колхозники увидели, что он лучше председателя разбирается в делах. И что же? На ближайшем общем собрании агронома избрали председателем. «В число других качеств, необходимых для председателя колхоза, мы с некоторых пор,— пишет Г. А. Ткаченко,— вводим и молодость — качество немаловажное. Во главе колхоза, идущего вперед широким шагом, использующего самые передовые методы и при-

емы, самую сложную технику, новейшие достижения науки, должен стоять человек, всесторонне подготовленный. Такой, который мог бы продолжать расти, набираться житейской мудрости и хозяйственного опыта,— человек с большим будущим, с расчетом на то, что ему придется решать задачи куда сложнее нынешних, задачи великого завтра».

Лучшим материалом сборника надо признать статью Р. Ф. Германчука. Человек стоял во главе цветущей, прославленной артели и по собственной инициативе перешел в отстающий колхоз соседнего, отстающего района. Вскоре затем с этой артелью объединилось еще три отстававших хозяйства. Вместе с Германчуком перешли в тот же колхоз агроном Мария Кущенко и бухгалтер Екатерина Ковалишина. Все это произошло не несколько лет, а всего лишь несколько месяцев назад. И вот уже в текущем году безнадежно, казалось, отстававшее хозяйство в два с половиной

раза подняло урожайность зерновых; шестеро повысился сбор сахарной свеклы, четверо с лишним выросло производство молока, мяса.

На этом можно бы и закончить. Нельзя, однако же, обойти молчанием существенные недостатки сборника. Материалы его местами плохо отредактированы. Чего стоят, например, такие речевые «перлы», как: «переход из передовых участков работы в отстающие», «предполагаем сделать замену председателя», «выносим ту или иную меру воздействия», «пресекали горлопанов» и так далее.

Нам думается, что книга названа не совсем точно. Ведь разговор в ней идет не вообще о руководителях и руководстве в колхозном строительстве, а о кадрах, обладающих организаторскими задатками, способных повести отстающие колхозы по пути крутого подъема. Дело, значит, в организаторах. И именно так следовало назвать книгу.

Дм. РУДЬ.



Правда о двоедушии и лжи

Успех политики мирного сосуществования, целеустремленно и настойчиво проводимой Советским Союзом,— наиболее характерная черта современности. Но как далеки от истины люди, представляющие эту единственно правильную линию в отношениях между двумя системами в виде трогательного примирения социализма с капитализмом! В области мировоззрения нет и не будет мира с нашими идейными противниками, не будет компромисса с эксплуататорским миропониманием и его защитниками.

Коммунистическая партия, неустанно напоминая о необходимости идеологической борьбы с апологетами капитала, подчеркивает, что в современных условиях ревизионизм является большой опасностью, так как это идеология врагов скрытых и поэтому особенно вредных.

В своей речи на VII съезде Болгарской коммунистической партии Н. С. Хрущев говорил:

«...Главный огонь коммунистических пар-

тий, естественно, направлен против ревизионистов, как лазутчиков империалистического лагеря. Широко известна древняя легенда о троянском коне. Когда враги не могли осадой и приступом взять город Трои, то они «подарили» троянцам деревянного коня, а внутри него спрятали своих людей, чтобы те ночью открыли городские ворота.

Современный ревизионизм — это своего рода троянский конь. Ревизионисты пытаются изнутри разлагать революционные партии, подрывать единство, вносить разброд и путаницу в марксистско-ленинскую идеологию».

Как и во всякой борьбе, в борьбе идеологической нужно хорошо знать противника, чтобы его победить. Книга А. Бутенко «Основные черты современного ревизионизма» привлекает внимание прежде всего деловым разбором, партийным анализом современных ревизионистских взглядов. Автор последовательно раскрывает внутреннее содержание пробуржуазных взглядов, тщательно замаскированных громкими фразами о «новом марксизме», «интегральной» демократии и тому подобными «открытиями».

А. Бутенко. Основные черты современного ревизионизма (Критический очерк). Редактор Л. Князева. 240 стр. Госполитиздат. М. 1959.

В работе А. Бутенко показаны конкретные противники, настойчиво извращающие марксистско-ленинскую теорию и использующие в своих коварных целях трудности и отдельные ошибки в деятельности коммунистических партий. Читатель как бы приглашается подумать и, опираясь на приведенные в книге факты, понять и убедиться, на чьей стороне правда, кому принадлежит будущее. Автор стремится аргументированно опровергнуть ревизионистские взгляды, а не попросту их отбросить.

Книга по-настоящему злободневна. Мы находим в ней критическое обозрение самых новейших откровений ревизионизма, который не только живет наследием недоброй памяти Бернштейна, но и умеет приспособиться к новой обстановке, к специфическим условиям различных стран. Это с особенной полнотой выявляется в таких разделах книги, как «Место современного ревизионизма», «Социализм или так называемый «сталинизм».

Верно нацеленный труд А. Бутенко является научным исследованием, в котором раскрываются идейные предпосылки, классовые и гносеологические корни враждебных марксистско-ленинизму концепций. Так, например, автор разоблачает истинное содержание нового термина «ассоциация политического действия», долженствующего скрыть общую линию ревизионистов всех толков — отказ от классовой революционной организации пролетариата, организационное разоружение боевого авангарда трудящихся. То же самое можно сказать и в отношении так называемого «самоликвидирующегося капитализма». Здесь, за новой словесной ширмой, обнаруживается старая-престарая реформистская идея: отрицание необходимости революционного переустройства общества путем открытой К. Марксом «экспроприации экспроприаторов».

Автор сумел показать как новые формы проявления ревизионизма, так и его предметность в главном — постоянное прислужничество капиталистическому миропорядку, ненависть к социализму и прогрессу.

Обнажая сущность ревизионизма, А. Бутенко противопоставляет его софизмам и хитросплетениям живую, могучую диалектику марксистско-ленинской теории, свободную от всякого догматизма.

В книге приводятся высказывания венгерских и польских ревизионистов, защитников развития так называемой «чистой» демократии. Так, Кеси Имре в сентябре 1956 года на заседании Союза венгерских писателей заявил: «Мы требуем полной свободы, ограниченной лишь явно враждебными, явно антигуманными выступлениями». Другой венгерский ревизионист, Гай Дьюла, писал, что, хотя и есть опасность, что расширение демократии откроет простор для действия реакции, надо идти на это; по его словам, «существует единственное, всегда действенное лекарство от новых опасностей, принесенных демократией: еще большая и еще более последовательная демократия». Такую же мысль высказывал и польский ревизионист Л. Колаковский. «Демократия,— говорил он, извращая подлинно революционный смысл этого слова и включая в него свободу проповеди антинародных идей,— является риском, но риском, который стоит того, чтобы на него пойти».

Но, резонно пишет А. Бутенко, пролетариат и его партия не намерены рисковать. Только политических лицемеров может увлечь «риск» открыть двери для контрреволюционной деятельности буржуазных элементов. Подлинная демократия в социалистическом обществе — это широчайшая свобода для трудящихся и строжайшая диктатура, направленная против их врагов.

Хорошо раскрыта в книге ревизионистская сущность теории о «новом» мирном пути, прикрываемой ссылками на решения XX съезда КПСС. Автор разоблачает извращения принципиальных положений научной теории общественного развития, нарочитую подмену кардинального вопроса о сущности процесса вопросом о различных формах его осуществления. Переход к социализму — революционный качественный скачок, коренной поворот в экономике и политике, во всем общественном устройстве. Методы же, способы, приемы этого перехода могут быть и мирными и не мирными — в зависимости от условий, традиций, особенностей исторического развития.

Автор останавливается на сознательном извращении соотношения национальных и интернациональных моментов, ставшем модой для различного рода «национальных коммунистов». И здесь правильное решение

всегда глубоко диалектично и жизненно. Осуществляя собственные национальные задачи в своих странах, коммунистические партии руководствуются общими для всех теоретическими положениями, имеющими международный, интернациональный характер.

Книга А. Бутенко охватывает большой круг вопросов и рассматривает основные направления современного ревизионизма в Англии, Венгрии, Италии, Канаде, Польше, США, Франции, Югославии и в некоторых других странах.

Конечно, не все написано одинаково интересно и содержательно, но в целом работа А. Бутенко — бесспорно полезное исследование, содержащее много не известных ранее советскому читателю фактов. Книга написана доходчиво, хорошим, живым языком. Это, несомненно, будет способствовать ее успеху у читателя. Ее с пользой прочтет лектор, пропагандист, студент, слушатель кружка политпросвещения.

Хотелось бы в книге видеть больше полемической остроты. Ведь ревизионизм — это не только отступничество в теории, это,

как правило, моральное падение, отвратительное в своей подлости предательство. Не случайно так доброжелательно относятся открытые враги трудящихся к ревизионистам. Весьма показательно высказывание американского буржуазного публициста Сульцбергера, который восхвалял ревизионистов за то, что они «разбавляют марксистское вино водой». Автору следовало сильнее подчеркнуть униительную суть такой оценки для тех, кто называет себя сторонниками социализма. Резче и определеннее можно было сказать также и о порочности примиренчества, о встречающейся еще кое-где непоследовательности в критике ревизионистских взглядов. Неумолима логика общественного развития. Бессильными оказываются методы двоедущия и лжи против великой правды марксизма-ленинизма.

Разоблаченный коммунистами всех стран, ревизионизм все более откровенно переходит на службу реакции.

Кандидат философских наук

М. СЛУЦКИЙ.

★

Живые страницы истории

Несколько месяцев назад на советских экранах демонстрировался историко-революционный фильм «Красные листья», поставленный Белорусской киностудией. Герой фильма, Андрей Метельский, стремясь помешать расправе над польскими и белорусскими коммунистами, стреляет в зале суда в провокатора, дающего ложные показания.

Случай этот взят из жизни. Прототипом героя фильма послужил коммунист Сергей Прытыцкий, совершивший этот беспримерный подвиг 27 января 1936 года в Варшаве во время «процесса 17» — судебной расправы над коммунистами, обвиненными в принадлежности к Коммунистической партии Западной Белоруссии. В перестрелке с полицейскими Прытыцкий получил тринадцать ран, но выжил — чтобы получить смертный приговор. От виселицы его спасли массовые забастовки и демонстрации про-

теста, прокатившиеся по всей Польше. «Пожизненное» заключение Прытыцкого, которым был заменен смертный приговор, окончилось 1 сентября 1939 года, когда на Польшу напала гитлеровская Германия. Вместе с другими политическими заключенными Прытыцкий бежал из тюрьмы и отправился на родную Гродненщину. В годы войны он руководил партизанским движением, а сейчас живет и работает в Советской Белоруссии.

Об этом и множестве других подвигов революционеров — членов Коммунистической партии Польши в годы, называемые «межвоенным двадцатилетием», рассказывает книга «Странички истории КПП», выпущенная польским издательством «Ксенжка и ведза».

«Книга эта — скромный, несколько разрозненный сборник воспоминаний активистов и рядовых членов КПП, — читаем мы во вступлении. — Эти воспоминания написаны незамысловатым языком и не подвергнуты литературной обработке. В них рассказано о людях простых и в то же время великих в своей героической преданности идее. Из-

Kartki z dziejów KPP. „Książka i wiedza”. Warszawa. 1958 (Странички истории КПП. «Ксенжка и ведза». Варшава. 1958).

влеченные из забвения факты напомнят о самоотверженном пути, который прошли польские коммунисты, несмотря на преследования и террор».

Воспоминания охватывают два десятилетия — от декабря 1918 года, когда состоялся I съезд Коммунистической рабочей партии Польши, до сентябрьских дней 1939 года, когда польские коммунисты поднялись на борьбу с новым, более сильным и беспощадным врагом — гитлеровским фашизмом.

КРПП образовалась от слияния Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы с левым крылом Польской социалистической партии (ППС-левицей). На II съезде в сентябре — октябре 1923 года партия отбросила фальшивые концепции о «стихийности» революции, об «автоматическом» крахе капитализма, которые вели к недооценке ведущей роли рабочего класса и к серьезным ошибкам в национальном и крестьянском вопросах. Уничтожающей критике было подвергнуто сектантское представление некоторых руководителей партии о том, что «активное революционное меньшинство» способно совершить победоносную революцию, не вовлекая в борьбу широкие массы. Участники съезда решительно высказались за то, что, «если Польша хочет существовать, она должна быть мостом, а не барьером между русской революцией и Западом».

II съезд связал борьбу за рабоче-крестьянское правительство в Польше с делом защиты независимости страны, указав в своих решениях, что правление буржуазии в Польше представляет смертельную опасность для ее независимости, которая возможна только в условиях правительства рабочих и крестьян, только в союзе с рабоче-крестьянскими республиками России, Германии и других соседних государств.

«На II съезде КРПП,— пишет один из авторов воспоминаний, Александр Ленович,— был совершен поворот в сторону ленинизма — в национальном и крестьянском вопросах».

Участники съезда нелегально приехали в Советскую Россию. Заседания съезда происходили на станции Болшево, под Москвой.

На III съезде в марте 1925 года было изменено название партии: она стала именоваться Коммунистической партией Польши.

К наиболее ярким страницам книги относятся воспоминания о парламентской дея-

тельности видных польских коммунистов. Для участия в выборах в сейм КРПП в августе 1922 года создала легальную организацию — Союз пролетариата города и деревни. Первыми коммунистическими депутатами в сейме были Стефан Круликовский и Станислав Ланцуцкий. Совместно с социал-демократическими депутатами они образовали Коммунистическую фракцию депутатов, которая договорилась с Независимой крестьянской партией и белорусской «Громадой» о единстве действий против сил реакции.

Наибольшая активность коммунистов в сейме приходится на 1922—1927 годы. С трибуны сейма в защиту прав трудящихся, с протестом против фашистских мероприятий правительства звучали гневные голоса депутатов-коммунистов: Стефана Круликовского, Станислава Ланцуцкого, Адольфа Варского, Хенрика Битнера, Константина Сыпулы, Янины Игнасьяк-Минковской и других товарищей.

Запросы коммунистов в сейме касались именно тех фактов, которые реакционному правительству и правым депутатам больше всего хотелось замолчать: тяжелого положения безработных, полицейского произвола в западных областях Украины и Белоруссии, голодовок политзаключенных, арестов профсоюзных деятелей, убийств помещиками крестьян, избиений и расстрелов рабочих.

Альфред Фидеркевич вспоминает бурное заседание сейма 10 декабря 1926 года, когда левые депутаты сделали чрезвычайный запрос о расправе полицейских со съездом белорусской «Громады» в селе Староберезове, Бельского повята, где было зверски избито более ста человек, в том числе четыре депутата сейма. Депутат Баллин, выступивший от имени левого крыла, обвиняя правительство, заявил: «Одетая в мундиры, и тайная полиция была привезена на машинах в дальнее село, что свидетельствует о заранее спланированных действиях... Пан Пилсудский позавидовал лаврам Муссолини!» Когда Баллина лишили слова, он выхватил из портфеля окровавленные рубахи и фотоснимки избитых крестьянских депутатов и бросил их в лицо правым.

Вслед за этим коммунист Сохацкий, не обращая внимания на угрозы, внес предложение выразить недоверие правительству Пилсудского.

Немало смелых, правдивых слов коммунистов пришлось выслушать реакционерам. Стефан Круликовский говорил с трибуны: «Вы долго злоупотребляли именем народа. Мы, коммунисты, лишаем вас права выступать от имени польского народа... И сюда, в сейм, уже вторгнулся дух коммунизма. Даже тогда, когда Круликовский и Ланцуцкий молчат, дух коммунизма витает над вашими головами, о нем вы говорите, о нем вы думаете — и потому не старайтесь заглушить его тем, что имеете механическое большинство при голосовании. В жизни большинство остается за нами, и вы ничего не в состоянии сделать. Последнее слово будет принадлежать нам, господа!»

«Коммунистическим папашей» называли правые Адольфа Варского — видного руководителя КПП, известного теоретика и публициста, стоявшего на позициях марксизма-ленинизма. Незадолго до фашистского переворота в мае 1926 года Варский говорил в сейме о том, что единственным выходом для Польши и всего трудового народа является тот, который подсказывает Коммунистическая партия: борьба за рабоче-крестьянское правительство, за безоговорочное право на самоопределение для украинцев и белорусов, за землю для крестьян без выкупа. После переворота Варский заявил: «...Правительство, которое было образовано с помощью пушек маршала Пилсудского на улицах Варшавы, — это правительство фашистской диктатуры».

27 марта 1928 года Варский организовал в сейме демонстрацию против правительства. В то время как правые депутаты стали навтыяжку при появлении «верховного вождя», Варский крикнул: «Долой фашистскую диктатуру Пилсудского! Да здравствует диктатура пролетариата!»

По знаку министра внутренних дел в зал ворвались полицейские и начали дубинками избивать левых депутатов. Полиции помогали правые. Коммунистов бросили в закрытые машины и доставили в «дефензиву» — политическую контрразведку.

Но месть представителей правящих кругов не ограничилась одними избиваниями. Сейм по требованию прокуратуры то и дело выдавал депутатов-коммунистов судебным властям. Так, в 1925 году реакционное большинство сейма выдало суду Ланцуцкого, а Круликовский выехал за границу, откуда прислал отказ от депутатского мандата. Пилсудский после переворота

вовсе перестал считаться с законами и не брезгал никакими средствами, чтобы подавить оппозицию. Депутатская неприкосновенность коммунистов грубо попиралась. Зачастую левых депутатов за революционную деятельность бросали в тюрьмы без согласия «высокого сейма».

Для расправы над коммунистами летом 1934 года в Березе Картусской был создан концентрационный лагерь со строгим тюремным режимом. Детально продуманная система истязаний и издевательств должна была — по мысли устроителей лагеря — сломить волю коммунистов к борьбе, подготовить их физическое уничтожение. Самуэль Подгаецкий, попавший в Березу летом 1936 года, подробно рассказывает об ужасах этого мрачного застенка.

Правила концлагеря гласили: «В месте заключения царит абсолютная тишина», «Каждый приказ должен выполняться арестованным быстро и с охотой», «В случае невыполнения приказа будут применены сила и даже оружие».

Правила обращения к полицейскому были следующие: «Господин комендант, арестованный такой-то покорно просит разрешения сплунуть», «Господин комендант, арестованный такой-то покорно просит разрешения вытереть себе нос».

«Распорядок дня» был продуман таким образом, чтобы заключенные не имели ни минуты отдыха от зари до полуночи. Помимо тяжелой, бессмысленной работы были еще «учения»: «Лечь! Встать! Сесть! Встать! На колени! Встать! На четвереньки! Бегом!» Это сопровождалось бесконечными побоями — дубинками, прикладами, нагайками, кулаками.

Но самые тяжелым испытанием были карцеры — глубокие, вырытые в земле ямы, куда полицейские то и дело лили воду: арестованный не должен был спать. Каждые десять—пятнадцать минут узник обязан был докладывать: «Я здесь», иначе на него сыпались удары.

Через карцер проходили все попавшие в Березу. Долгие недели проводили там наиболее стойкие коммунисты, которые и в лагере оставались борцами. Палачи наталкивались то на замаскированное, то на открытое сопротивление. Сломить им удавалось лишь некоторых малодушных. В большинстве же своем коммунисты по выходе из Березы с еще большим жаром принимались за революционную работу.

Именно эта мужественная борьба коммунистов за счастье народное, их негибкая вера во всепобеждающее учение марксизма-ленинизма — лейтмотив всех воспоминаний. Эту веру питало широкое участие в революционной борьбе масс трудового народа — от передового сознательного рабочего Видзевской мануфактуры до безграмотного кре-

стьянина из Польши — «Б», как именовали польские правители западные области Украины и Белоруссии.

Живые страницы истории КПП — свидетельство беззаветного служения польских коммунистов делу пролетарской революции.

А. МЕЛЬНИКОВ.

★

«Не веришь? Проверь»

Издательство «Молодая гвардия» выпустило большим тиражом и в хорошем оформлении книгу рассказов писателя Евгения Пермяка о пятилетних планах. Книга называется «Высокие ступени» и предназначена для школьников.

Начав с самого главного — рассказа о материальных и духовных потребностях людей, — автор переходит к важнейшей отрасли народного хозяйства — тяжелой промышленности. Он пишет о самой волшебной из всех волшебниц — машиностроительной промышленности, о важнейшем материале — металле, об огневом питании — топливе, о силе сил — электрической энергии. Повествует автор и о сельском хозяйстве, о легкой промышленности — родной дочери тяжелой промышленности и сельского хозяйства, о строительстве жилищ, о путях-дорогах — транспорте.

Надо отдать должное автору: язык книги простой, понятный. Е. Пермяк умело использует пословицы, поговорки, находит удачные сравнения, иногда прибегает к сказке. Он задает вопросы и подробно, интересно отвечает на них. В книге много занимательных подсчетов. Однако в них, к сожалению, немало путаницы и ошибок.

Рассказывая о росте выплавки чугуна и стали, намеченном перспективным планом, автор пишет (стр. 50): «...на каждого из нас будет прибывать (разрядка наша. — Е. К.) по одной тонне или по тысяче килограммов металла ежегодно. Может быть, время исправит даже эти великие цифры. Время наш друг, а не враг».

Эти цифры и впрямь нуждаются в серьезных поправках — и совсем не потому, что время наш друг. Воспользуемся советом автора, обращенным к читателям: «Не веришь? Проверь. Возьми карандаш и подчитай».

Евгений Пермяк. Высокие ступени. Редактор Л. Хотилловская. 128 стр. «Молодая гвардия». М. 1958.

Если на каждого жителя Советского Союза действительно будет прибывать по тонне металла, то его выплавка ежегодно должна увеличиваться на двести миллионов тонн. О фантастичности этой цифры можно судить хотя бы по тому, что все сто капиталистических стран, вместе взятых, включая и США, выплавляют в год немногим более двухсот миллионов тонн стали.

А как обстоит дело в СССР? Начиная с первой пятилетки среднегодовой прирост выплавки чугуна, а также и стали не превышал трех-четыре миллионов тонн. Контрольными цифрами, утвержденными XXI съездом КПСС, предусмотрено, что в семилетке выплавка чугуна должна расти на 3,5—4,4, стали — на 4,4—5,1 миллиона тонн в год.

А вот другой пример хотя и занимательных, но необоснованных расчетов Е. Пермяка. На странице 48 читаем:

«Теперь представим себе, что можно сделать из 51 миллиона тонн стали и 37 миллионов тонн чугуна... Допустим, что мы с тобой из этой стали и чугуна захотели сделать автомобили «Москвич». Сколько бы мы могли сделать автомобилей? Возьмем карандаш и начнем подсчитывать. Если на каждый автомобиль «Москвич» затрачивается 750 килограммов чугуна и стали, — а это так, — то, значит, из 51 миллиона тонн стали и 38 (37 или 38? — Е. К.) миллионов тонн чугуна мы с тобой можем сделать примерно 120 миллионов таких автомашин».

Е. Пермяк взял да сложил выплавку чугуна и стали и поделил на норму металла, расходуемого на каждую машину. Но автору, видимо, невдомек то, что известно юным читателям. Поскольку на выплавку стали идет чугун, — а это так: примерно четыре пятых всего производимого в стране чугуна переплавляется в сталь, — то нельзя складывать весь чугун и сталь, чтобы определить общую выплавку металла. Это по-

просту неграмотно. В результате Е. Пермяк зависил свои расчеты ни мало ни много миллионов на сорок машин!

На странице 86 автор утверждает: если сравнить урожайный 1913 год с нашим урожаем, то теперь мы выращиваем зерна в несколько раз больше. И здесь факты вступают в конфликт с Е. Пермяком. В 1913 году было собрано 5,3 миллиарда пудов зерна, а в 1957 году (который автор выбрал для сравнения) — 6,4 миллиарда пудов, то есть на 20 процентов больше. В 1958 году, когда наша страна вырастила невиданно высокий урожай, зерна собрали 8,6 миллиарда пудов.

Автор утверждает, что сбор овощей за это же время увеличился в шесть раз,— в действительности он возрос менее чем в три раза. Неверны данные и об увеличении производства масла.

В этих ошибках повинен не только автор, но и редактор книги Л. Хотиловская. Она забыла, что совет Е. Пермяка: «Проверь. Возьми карандаш и подсчитай» — относится прежде всего к ней.

Книге «Высокие ступени» присущ еще один недостаток, не менее серьезный, чем путаница в цифрах.

Если верить автору, то труд в нашей стране свелся в основном к управлению машинами, к нажатию кнопок. Вот, например, как он описывает труд комбайнеров, строителей, других рабочих:

«Сиди да управляй послушной косилкой — неустанной работницей. Хорошо!.. Разве можно не позавидовать этому молодому счастливцу жнецу-комбайнеру!» (стр. 12—13).

«Не трудно теперь и землепопом работать. Сиди себе, как шофер в просторной кабине, да и управляй самокопной лопатой-экскаватором!» (стр. 16).

«Хорошо быть конфетным мастером в наше время! Ходи, как доктор, в белом халате да в белой шапочке. Ходи да приказывай машинам-работникам. Красота!» (стр. 39).

Количество подобных примеров можно было бы намного увеличить.

Описания трудовых процессов подаются в таком облегченном стиле. Слов нет, автору нужно было рассказать об успехах нашего машиностроения, о механизации.

Но нужно знать, что в ряде отраслей треть, а подчас половина всех операций, к тому же весьма трудоемких, все еще выполняется вручную.

Однако автор не рассказывает юному читателю о грандиозных задачах комплексной механизации и автоматизации производства.

Не показал Е. Пермяк трудового героизма людей, добывающих уголь, плавящих металл, возводящих в глухой сибирской тайге гигантские электростанции, осваивающих целинные просторы...

Нельзя готовить детей к труду, как к игре: нажал кнопку — и готово.

Встречаются в книге и отдельные неточности.

На странице 24 автор заявляет, что мы начали переустройство нашего народного хозяйства с самого основного — с постройки машиностроительных заводов. В действительности же индустриализация страны началась с развития всех отраслей тяжелой промышленности, с развития производства средств производства. Без этого невозможно было бы возводить и машиностроительные заводы.

Поясняя на странице 79, что такое тяжелая промышленность, автор упускает одну из важнейших ее отраслей — производство строительных материалов.

В начале своей работы автор счел нужным предупредить читателей: «Эта книга принадлежит к семейству книг для детей. Но это не мешает ей оставаться серьезной политической книгой, потому что в ней рассказывается об очень большом и важном для всех нас и для тебя тоже». Автор обещает «интересный и очень серьезный разговор о том, чего мы добились за годы советской власти и чего необходимо нам достичь в ближайшие годы, чтобы всем лучше жилось» (стр. 4).

Эти строки сулят читателю слишком много. Разговор не во всем получился серьезным. А между тем Е. Пермяк умеет писать для детей. Но, кроме писательского мастерства, человеку, взявшемуся рассказать об экономических проблемах, необходимо знание экономики и, уже само собой разумеется, внимательное отношение к цифрам.

Е. КАСИМОВСКИЙ.

Путешествия географа

В основе широкого и неизменного интереса советских людей к зарубежным странам лежит искреннее желание мира и дружбы со всеми народами. Стремление это и определяет тот большой интерес, который проявляют наши читатели к книгам, рассказывающим о различных странах всех континентов нашей планеты.

Кому же, как не географу-путешественнику, особенно если он хорошо владеет пером, принадлежит обязанность правдиво и красочно рассказать о жизни под «чужим небом»?

К числу таких книг относятся путевые очерки выдающегося советского географа, академика И. П. Герасимова, о его далеких странствованиях. В книге описаны путешествия по Северной и Западной Африке, по Китайской Народной Республике, Индии, Бразилии, Японии. Записки охватывают пятилетие — 1952—1957 годы.

Автору многое удалось повидать; но важно не это, а то, что он сумел очень много увидеть. Профессия географа придает как бы особую зоркость, и книга И. П. Герасимова это прекрасно доказывает. В какой-нибудь небольшой детали ландшафта автор легко находит связь между отдельными компонентами природы, умело показывает те географические закономерности, которые, естественно, наиболее занимали его во время путешествий.

Главная удача книги заключается, по-нашему, в том, что автор наглядно показывает читателю, за счет чего достигается это «мастерство видения», являющееся результатом большого профессионального опыта. Именно это делает «Зарубежные путешествия» Герасимова не похожими на путевые очерки — даже очень талантливые — журналистов и вообще негеографов, в заметках которых «географический фон» всегда играет лишь вспомогательную роль.

Это не значит, что И. П. Герасимов ограничивается характеристиками природы посещенных им стран. В книге много места уделено и их населению, сказано все главное и об экономической географии. Изложение оживляют рассказы о характерных чертах быта, а также об эпизодах, участником которых был сам автор. Подано это все

очень живо, часто с легким юмором. Однако весь без исключения материал книги «работает на географию», активно способствует воссозданию целостного облика страны.

О том, насколько удачно И. П. Герасимов отобрал в своей книге наиболее существенное из того, что он видел (географы называют это «искусством генерализации»), пишущий эти строки считает себя вправе судить не только потому, что он занимался изучением (правда, с точки зрения иных географических проблем) посещенных И. П. Герасимовым стран, но и потому, что значительную часть этих стран — Бразилию, КНР, Японию — ему довелось наблюдать самому (во время поездки в Бразилию на Международный географический конгресс он был попутчиком И. П. Герасимова).

Когда читаешь «Мои зарубежные путешествия», описания экзотической природы, знакомишься с жизнью людей под «чужим небом», убеждаешься, что эта книга полна и политического звучания. Может быть, именно в этом ее главное значение, подобно тому как главную общественно-политическую роль географии можно видеть в ответах на вопросы, выдвигаемые задачами мирного сосуществования.

Хотя автор как будто просто описывает то, что он видел, почти не снабжая свои наблюдения какими-либо специальными комментариями или рассуждениями, читатель не может не сделать из сообщаемых ему фактов поучительных политических выводов.

А факты эти многообразны. Африканское путешествие И. П. Герасимова дало ему множество случаев наблюдать неравноправное экономическое и социальное положение коренного негритянского населения, индийское путешествие — показать все еще не стертые следы владычества английских колонизаторов. В Японии он видел нищету трудящихся и растление нравов — следствие американской оккупации. В Бразилии автор убедился в закабалении страны американскими монополиями, но наряду с этим и в сплочении всех прогрессивных сил народа для борьбы за лучшую жизнь.

Каким контрастом с положением в странах капитала предстают величественные достижения великого Китая!

Впечатляют и другие удачные зарисовки. Негр студент из Дакара, тайком читающий

«Юманите»; прогрессивные ученые, с которыми автору приходилось встречаться во всех странах; простые люди, радостно удивлявшиеся, что они видят перед собой советского академика, и спешившие выразить горячие чувства симпатии его родине,—все они сегодняшние или завтрашние борцы за мир, за установление новых и лучших порядков на земле. Так как И. П. Герасимов одновременно с большой силой — тут уже снова в нем говорит прежде всего географ — показывает, насколько географически сблизились сейчас все страны (еще бы: одни сутки полета отделяют от Европы Бразилию, меньше двух суток — Японию, совсем «рядом» лежит Индия и т. п.), то читатель закрывает книгу с невольным возросшим чувством ответственности за дело мира, за идею сосуществования на нашей планете, ставшей вдруг такой «маленькой»...

Несмотря на богатство наблюдений и живых черточек, собранных в книге, приходится все же упрекнуть автора в некоторой «скупости». Дело в том, что академик И. П. Герасимов бывал — и не раз — в Польше, в Румынии, в Болгарии (где он производил обширные географические работы), во Франции, в Англии. Были все основания включить и эти страны в его «Зарубежные путешествия».

Беднее, чем хотелось бы, показана и та большая научно-культурная работа, которую приходится вести за рубежом советскому ученому. Встречаясь со своими коллегами, нередко из капиталистических стран, он сплошь и рядом должен рассеивать их недоверие к высокому уровню советской науки. Думается, советскому читателю небезынтересна и эта сторона дела, о которой наши ученые в своих заметках о загранице обычно почти не рассказывают. Академику Герасимову приходилось много выступать не только во время эпизодических встреч с зарубежными географами на съездах и конференциях, но и в таких, так сказать, стационарных и притом имеющих очень почтенные традиции научных учреждений, как Королевское географическое общество в

Лондоне. По существу каждое подобное выступление — это борьба за укрепление научных связей, благодаря чему народы лучше узнают друг друга.

Из отдельных неточностей, имеющихсся в книге, укажем на следующие. В Дакаре живет не около 100 тысяч жителей (стр. 28), а около 300 тысяч. Автор говорит о проекте переноса столицы Бразилии в глубь страны как о местной затее (стр. 104), хотя идея эта отражена в бразильской конституции и во время пребывания И. П. Герасимова в штате Гояс федеральные власти полным ходом вели изыскания площадки под новый полумиллионный город (сейчас уже назначены и дата переезда в него правительства — апрель 1960 года). Изложение (стр. 105—106) истории проникновения португальцев в штат Мату-Гросу («охотой» на индейцев для обращения их в рабство, с открытием золота, алмазов, созданием кофейных плантаций и т. п.) относится к колонизации не столько этого штата, сколько соседнего штата Минас-Жераис. Здесь у автора в ходе его стремительного путешествия пространственные представления (относящиеся к довольно давнему прошлому) оказались как бы несколько смещенными.

Следует бросить упрек в адрес издательства. Оно не снабдило книгу ни одной картой, а насколько интереснее и легче было бы с картой читать, например, главу «Бразильские дневники», где пестрят малознакомые географические названия. В сущности, следовало бы к каждому путешествию дать карту с указанием маршрутов автора — для такого издательства, как Географгиз, это было бы лишь естественно. Плохо отпечатаны удачно подобранные автором, географически очень типичные фотографии.

В целом же читатель получил нужную, своевременно написанную книгу. Очевидно, понадобится новое издание ее, и следует пожелать, чтобы автор, неутомимо продолжающий свои путешествия, дополнил его новыми главами.

Профессор В. ПОКШИШЕВСКИЙ.



В 1958 году Государственный литературный музей приобрел архив С. Есенина, принадлежавший Софье Андреевне Толстой-Есениной, внучке Л. Толстого, в 1925 году вышедшей замуж за С. Есенина. Архив этот собирался на протяжении ряда лет. Здесь рукописи произведений поэта, корректурные листы с его правкой, письма его и к нему, неопубликованные воспоминания современников.

В архиве имеется большой печатный материал. Это прижизненные и посмертные публикации стихотворений Есенина в газетах и журналах, стихи, посвященные поэту, многочисленные отклики на его смерть. Здесь собраны не только центральные и местные газеты Советского Союза, но и иностранные: немецкие, английские, французские, чешские и польские.

Среди вещей, полученных от С. А. Толстой,— маска С. Есенина, слепок его руки, ряд редких фотографий, ручка, которой он писал в 1925 году.

Наиболее ценной частью этого обширного собрания являются неопубликованные стихи поэта, черновые автографы и новые комментарии к его произведениям.

Среди материалов, относящихся к подготовке издания сочинений С. Есенина, много стихов, переписанных рукой С. А. Толстой. Все они вошли в Собрание сочинений (изд. 1926 года), и только одно из них до сих пор не опубликовано.

Приводим текст стихотворения по автографу С. А. Толстой (дата внизу представлена также ее рукой).

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
Эту жизнь прожил я словно кстати
Заодно с другими на земле.

И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.

«Дорогая», «милая», «навек»,
А в душе всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.

Оттого душе моей не жестко,
Не желать, не требовать огня,

Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.

Но всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляню.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати
Заодно с другими на земле.

Сергей Есенин. Дек. 1925 г.

Есть интересное свидетельство С. А. Толстой об истории создания этого стихотворения. Комментируя стихи «Какая ночь! Я не могу...», «Не гляди на меня с упреком...», «Ты меня не любишь, не жалеешь...», «Может, поздно, может, слишком рано...», С. А. Толстая пишет: «Все эти стихи написаны во время пребывания Есенина в санатории в ноябре — декабре 1925 года. Он хотел напечатать их последними в 1-м томе «Собрания», но стихи не были вовремя доставлены в издательство и вошли лишь в IV том. В письме от 6 декабря 1925 года редактору «Собрания» И. В. Евдокимову Есенин писал: «На днях пришлю тебе лирику «Стихи о которой». Очевидно этим названием он хотел объединить весь цикл стихов. И. В. Евдокимов вспоминает, что Есенин говорил о семи стихотворениях этого цикла. Вероятно он имел в виду неотделанное и до сих пор не опубликованное стихотворение «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель?» и еще два последних стихотворения из написанных им в санатории. Есенин читал их вслух, продолжая работать над ними, и увез их в Ленинград, сохранились обрывки рукописи одного из стихотворений, найденного после его смерти в его вещах».

В архиве обнаружено несколько листов небольшого размера, на которых рукой С. А. Толстой очень небрежно чернилами набросаны стихи. На полях карандашная приписка: «Все эти стихи записаны мною за Сергеем в туманный октябрьский рас-

свет. Он проснулся, сел на кровати и стал читать стихи. Не видел, что я пишу. После я сказала, он просил их уничтожить. С. Е.».

Конечно, эти стихи нельзя считать даже наброском какого-то целостного произведения, но они представляют безусловный интерес. В этих отдельных, часто несвязанных поэтических строках возникают есенинские образы, краски, музыка его стиха.

I

Ты ведь видишь, что ночь хорошая,
Нет ни холода, ни тепла
Так зачем же под лунной порошею
В эту ночь ты совсем не спала.

Не спала почему? Скажи мне
вижу перенесу
Я все [вынесу] все [переживу]
И хоть месяцем желтым выжну
Непосеянную полосу.

Весна зима есть
Да зима
Ты ее ведь видела, любимая, сама.
Береза как в метель с зеленым рукавом
Хотя печалится, но не по мне живом.

Скажи же, милая, когда она печалится
Кругом весна и жизнь моя кончается.

и

Но к гробу уход[я] смерть приняв постель
древесную метель
Вот почему всегда, когда мой глаз остер
Мне душу греет так рябиновый костер,
Но все пройдет навек, как этот жар
в груди,
Береза милая, постой не уходи.

II

Сани. Сани. Конский бег
Поле. Петухи да ветер
Полюбил я
[Полюбился] русский снег
Тем, что чист и светел.

Сам я русский и далек
Никогда не скрою
Та звезда, что дал мне рок
Пропадет со мною.

* * *

Ночь проходит. Свет потух
За окном поет петух
И зачем в такую рань
Он поет — дурак и дрянь.

Но коль есть в том смысл и знак
Я такой, как он дурак.

* * *

Небо хмурится, небо сурится
К голосам я привычен и глух
Лишь тебя только доброй курицы
Я желаю, далекий петух.

Нам ведь нечего делать и надо ли
Сдохну я только ты не ложись
У моей я хотел бы падали
Процветала куриная жизнь.

III

Ты ведь видишь, что небо серое
Так и виснет и липнет к очам
Ты прости, что я в бога не верую
Я молюся ему по ночам.

Так мне нужно. И нужно молиться
И желая чужого тепла
Чтоб душа как бескрылая птица
От земли улететь не могла.

Записано в тот же раз,
что I и II. С. Е.

Из автографов Есенина следует особо отметить рукопись автобиографии 1923 года, написанной им сразу же после возвращения из-за границы, полную рукопись «Поэмы о 36», беловой автограф стихотворения «Собаке Качалова», отрывок из поэмы «Сорокоуст» и автограф письма Есенина к Горькому от 3 июля 1925 года. Ранее письмо это было известно только в списке. Вот текст этого письма:

«Дорогой Алексей Максимович! Помню Вас с последнего раза в Берлине. Думаю о Вас часто и много. В словах и особенно письменных можно сказать лишь очень малое. Письма не искусство и не творчество. Я все читал что Вы присылали Воронскому. Скажу Вам только одно что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы, и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого! Посылаю Вам все стихи которые написал за последнее время и шлю привет от своей жены которую Вы знали еще девочкой по Ясной Поляне.

Желаю Вам много здоровья сообщаю что Все мы следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову.

Любящий Вас

Сергей Есенин.

19—3.VII—25 Москва.

Интерес представляет и текст телеграммы А. Эрлиху, написанный рукой Есенина: «Найди немедленно две три комнаты. 20 числа переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. Есенин».

Из этой телеграммы можно заключить, что поэт, вероятно, имел намерение совсем

переехать жить в Ленинград в декабре 1925 года.

Много нового и ценного материала о жизни и творчестве С. Есенина дают комментарии С. А. Толстой. Они составлялись совместно с Е. Н. Чеботаревской для сборника «Стихи и поэмы» и были закончены в июне 1941 года. В связи с началом Великой Отечественной войны сборник не вышел, а комментарии так и остались в архиве и не были использованы при последующих изданиях произведений поэта. А между тем в них есть ряд новых данных о первых публикациях, точные указания о времени написания многих стихов 1925 года. Например, С. А. Толстая указывала, что стихотворения «Я красивых таких не видел...», «Ах, как много на свете кошек...», «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «В этом мире я только прохожий...» — созданы утром 13 сентября 1925 года и продиктованы жене одно за другим в этом порядке.

Мы узнаем о творческих замыслах поэта. «После возвращения в Москву из Баку,— пишет Толстая,— Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет написать цикл стихов о русской зиме... В течение 3-х месяцев почти до самой своей смерти Есенин не оставлял этой темы и написал 12 стихотворений, в которых выразилась русская зимняя природа». Или в другом комментарии читаем: «В начале октября 1925 года Есенин был увлечен созданием коротких стихотворений — восьми и шести-стиший. В ночь с 4-го на 5-е октября Есенин продиктовал С. А. подряд семь маленьких стихотворений («Снежная замята крутит бойко», «Вечером синим, вечером лунным», «Не криви улыбку, руки теребя», «Плачет метель, как цыганская скрипка», «Ах, метель такая, просто черт возьми», «Снежная равнина, белая луна», «Сочинитель бедный, это ты ли»). На другой день на этой записи сделал небольшие поправки».

Нельзя оставить без внимания такие свидетельства Толстой, как, например: «За несколько недель до своей смерти Есенин перечитал письма Пушкина и страшно ими восторгался».

Или: «Последние книги, которые читал Есенин в своей жизни, были два тома стихотворений Блока».

Или: «Есенин говорил, что стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» — навеяно

Гоголем (начало 6 гл. «Мертвых душ» «О моя юность! о моя свежесть!»).

Комментируя стихотворение «Ленин» («Еще закон не отвердел...»), написанное в траурные дни 1924 года, Толстая пишет: «Есенин относился к Владимиру Ильичу с глубоким интересом и волнением. Часто и подробно расспрашивал о нем всех лиц, его знавших, и в отзывах его было не только восхищение, но и большая нежность. Смерть Ленина произвела на поэта огромное впечатление. Он выпросил через друзей корреспондентский билет одного из трудников «Правды» и несколько часов провел в Колонном зале у гроба вождя».

Широко использует С. А. Толстая в своих комментариях письма Есенина, варианты его стихов, вводя тем самым читателя в творческую лабораторию поэта. Вот письмо Есенина к начинающему поэту: «Не упускайте чувств, но и строго следите за расстановкой слов. Не берите и не пользуйтесь избитых выражений. Их можно брать исключительно после большой школы, тогда в умелой рамке в руках умелого мастера они выглядят по-другому».

Очень интересно и полно дана история создания поэмы «Черный человек».

«По словам Есенина, он писал поэму за границей... По свидетельству А. Мариенгофа, Есенин читал ему «Черного человека» тотчас по возвращении из-за границы и рассказывал, что читал поэму А. М. Горькому при встрече их за рубежом... В последние два года своей жизни Есенин читал поэму очень редко, не любил говорить о ней и относился к ней очень мучительно и болезненно... В ноябре 1925 года редакция журнала «Новый мир» обратилась к Есенину с просьбой дать новую большую вещь. Новых произведений не было, и Есенин решил напечатать «Черного человека». Он работал над поэмой в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Рукопись испещрена многочисленными поправками. Лица, слышавшие поэму в его чтении, находили, что записанный текст короче и менее трагичен, чем тот, который Есенин читал раньше. Говоря об этой вещи, он не раз упоминал о влиянии на нее пушкинского «Моцарта и Сальери».

В архиве оказались последние листки рукописи, о которой пишет С. А. Толстая. Она действительно свидетельствует об очень напряженной, упорной работе поэта.

Рукопись первого варианта поэмы пока не обнаружена. Новый архив С. А. Есенина требует еще дополнительного и серьезного изучения, но и эти немногие примеры убеждают в безусловной его ценности.

Материалы архива и особенно комментарии С. А. Толстой должны быть непременно использованы при создании полного собрания сочинений Есенина, которое готовится Институтом мировой литературы.

С. МАСЧАН.

★

ЗАБЫТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

С. ЕСЕНИНА

Публикуемое ниже стихотворение С. Есенина «Разбойник» принадлежит к числу забытых его произведений. Оно было напечатано в альманахе «Свирель», издательство «Факел», Петроград, 1917 год.

Альманах этот выходил малым тиражом, в настоящее время является библиографической редкостью и, может быть, поэтому не попал в поле зрения большинства исследователей творчества Есенина. Стихотворение «Разбойник» не включалось ни в одно собрание сочинений, ни в один сборник Есенина.

РАЗБОЙНИК

Стухнут звезды, стухнет месяц,
Стихнет песня соловья,
В черныбылье перелесиц
С кистенем засяду я.

У реки под косогором
Не бросай, рыбак, блесну,
По дороге темным бором
Не считай, купец, казну!

Руки цепки, руки хватки,
Не зазря зовусь ухват:
Загребу парчу и кадки,
Дорогой сниму халат.

В темной роще заряница
Чешет елью прядь волос;
Выручай меня, ножница:
Раздается стук колес.

Не дознайся глупым людям,
Где копил — хранил деньги;
Захотеть — так всё добудем
Темной ночью, на лугу!

На наш взгляд, это раннее стихотворение поэта представляет несомненный интерес, так как в нем развивается один из любимых — «разбойных» — мотивов есенинской лирики.

Н. ДАНИЛОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

А. Н. ЕФИМОВ. Перспективы развития промышленности СССР. Госполитиздат. М. 1959. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

Книга знакомит с главными направлениями, по которым будет развиваться наша промышленность в текущем семилетии. Автор — директор Научно-исследовательского экономического института Госплана СССР А. Ефимов — рассказывает, почему те или иные отрасли индустрии, как, например, металлургия, химия, нефтяная и газовая промышленность, тепловые электростанции, получают у нас преимущественное развитие, какие существенные изменения внесет это в структуру всей промышленности.

Много полезного для себя почерпнет читатель и из тех глав, где говорится о повышении технического уровня производства, совершенствовании организационных форм промышленного производства и в первую очередь о дальнейшем развитии специализации и кооперирования предприятий. Значительное внимание автор уделяет проблемам территориального размещения промышленности.

Книга иллюстрирована диаграммами и схемами.

В. ДРОЗДЕНКО. Рождение подвига. «Молодая гвардия». М. 1959. 288 стр. Цена 4 р. 55 к.

Эти очерки посвящены комсомольцам, построившим досрочно, менее чем за год, тридцать семь угольных шахт в Донбассе. Как известно, за эти славные дела комсомол Украины был награжден орденом Ленина.

Автор книги — секретарь ЦК ЛКСМ Украины — часто встречался с молодыми строителями, вел с ними беседы, интересовался их жизнью на стройках. Это дало ему возможность просто и в то же время увлекательно, живым языком рассказать и о радостях коллективного труда и о многих трудностях, преодоление которых стало для комсомольцев делом чести.

Хорошо, что автор сумел использовать в книге и документальный материал. Выписки из дневников шахт, из личных писем строителей, тексты боевых листов — все это читаешь не только с интересом, но и с чувством большого уважения к молодым патриотам, совершившим трудовой подвиг.

Эти заметки, пишет В. Дрозденко, продиктованы стремлением передать сотням

тысяч тех, кто приходит сегодня на новые строительные площадки страны, опыт комсомольцев Украины.

К. А. ОХАПКИН. Оплата труда в колхозах. Сельхозгиз. М. 1959. 174 стр. Цена 2 р 30 к.

Вопросы наиболее рациональной организации и справедливой оплаты колхозного труда приобретают в наши дни особо важное значение. Как лучше нормировать работу, лучше стимулировать ее производительность, еще больше заинтересовать колхозника результатами его производственной деятельности — всему этому советская общественность уделяет сейчас немало внимания.

Надо полагать поэтому, что книга К. Охапкина, обобщающая опыт хозяйств, перешедших на более прогрессивные формы оплаты труда в колхозах, принесет практическую пользу организаторам колхозного производства. Автор рассказывает также о технике перехода на денежную оплату, о методах установления расценок, об учете затрат труда и мерах дополнительного материального поощрения колхозников.

Книга рассчитана на председателей и бухгалтеров колхозов, специалистов сельского хозяйства, на партийных и советских работников.

А. А. АТЛАСКИН. Из опыта работы агронома колхоза. Сельхозгиз. М. 1959. 160 стр. Цена 2 р. 15 к.

«Если на заводе можно наверстать упущенное... то восполнить пробел в растениеводстве уже невозможно». Эту мысль мы встречаем в книге А. Атласкина.

Автор — агроном колхоза имени Кирова Горьковской области, где работает уже около двух десятков лет, Герой Социалистического Труда. В своей книге он не только обстоятельно рассказывает о своей деятельности, но и — что очень важно — анализирует разнообразные обязанности агронома. А. Атласкин вполне обоснованно стремится поднять роль агронома как центральной фигуры в колхозе. Агроном должен не только внедрять в производство достижения науки, передовую технику и передовой опыт, но и руководить работой колхозных механизаторов, участвовать в планировании производственной деятельности колхоза, в организации нормирования, учета и

оплаты труда колхозников. Этому важному вопросу посвящена специальная глава. В ней автор пишет: «Постепенно улучшая организацию и оплату колхозного труда, укрепляя роль трудодня, мы все больше и больше увеличиваем производительность труда колхозников, воспитываем из них честных тружеников социалистического сельского хозяйства».

Н. И. МОРДОВЧЕНКО. Русская критика первой четверти XIX века. Издательство Академии наук СССР. М.—Л. 1959. 432 стр. Цена 18 р. 10 к.

Монография скончавшегося в 1951 году профессора Ленинградского университета Н. И. Мордовченко охватывает обширный период, мало изученный нашим литературоведением и в то же время представляющий особый интерес, так как это был период формирования русской критической мысли.

В исследовании дан первый опыт странного обозрения развития русской критики начиная от деятельности Н. М. Карамзина и кончая критическими работами декабристов А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера. Многие критики десятих—двадцатых годов XIX века впервые привлекаются автором монографии, детально исследуя основные линии литературной полемики, позиции различных литературных кругов и т. д. Много внимания уделяет Н. И. Мордовченко вопросу о преодолении эстетики классицизма и сентиментализма, раскрывая борьбу передовой русской критики за национальную самобытность русской литературы, за ее прогрессивную общественную роль, за реалистические художественные принципы.

Работа основана на большом историко-литературном материале и вовлекает в круг научного исследования многие малоизвестные и малоизученные источники.

В. ЖДАНОВ. Н. В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. Гослитиздат. М. 1959. 164 стр. Цена 3 р. 50 к.

В книге В. Жданова рассказывается о жизни и творчестве великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя, столетие праздновали в этом году народы мира.

В. Жданов обстоятельно разбирает «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести», «Ревизора», «Мертвые души». Автор исследует особенности романтического стиля Гоголя, своеобразие его сатиры. Литературовед не обходит молчанием мучительные противоречия творчества Гоголя и анализирует причины, которые привели писателя к созданию реакционного произведения «Избранные места из переписки с друзьями». Но пафос книги В. Жданова — в исследовании того огромного вклада, который Гоголь внес в развитие русской литературы.

На заключительных страницах книги говорится о связи гоголевских образов с нашей современностью и о значении художественного наследия Гоголя для развития советской литературы.

МАСТЕРСТВО ПЕРЕВОДА. Сборник статей. «Советский писатель». М. 1959. 510 стр. Цена 12 р. 50 к.

Сборник подготовлен редакционной коллегией, созданной секцией художественного перевода Московского отделения Союза писателей СССР. Статьи, вошедшие в сборник, посвящены вопросам теории и практики художественного перевода.

В первом разделе сборника содержатся работы по общим вопросам теории перевода и разбор некоторых появившихся за последние годы переводов художественных произведений. Во втором — статьи ряда видных советских переводчиков (С. Маршака, В. Левика, Л. Гинзбурга и других), рассказывающих о своем творческом опыте. Третий раздел посвящен изучению литературного наследия. Здесь опубликованы статьи о переводческих дискуссиях пушкинской поры, о В. Я. Брюсове как переводчике, о рукописном архиве известного советского переводчика М. Л. Лозинского и проч. Четвертый раздел посвящен переводческим связям советской и зарубежной литературы и вопросам перевода за рубежом.

В конце сборника помещена библиография книг, журнальных и газетных статей по вопросам художественного перевода, опубликованных за последние шесть лет (1953—1958) как в СССР, так и во многих зарубежных странах — западных и восточных. Эта библиография представляет собой первую попытку систематизации обширной литературы по проблемам художественного перевода.

БОРИС ГАЛИН. Крепкая завязь. Китайские очерки. «Советский писатель». М. 1959. 320 стр. Цена 5 р. 50 к.

Два с половиной месяца провел Борис Галин в Китайской Народной Республике. За это время он побывал в городах и деревнях, на фабриках и в музеях, встречался со многими людьми, активно участвующими в социалистическом преобразовании Китая. Свообразным литературным отчетом об этой поездке является книга очерков «Крепкая завязь».

«Я давно уже вернулся из Китая, и многое из того, что я видел там, стало переплетаться с новыми, непрерывно вторгающимися впечатлениями дня. И вот что я заметил: чем дальше во времени отходят те дни, которые я провел в Китае, тем ближе мне и дороже все, все самое малое, что открылось мне в этой древней и полной кипучей жизни замечательной стране».

Рассказывая о строительстве Большого Уханьского моста через Янцзы, на котором трудились китайские и советские специалисты, о создании Чанчуньского автомобильного завода, автор мысленно возвращается к 1921 году, когда в Шанхае собрался Первый съезд Коммунистической партии Китая, насчитывавшей тогда всего-навсего сорок четыре человека. Сейчас в рядах Коммунистической партии Китая свыше десяти миллионов человек. И эти люди воз-

главляют огромную созидательную работу, ведущуюся на всем пространстве Китая. Где бы ни побывал Б. Галин, везде он находил свидетельства этой огромной работы. Его книга дает яркое представление о сегодняшнем дне великой страны.

РАССКАЗЫ ГРЕЧЕСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Перевод с новогреческого. Предисловие Ильи Эренбурга. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 352 стр. Цена 10 р. 70 к.

Наша читающая публика, к сожалению, почти не знает новой греческой литературы. А ведь литература эта ведет начало от поэта Дионисиоса Соломоса — певца борьбы за независимость Греции (1821—1829 годы). В последнее время, правда, на страницах некоторых наших газет и журналов появились стихи современных греческих поэтов, вышли две-три книги, тепло встреченные читателями. Особенно отрадны появление последнее, скромного по объему, но емкого по числу образцов и авторских имен сборника. Двадцать пять рассказов и отрывков из романов, принадлежащих перу двадцати одного греческого писателя самых различных взглядов и эстетических направлений, составляют этот сборник. Конечно, трудно в таком издании достаточно точно отразить уровень художественного развития новогреческой литературы. Ведь многие крупнейшие ее мастера, такие, как, например, недавно умерший Никос Казандзакис, не писали рассказов, а отрывок из романа, безусловно, не может дать представления о сложном и многообразном творчестве этого, а также и других авторов. И все же читатель с большой пользой познакомится с этим сборником — ему станут ближе и понятнее национальный характер и условия нелегкой жизни и борьбы сынов Греции наших дней. Недаром многие греческие писатели, подобно Никосу Казандзакису, считают, что «писатель теперь, если он верен своей миссии, — это борец».

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 300 вопросов и ответов. Перевод с немецкого. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 264 стр. Цена 7 р. 10 к.

В нынешнем году Германской Демократической Республике исполнилось десять лет. Коренные перемены произошли за короткий исторический срок в политической и экономической жизни молодого государства, вступившего на социалистический путь развития. О всесторонних успехах республики, олицетворяющей восходящий общественный строй, подробно и в оригинальной форме рассказывает книга «300 вопросов и ответов».

Читатель найдет в ней ответ из любой области, будь то внешняя и внутренняя политика ГДР, экономика и жизненный уровень трудящихся, наука и куль-

тура, досуг молодежи, положение пенсионеров и так далее. Таким образом знакомство с книгой позволяет получить достаточно полное представление о делах и днях Германской Демократической Республики, ставшей надежным оплотом мира в Центральной Европе.

Трудящиеся ГДР заняты сейчас выполнением задачи, выдвинутой V съездом СЕПГ, — «за 1 200 дней догнать и перегнать Западную Германию по потреблению на душу населения всех важнейших продуктов питания и промышленных товаров».

В предисловии к немецкому изданию Комитет по вопросам единства Германии пишет: «Нашему делу — делу мира, демократии и социализма — во всей Германии принадлежит будущее».

М. СЕМЕНОВ, М. ЗАЙКИН. Копейск. Челябинское книжное издательство. 230 стр. 1959. Цена 4 р. 25 к.

«Славному коллективу трудящихся Копейска — героическим защитникам завоеваний Октября и мастерам добычи угля» посвящена эта книга.

Авторы рассказывают, как возник и развивался город шахтеров — Копейск, выросший у Челябинских угольных копей; о годах революции, когда копейцы-шахтеры насмерть стояли в боях за родную Советскую власть; о трудовом энтузиазме первых пятилеток, когда люди сутками не выходили из шахт, чтобы дать больше топлива разоренной стране, а потом шли на субботник; о том, как сражались копейцы на фронте и как трудились в тылу во время Отечественной войны.

Последние главы повествуют о сегодняшнем Копейске, о том, как с каждым днем хорошеет этот город горняков.

А. Ф. ТРЕШНИКОВ. Закованный в лед. Географгиз. М. 1959. 216 стр. Цена 6 р. 90 к.

В основу книги Героя Социалистического Труда А. Ф. Трешникова легли дневники, в которые он изо дня в день вносил свои наблюдения над жизнью наших полярников в Антарктиде. Будучи в 1956—1957 годах начальником Второй континентальной антарктической экспедиции, автор провел свыше года на шестом континенте, «закованным в лед», сам участвовал в труднейших санно-тракторных походах по местам, где до того не ступала нога человека.

Подробно рассказывается в книге о научных работах, проводимых по программе Международного геофизического года, о быте советских исследователей, их повседневном самоотверженном труде в этом суровом краю. Автор рассказывает также об обитателях американской базы Литл-Америка, о встречах с австралийскими и японскими научными работниками.

Книга имеет большую познавательную ценность и от начала до конца читается с интересом.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Жить в мире и дружбе! Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в США, 15—27 сентября 1959 г. 448 стр. Цена 6 р.

Н. С. Хрущев. О международном положении и внешней политике Советского Союза. Доклад на третьей сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1959 года. 48 стр. Цена 40 к.

А. Бебель. Женщина и социализм. 595 стр. Цена 9 р. 20 к.

Вечная дружба. Пребывание партийно-правительственной делегации Советского Союза в Польской Народной Республике 14—23 июля 1959 года. 240 стр. Цена 2 р. 60 к.

История гражданской войны в СССР. Том 4. 1917—1922. Решающие победы Красной Армии над объединенными силами Антанты и внутренней контрреволюции (март 1919 г.—февраль 1920 г.). 444 стр. Цена 25 р.

Наша дружба на века. Пребывание партийно-правительственной делегации Советского Союза в Народной Республике Албании. 200 стр. Цена 2 р. 60 к.

А. М. Петрушов. Сельское хозяйство европейских стран народной демократии на социалистическом пути. 184 стр. Цена 3 р. 50 к.

Под знаменем Октября (Трудящиеся Эстонии в борьбе за Советскую власть. 1917—1940 гг.). Сборник статей. 200 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. Шатагин. Партия в период Великой Отечественной войны. 240 стр. Цена 2 р. 85 к.

СОЦЭКГИЗ

Ян Боднар. О современной философии США. 248 стр. Цена 6 р. 20 к.

З. С. Боярская. Клара Цеткин. 116 стр. Цена 1 р. 40 к.

Буй-Конг-Чынг. Северный Вьетнам на пути построения социализма. 175 стр. Цена 2 р. 10 к.

Ван Я-нань. Исследование экономических форм полуфеодального, полукOLONиального Китая. 396 стр. Цена 13 р. 55 к.

Хуан Гомес. Аграрная проблема во франкискотской Испании. 192 стр. Цена 5 р.

Б. Джамгерчинов. Присоединение Киргизии к России. 436 стр. Цена 11 р. 55 к.

Н. И. Зибер. Избранные экономические произведения. Т. I. 724 стр. Цена 21 р. 20 к.

Избранные произведения болгарских революционных демократов. 668 стр. Цена 16 р. 30 к.

П. М. Керженцев. История Парижской коммуны 1871 года. 511 стр. Цена 18 р. 55 к.

Е. А. Коровин. Основные проблемы современных международных отношений. 220 стр. Цена 6 р. 70 к.

Крестьянское движение в России в 1890—1900 гг. Сборник документов. 752 стр. Цена 13 р.

Против фальсификации истории. Сборник статей. 448 стр. Цена 11 р. 40 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Балзан. Стихотворения. Перевод с молдавского. 132 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Бартэн. Театр подымает занавес. Роман. 508 стр. Цена 8 р. 20 к.

Д. Бедный. Горная порода. Сказы. 380 стр. Цена 11 р. 70 к.

Г. Бровман. В. В. Вересаев. 368 стр. Цена 8 р. 70 к.

С. Буданцев. Писательница. Роман. 320 стр. Цена 5 р. 60 к.

К. Ваншенкин. Лирика. 228 стр. Цена 3 р. 20 к.

Г. Гулиа. Водоворот. Исторический роман. 252 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. Джафаров. Тайна Дюрка. Поэма. 124 стр. Цена 2 р. 10 к.

О. Дьякова. Советские люди. Роман. 432 стр. Цена 7 р. 75 к.

Г. Кайтуков. Спасибо, люди! Стихи. Перевод с осетинского. 124 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Клещенко. Избушка под лиственницами. Рассказы. 252 стр. Цена 4 р. 75 к.

В. Козаченко. Сальвия. Повесть. Перевод с украинского. 244 стр. Цена 4 р. 60 к.

П. Козланик. Крысы в бочке. Перевод с украинского. 268 стр. Цена 3 р. 90 к.

И. Кремлев. Время и люди. Роман. 512 стр. Цена 9 р.

М. Львов. Стихотворения. 172 стр. Цена 2 р. 60 к.

Москва в трех революциях. Сборник. 400 стр. Цена 8 р. 25 к.

И. Шесталов. Пойте, мои звезды! Стихи. Перевод с языка манси. 120 стр. Цена 1 р. 75 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Н. Заболоцкий. Стихотворения. 199 стр. Цена 3 р. 60 к.

Висенте Бласко Ибаньес. Избранные произведения. Перевод с испанского. Том I. 434 стр. Цена 7 р. 50 к. Том II. 586 стр. Цена 9 р. Том III. 518 стр. Цена 8 р.

Эйно Лейно. Избранное. Перевод с финского. 279 стр. Цена 4 р. 75 к.

А. Н. Островский. Собрание сочинений в десяти томах. Том I. Пьесы. 1847—1855. 423 стр. Цена 9 р.

Катарина Сусанна Причард. Кунарду, или Колодец в тени. Перевод с английского. 271 стр. Цена 7 р. 20 к.

У Чэн-энь. Путешествие на Запад. Роман. Перевод с китайского. Том I. 456 стр. Цена 9 р. 80 к. Том 2. 447 стр. Цена 9 р. 70 к. Том 3. 487 стр. Цена 10 р. 60 к.

Эрнест Хемингуэй. Избранные произведения в 2 томах. Перевод с английского. Том 1. 496 стр. Цена 17 р. 10 к. Том 2. 655 стр. Цена 22 р.

Гамзат Цадаса. Стихотворения. Басни и сказки. Поэма. Перевод с аварского. 255 стр. Цена 4 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

И. Адабашев. Человек исправляет планету. 192 стр. Цена 2 р. 85 к.

Федор Бурлака. Накануне. Роман. 416 стр. Цена 8 р. 95 к.

Владимир Варно. На стрежень. Стихи. 80 стр. Цена 2 р. 55 к.

И. Винниченко. Думы о коммунизме. 176 стр. Цена 2 р. 65 к.

Ромуло Гальегос. Канайма. 264 стр. Цена 6 р. 50 к.

А. Гарри. Рассказы о Котовском. 256 стр. Цена 6 р. 50 к.

Ш. Грэхем. Фредерик Дуглас. 400 стр. Цена 7 р. 85 к.

М. Домогацких. Народ раздвигает горы. Очерки. 238 стр. Цена 5 р. 40 к.

Г. Жданов, И. Тиндо. Лаборатории в космосе. 192 стр. Цена 2 р. 70 к.

М. Колесников. Сухэ Батор. 304 стр. Цена 6 р. 35 к.

Г. Коновалов. Истоки. Роман. 392 стр. Цена 7 р. 35 к.

Н. Нечволодова, Л. Резниченко. Юность Ленина. Повесть. 432 стр. Цена 8 р. 60 к.

Виль Орджоникидзе. Тифлисский рассвет. 160 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. Пияшев. Воровский. 302 стр. Цена 6 р. 20 к.

Георгий Радов. Наследница. 232 стр. Цена 4 р. 85 к.

Леонид Соловьев. Севастопольский камень. Рассказы. 559 стр. Цена 9 р. 85 к.

Яков Стецюк. Крутой тропой. Рассказы. 430 стр. Цена 7 р. 75 к.

Хамракул Турсункулов. Дорогу осилит идущий. 352 стр. Цена 6 р. 85 к.

Ян Мо. Песнь молодости. 431 стр. Цена 9 р. 45 к.

ДЕТГИЗ

М. Бременер. Передача ведется из класса. Повесть. 208 стр. Цена 3 р. 85 к.

Б. Вахтин, Р. Карлина, Ю. Кроль, Б. Панкратов, М. Рудова, О. Фишман. Страна Хань. Очерки. 312 стр. Цена 7 р. 60 к.

Ж. Верн. Удивительные приключения дядюшки Антифера. Перевод с французского. 384 стр. Цена 8 р. 65 к.

В. Грусланов, М. Лободин. По дорогам прошлого. Рассказы. 192 стр. Цена 3 р. 85 к.

Живая чаша. Стихи поэтов Дагестана. 112 стр. Цена 2 р. 80 к.

К. Коллоди (Карло Лоренцини). Приключения Пиноккио. Перевод с итальянского. 176 стр. Цена 6 р. 25 к.

С. Маршак. Избранные переводы. 512 стр. Цена 7 р. 35 к.

Ж. Мориц. Будь честным до самой смерти. Повесть. Перевод с венгерского. 344 стр. Цена 5 р. 50 к.

А. Немировский. За столбами Мелькарта. Историческая повесть. 224 стр. Цена 4 р. 45 к.

Н. Петровский, В. Матвеев. Египет — сын тысячелетий. 288 стр. Цена 8 р. 55 к.

Старинные русские песни. 192 стр. Цена 3 р. 90 к.

А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Страна багровых туч. Научно-фантастическая повесть. 296 стр. Цена 6 р. 95 к.

В. Шмерлинг. Дети Ивана Соколова. Повесть. 240 стр. Цена 5 р. 10 к.

Д. Шутеричи. Свирель Марсиаса. Рассказы. Перевод с албанского. 128 стр. Цена 2 р. 95 к.

Янь Вэнь-цзын. Тан Сяо-си в бухте кораблей, отплывающих завтра. Перевод с китайского. 112 стр. Цена 6 р. 65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

АКАДЕМИИ НАУК СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция. Революционное движение в России в мае—июне 1917 г. Июньская демонстрация. 662 стр. Цена 23 р. 40 к.

Вопросы бакирской филологии. 159 стр. Цена 9 р. 15 к.

В. И. Герасимовский. Месторождения урана зарубежных стран. 143 стр. Цена 4 р. 20 к.

Горьковские чтения 1953—1957. 784 стр. Цена 31 р. 50 к.

Из истории связей славянских литератур. Сборник статей. 159 стр. Цена 8 р. 40 к.

В. Е. Комаров. Экономические основы подготовки специалистов для народного хозяйства. 207 стр. Цена 7 р. 70 к.

Проблемы энергетики. Сборник посвящается академику Г. М. Кржижановскому. 851 стр. Цена 48 р.

Славянское языкознание. Сборник статей. 232 стр. Цена 12 р.

Коста Хетагуров. Собрание сочинений в пяти томах. Том I. Осетинская лира. 455 стр. Цена 10 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Ганди. Моя жизнь. Перевод с английского. 443 стр. Цена 17 р.

Корейская литература. Сборник. 171 стр. Цена 7 р.

Э. Хантон. Судьбы Африки. Перевод с английского. 340 стр. Цена 10 р. 50 к.

ГЕОГРАФИЗ

В. А. Адамчук. Большой Тургай. 166 стр. Цена 7 р. 10 к.

Е. М. Крепс. На «Витязе» к островам Тихого океана. 170 стр. Цена 4 р.

С. А. Кутафьев, П. Н. Счастнев и другие. Российская Федерация. 868 стр. Цена 28 р. 15 к.

А. К. Тимашев. От Карпат до Балтики. 127 стр. Цена 2 р.

А. А. Толоконникова. Бирма. 156 стр. Цена 6 р.

Р. В. Федорова. Искатели солнечных кладов. 182 стр. Цена 2 р. 75 к.

Г. Харт. Морской путь в Индию. 348 стр. Цена 8 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Гуннар Александерсон. Экономическая структура городов США. Перевод с английского. 214 стр. Цена 17 р.

В. Бартель. Левые в германской социал-демократии в борьбе против милитаризма и войны. Перевод с немецкого. 698 стр. Цена 23 р. 35 к.

Марти Ларни. Четвертый позвонок, или Мошенник поневоле. Роман. Перевод с финского. 319 стр. Цена 8 р. 45 к.

Ли Лю-жу. Перемены за шестьдесят лет. Роман. Перевод с китайского. 376 стр. Цена 10 р. 90 к.

Лэй цзя. В передовой шеренге. Перевод с китайского. 286 стр. Цена 7 р. 80 к.

Молодые поэты Болгарии. Современная зарубежная поэзия. Перевод с болгарского. 152 стр. Цена 2 р.

Кристиан Пино. Сказки. Перевод с французского. 326 стр. Цена 13 р. 75 к.

Б. Роулэнд. Искусство Запада и Востока. Перевод с английского. 143 стр. Цена 9 р.

Аннабаху Сатхе. Читра. Роман. Перевод с хинди. 103 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. Стиль. Мы будем любить друг друга завтра. Роман. Перевод с французского. 144 стр. Цена 3 р. 50 к.

Лен Фокс. Дружественный Вьетнам. Перевод с английского. 162 стр. Цена 3 р.

Г. Франк. Восстание сердец. Роман. Перевод с немецкого. 249 стр. Цена 5 р. 90 к.

Фын Дэ-ин. Цветы осота. Роман. Перевод с китайского. 549 стр. Цена 16 р. 80 к.

Харальд Холм. Заработная плата. Жизненный уровень и классовые различия. Перевод с норвежского. 64 стр. Цена 1 р. 20 к.

Э. Х. Чемберлин. Теория монополистической конкуренции. (Реориентация теории стоимости). Перевод с английского. 410 стр. Цена 15 р. 45 к.

Чжао И-вэнь. Промышленность нового Китая. Перевод с китайского. 171 стр. Цена 5 р. 35 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. С. Бежкович, С. К. Жегалова, А. А. Лебедева, С. К. Просвиркина. Хозяйство и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры. 254 стр. Цена 11 р. 35 к.

И. А. Кривелев. Евангельские сказания и их смысл. 119 стр. Цена 3 р. 10 к.

Г. Кириллов. Шумит Ильмень-озеро. Повесть. 135 стр. Цена 2 р. 25 к.

К. Лисовский. Новоселам Сибири. Стихи. 125 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Чувакин. Степной орел. Роман. 285 стр. Цена 5 р. 45 к.

А. Шубин. Жили по соседству. Повесть. 182 стр. Цена 2 р. 45 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

Ф. Е. Аниферов и другие. Механизация возделывания овощных культур. 235 стр. Цена 4 р. 95 к.

Кормовые нормы и таблицы. Справочник. 335 стр. Цена 5 р. 30 к.

К. П. Митрюшкин, В. П. Орлов. В борьбе за подъем сельского хозяйства. 232 стр. Цена 3 р. 15 к.

Курт Неринг. Кормление сельскохозяйственных животных и кормовые средства. Перевод с немецкого. 620 стр. Цена 12 р. 15 к.

Справочник по новой технике в сельском хозяйстве. 364 стр. Цена 6 р.

Субтропические культуры. 246 стр. Цена 3 р. 35 к.

Труды Всесоюзного института гельминтологии им. К. И. Скрябина. 420 стр. Цена 19 р. 90 к.

Г. Г. Фетисов. Основы плодоводства. 518 стр. Цена 8 р. 35 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

за 1959 год

★

Первому съезду советских писателей РСФСР от Бюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза по РСФСР. I—3.

Третьему съезду писателей СССР от Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. VII—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Коррадо Альваро. Два рассказа: Пятьдесят лир; Наш квартал. Перевели с итальянского Л. Вершинин и Г. Брейтбурд. III—117.

Ираклий Андроников. Из жизни Остужева. Рассказы. VI—135.

Григорий Бакалов. Пядь земли. Повесть. V—3; VI—62.

Ольга Берггольц. Поход за Невскую заставу. VII—6.

П. Вершигора. Рейд на Сан и Вислу. II—3; III—24.

Софья Виноградская. Два вечера. Рассказ. I—32.

Стефан Гейм. Близ вокзала Фридрихштрассе. Рассказ. Перевод с немецкого Б. Лузгина. VI—157.

С. Георгиевская. Тарасик. Повесть. XI—8; XII—3.

Е. Драбкина. Черные сухари. IV—3.

Т. Журавлев. Дед Харитон. Рассказ. XII—72.

С. Журахович. Семейный разговор. Рассказ. Перевел с украинского А. Островский. IV—92.

Нина Ивантер. Снова август. Повесть. VIII—7; IX—3.

И. Исаков. Невыдуманные рассказы: Старшой с бульдогом; Отческое внушение; Сципион уходит по-английски; Человек, который проспал революцию. V—48.—Крестины кораблей. IX—138.—Кавалеры. XI—61.

Виктор Кин. Из незаконченного романа. Мой отъезд на польский фронт (Отрывок). I—57.

Анатолий Клещенко. Инспектор. Рассказ. IV—69.

Илья Константиновский. Первый арест. Повесть. XII—85.

А. Костерин. В долине Неры. Рассказ. IV—81.

Юрий Куранов. Лето на Севере. VII—137.

Б. А. Лавренев. В канун праздника. Главы из романа. Автобиография. IV—56.

В. Липатов. Капитан «Смелого». Повесть. X—3.

А. Марьямов. Идем на Восток. VI—3; VII—80; IX—81.

И. Метгер. Сухарь. Рассказ. VI—116.

Азиз Несин. Турецкие рассказы: Как погода?; Нужно болеть туберкулезом; Кастрилли со свистком. Перевели Н. Шилов и Л. Медведко. IV—107.

Леонид Первомайский. Два рассказа: Лубисток; Дурень. Перевела с украинского

А. Громова. VII—64.—Катерина и ее новый дом. Рассказ. Перевела с украинского А. Громова. X—69.

К. С. Причард. Йоримба. Рассказ. Перевели с английского Н. Ветошкина и Э. Питерская. XII—143.

Ст. Ракша. Турбаевцы. Литературная запись Е. Герасимова. XI—77; XII—157.

Джон Уэйн. Спешу вниз. Роман. Перевел с английского Иван Кашкин. Послесловие В. Ивашевой. VIII—89; IX—145; X—102.

ПОЭМЫ И СТИХИ

Маргарита Алигер. Разговор в дороге. Стихи. IX—78.

Мамарасул Бабаев. Широкие горизонты. Перевела Вероника Гушнова (Из узбекских поэтов). II—92.

Наби Бабаев. Говорят, что... Стихи. Перевел с азербайджанского Е. Евтушенко. VI—152.

Роберт Бернс. «Святая ярмарка»; Невеста с приданым; Был я рад... Переводы С. Маршака (К 200-летию со дня рождения Роберта Бернса). I—140.

Константин Ваншенкин. Зимняя ночь; Фонтан; У точильного круга; Чистка картофеля (Из армейской тетради); Плотник; Впервые; Пейзаж; Начало зимы; Мои стихи. I—49.—Новые стихи: День кончен трудовой...; Женька; Слезы; Будь у меня любимый старший брат...; Арбузы в Москве; Осень; Дорожные картины; Ночью. V—92.—Из стихов о Севере: Суровый Север...; Молевой слав; Два человека; Соловьи; Человек восхищается предками... X—65.

Костас Варналис. Один и все; Отверженные; Смерть! Меня сломить ты хочешь... Перевели М. Кудинов и Александр Янов (Из стихов поэтов Греции). IV—97.

Никифорос Врегакос. Четырнадцать детей; Без колечка; Весна; Ты зашло, мое солнце...; Цветущее дерево миндаля... Перевел Александр Янов (Из стихов поэтов Греции). IV—99.

М. Григорьев. У старинной иконы. Стихи. III—125.

Павел Грушко. Эпохе нельзя повториться... Стихи. XI—3.

Гафур Гулям. Осенний саженец. Перевел Я. Ильясов (Из узбекских поэтов). II—93.

Николай Димчевский. Мастера. Стихи. XI—75.

Олег Дмитриев. Воспоминание о целине; Телогрейка; Наша география. Стихи. VII—134.

Петро Дорошко. Пусть хоть простая, да работа. Стихи. Перевел с украинского Борис Иррини. VIII—3.

Юлия Друнина. Два стихотворения: Ах, дорога, дорога...; Я раздвинула шторы... XII—84.

Виктор Жуков. Баллада о табаке; К звездам. Стихи. IX—134.

Владимир Жуков. Валя. Из лирической поэмы. X—59.

Н. Заболоцкий. Из стихов последних лет: Одинок дуб; Зеленый луч; Летний вечер; У гробницы Данте. IV—53.

Николай Заев. Начало дня. Стихи. XI—59.

Зульфия. Другу поэту. Перевел С. Липкин (Из узбекских поэтов). II—94.

Р. Казакова. Офицерская жена. Стихи. II—87.

Алексей Касаткин. Четыре стихотворения: Страхнув покров дорожной пыли...; В том мало толку, мало проку...; В чаще; День угасавший сразу убыл... VII—82.

Михаил Квливидзе. Из новых стихов: Благословенны дни...; В палате было двое...; О, уезжай!.. Перевели с грузинского Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Б. Ахмадулина. XII—82.

Берды Кербабаев. В горах Большого Балхана. Стихи. Перевел с туркменского Ю. Гордиенко. X—100.

Владимир Короткевич. Заяц варит пиво. Стихи. Перевел с белорусского Яков Хелемский. VII—79.

Вячеслав Кузнецов. Ленинский броневик. Стихи. XI—4.

Владимир Кулагин. Опоры. Стихи. XI—6.

Аркадий Кулешов. Три стихотворения: Мой президиум; На трудном посту; Про осень. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. IV—51.

Юрий Левитанский. Забытая армейская тетрадь. Стихи. II—90.

Вэчел Линдзи. Авраам Линкольн бродит в полночь; Орел позабытый. Перевел с английского Иван Кашкин (Из стихов современных американских поэтов). XII—154.

С. Липкин. Пять стихотворений: Молодая мать; Знакомые места; На Тянь-Шане; Сосны; Южный полдень. VI—112.

Марк Лисянский. С добрым утром. Стихи. VI—57.

Маро Маркарян. Горная дорога; Дождя напрасно ждали в срок...; От своих тревог и тайной боли... Стихи. Перевели с армянского М. Петровых и А. Ахматова. VIII—87.

С. Маршак. Роберту Бернсу. Стихи (К 200-летию со дня рождения Роберта Бернса). I—139.

Алексей Машков. Край нехоженный; Речонка; Заполярный дождь; Если любишь; Олень. Стихи. VII—77.

Миртемир. Озеро в степи. Перевел Р. Моран (Из узбекских поэтов). II—94.

А. Наумов. По мотивам узбекского фольклора. II—99.

Николай Новокшенов. Бывает, сил не соразмерив... Стихи. X—99.

Дмитрий Осин. Лето в Приднестровье; На Хмар; Секретарь райкома; Молотьба; Спор. Стихи. IX—73.

Алексис Парнис. Русский язык. Стихи. Перевел с греческого Борис Слуцкий. VI—154.

Николай Перевалов. Первая космическая. Стихи. XI—7.

Александр Прокофьев. Красноармейцу; Здесь улиц разбег знаменитый... Стихи (Со страниц фронтовых газет). II—80.— Из новых стихов: Бабым летом гаданно и жданно...; На берегу; Латыши давно бы

взяли в дайну...; Картинка; Чем тебя одаривать?..; Были стежки в инее...; Горение. VIII—83.

Расул Рза. Разные глаза. Стихи. Перевел с азербайджанского П. Антокольский. VI—150.

Яннис Рицос. Руки товарищей; Оратор-рабочий; Шаг за шагом. Перевел Александр Янов (Из стихов поэтов Греции). IV—104.

Ник. Рыленков. Из лирики: Мне бы в поле хлеба растить...; В лугу отава скошена...; Подумай, виски уж седые сплошь...; Выходит осень на опушку года...; Люблю дни ранней осени в Крыму...; Как дерево, что кроной все упорней... V—46.

Максим Рыльский. Четыре сонета: Камень филаретов; Мариля; Дуб Данилы; У дуба в Щорсах. Перевел с украинского Борис Иренин. III—123.

М. Светлов. Живые легенды; Весна; Русской женщине; Годовщина; Каховка. Стихи (Со страниц фронтовых газет). II—81.

Владимир Семакин. Краснолесье: Отцу, как и деду когда-то...; Лес; Нужно много безумной отваги...; Весной; Ай да сосны!.. Стихи. VI—58.

В. Сергеев. Суровый край; На центральной усадьбе; Долгожданная встреча; Чукотская весна; Я люблю перед дорогой...; Счастье. Стихи. III—17.

А. Сурков. Гвардейцы; 1918—1942; Письмо. Стихи (Со страниц фронтовых газет). II—82.

Карл Сэндберг. Народ, да (Отрывки из книги). Перевел с английского Андрей Сергеев (Из стихов современных американских поэтов). XII—152.

Максим Танк. Восток зарей пылает. Из книги стихов о Китае: В доме бывших курсов крестьянского движения; Беседка Чжунчуньцин; Великая Китайская стена. Перевел с белорусского Я. Хелемский. X—57.

А. Твардовский. Трое; О языке; Песня о полковом знамени; Два деда; Дорога на Запад; Героям Орла и Белгорода; Имя его—имя полка; Памяти павших. Стихи (Со страниц фронтовых газет). II—83.— Московское утро. Стихи. III—111.

Физули. Рубаи и газель. Перевели А. Адалис и Владимир Державин. I—92.

В. Фирсов. Моя болезнь; По Волге; Третий день. Стихи. IX—136.

Роберт Фрост. Дрова; Закон. Перевел с английского Андрей Сергеев (Из стихов современных американских поэтов). XII—148.

Павел Халов. Два стихотворения: Огни чужого города; Цусимский пролив. I—55.— Мои друзья; Я все никак привыкнуть не могу...; Неделю нас держала в цепких лапах...; На краю Азии; Вы знаете, как море пахнет... Стихи. XII—68.

Яков Хелемский. В Беларуси. Стихи. II—89.

Назым Хикмет. Четыре стихотворения: Вот приехали и уезжаем...; О Дунае; Еще о дожде; Концерт Себастьяна Баха до минор. Перевела с турецкого М. Павлова. V—97.

Лэнгстон Хьюз. Мрак; Там, где прошли армии. Перевел с английского Иван Кашкин

(Из стихов современных американских поэтов). XII—155.

Максуд Шейхзаде. Тамаре Ханум; Звезды. Перевел С. Липкин (Из узбекских поэтов). II—96.

Б. Шумилов. Деревенские стихи: Июньское; Кузнец; Снилось мне необычная повесть...; Ну чего особого...; Про неудачников. VIII—4.

Шухрат. Плакучая ива; В Мирзачуле. Перевел Рауф Галимов (Из узбекских поэтов). II—98.

Павел Щеглов. Россия. Стихи. XI—5.

Степан Щипачев. Июль был полон гроз; Вернувшись с аэродрома. Стихи. IV—68.— Что мне годы... Стихи. VIII—86.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Альджерон Чарльз Суинберн. У Северного моря (Фрагменты из поэмы). Перевел с английского Иван Кашкин. VII—151.

НАВСТРЕЧУ XXI СЪЕЗДУ КПСС

Евгений Воробьев. Взгляд в будущее. I—13.

Николай Дубов. Действительно трудовая. I—25.

Эм. Казакевич. В столице Черной Металлургии. I—5.

Вера Кетлинская. Изучая контрольные цифры... I—19.

ПО ПУТИ ВЕЛИКИХ ПРЕДНАЧЕРТАНИЙ

Александр Бек. Марш семилетки. III—7.
Алексей Сурков. К новым творческим высотам. III—3.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. Анфиногенов. На двух полюсах. VIII—152.

А. Борин. Иван Иночкин. XI—141.

Анатолий Злобин. На сибирской магистрали. I—95.— Встречи на Ангаре. V—130.

Анна Масс. На целине. Из записок студентки. VII—155.

Н. Мельников. Они живут в Темир-Тау. IV—136.

И. Осипов. Вторая молодость Баку. II—146.

Виктор Панов. От Волги до Балтики. Путевые заметки. V—165.

Ел. Ржевская. Геня Попков и ребята из сборочного (Репортаж с Московского завода шлифовальных станков). IX—208.

С. Синельников. Леонид Лалетин. XI—149.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Борис Агапов. Поездка в Брюссель. I—144.

И. Андреев. Германский вопрос. IV—197.

Л. Безыменский. Неисправимые. III—144.

Александр Смердов. Волость поэтов и философов. X—186.

Вл. Соснов. В Бирме. Путевые заметки. XI—166.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

А. Бельская, О. Прудков. Литература — бизнес! США «Райтер» («Писатель»), ежемесячный журнал. №№ 10, 12. 1958. V—234.

Вл. Рубин. «Доказательства» недоказуемого. Франция. «Прев» («Доказательства»), литературно-общественный ежемесячный журнал. № 100. Июнь. 1959. XI—216.

В. Стеженский. В ногу с жизнью. ГДР. «Юнге кунст» («Молодое искусство»), ежемесячный журнал современного искусства. №№ 1, 2. 1959 VIII—189.— Дух мира — дух времени. ФРГ. «Гайст унд цайт» («Дух и время»), двухмесячный журнал по вопросам искусства, литературы и науки. №№ 3, 4. 1959. XI—214.

Р. Фиш. Какой в этом смысл? Турция. «Еди тепе» («Семь холмов»), двухнедельник искусства и мысли. №№ 161, 162, 163, 165. 1958. III—172.

Л. Черная. Искусство... под сенью атомной бомбы. ФРГ. «Дас Шёнсте» («Прекрасное»), ежемесячник по вопросам искусства. №№ 9, 10. 1958. III—168.— Лживая стряпня о Берлине. ФРГ. «Ревю» («Обозрение»), иллюстрированный еженедельник. №№ 4—15. 1959. V—230.— Доктор Бауш злорадствует рано. ФРГ. «Шпигель» («Зеркало»), еженедельный журнал. № 19. 1959. VIII—192.

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. Айзерман, преподаватель литературы школы № 278 г. Москвы. Жизнь требует. I—206.

И. Белов. На высоких скоростях. XII—209.

И. Григоровский, профессор, доктор медицинских наук. Семилетка советской медицины. VII—199.

Леонид Иванов. Когда сеять? III—126.

Я. Иоффе. Решающий этап. II—189.

Вл. Канторович. В молодом городе. VI—197.

А. Копцева. Из истории создания книги «Материализм и эмпириокритицизм». V—209.

Борис Леонтьев. Незабываемый сентябрь. XII—194.

А. Малыш, кандидат экономических наук. За парадным фасадом. III—135.

П. Маслов, профессор. Давайте разберемся. X—206.

Местные условия — решающий фактор. Читатели о статье Л. Иванова «Когда сеять?» VIII—183.

Г. Новогрудский, А. Дунаевский. Пау Ти-сан и его товарищи. IV—115; V—100.

Е. Осликовская, кандидат экономических наук. Технорук колхоза. VII—189.

И. Пешкин. Новые кладовые индустрии. I—191.

И. Писарев, профессор. Проблемы народного потребления. VI—207.

В. Рожин. Каждому по труду. X—215.

Б. Светличный, архитектор. Города второго поколения. IX—221.
И. Смирнов, агроном. Не допускать шаблона (По поводу статьи Л. Иванова «Когда сеять?»). IV—188.
И. Соболев. Группа «Вера». II—200.
Екатерина Строгова. Стратегия большой науки. IV—171.
Я. Тавров. Дорогой созидания. V—216.
А. Таланов. Пути-дороги. VIII—173.
Б. Яковлев. По великим заветам. IV—161.

В МИРЕ НАУКИ

В. Базыкин, директор Московского планетария. Первые разведчики. XII—217.
А. Ф. Иоффе, академик; **И. Б. Ревут**, кандидат сельскохозяйственных наук. Физика и технический прогресс в сельском хозяйстве. XI—157.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. Бондарец. Записки из плена. IX—186. X—151.
И. Дубинский. В строю червонных казаков. II—101.
Корней Чуковский. Луначарский (Из воспоминаний). XI—220.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Томодзи Абэ. Традиции и современность (Письмо из Японии). Перевела с японского И. Львова. XI—248.
И. Андреева. Молодой журнал («Юность» за 1958 год). V—246.
А. Берзер. Революцией мобилизованный... VIII—226.
В. Боборыкин. Три пьесы о Ленине. IV—216.
И. Виноградов. Точка опоры. I—212.
А. Дементьев. По поводу статьи Степана Злобина. VII—226.
Степан Злобин. О романе А. Калинина «Суровое поле». VII—211.
Ю. Константинов. Беды описательства. X—227.
В. Лакшин. Глазами писателей. VIII—212.
Г. Ленобль. У истоков «Полтавы». X—235.
С. Машинский. «Дело о вольнодумстве» и творчество Гоголя. К 150-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. III—206.
А. Меньшутин, **А. Синявский**. «День русской поэзии». II—211.
О. Михайлов. Трибуна братских литератур («Дружба народов», январь—сентябрь 1959 года). XI—236.
Дм. Нагишкин. Свет побеждает тьму. V—237.
Р. Орлова, **Л. Копелев**. Потерянное поколение холодной войны. Заметки о зарубежной литературной молодежи. I—219.
З. Османова. Путь Абая. VI—218.
Б. Подольский. Щедрость гения (Заметки о языке И. П. Павлова). II—236.
И. Радволина. Прямой разговор (О некоторых книгах югославских писателей). II—223.

Юрий Рюриков. Через сто и тысячу лет (Заметки о литературе, посвященной будущему). XII—228.
Б. Сарнов. «Веселое званье поэта...» (К 70-летию со дня рождения Н. Н. Асеева). VI—225.
Ф. Светов. Трудные поиски. IX—247.
Инна Соловьева. Люди для людей. III—187.— Начало пути. IX—252.
В. Сурвилло. На путях романтики. IV—231.— На путях романтики. Статья вторая. IX—232.
А. Турков. Новые работы о Маяковском. III—177.
Виктор Шкловский. Несколько слов о реализме у нас и на Западе. VIII—196.
И. Шунаева. Новейшая «алитература». III—198.
С. Штут. «Двенадцать» А. Блока. I—231.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Иоганнес Р. Бехер. О поэтическом. Перевела с немецкого Е. Кацева. II—171.
В. Некрасов. Три встречи. XII—186.
А. Твардовский. Заметки с Ангары. XI—121.
Илья Эренбург. Перечитывая Чехова. V—193; VI—174.

ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

Конст. Федин. К образу Ленина в литературе. IV—241.

Трибуна Читателя

Галина Зинченко, закройщица. «По мотивам повести...» I—275.
С. Левина, **В. Наседкина**, сотрудники Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Популярный — значит народный. III—275.
Г. Шукст, библиотекарь. Одна из многих прочитанных. I—277.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Н. Данилов. Забытое стихотворение С. Есенина. XII—274.
Э. Зайденшнур. По поводу текста «Войны и мира». VI—278.
Из переписки А. С. Новикова-Прибоя с Н. А. Рубакиным. Публикация писем В. Красильникова. VIII—280.
И. Каховская. Горький 9 января 1905 года. Предисловие Ек. Пешковой. III—218.
Л. Ланский. Незвестные воспоминания о Герцене. VI—275.
С. Масчан. Из архива С. Есенина. XII—271.
Вяч. Нечаев. Л. Фейхтвангер на встрече с работниками ЦАГИ. XI—279.
И. Нович. Еще о «деле» М. Горького в 1905 году. III—221.
От первой ссылки к марксистскому кружку (Некоторые новые данные, касающиеся юности В. И. Ленина). Публикацию подготовил Г. Хаит. IV—194.
А. Рубинштейн. Горький и Шолом-Алейхем. III—225.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Кирилл Андреев. Мир завтрашнего дня (И. Ефремов. Туманность Андромеды). VI—241.

Г. Бакланов. Новая повесть Ю. Бондарева (Ю. Бондарев. Последние залпы. Повесть). VII—249.

И. Бернштейн. Чешский писатель об Америке (Ф. Абрамов. Братья и сестры. Роман). XI—265.

М. Блинкова. Правдоподобие и правда (Инна Гофф. «Поэтом можешь ты не быть...» Повесть). VIII—240.

Ю. Буртин. О наших братьях и сестрах (Ф. Абрамов. Братья и сестры. Роман). IV—248.

Г. Бялый. Архипов полемизирует. 1. (В. Архипов. Против теории «единого потока»). X—261.

К. Ваншенкин. Настоящая поэзия (Борис Ручьев. Лирика). VI—239.

Скина Вафа. Поэт испанской земли (Антонио Мачадо. Избранное. Перевод с испанского. Составитель и редактор А. Големба). III—254.

С. Великовский. К горизонту всех людей (Поль Элюар. Стихи. Перевод с французского. Составление и редакция переводов О. Савича. Предисловие И. Эренбурга. Paul Eluard. Choix de poèmes. Поль Элюар. Избранные поэмы. Составитель К. В. Цуринов. Вступительная статья Ильи Эренбурга). VII—264.

Г. Владимов. Были и небылицы Ялгубы (Геннадий Фиш. Ялгуба). VII—261.

В. Воробьев. Книга о мастерстве Г. Успенского (Н. Соколов. Мастерство Г. И. Успенского). V—270.

Б. Галанов. На переднем крае (Б. Полевой. Глубокий тыл. Роман). II—245.

Б. Гольдберг. Васюковы и Рыжкин (С. Шатров. Кое-что о Васюковых). III—247.

Геннадий Гор. Время таяния снегов (Рытхэу. Время таяния снегов). I—249.

А. Дементьев. Архипов полемизирует. 2. (В. Архипов. Против теории «единого потока»). X—264.

Н. Денисов. Очерки о героях. (Книга о героях. Очерки. Составитель Л. Кривенко). II—267.

Е. Добин. Кодекс героя (Юрий Герман. Дело, которому ты служишь. Роман). III—229.

В. Дружинин. Жизнеописание великого норвежца (Георгий Кублицкий. Фритьоф Нансен, его жизнь и необыкновенные приключения). IV—264.

Л. Жуховицкий. Зрячее сердце (Степан Смоляков. Ветер с полей). VI—252.

С. Залыгин. Книги одной области (А. А. Мисюрев. О злых богачах и народной борьбе. Край, где нет невозможного. Составитель А. Китайник. Сибирские народные песни. В записи композиторов А. Новикова, В. Левашова). II—253.

А. Злобин. Годы великой битвы (Годы великой битвы. Сборник. Составитель Г. Гайдовский). II—250.

М. Злобина. «Естественный» человек в современном обществе (Вильям Сароян. Приключения Весли Джексона. Перевод с английского Л. Шиффера). VI—255.— В мире условностей (Н. Вирта. Наша Берта. Повесть). IX—258.

Анна Илупина. Дыхание революции (Первые советские пьесы. Составитель и редактор В. Пименов). III—249.

М. Иофьев. Писатель в пути (Ю. Нагибин. Человек и дорога. Рассказы). III—235.

Ю. Капусто. Они остались молодыми (Стихи остаются в строю. Составители М. Матусовский и Я. Хелемский). IV—260.— Талант и жизнь (Николай Горбунов. Минуты жизни). X—253.

З. Кедрина. Великая опора (Мирза Ибрагимов. Слияние вод. Роман. Перевод с азербайджанского Вит. Василевского). VI—247.

А. Коган. Две повести о воинском подвиге (Михаил Пархомов. Мы расстреляны в сорок втором. Повесть о мужестве. Павло Загребельный. Дума про немирущего. Повесть). II—262.

Л. Копелев. Утопия долларопоклонников (Aup Rand. Atlas shrugged. Эйн Рэнд. Когда Атлас пошатнулся). V—272.

В. Красильников. Новое собрание сочинений А. С. Неверова (А. С. Неверов. Собрание сочинений в четырех томах). IX—266.

Н. Крымова. О Зоре Дановской (Зоря Дановская. Вольные мастера. Пьеса). VI—233.

В. Лакшин. Чеховский сборник («А. П. Чехов». Сборник статей и материалов. Литературный музей им. А. П. Чехова). XII—255.

А. Лацис. Дело, которого нет (Анатолий Галиев. Дело о поросенке. Повесть-фельетон). V—268.

А. Лебедев. «Лес Богов» Балиса Сруоги (Балис Сруога. Лес Богов. Перевод с литовского Г. Кановича, Ф. Шуравина). II—257.

Л. Левицкий. О постоянстве и широте кругозора (Н. Рыленков. Стихотворения и поэмы. Том I. Том II). VII—255.

Н. Леонтьев. Сказки-путешественницы (Русские народные сказки казаков-некрасовцев. Собраны Ф. В. Тумилевичем). VII—258.

Мих. Луконин. Продолжение жизни (Борис Корнилов. Стихотворения и поэмы. Составители О. Берггольц и М. Беркович). I—255.

Сергей Львов. Новое имя (А. Рекемчук. Время летних отпусков. Повесть). XII—246.

А. Македонов. Поэзия «высоких широт» (Вяч Кузнецов. У высоких широт. Стихи). IX—260.

Ю. Манн. Пафос упрощения (Е. Смирнова-Чикина. Легенда о Гоголе). VIII—257.

- О. Михайлов.** Мастерство молодого прозаика (С. Никитин. В бессонную ночь. Рассказы). X—251.
- И. Мотяшов.** Правда сказки (Т. Габбе. Город Мастеров. Пьесы-сказки). XI—261.
- Г. Мунблит.** Повесть о рыбаках (П. Сажин. Трамонтана. Повесть). XI—254.
- А. Наркевич.** Живой Чайковский (И. Куниин. Петр Ильич Чайковский). IX—263.
- В. Огнев.** В поисках красоты (Евгений Винокуров. Признания). V—265.
- Л. Оповат.** Будем знакомы: Маркос Рамирес (Карлос Луис Фальяс. Маркос Рамирес. Повесть. Перевод с испанского Ю. Дашкевича и А. Малкова). VI—258.
- А. Павловский.** Приметы времени (Эдуард Шим. Ночь в конце месяца. Рассказы). XI—258.
- Е. Ржевская.** Поступь времени (М. Лоскутов. Тринадцатый караван. Мих. Лоскутов. Белый слон). I—259.
- И. Серман.** Образ человека в литературе древней Руси (Д. С. Лихачев. Человек в литературе древней Руси). VIII—254.
- А. Синявский.** О новом сборнике стихов Анатолия Софронова (Анатолий Софронов. От всех широт. Стихи). VIII—248.
- И. Соколов-Микитов.** У родной колыбели (В. Солдухин. Владимирские проселки). I—247.—Хозяин своей земли (Иван Зыков. Хозяин родины своей). IV—257.
- Нат. Соколова.** В стране микронов (Ю. Вебер. Профиль невидимки). VIII—245.
- Инна Соловьева.** «Это ваша книга» (Альчиде Черви. Мои семь сыновей. Литературная запись Ренато Николаи. Перевод с итальянского Ю. Добровольской). XII—257.
- Ю. Сотник.** О людях большой реки (Ричи Достян. Кто идет? Рассказы). I—252.
- Н. Стальский.** Книга живет (О. Эрлберг. Китайские новеллы). XI—263.
- Е. Старикова.** Будничный подвиг (В. Михайлов. День и вечер. Очерк). IV—251.
- А. Старцев.** Радище и его гарвардский комментатор (Radishchev Aleksandr Nikolaevich. A Journey from St. Petersburg to Moscow. Translation by Leo Wiener. Edited with an Introduction and Notes by Roderick Page Thaler. Радищев Александр Николаевич. Путешествие из Петербурга в Москву. Перевод Лео Винера. Редакция, вступление и комментарии Родерика Пейдж Талера). III—251.
- В. Твардовская.** Повесть о лервомартовцах (Юрий Давыдов. Март. Повесть). XII—252.
- Т. Трифонова.** Талант и мастерство (М. Щеглов. Литературно-критические статьи. Составитель В. Лашкин). III—240.
- А. Турков.** Во вкусе Трифона Камчадала (М. Колесников. Рудник Солнечный. Повесть). X—256.
- Дм. Урнов.** Северный свет (А. Кронин. Северный свет. Роман). VIII—262.
- Я. Фрид.** 1815 год, Франция на распутье (Агагон. La Semaine Sainte. Агагон. Страстная неделя). IV—266.
- Г. Цурикова.** Пристрастная исповедь (Н. Дементьев. Иду в жизнь. Повесть). V—260.
- В. Швейцер.** Ребячьи будни (Р. Погодин. Кирпичные острова). III—244.
- В. Шкловский.** О пользе личных библиотек и о пользе собирания книг в первых изданиях в частности (Ник. Смирнов-Соколовский. Рассказы о книгах). X—265.—Верно и неверно угаданные пути (А. Роскин. Статьи о литературе и театре. Антоша Чехонте). XII—250.
- Л. Эйлин.** Мао Цзэ-дун о литературе и искусстве (Мао Цзэ-дун лунь вэньи. Мао Цзэ-дун о литературе и искусстве). X—258.

Политика и наука

Н. Алиева. «Дикари» и колонизаторы (Эрик Лундквист. Дикари живут на Западе. Сокращенный перевод со шведского). I—269.

Ю. Арбагов. Буржуазная «элита» и ее апологеты (Joachim Knoll. Führungsauslese in Liberalismus und Demokratie. Иоахим Кнолл. Отбор руководителей в условиях либерализма и демократии). III—271.

А. Бельская. Против угрозы атомной войны (J. D. Bernal. World without war. Дж. Д. Бернал. Мир без войны. В. Russel. Common sense and nuclear warfare. Б. Рассел. Здравый смысл и ядерная война). IV—273.

И. Беспрозванный, инженер. Ленинская электрификация (В. И. Ленин об электрификации. Составители В. Стеклов, Л. Фотиева). II—269.

Н. Болотников. Записки норвежского друга (Лив Балстад. К северу от морской пустыни. Сокращенный перевод с норвежского Л. Жданова). V—278.

Е. Бородин. Путь к коммунизму (СССР в цифрах. Статистический сборник). II—271.

Д. Владимирский, Н. Финкельштейн. Книга могла быть лучше (Очерки истории Свердловска). X—275.

Б. Габричидзе, кандидат юридических наук; **К. Федоров,** кандидат исторических наук. Против ревизионистских измышлений (В. Чхиквадзе, С. Зивс. Против современного реформизма и ревизионизма в вопросе о государстве). VIII—270.

Н. Денисов, полковник. Прочитай, передай товарищу! (Герои и подвиги. Советские листовки Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.). VI—266.—Воспоминания советского маршала (Маршал Советского Союза А. И. Еременко. На Западном направлении. Воспоминания о боевых действиях войск Западного, Брянского фронтов и 4-й ударной армии в первом периоде Великой Отечественной войны). XI—272.

М. Дмитриева, член КПСС с 1920 года. Славные большевички (Славные большевички. Сборник подготовлен Е. Д. Стасовой, Ц. С. Бобровской (Зеликсон) и А. М. Иткиной). III—256.

В. Дурденевский, заслуженный деятель науки. Интересное исследование (Г. П. Задорожный. Внешняя функция современного империалистического государства). I—263.

Л. Ерихонов, кандидат филологических наук. Они сражались за революцию (Ярослав Кржижек. Пенза. Славные боевые традиции чехословацких красноармейцев. Перевод с чешского В. Аверина). II—273.

А. Ефремов, кандидат исторических наук, подполковник. Кулак повисает в воздухе... (Richard I. Hubler. SAK, The strategic Air Command. Ричард И. Хаблер. САК, Стратегическое авиационное командование). V—280.

И. Забелин, кандидат географических наук. Великий путь (К. Расмуссен. Великий санний путь. Перевод с датского А. В. Ганзен). VIII—274.

Л. Зак, кандидат исторических наук. Герои одесского подполья (В. Коновалов. Иностранная коллегия). X—273.

И. Зыков. Щедрый Байкал (Рыбы и рыбное хозяйство в бассейне озера Байкал. Сборник статей). VII—276.

А. Иглицкий. Рассказы о шахматах (Ежи Гижицкий. С шахматами через века и страны. С предисловием Давида Бронштейна. С польского языка перевели Надежда Ланьцут и Софья Вильгельм). VIII—277.

И. Иноземцев. Робинзонада гуманиста (Ален Бомбар. За бортом по своей воле. Перевод с французского Ф. Мендельсона и А. Соболева). I—272.

Е. Касимовский. «Не веришь? Проверь» (Евгений Пермьяк. Высокие ступени). XII—267.

В. Кондратьев, кандидат исторических наук. Венгерские братья по оружию (Венгерские интернационалисты в Великой Октябрьской социалистической революции). IX—273.

О. Кузнецова. Жить вместе с Россией (Уильям Ирвин. Жить вместе с Россией. Перевод с английского В. В. Исакович). V—275.

И. Латышев. Издательство и автор (А. И. Ваксберг. Издательство и автор. Правовые взаимоотношения. Издание второе, дополненное). II—275.

А. Литвак. Великий счет (Всесоюзная перепись населения). I—261.— Масштабы созидания (А. И. Ведищев. Что и где будет построено в 1959—1965 годах). IX—269.

В. Мавродин, доктор исторических наук, профессор. У истоков отечественной науки (История Академии наук СССР. Том I (1724—1803). III—262.

Н. Мар. Биография одного завода (Свет над заставой). III—258.

А. Мельников. США без прикрас (Margian Podkowiński. USA przez zwykłe okulary. Мариан Подковинский. США сквозь обычные очки). III—269.— Живые страницы истории (Kartki z dziejów KPP. Странички истории КПП). XII—264.

Ю. Миленушкин. Образ великого ученого (Б. Могилевский. Илья Ильич Мечников). VI—267.

А. Млынек. Рассказ о большой жизни (Е. О. Патон. Воспоминания. Литературная запись Юрия Буряковского). IX—271.

А. Немировский, кандидат исторических наук. Правда о Библии (И. Крывелев. Книга о Библии (Научно-популярные очерки). I—267.— Происхождение христианства (Я. А. Ленцман. Происхождение христианства). VI—272.

П. Николаев, кандидат филологических наук. Летопись русской печати (Русская периодическая печать (1702—1894). Справочник). XI—276.

Д. Осин. Из потребляющих в производящие (П. Доронин. На земле Смоленской). VII—271.

И. Осипов. Невидимое топливо (Ю. Боксерман. Невидимое топливо). VII—273.

И. Пешкин. Две автоматизации (С. Лилли. Автоматизация и социальный прогресс. Перевод с английского Р. И. Гогунова, Г. В. Легоньких, В. П. Михайлова). IV—275.

В. Пирогов. На пороге нашего завтра (С. Г. Струмилин. На путях построения коммунизма). X—270.

В. Покшишевский, профессор. Путешествия географа (И. П. Герасимов. Мои зарубежные путешествия). XII—269.

Е. Померанцева. Конец «тайны» Тибета (Алан Уиннингтон. Тибет. Рассказ о путешествии. Перевод с английского В. Л. Кона). VI—269.

И. Портной, кандидат исторических наук. Очерк о целинном крае (Андрей Дубицкий. Акмола — край славный. Исторический очерк). XI—269.

Дм. Рудь. Дело в организаторах (Дело в руководителях. Сборник статей. Составители Д. В. Валовой, А. В. Белявский, В. В. Лебедев). XII—260.

Л. Седин. Англия глазами американца (Drew Middleton. These are the british. Дрю Миддлтон. Таковы британцы). IX—277.

А. Середа. Навеки вместе (Д. Лаппо, А. Мельчин. Страницы великой дружбы. Участие китайских добровольцев на фронтах гражданской войны в Советской России (1918—1922). X—268.

М. Слуцкий, кандидат философских наук. Правда о двоедушии и лжи (А. Бутенко. Основные черты современного ревизионизма (Критический очерк). XII—262.

А. Таланов. Нет, они не близнецы! (В. И. Чернышева. Хабаровск (К

100-летию города). Ф. С. Мартинкевич. Минск. М. И. Ростовцев. Тула. Экономико-географический очерк. В. К. Лаздынь, В. Р. Пурин. Рига. В. Б. Жмуйда. Ашхабад. II—278.— Книга о нашей Родине (СССР как он есть. Популярный иллюстрированный справочник. Редакторы-составители Г. Х. Шахназаров и М. А. Лебедева). XI—267.

Л. Толкунов. Под знаменем социализма (Под знаменем социализма. Отв. за выпуск А. Баулин, А. Гребнев, М. Михайлов). VI—260.

В. Утков. Непроторенными путями (И. Забелин. Встречи, которых не было. Рассказы географа). IV—277.

М. Фетисов, доктор филологических наук. Первый казахский просветитель (Чокан Валиханов. Избранные произведения). IX—275.

Е. Фильков. Когда Россия подымалась... (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания). VI—263.

Ф. Фомин, почетный чекист ВЧК—ОГПУ, член КПСС с 1917 года. Верный страж революции (Из истории Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. 1917—1921 гг. Сборник документов. Составители: А. К. Гончаров, И. А. Дорошенко, М. А. Козичев, Н. Н. Павлович). IV—271.

А. Хавин. Наступление на промышленную целину (О развитии производительных сил Иркутской области. Сборник. С. Левченко, А. Зубков, Б. Горизонтов. Проблемы промышленного развития Красноярского края. К. Лыжин. Красноярский край. В. И. Павличенков. Ангарск. Планировка и стройка города). VIII—267.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. О времени и о себе (История советского общества в воспоминаниях современников. 1917—1957. Аннотированный указатель мемуарной литературы. Редакторы-составители: кандидаты исторических наук В. З. Дробижев, В. А. Дунаевский, Ю. С. Кукушкин). III—260.

Е. Шведов. Западный Берлин — оплот реакции (West-Berlin-Hort der Reaktion. Западный Берлин—оплот реакции) III—267.—Преданы и проданы (Hans Georg Hermann. Verraten und verkauft. Ганс Георг Герман. Преданы и проданы) VII—279.

П. Шелест. Выдающийся революционер публицист (С. С. Спандарян. Статьи письма и документы. Составитель Г. С. Акселян). XI—274.

Д. Щербakov, академик. «Старейшина советских геологов» (Э. М. Мурзаев, В. В. Обручев, Г. Е. Рябухин. Владимир Афанасевич Обручев. Жизнь и деятельность). VII—275.

Н. Щербиновский, член-корреспондент ВАСХНИЛ. Книга о муравьях (И. Халифман. Пароль скрещенных антенн). III—26

С. Эпштейн. Кейнс—вдохновитель оппортунизма (Джон Итон. Маркс против Кейнса. Ответ на «социализм» Герберта Моррисона. Перевод с английского М. И. Меньшиковой). I—265.—«Чего не знает Джонни» («New Republic», August 1 December 23, 1957. «Нью-рипбллик» 12 августа, 23 декабря, 1957). VII—282.

Н. Явно. Ядерное оружие должно быть запрещено! (Linus Pauling. No more war. Лайнус Полинг. Долой войну) VIII—272.

Коротко о книгах: I—281; II—28; III—280; IV—280; V—284; VI—28; VII—284; VIII—283; IX—280; X—27; XI—283; XII—275.

Книжные новинки: I—285; II—28; III—285; IV—285; V—287; VI—287; VII—287; VIII—286; IX—285; X—282; XI—28; XII—278.

Борис Андреевич Лавренев II—288.

От редакции. «Новый мир» в 1960 году X—284.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Зак** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 20/X 1959 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 23/XI 1959 г.
А 10431. Формат бумаги 70×108^{1/8} мм. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Зак. № 2045.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.